

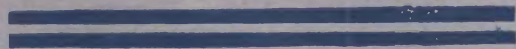
И О В Ъ Л И
М И Р

И О В Ъ Л И
М И Р

И О В Ъ Л И
М И Р

1964

8



1964

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Год издания XL

№ 8

Август, 1964 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
С. МАРШАК — Лирические эпиграммы (Эмрис Хьюз. Несколько слов о Маршаке. Перевод с английского)	3
ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ — Хранитель древностей. Повесть. Окончание	10
А. ПРАСОЛОВ — Десять стихотворений	68
С. СЛАВИЧ — На морской дороге. Рассказ	74
В. БОГОМОЛОВ — Рассказы	84
А. ПОБОЖИЙ — Мертвая дорога (Из записок инженера-изыскателя)	89
МАМАДУ ЛАМИН СИССЭ — Вот это всё, мой сын, и есть Мали! Стихотворение. Перевела с французского Т. Сикорская	182
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ВИКТОР ПАНОВ — По Сухоне и Двине	185
ПУБЛИЦИСТИКА	
Проф. А. МАНФРЕД — Голос Жореса	212
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
А. ВОРОНСКИЙ — Из книги «Гоголь». (К 80-летию со дня рождения критика). С предисловием Ю. Манна	228
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Л. ЛАЗАРЕВ — Военные романы К. Симонова	238
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
А. Каменский. Революция и искусство.— Е. Дорош. Проза художника.— Э. Кузьмина. Соблазны решенного.— Л. Левицкий. Судьба, не ремесло...	253

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	264
А. Бирман. Ленинская вера в народ.— Ю. Шаропов. Плод кропотливого труда.— Полина Виноградская. Заново рассказанная жизнь.— М. Юрьев. Революционное наследие Сунь Ят-сена.	
В. ЛАКШИН — Необходимая реплика	273
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
ДВА ПИСЬМА Н. П. ГОРБУНОВА В. И. ЛЕНИНУ. Публикация И. Смирнова	276
КОРОТКО О КНИГАХ	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

С. МАРШАК

★

ЛИРИЧЕСКИЕ ЭПИГРАММЫ

* * *

— О чем твои стихи? — Не знаю, брат.
Ты их прочти, коли придет охота.
Стихи живые сами говорят,
И не о чем-то говорят, а что-то.

* * *

У Пушкина влюбленный самозванец
Полячке открывает свой обман,
И признается пушкинский испанец,
Что он — не дон Диэго, а Жуан.

Один к покойнику свою ревнует панну,
Другой к подложному Диэго — донну Анну...
Так и поэту нужно, чтоб не грим,
Не маска лживая, а сам он был любим.

* * *

Существовала некогда пословица,
Что дети не живут, а жить готовятся.
Но вряд ли в жизни пригодится тот,
Кто, жить готовясь, в детстве не живет.

* * *

Он взрослых изводил вопросом «почему?».
Его прозвали «маленький философ».
Но только он подрос, как начали ему
Преподносить ответы без вопросов.

И с этих пор он больше никому
Не досаждал вопросом «почему?».

* * *

Определять вещам и людям цену
Он каждый раз предоставлял другим.
В театре жизни видел он не сцену,
А лысины сидящих перед ним.

* * *

Человек ходил на четырех,
Но его понятливые внуки
Отказались от передних ног,
Постепенно превратив их в руки.

Ни один из нас бы не взлетел,
Покидая землю, в поднебесье,
Если б отказаться не хотел
От запасов лишних равновесья.

* * *

Стебли трав, пробившись из земли,
Под плитой тяжелой не завяли,
Сквозь кору асфальта проросли
И глядишь — тюрьму свою взорвали.

* * *

Человек — хоть будь он трижды гением —
Остается мыслящим растением.
С ним в родстве деревья и трава.
Не стыдитесь этого родства.
Вам даны до вашего рождения
Сила, стойкость, жизненность растения.

* * *

Всё умирает на земле и в море,
Но человек суровой осужден:
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рожден.

Но, сознавая жизни быстротечность,
Он так живет — наперекор всему,—
Как будто жить рассчитывает вечность
И этот мир принадлежит ему.

* * *

Мы любим в детстве получать подарки,
А в зрелости мы учимся дарить,
Глазами детскими смотреть на праздник яркий
И больше слушать, меньше говорить.

* * *

Как вежлив ты в покое и в тепле.
Но будешь ли таким во время давки
На поврежденном бурей корабле
Или в толпе у керосинной лавки?

* * *

Ты меришь лестницу числом ее ступеней,
Без мебели трудней на глаз измерить зал.
Без лестницы чинов, без множества делений
Большим бы не был чином генерал.

* * *

Без музыки не может жить Парнас.
Но музыка в твоём стихотворенье
Так вылезла наружу, напоказ,
Как сахар прошлогоднего варенья.

* * *

К искусству нет готового пути.
Будь небосвод и море только сини,—
Ты мог бы небо с морем в магазине,
Где краски продают, приобрести.

* * *

Дыхание свободно в каждой гласной,
В согласных — прерывается на миг.
И только тот гармонии достиг,
Кому чередование их подвластно.

Звучат в согласных серебро и медь.
А гласные даны тебе для пенья.
И счастлив будь, коль можешь ты пропеть
Иль даже продышать стихотворенье.

* * *

У ближних фонарей такой бездумный взгляд.
А дальние нам больше говорят
Своим сияньем, пристальным и грустным,
Чем люди словом, письменным и устным.

* * *

Ни сил, ни чувств для ближних не щади.
Кто отдает, тот больше получает.
Нет молока у матери в груди,
Когда она ребенка отлучает.

* * *

Сон сочиняет лица, имена,
Мешает с былью пестрые виденья.
Как волны подо льдом, под сводом сна
Бессонное живет воображенье.

* * *

Пускай бегут и после нас,
Сменяясь, век за веком,—
Мир умирает каждый раз
С умершим человеком.

* * *

Не погрузится мир без нас
В былое, как в потемки.
В нем будет вечное сейчас,
Пока живут потомки.

* * *

Как хорошо проснуться утром дома,
Где всё, казалось бы, вам издавна знакомо,
Но где так празднично в явь переходит сон,—
Как будто к станции подходит ваш вагон.

Вы просыпаетесь от счастья, словно в детстве.
Вам солнце летнее шлет миллион приветствий,
И стены светлые, и ярко-желтый пол,
И сад, пронизанный насквозь жужжаньем пчел.

* * *

В искусстве с незапамятных времен
Царил классический, официальный тон
И простота была лишь театральной.
Но так в пути сдружился весь вагон,
Что ритмы с рифмами выбрасывает вон,
Как в летний день воротничок крахмальный.

* * *

— Намного мы твой век переживем,—
Мне говорят за окнами деревья,—
Нам этот сад — родной, обжитый дом,
А для тебя — привал среди кочевья.

* * *

Березка тонкая, подросток меж берез,
В апрельский день любит себя собою,
Глядясь в размытый след больших колес,
Где отразилось небо голубое.

* * *

Ведерко полное росы
Я из лесу принес,
Где ветви в ранние часы
Роняли капли слёз.

Ведерко слёз лесных набрать
 Не пожалел я сил.
 Так и стихов моих тетрадь
 По строчке я копил.

ЭМРИС ХЬЮЗ

Член английского парламента

★

Несколько слов о Маршаке

«Вот и спета наша старинная песня». Слова эти приписываются некоему шотландскому лорду, который более двухсот лет тому назад скрепил своей печатью договор между английским и шотландским правительствами, покончивший с независимостью Шотландии.

Они пришли мне на память, когда в зале Союза писателей в четверг 9 июля я смотрел на вереницу людей, медленно продвигавшуюся мимо гроба Самуила Маршака.

Долгая и славная жизнь Маршака окончилась. Это было «концом старинной песни».

И пока я сидел там, воспоминания о моем старом друге проплывали передо мной вместе с мелодиями Шуберта, звучавшими как бы со стороны, но под той же крышей. Они возникали и исчезали, и на смену им приходили другие мелодии — Бетховена и Чайковского.

А по временам, когда музыка в зале умолкала, мне казалось, что до меня как будто совсем издалека доносится другая музыка — тягучие, загадочно-печальные звуки шотландской волынки, наигрывавшей плач — один из тех плачей, которые были сочинены в память о павших в битве, проигранной на болотах.

Вместе с моим старым другом мне довелось немало постранствовать по Крыму и Шотландии, пожить в Москве и Лондоне и посетить с ним места, связанные с памятью многих писателей, подаривших нам свои мысли и отошедших в бессмертие.

Вместе мы побывали в коттедже в Аллоуэй, где родился Бернс, и в домике в Дамфризе, где он умер. С каким благоговением и любовью рассматривал там Маршак хранящиеся под стеклом строчки — выцветшие слова на клочках бумаги, некоторые — почти неразличимые, но для него — полные жизни и значения, как письма друга, написанные всего недели две назад.

Для него они были вовсе не ветхими и пыльными рукописями, а насыщенными красками и движением картинами, и он видел свое призвание в том, чтобы снова сделать их живыми. Строчки эти родились в мозгу Роберта Бернса, были написаны его пером и касались мужчин и женщин, хотя и живших двести лет тому назад, но как бы лично знакомых Маршаку. Среди них был и Тэм О'Шентер, пьяный крестьянин, скачущий на своей кобыле в ненастную ночь.

...Рукой от бури заслонясь,
 Он несся вдаль, вметая грязь.

То шляпу он сжимал в тревоге,
 То пел сонеты по дороге,
 То зорко вглядывался в тьму,
 Где чорт мерещился ему...

Вот, наконец, неясной тенью
Мелькнула церковь в отдаленье.
Оттуда слышался, как зов,
Далекый хор чертей и сов...

(Перевод С. Я. Маршака.)

Как радовался он, повторяя эти строчки среди каменных памятников около старой церкви Аллоуэй в Эйре!

Были и другие: Джон Ячменное Зерно, Святоша Вилли — сельский лицемер, Веселые Нищие, веселившиеся в таверне, парни и девушки, целовавшиеся в полях среди снопов ячменя, и все прочие, удостоившиеся эпитафий Бернса и нашедшие вечное успокоение под памятниками на Мохлинском кладбище. Бернсу удалось их обессмертить, и они живут в его стихах до сих пор, но вот через двести лет пришел Маршак и, переведя его стихи на русский язык, ввел всех этих людей в мир, которого Бернс не мог даже вообразить.

Мне припомнились далее дни, проведенные с Маршаком в Лондоне, когда мы посетили с ним Тауер и осмотрели темницу, в которой был обезглавлен автор «Утопии» сэр Томас Мор, а также зал в Вестминстере, в котором Кромвель и его друзья вынесли смертный приговор Карлу Первому, и улицу Уайтхолл, где они привели этот приговор в исполнение.

Но больше всего в Лондоне Маршака интересовали залы Национальной галереи, в которых находятся картины Рембрандта, Веласкеса и Констебля, а также Тэйт-галери, в которых он с особенным вниманием рассматривал рисунки своего другого любимца — Вильяма Блэйка.

Мне хорошо помнится то жаркое июльское утро, когда он, шагая по узкой боковой улочке и постукивая по тротуару концом своей толстой палки, настойчиво разыскивал тот самый дом, в котором жил и работал Блэйк. Он радовался Лондону и снова переживал в нем дни своей молодости, которые провел здесь, будучи студентом Лондонского университета. С юмором рассказывал он, как в те времена остановил однажды на прогулке в Гайд-парке задумчивого англичанина и спросил его: «What is time?», пропустив по свойственной русским ошибке словечко «the»¹.

«О, это глубоко философский вопрос», — ответил молодой незнакомец и прошел своей дорогой...

— Я люблю англичан, — как-то сказал мне Маршак.

— За что же? — спросил я, удивившись.

— Знаете, — сказал он, — среди них трое из четырех обязательно окажутся чужаками.

Он любил чужаков. И он сам, пожалуй, был чужаком, так же как и я. Как радовался бы он, если бы ему довелось встретиться с чужаком Диккенсом!

Я никогда не забуду того дня, когда мы поехали с Маршаком на машине из Москвы в Ясную Поляну и посетили дом Толстого. Мы медленно бродили по местам, в которых жил и работал великий русский мастер, а потом прошли по лесу к его окруженной деревьями могиле, не имеющей ни креста, ни надгробного памятника и все же оставляющей о себе такую яркую память. И тут же мне припомнился дом Толстого в Москве, с которым Маршак был знаком настолько, что можно было подумать, что он жил в нем сам.

Я никогда не забуду также того последнего дня выставки в Москве картин Дрезденской галереи перед отправкой их в Германию, когда мы, стоя в густой толпе народа, с трудом оторвались от созерцания чуда рафаэлевской Мадонны.

Вечером накануне похорон мне принесли несколько наших фотографий, сделанных в Ялте одним упрямым фотокорреспондентом, которого Маршак в шутку хотел утопить. На одной из них, снятой в доме Чехова, Маршак сидел за тем

¹ What is the time? — который час? What is time? — что есть время?

самым столом, за которым Чехов писал когда-то свои великие пьесы, и смотрел в чеховский сад.

Я дивился тогда во время нашей беседы чудесной памяти этого старого человека, тому, как все, что он видел и знал, запечатлелось в его мозгу, дивился его способности снова оживлять давно прошедшие события.

Эти и многие другие воспоминания проплывали в моем сознании, когда я сидел в зале, созерцая безмолвное тело, возвышавшееся в гробу среди венков и букетов роз, и ощущая сладкий, почти одуряющий запах цветов.

И, провожая глазами людей, проходивших мимо, чтобы проститься с Маршаком, я постарался вообразить: что бы подумал он сам, если бы сидел со мною рядом? И мне пришло в голову, что он сказал бы:

— Всё очень торжественно и значительно, и все здесь такие милые люди, так горько переживающие утрату. Но это причиняет слишком много боли. Для чего мы мучаем живых ради мертвых, если уж они мертвы? Мне трудно переносить эту обстановку. С останками следовало бы расставаться совсем по-другому. Давайте выйдем на солнце, подышим свежим воздухом и немножко покурим.

Неужели это тело в гробу — Маршак? Разве это в самом деле «конец старинной песни»?

Нет, сила, которая водила пером Шекспира, Бернса, Блэика, Толстого, Чехова, которая управляла рукой Маршака, — не иесякла. Она жива. Вдохновение не умирает вместе с телом, оно бессмертно. Мелодия продолжает звучать.

Тело в гробу — это не он! И я вспомнил фразу Рабиндраната Тагора, которую как-то процитировал мне Маршак: «Когда старые слова замирают на губах, новые мелодии вырываются из сердца. И когда зарастают старые тропы, открываются новые величественные пути».

Перевод с английского.



ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

★

ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ*

Повесть

Меня вызвали в Наркомпрос. Передал мне вызов директор, специально позвонил, чтоб я зашел к нему в кабинет, дождался, когда все уйдут, и только тогда сообщил, что меня хочет видеть замнаркома товарищ Мирошников. Предупредил, чтобы я ни в коем разе не опаздывал. Товарищ Мирошников только что пришел из армии и все вопросы понимает по-военному — четко, ясно, точно, расхлябанности не терпит, растяп ненавидит. И еще директор мне посоветовал лишнего не трепать, да и вообще (тут он сделал какой-то вихрастый жест) не быть уж слишком-то умным. Я улыбнулся.

— А тут и полсмеха нет,— сурово обрезал меня директор.— Индюк мудрил-мудрил, да и в суп попал. Ты знаешь эту историю?

— Знаю,— ответил я.

— Ну вот. А так не бойся, он человек справедливый. Только вот такие штучки — (опять тот же жест, но уже около головы) — ты брось. Понял? Ну, иди.

Я пошел.

Замнаркома меня принял сейчас же, хотя и был занят: разговаривал по телефону. Был он высок и плечист, с аккуратно подстриженными усами, и ими ли, или еще чем он очень напоминал тот большой поясной портрет, что висел над его столом. Во всяком случае хотел напоминать. А вообще-то это был рыжеватый мужчина, веснушчатый, медлительный, уже, пожалуй, склонный к полноте, но еще никак не полный. Когда я вошел, он скосил на меня глаза и кивнул на диван. Я сел.

— Хорошо,— сказал он в телефон,— я тебе еще звякну. Ты что, у себя будешь? Хорошо! Вот и он как раз.

Он положил трубку и позвонил. Вошла секретарша.

— Ту, мою папку,— попросил он. И, когда девушка вышла, сказал: — Вот говорил с вашим директором, вы его давно знаете?

Я сказал, что год. Он уволился из армии примерно через месяц после того, как я поступил в музей.

Тут Мирошников слегка нахмурился.

— А почему вы думаете, что он уволился из армии?

«Не трепись»,— вспомнил я и сказал:

— Он пришел к нам в военной форме.

Замнаркома хмуро посмотрел на меня и объяснил:

— В военизированной... Он же работник Осоавиахима. А военизированная форма присвоена отнюдь не только армии, но,— и дальше, как

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

печатая,— и войскам внутренней охраны, работникам НКВД, лесной охране и кое-каким другим организациям специального порядка. Это вам не мешало бы знать. Так! — Он распахнул папку, вынул оттуда какую-то бумагу и стал ее читать.

Я сидел и ждал.

— Кто такой Родионов? — спросил он, не поднимая головы.

«Вот окаянный старик», — подумал я и сказал:

— Археолог-любитель. Кроме того, вырезает по дереву.

— И такие профессии есть? — Замнаркома остро посмотрел на меня. — Быть археологом-любителем и вырезать по дереву?

«Любит точность», — вспомнил я и ответил:

— Сейчас он пенсионер, кажется, работает еще и счетоводом. В общественном порядке.

— Ага, вот это другое дело, — удовлетворенно кивнул головой замнаркома. — Значит, Родионов пенсионер? Ну, а какую он получает пенсию? За что? Не знаете?

— Кажется, он партизанил, — ответил я.

— То есть был партизаном, — строго поправил меня замнаркома. — Партизанить и быть партизаном — это вещи разные. Вы с ним знакомы? Он приходил в музей?

Я кивнул.

— Зачем?

Я ответил, что он приносил кое-какие находки, ныне мы в этих местах производим поиски.

— Поиски или раскопки? — поправил или спросил меня замнаркома.

Было очень неприятно. Оба они — тот на портрете, этот за столом, — одинаково одетые, подтянутые, подстриженные, смотрели на меня: один с издевочкой, другой неподвижно и строго.

— Поиски — это и есть разведочные раскопки, — ответил я, — на поверхности ведь ничего не валяется, копать надо.

Замнаркома побарабанил пальцами по столу.

— Так, — сказал он, о чем-то размышляя, — так! Надо копать. И вы копаете! Отлично! Это что же, Корнилов копает?

Он назвал это имя так просто, как будто Корнилов только что вышел из комнаты. Я ответил, что да, копает Корнилов.

— Тот самый, — спросил он, — что был уволен из публичной библиотеки?

— По-моему, он не был уволен, — ответил я. — Он попросту не поладил с научным руководством и ушел.

— И вы его сейчас же приняли в музей?

Я вздохнул.

— Принимает только директор.

— А он даже не посоветовался с вами? — покачал головой замнаркома.

Меня все это уже начало злить, и я довольно резко ответил, что, конечно, директор со мной советовался и я сказал, что такой работник нам нужен.

— Ах, вот как, — кивнул головой замнаркома. — А не сказал вам директор, за что именно его уволили? Ведь, как я слышал, тут что-то и с вами связано.

«Под кого же из нас троих он подкапывается?» — подумал я и, чтобы не сказать лишнего, только хмыкнул что-то.

Он посмотрел на меня, понял, наверно, что во мне происходит, и сказал уже иным тоном:

— Хорошо, положим, что к вам это не имеет отношения. А вот что за конфликт у вас вышел в музее?

Я ответил, что если речь идет о моем столкновении с Зоей Михайловной, то все получилось из того, что она начала хозяйничать в моем отделе, сняла с экспозиции портрет одного ученого, а мне это не понравилось.

— Кто же этот ученый? — спросил замнаркома.

Я ответил ему, что снят был портрет археолога Кастанье.

— Кого, кого? — спросил он быстро.

Я повторил по слогам:

— Ка-ста-нье.

— Никогда не слышал. А чем он замечателен? — снова спросил замнаркома.

Я ответил:

— Работами по древнейшей истории.

Он усмехнулся.

— Первый раз слышу. Вот работы Моргана, академика Марра по древней истории читал и даже сдавал, а о Кастанье слышу первый раз. Ну, хорошо. Век живи — век учись. А вообще он что? Прогрессивный ученый? Он в советское время работал или был сослан сюда еще при царизме?

Я ответил, что ссыльным Кастанье не был, в советских учреждениях никогда, кажется, не работал, да и большим ученым его тоже, вероятно, не назовешь. Но для древнейшей истории Семиречья он, как я понимаю, сделал все-таки чрезвычайно много.

— Даже чрезвычайно, — усмехнулся замнаркома. — Ну, хорошо! Кастанье сделал чрезвычайно много для истории Семиречья, а вот, скажем, такой ученый, как Фридрих Энгельс, сделал чрезвычайно много для древней истории вообще. Его портрет у вас висит?

Я ответил, что портреты Энгельса у нас висят в разных отделах.

— А в вашем? — спросил он.

— У нас нет.

— Жаль-жаль. — Замнаркома выдвинул ящик стола, вынул оттуда книгу в бумажной обложке и протянул ее мне. — Вот, пожалуйста, дарю. В этой книжке все работы Энгельса по древнейшей истории. Сидите и читайте. На работу можете сегодня не выходить. Читайте! Скажите, что я разрешил. Сотрудник музея, историк, образованный человек! — вдруг взорвался он. — И не читал Энгельса. Это же позор! Вы понимаете, позор! И для вас, и для нас, для всех.

— Энгельса я читал, — ответил я.

— Значит, плохо читали, — обрезал он меня. — Вы занимаетесь древнейшей историей Семиречья? Так вот, читайте о ней! Читайте! Здесь все, что нужно, есть.

— Хорошо.

Я взял книгу и спрятал. Замнаркома посмотрел на меня и вдруг заворчал:

— А го нашел кого показывать — Кастанье... Преподаватель французского языка в кадетском корпусе. Никто, мол, его не знает, а я вот знаю иставляю. Ведь это же самое у вас получилось и с библиотекой. Что, неужели вы ничего еще не поняли?

Я покачал головой.

— Лежали в библиотеке какие-то книги, никто ничего о них не знал, никто ими не интересовался. А вот пришел такой просветитель-ценитель и все разъяснил и показал, какие ценности валяются под полкой. Вот ведь на что бьет ваша статья. А вот что эта библиотека обслуживает тысячи человек, что у нас в республике пятнадцать вузов, несколько тысяч студентов и каждому студенту нужно сунуть в руки учебник, что любое задание читателя выполняется за двадцать минут — об этом вы

писали? Нет! Вам редкости нужны... А что редкости, что? Они и есть редкости! Привезли их в библиотеку, положили на полку, они и пролежали там пятнадцать лет. А вот то, что каждый день читальные залы посещают сотни человек и уходят удовлетворенные, это не ваша тема? Верно?

Теперь он говорил со мной хоть и ворчливо, но, пожалуй, даже благожелательно, так, как взрослый человек разговаривает с недорослем. «Экий же ты болван, братец, однако». Это мне в конце концов надоело, и я сказал:

— Я выполнил задание редакции, вот и все.

Он сразу подхватил брошенную перчатку.

— Нет, не все,— зло повысил он голос.— Далеко не все. Работаете у меня вы, а не редакция и не редактор. Вот я вам даю указания, а вам надлежит их слушать и делать выводы. И еще: будьте вы, пожалуйста, повежливее с посетителями, ведь на вас же жалуются. Пришел к вам старик, заслуженный партизан, герой, а как вы с ним обошлись? Даже читать неприятно, что он пишет. Вот, пожалуйста.— И он мне протянул то самое прошение, которое я уже видел в музее.

— Да сколько же он их разослал?..— невольно вырвалось у меня.

— А что, вы уже видели это? Директор показывал? — быстро спросил меня замнаркома.— И что он вам сказал? Ничего не сказал. Зря. Ну, так вот я вам говорю и очень прошу, чтобы такие жалобы больше не повторялись. Пришел в учреждение старый, заслуженный человек, сделал рациональное предложение, а сотрудник, молодой человек, на него и смотреть не хочет. Отвернулся и цедит что-то через зубы. Ваш товарищ, пожилая женщина, говорит вам: зря вы повесили на самом видном месте какого-то генерала.

Я открыл было рот.

— Ну, хорошо, хорошо — пусть статского советника, пусть. Ведь никто эти формы не помнит и не знает. А царские ордена да погоны — они сразу бросаются в глаза и вызывают недоуменные вопросы.

— Ну и что ж? — спросил я.

Он пожал плечами.

— Да ничего особенного, но только зря все это. Повторяется та же история, что и в библиотеке,— все-то вам хочется чем-то блеснуть, кого-то удивить, поразить. Несерьезно это.

Я сидел на диване и слушал его. Все его доводы, в общем, слагались в достаточно стройную систему. Возразить мне было нечего. Просто у нас с ним, как говорят физики, были совершенно разные системы отсчета, и я ползал где-то на другой плоскости. Вот и все.

Он замолчал и посмотрел на меня.

— Вижу, что вы никак не согласны.

— Нет,— ответил я,— никак. Но понимаю, что кому-то и так можно думать.

— Потому что дураку закон не писан,— улыбнулся он.

— Нет,— ответил я искренне,— вы умный человек и говорите умно. Вот я даже не сразу соображу, что же вам ответить, хотя вы и не правы.

Он вдруг засмеялся.

— Ладно, идите работайте. Только подумайте, о чем я говорю. Связывайте, связывайте свою древность покрепче с нашим временем,— крикнул он весело.— Знаете, был такой поэт Безыменский. Так вот он очень хорошо написал как-то: «Только тот наших дней не мельче, кто за любую мелочью может революцию мировую найти». Вот и ищите мировую революцию во всех ваших мелочах. Каждый экспонат должен напоминать только о ней. А вот того генерала...— Он засмеялся.— Да

сбросьте вы его к бесу. Ну зачем вызывать лишние вопросы да недоумения? Сбросите?

— Нет,— ответил я,— не сброшу.

— Вот как? — Его лицо сразу застыло, глаза потухли.— Так вот как вы за него, выходит, держитесь? — спросил он задумчиво и насмешливо.— Хорошо. Тогда напишите мне подробную докладную: кто он, что сделал и почему вы его считаете нужным выставить. А я пошлю ее в Москву, в Комакадемию — и пусть там разбираются. Вот так.

Когда я вышел из кабинета, оба хозяина его глядели мне в спину одинаково прозорливыми, пронизывающими, беспощадными глазами.

Глава третья

Ночью дед постучался ко мне. Я слышал, что он пришел и стоит за дверью, но так здорово заспался, что мне не хотелось подниматься. Дед стоял в коридоре, послушал, потоптался немного, потом кашлянул, стукнул одним пальцем и деликатно спросил:

— К вам можно? Вы один?

Я встал и отворил ему дверь. Дед стоял на пороге под желтой угольной лампочкой и держал в руках что-то большое, четырехугольное, покрытое черной клеенкой.

— Что это? — спросил я.

Он сурово взглянул на меня и шагнул через порог.

— Измучился как черт,— сказал он и сердито поставил ящик на стол.— Что, один? А я думал, кто-то есть. Ух, нечистая сила! — Он бухнулся в кресло и сорвал картуз.— Ух... Четыре версты вот эту музыку пер, ну просто сварился. Вот, вся спина пристала, а тут ты не открываешь. Ну, думаю, наверно, красавица сидит.

— Что это ты притащил? — прервал я недовольно.

— Что притащил-то? — Дед вынул из кармана красный платок в горошек и обтер лицо.— Это, брат, такая хитрая штука, что... И всего-то в нем фунтов тридцать, а ведь еле-еле допер, все руки отянуло. Это, брат, очень большое дело, международное. А ну-ка снимай, снимай своих тигров да баб. Будем Англию, Америку слушать, что они там о нас...

Тут он сдернул клеенку, и я увидел приемник с серебристыми лампами и мутным желтым глазом внизу. Приемник был новешенький и блестящий.

— Откуда это у тебя? — спросил я.

Дед рассмеялся.

— Украл,— ответил он счастливо.— Ну, что вытарашился? Правда, украл. Вот шел мимо Совнаркома, окна открыты, а он на подоконнике стоит орет. Ну, я его, конечно, в охапку и к тебе. Сейчас милиция придет, скажи в окно... Так! — Он наклонился над приемником.— Где ж мы его?.. А вот где! Я ведь, пока ты в горах водку пил да с девками блукал, всю музыку у тебя в комнате наладил, вот сейчас и включим.

Он повозился минут пять, и вдруг резкий, гортанный голос из-под его рук крикнул что-то короткое и угрожающее, а серебристые лампы ожили и стали, как рыбы пузыри, медленно наполняться красно-желтой кровью. Глаз внизу вспыхнул открыто и чистым зеленым светом резко мигнул, погас и снова загорелся уж спокойно и глубоко, только слегка сужая и расширяя зрачок. Тот же голос из ящика крикнул еще что-то — и вдруг все оборвалось. Приемник задрожал и загудел. Послышался треск, шипенье, как будто в комнату внесли раскаленную сковороду,— я знал, что это аплодисменты, потом все смолкло и вдруг запела женщина.

— Какая страна? — спросил дед отрывисто.

— Франция, — ответил я. — Ария Кармен.

— А, город Париж, сразу угоришь... Послушаем, послушаем.

Дед сел в кресло, вынул из кармана кисет с алыми махровыми кочанами, залез в него двумя желтыми, похожими на лекарственные корешки пальцами и вывернул целую щепотку «крупки». Потом спросил у меня газету и закурил.

— Душистый голос, — вздохнул дед и решительно повернул винт.

Раздался писк, визг, вой, затем широкое и злобное завывание какого-то космического вихря (так, наверно, на солнце воют протуберанцы), и вдруг кто-то по-дурацки хохотнул и быстро-быстро заговорил по-немецки. А тон был одесский, шутовской.

— Я раньше по-немецки все понимал, — сказал дед. — А сейчас вот звук знакомый, а ничего не разберу. К нам, понимаешь, сюда в шестнадцатом австрияков пригоняли. Так вот я ими и командовал, сторожил их. А что там сторожить? Куда им бечь? Они землю копают или на траве валяются, а я к станичницам заваливался. Была у меня одна бабенка, похоженькая, вот я к ней все и ходил. А им говорю: ну, смотрите, перцы, один убежит — всех пошлепаю и себя напоследок. Ничего, только смеются, черти. А сейчас вот только один гул слышу. — Он прислушался. — А что это она сейчас загототала?

Я перевел какую-то дурацкую шутку.

Дед покачал головой.

— До чего ж им весело при Гитлере живет, все не просмеются, — сказал он и вдруг спросил: — А война будет?

Я пожал плечами.

— Наверное, будет, дед.

— Будет! — Дед твердо и печально кивнул головой. — Обязательно будет. И директор тоже говорит: «Не надеюсь, что все так обойдется». Это ведь он тебе бандуру прислал. Пусть хранитель, говорит, слушает и понимает, а то язык у него больно длинен стал, не по времени немножко.

— Это он тебе сказал? — испугался я.

— Нет, это я тебе говорю, — нахмурился дед, — ты что? Опять своего Милюкова повесил?

— Повесил, — сказал я. — А тебе что, жалко?

— Ничего мне не жалко, — ответил дед. — Только уж больно громко ты идешь, ну на что он тебе нужен? Никто и фамилии такой не слышал, а ты раскричался, разошелся, хоть яйца пеки, и поставил на своем. Шум, крик — она к директору побежала, — ну к чему это? А если бы по-умному — полежал бы он у тебя недельку в комнате, а потом взял бы ты его и повесил — тихо, мирно, без шума, и никто бы ничего и не знал.

Дед говорил теперь негромко, задумчиво, сокрушенно, и лицо у него было тоже недоуменное и даже слегка растерянное. Это растрогало меня, никогда я его не видел таким.

— Надо было его обратно повесить, дед, — сказал я, — не в генерале дело, а в том, что дай этой стерве волю, так она всю страну запишет во вредители.

— Ишь ты. — Дед усмехнулся и покачал головой. — Ишь ты, как тебе некогда... Она, значит, нас запишет, а ты опять выпишешь! Нет, не выходит что-то так. Она сама тебя, как до зла дойдет, запишет куда следует — вот это так. Ее никто не осудит. Бдительность — вот и весь разговор.

В голосе его слышалась теперь горечь и укоризна. Это меня разозлило.

— Это ты-то горло дерешь? — взорвался я. — Ну, знаешь...

Я хотел сказать что-то еще очень обидное и вдруг осекся. Совсем другой человек — спокойный и печальный — смотрел на меня. Я даже и не понял, что же в нем изменилось. Даже насмешечка не сошла совсем с его лица, а был он уже совсем иной.

— Бык вон как глотку дерет, а толку от этого чуть,— сказал дед коротко и просто.— И я, когда надо, тоже не смолчу, а так вот, попусту из-за картонок да картинок...— Он резко отвернулся от меня и снова наклонился над приемником.

Снова мы блуждали по эфиру, слушали голоса городов и станций, неслись из Москвы в Копенгаген, из Копенгагена в Капштадт и Гавану. На земле стояла ночь, и утро, и полдень, и все это было одновременно. И земля пела, плясала, проповедовала, страшала, угрожала и уговаривала. И вдруг отлично обработанный, мягкий мужской голос, долетевший, наверно, из какого-то концертного зала Парижа или Тулузы, произнес:

— Там, внизу, у людей, говорит Заратустра, все слова напрасны: кто хочет понять людей, тот должен на все нападать, ибо...

— Вот это уж не немцы, это кто-то другой,— сказал дед,— по звуку слышу.— И он хотел повернуть винт.

— Стой, стой,— сказал я.— Не трогай, я хочу послушать, это француз.

Именно потому, что это был француз, я и стал его слушать. Если бы говорил немец, я бы сразу перешел на другую волну. Мне ведь было уже отлично понятно, что может сказать о Ницше какой-нибудь доктор юриспруденции или философии, скажем, Мюнхенского университета. Но что мог о нем сказать француз, и не какой-нибудь, а, наверно, именитый, и не когда-нибудь, а именно сейчас, в лето 1937 года, мне было совсем не ясно. Я сидел и слушал, а дед смотрел на меня и ничего не понимал. Он зевнул раз, зевнул другой, потом слегка тронул меня за плечо («Брось ты эту музыку»). Тогда я подошел к шкафу, вынул оттуда флакон спирту и поставил деду. Дед посмотрел на меня и покачал головой.

— Один не пью,— сказал он строго.— И ты меня в алкоголика, пожалуйста, не воспроизводи — раз подносишь, то и сам пей.

— Пью, пью,— сказал я и налил себе полстакана.

— Вот это другое дело,— похвалил меня дед.— Это нормально! — Он поднес стакан ко рту и вдруг закричал и замахал:— Что? Неразбавленный? Эх, образованный человек, а такую глупость творишь! Об этом же упреждать нужно, а то всю глотку сорвать можно. У нас тут один плотник глотнул, а потом три дня сипел. А мог и совсем задохнуться. Ну, мне ты налил, а себе что?

— Я сейчас выпью,— ответил я и взял стакан.

— На-ка вот, разбавь! — И дед налил мне полную крышку от кувшина.

— Перевод времени,— ответил я.

И тут мы оба усмехнулись, переглянулись, сблизили стаканы, чокнулись и выпили разом.

— Ладно, дед,— сказал я,— давай еще по одной.

Он несмело и нерешительно посмотрел на меня.

— А не повредит? — спросил он осторожно.— Завтра к тебе директор собирается с утра. Ну, как он тебе?..

— Ничего,— ответил я.— Директор — человек.

— Человек-то человек,— согласился дед.— Вот видишь, приемник тебе прислал, пусть, говорит, хранитель сидит слушает, может, и мне что расскажет. Ну вот что ты сидишь слушаешь? — продолжал дед очень ласково.— Француза ты этого все слушаешь, да? Ну что он такое говорит? К войне что-нибудь относящееся?

Я кивнул головой. Шла французская лекция о Ницше. А когда француз, прямо-таки захлебываясь от восторга, говорит в 1937 году о Ницше — это, конечно, что-то прямо относящееся к войне.

Повторяю, я слушал только потому, что говорил француз. Немца я бы слушать не стал. Но вот то, что француз — любезнейший, обаятельнейший, с отлично поставленной дикцией, с голосом гибким и певучим (как, например, тонко звучали в нем и веселый смех, и косая усмешечка, и печальное светлое раздумье, и скорбное, чуть презрительное всепонимание), — так вот что этот самый французский оратор, еще, чего доброго, член академии или писатель-эссеист, не говорит, прямо-таки заливаясь, закатывая глаза, о Ницше, что все это, повторяю опять и опять, происходит летом 1937 года, — вот это было по-настоящему и любопытно, значительно и даже страшновато. Но сколько я ни слушал, ничего особенного поймать не мог. Шла обыкновенная болтовня, и до гитлеровских вывертов, выводов и обобщений было еще очень далеко. И вдруг я уловил что-то очень мне знакомое — речь пошла о мече и огне. Правда, все это — огонь и меч — было еще не посылка и не выводы, а попросту художественный строй речи — эпитеты и сравнения. Но я уже понимал что к чему. Дюрер, сказал француз, в одной из своих гравюр изобразил Бога-Слово на троне. Из уст его исходит огненный меч — вот таким мечом и было слово Ницше. Он шел по этому миру скверны и немощи, как меч и пламя. Он был великим дезинфектором, ибо ненавидел все уродливое, страдающее, болезненное и злое, ибо знал — уродство и есть зло. В этом и заключалась его любовь к людям.

И тут сладкозвучный голос в приемничке вдруг поднялся до высшего предела и зарыдал.

— «Так послушайте же молитву Ницше, — крикнул француз. — Послушайте, и вы поймете, до какой истеричной любви к людям может дойти человеческое сердце, посвятившее себя исканию истины. Что может быть для философа дороже разума, а вот о чем молит Ницше: «Пошлите мне, небеса, безумия! Пошлите мне бред и судороги! Внезапный свет и внезапную тьму! Такой холод и такой жар, которые не испытал никто! Пытайте меня страхом и призраками. Пусть я ползаю на брюхе, как скотина, но дайте мне поверить в свои силы! Но докажите мне, что вы приблизили меня к себе! Но нет, при чем тут вы? Одно безумье может доказать мне это!»

Голос, взлетевший вверх до крика, стал все понижаться и понижаться, дошел до шепота и оборвался. Наступила тишина. Приемник гудел и молчал. Я сидел затаив дыхание.

Дед вдруг поднял бурые веки и зевнул.

— Ну все, что ли? — спросил он.

— «Слышите ли? — взвизгнул приемник. — Слышите ли вы, люди, эту мольбу? Из-за вас мудрец отказывается от своего разума. Вы слышите, как бьется его живое обнаженное сердце. Еще секунда — и оно разлетится на части...»

Снова наступило молчание, и потом голос сказал печально и обыденно:

— «И бог услышал его просьбу — он сошел с ума».

— Ну, на сегодня хватит, — сказал я и выключил приемник.

Дед открыл глаза и спросил то, о чем он думал все это время:

— Ну вот, ты на нее обижаешься. Она, конечно, дрянь, я это сознаю, но, так сказать, она что? Сама по себе, что ли?

Мне опять стало скучно, и я махнул рукой.

— Ты копай твои камни, и все,— сказал дед сурово. Он протянул руку, взял спичечную коробку и открыл ее.— Это что же, того самого... Ав-ре-ли-яна?

— Его самого,— ответил я.

Дед положил монету на ладонь и стал ее вертеть. Я вынул из стола складную лупу и подал ему. Он взял лупу и долго смотрел через нее на монету, а потом спросил:

— Кто же он был? Император? Вроде Пилата Понтийского?

— Здравствуйте,— засмеялся я.— А еще две зимы в приходское бегал. Пилат-то разве император?

— А кто же он? — высокомерно усмехнулся дед.— Как в «Верую»-то читается: «И распятого за ны при Пилате Понтийском». Как же не император? Ну энтот, правда, более на Ирода Скрижоцкого смахивает. Вон у него какой колпак с шишкой на голове. Так что, правда он сюда из Рима приходил нас покорять или это еще не доподлинно?

— Не доподлинно, дед,— ответил я.— Скорее всего, что нет. Но, однако же, монета попала к нам как-то в огородах. Это ведь тоже неспроста — значит, верно, длинные руки у него были, если он и сюда дотянулся. Вот в этом я и хочу разобраться.

— Ну, ну, разбирайся! — сказал дед и встал.— Разбирайся, разбирайся, а я пойду вздремну. Что-то размаривает меня.

Он ушел, а я остановился около книжной полки (она висела у меня над кроватью, струганая сосновая дощечка на веревочке), снял книжку и стал ее листать. Все время, после того как из Эрмитажа пришло письмо о том, что античная монета, выкопанная в огороде за Алма-Атинкой,— динарий Аврелиана, я рылся во всех библиотеках и искал что-нибудь об этом императоре. Но материала попадалось обидно мало. Уж слишком, наверное, хорошо в те времена умели расправляться с историками и историями. В толстенном словаре классической древности Люббеккера я отыскал только несколько ссылок на классиков. Но все они были недостоверными или недостаточными. Из источников указывались Зосима, Евсевий, Аврелий Виктор и наконец таинственный странный сборник «императорских биографий», подписанный шестью совершенно неизвестными именами. Вот эти «биографии» я сейчас и листал. В нашей крошечной библиотеке нашелся старинный русский перевод их, добротный и дубовый, выпущенный еще при Екатерине. Был он весь из периодов — этаких широких пышных фраз, похожих на деревянные триумфальные арки тех времен. Одолевать его было почти физически тяжело. Через час я уже откидывал книгу. Но дело было не только, конечно, в переводе. Непонятен был и сам император. Чтобы уяснить себе в нем хоть что-нибудь, я разграфил лист бумаги надвое и стал записывать на лево одни его качества и поступки, а направо другие, им противоположные. И вот что у меня под конец получилось. (Пользуюсь новым переводом — старого, 1776 года, у меня сейчас нет.)

Левый столбец:

«Аврелиан вернул мир снова под власть Рима».

«Ябедников и доносчиков он преследовал с необычайной строгостью». (Ура, Аврелиан!)

«При нем была объявлена амнистия государственным преступникам». (Ура, Аврелиан!)

Он был справедлив. Вот что он писал своему главнокомандующему:

«Если ты хочешь быть трибуном и даже больше, если ты хочешь просто быть живым,— удерживай руки солдат!.. Пусть всякий солдат довольствуется своим пайком».

Он любил и блюл своих солдат.

«Пусть оружие их будет вычищено, обувь прочна. Пусть старую одежду сменяет новая».

«Пусть один из них служит другому, как господину, но пусть никто из них не служит, как раб».

Он был не просто великодушен, он, когда надо, был еще изобретательно-великодушен.

«Дойдя до Тианы и найдя ее ворота запертыми, он, говорят, во гневе воскликнул: «Собаки я живой не оставлю в городе!» А взяв город, приказал: «Я объявил про собак. Убивайте же их всех!»

Он был великим государем и полководцем.

«Только при правлении Аврелиана, одержавшего победу во всем мире, наше государство было нам возвращено»,— сказал над трупом императора его преемник.

Таков левый столбец.

А вот правый, с ним одновременный:

«Он отличался такой жестокостью, что выдвигал против многих вымышленные обвинения в заговоре, чтоб получить легкую возможность их казнить».

«Были убиты даже некоторые из самых именитых на основании легковесных обвинений, исходивших от единственного свидетеля, притом ненадежного и ничтожного».

Но он был не только жесток, он был еще и суеверно-жесток.

«Велите мальчикам,— приказывал он сенату,— во время военных застоев и неудач исполнять песнь».

И мальчики пели:

Многие лета, многие лета многих перебившему,
столько и вина не выпить, сколько крови пролил он.

Он не верил никому и пал от руки убийцы, потому что пришло наконец такое время.

«Великий бедностью», он тратил непомерные деньги на строительство грандиозных храмов и роскошных зданий. И до сих пор показывают около Рима мертвые со дня рождения стены Аврелиана.

Он уничтожал перебежчиков, без которых не мог бы победить, ибо «кто не пощадил родину, не сохранит верность и мне».

Он был первым, кто назвал себя богом: «не только в надписях, но и на монетах его имеются слова *Deus et Dominus*» (богу и хозяину).

Таков второй столбец.

Долгое время после того, как я отошел от этой темы, мне казалось, что только этими двумя листиками, разграфленными посередине, и кончилось мое раздумье. Но оказалось, что в то же время мной был испи-сан и еще листочек.

Вот он:

«В день своей кончины Август спросил пришедших к нему друзей, как они думают, хорошо ли он провел свою роль в комедии жизни, и продекламировал тут же заключительные стихи:

Так если нравится — рукоплещите
и с ликованьем проводите нас»,—

так рассказывает Светоний.

Надо сознаться: если это придумано, то очень здорово. Так он и должен был сказать. Это «ловкое и счастливое чудовище», «человек без

веры, стыда и чести» (Вольтер). Роль, комедия жизни... понравилась ли?.. Рукоплещите... А что же он мог придумать иначе? Главное свойство любого деспота, очевидно, и есть его страшная близорукость. Неисторичность его сознания, что ли? Он весь тютелька в тютельку уместается в рамку своей жизни. Видеть дальше своей могилы ему не дано.

...Я беру в руки монету. На ней погрудное изображение зрелого, сильного воина восточного типа с пышными и, наверное, очень жесткими усами. Черты лица четкие и резкие. На голове шлем. Царь и воин... («Царь Ирод»,— сказал дед.) Зачем он только приказал именовать себя еще и «Деосом»? Ну, пускай бы заставлял петь, а то «бог и хозяин»!

«Взвешен и найден слишком легким,— скажет старая весовщица Фемида своей сестре — музе истории Клио.— Возьми, коллега, его себе — его вполне хватит на десяток кандидатских работ».

— Хм, спит. Он спит. Сукин сын, где же у тебя дисциплина? — Директор сдернул с меня одеяло.

Я вскочил на ноги, было уже светло. Горел свет. Приемник орал всю.

— А Корнилов-то,— продолжал директор,— смотри, какой мусор в горах нашел.

Мусор этот лежал на тумбочке около моей головы на аккуратно растеленном чистом директорском платочке. Тут были круглый бронзовый обломок непонятого назначения, зеленый четырехугольный наконечник стрелы скифского типа, обломок костяной пластинки с какой-то резьбой и наконец небольшой черепок сосуда почти чисто оранжевого цвета. Его я и взял в руки прежде всего. Черепок был богато изукрашен. Узор состоял из трех поясов. В первом помещалось что-то очень кудрявое и незначительное. Во втором — ряд широких солнечных дисков. В третьем — точно такие же солнечные диски, но поменьше, на стебельке и под иным углом. Смысл узора был ясен. Верхний рисунок изображал бога, нижний — цветок, ему посвященный, скорее всего, полевою ромашку — поповник. находка была примечательная. Таких еще не попадалось. Никто из древних обитателей этих холмов — ни усунь, ни саки, ни кара-катаи не знали ничего подобного. Впрочем, сосуд мог быть привезен, скажем, из Согдианы, то есть территории нынешнего Таджикистана (тогда становился понятным и солнечный диск: согдийцы же солнцепоклонники). Мог он наконец восходить и к эпохе Ахеменидов. Но это была бы уж такая незапамятная древность, с которой мы еще здесь и не встречались.

— И все это он в одном месте нашел? — спросил я.

— А вот читай,— усмехнулся директор и сунул мне в руки лист из блокнота.

Корнилов писал: «Посылаю вам свой первый, пока еще не очень значительный улов. Покажите хранителю, он сразу поймет что к чему. («Что, понял что к чему?» — спросил директор.) Несомненно, нами обнаружено мощное жилище птяно, расположенное на территории колхоза «Горный гигант». Что же оно такое: город, поселение, крепость или перевалочный пункт — выяснится позднее при планомерных раскопках. Все присланное обнаружено нами на протяжении двух метров, в профиле дорожного холма. Грунт мягкий, глинистый, легко поддающийся кайлу и лопате».

Я положил бумагу на стол и сказал:

— Кайлу и лопате. Вы представляете, что он там натворил?

— Да я уж об этом думал,— поморщился директор.— Ну что ж,

будем производить раскопки, или пусть он еще там покайлит? Так вот ведь видишь, что он пишет: «...на протяжении двух метров». А ведь ему колхозники голову за эти метры отмотают. Он, дурак, дорогу разрушает.

— Надо будет по-настоящему копать,— сказал я.— Все, что он прислал, очень интересно. Будем вести разведочные раскопки. Открытый лист выправим после. Не полагается это. Да что там. Мы ведь не курган разрушаем, а просто в жилых слоях копаемся.

Директор серьезно посмотрел на меня и вдруг рассмеялся.

— Жилые слои,— повторил он с наслаждением.— Ах вы, археологи... Ладно, посмотрим.— Он кивнул головой на приемник.— Ну, а эту музыку-то ты слушал?

— Ой! — Я вскочил.— Вот свинья-то. Позабыл вас поблагодарить. Я ведь всю ночь сидел над ним.

— То-то ты и спишь в рабочее время,— сердито рассмеялся директор,— вот что значит в армии не служил. Там бы тебя...

Он подошел к окну и раскрыл его.

— Нет, конечно, что там смотреть? Надо копать, и все. Хоть в этом году по разделу экспедиции что-то освоим. А то ведь стыд и срам. Нам кредит отпускают, а мы обратно перебрасываем. Пишем: «Экспедиционные работы, за неимением сотрудников, проведены не были». А в ведомости-то — шестьдесят лбов. Ведь позор, хранитель, а?

— Позор,— ответил я.

— То-то, что позор,— устало вздохнул директор и снова подошел к приемнику.— Ну, так что ж ты сегодня услышал? Было что-нибудь стоящее?

— Было,— ответил я,— и очень даже стоящее. Лекция о Ницше.

Директор покрутил головой.

— Вот въелся он им в печенки. Как включишь Германию — так и он.

— Да это не Германия была,— ответил я.— Париж передавал.

— Да? — Директор даже приостановился.— Французам-то что больно надо? Они-то куда лезут?

Я не ответил.

— Слушай-ка, а вот можешь ты мне вот так, по-простому, без всяких мудрых слов, растолковать, что это такое? У нас тут один два часа говорил. Пока я слушал, все как будто понимал. А вышел на улицу — один туман в башке, и все. Человек, подчеловек, сверхчеловек, юберменш, унтерменш! Ну, хоть колом по голове бей, ничего я что-то не понял.— Он виновато улыбнулся и развел руками.— Ориентируй, брат, а?

— Плохо, если вы ничего не поняли,— сказал я.— Начать тут надо с самого философа — («Ну-ну!» — сказал директор), — с человека, который всего боялся — («Ну-ну», — повторил директор и сел.) — Головной боли боялся, зубной боли боялся, женщин боялся, с ними у него всегда случалось что-то непонятное, войны боялся до истерики, до визга. Пошел раз санитаром в госпиталь — подхватил дизентерию и еле-еле ноги унес. А ведь война-то была победоносная. А под конец... Вы помните премудрого пескаря?

— Ну еще бы,— усмехнулся директор,— «образ обывателя по Салтыкову-Щедрину»: жил — дрожал, умирал — дрожал, очень помню, так что?

— Так вот. Таким премудрым пескарем и прожил он последние годы. Просто ушел в себя, как пескарь, в нору — закрыл глаза и создал свой собственный мир. А вы помните, что снится в норе пескарю, что

он «вырос на целых пол-аршина и сам шук глотает». Кровожаднее и сильнее пескаря и рыбы в реке нет, стоит ему только зажмуриться. Беда, когда бессилье начнет показывать силу.

— Вот это ты верно говоришь,— сказал директор и вдруг засмеялся, что-то вспомнив.— Знаю, бывают такие сморчки. Посмотришь, в чем душа держится, плевром перешибешь, а рассердится — так весь и зайдется. Нет, это все, что ты сейчас говоришь,— верно это. Я это очень хорошо почувствовал. Но вот как ему, пескаришке, дохлой рыбешке, саженные шуки поверили? Им-то зачем вся эта музыка потребовалась? Для развязывания рук, что ли? Так у них они с рожденья не связаны. Сила-то на их стороне.

— Это у них сила-то? — усмехнулся я.— Какая же это сила? Это же бандитский хапок, налет, наглость, а не сила. Настоящая сила добра уж потому, что устойчива.

— Так, так,— директор усмехнулся и прошелся по комнате.— Значит, по-твоему, и у земляка этого самого Ницше — Адольфа Гитлера — не сила, а истерика? Ну, истерика-то истерикой, конечно, недаром он и в психушке сидел. Или это не он, а его друзья? Но и сила у него тоже такая, что не дай господи. Газеты наши, конечно, много путают и не договаривают. Но я-то знаю что почем. Если бы он нас, говорю, не боялся, то и Европы давно не было, а стоял бы какой-нибудь тысячелетний рейх с орлами на столбах. А ты видел, какие у них орлы? Разбойничьи! Плоские, узкокрылые, распластанные, как летучие мыши или морские коты. Вот что такое Адольф. А ты посмотри на его ребят. Те кадрики, что в нашей хронике иногда проскакивают. Все ведь они — один к одному, молодые, мордастые, плечистые, правофланговые. На черта им твой Ницше? Им Гитлер нужен. Потому что это он им райскую жизнь обещал. За твой и за мой счет обещал. А они видят — он не только обещает, но и делает. Союзники только воют да руками машут, а он головы рубит. Что же это — пескарь, по-твоему? Юродивый Ницше? Нет, брат, тут не той рыбкой запахло. Тигровые акулы? Что, есть такие? Есть, я читал где-то... Только нас он, говорю, и боится. Если бы не мы, то сейчас только бы одна Америка за океаном и осталась бы, да и то до следующего серьезного разговора, понял? — Он сел на стул, перевел дыхание и улыбнулся.— Вот так.

— Да я ведь не про него,— сказал я, сбитый с толку,— я про его учителя.

— И про учителя ты тоже не прав, учителей у него много: тут и Ницше и не Ницше, смотря кто ему потребуется.— Он открыл записную книжку.— Вот видишь, у меня полстраницы именами записано: граф Гобино, профессор Трейчке, профессор Клаач, Теодор Рузвельт — знаешь таких?

— Не всех,— сказал я.— Гобино знаю. Клаача тоже.

— Ну еще бы, еще бы тебе не знать,— усмехнулся директор.— Ты же хранитель. Ну, да не в них в конце концов дело. Будь он граф-разграф, профессор-распрофессор. Им всем вместе взятым — цена пятачок пучок. Твой Ницше хоть страдал, хоть с ума сходил и сошел все-таки. А те вот не страдали, с ума не сходили, а сидели у себя в фатерланде в кабинете да на машинках отстукивали. И никто никогда не думал, что они понадобятся для мокрого дела. А пришел Гитлер и сразу их всех из могилы выкопал да под ружье и поставил, потому что так, за здорово живешь, сказать человеку, что ты хам, а я твой господин, нельзя, нужна еще какая-то идея, нужно еще: «И вот именно исходя из этого — ты-то хам, а я-то твой господин! Ты зайчик, а я твой капкан», — знаешь, кто так говорит?

— Нет.

— Уголовный мир так говорит. Ну, блатные, блатные, воры, теперь бандиты, знаешь какие? Они и в подворотнях грабят с идеологией. Не важно, какая она. Спорить с ней ты все равно не будешь. Если у меня финка, а у тебя тросточка, то какие споры? Я всегда прав. Бери, скажешь, за ради Христа все, что надо, да отпусти душу. Твоя идеология, скажешь, взяла верх. Вот как бывает.

— На первых порах,— сказал я.

— И на первых, и на вторых, и на каких угодно порах, потому что, если взял он тебя за горло...

— Те-те-те...— рассмеялся я.— Так это ж называется брать на горло, а не за горло. Таких даже воры презирают. Потому что это не сила, а хапок. Это я еще лет двадцать пять назад очень понял. Отец мне объяснил, он и все эти вещи тонко понимал. Тогда еще, заметьте, понимал!

Директор посмотрел на меня и засмеялся. Он всегда очень хорошо смеялся: раскатисто, разлиvisto, весело — в общем, очень хорошо.

— Литератор, литератор,— сказал он.— Выдумал, наверно, про отца. Ну, если и выдумал, то тоже хорошо. Возможно, возможно, что ты в чем-то и прав. Конечно, сила — да не та, это так, но легче ли от этого — вот вопрос! Кто отец-то твой был? Мировой, или как его там? Посредник какой-то? Тогда еще какие-то посредники были?

— Нет,— сказал я,— посредники не там были. Мой отец был присяжным поверенным.

— То есть адвокатом? Хороший, наверное, адвокат был, умница... Что, давно умер? Ах, когда тебе десяти еще не было! Жаль, жаль, что умер. Знаешь, как теперь нам нужны вот такие именно адвокаты. Позарез нужны! Только бы мы их судьями в трибуналах сделали. А то как бы действительно не побили нам стекла. А знаешь, сколько у нас вдруг появилось охотников бить зеркала? Превеликое множество! Превеликое! Пока настоящая сила соберется, раскачается, придет — знаешь, сколько они науродуют? — Он помолчал, подумал и вдруг сказал совсем иным тоном — простым, будничным: — А ты вот этого не понимаешь, фырчишь... Ну что, понравился тебе Мирошников? Строгий мужчина.

Я сказал, что строгость-то еще не беда. Но вот он еще и ограничен, и туповат, и всех хочет учить.

— А именно чему он тебя учил? — спросил директор.

Я рассказал ему про разговор.

— Хм, да!..— сказал директор.— Ну, насчет портрета я ему сам позвоню, он действительно загнул... Зато во всем остальном...

— А что во всем остальном? — спросил я уग्रюмо.

Было совершенно ясно, что про это остальное он уже успел поговорить с Мирошниковым по телефону.

— А про все остальное так,— сказал директор твердо.— Вот я хочу тебе сказать, а там дело твое: не хочешь — не слушай. С кем ты только ни встретишься — обязательно скандал.

Я молчал и смотрел на него.

— Ну, а как же, считай,— он стал загибать пальцы,— в библиотеке неприятность, с массовой истерикой, от Родионова формальная жалоба, с органами — полный скандал, мне уже звонили оттуда, справлялись о тебе. Наверно, твоя благодетельница постаралась. Аюповой ты такое наговорил, что она во все инстанции катает. Хорошо, что мы тебя знаем, а то бы, пожалуй... Ну, а что ты у меня в кабинете орал, ты это помнишь?

— И что, зря я орал? — спросил я его.— Я не прав?

— В чем? — крикнул он.— В чем ты прав? В существе дела? Да, безусловно прав. Но именно в существе, а не в форме. Ну ты представ-

ляешь, что было бы, если бы тогда подошла Зоя Михайловна и встала за дверь? Тебе что, туда, к нашему завхозу захотелось?

Я молчал.

— Ну вот то-то, дорогой товарищ. Когда говоришь, надо отдавать себе отчет — что ты такое говоришь, когда ты это говоришь и кому говоришь. А ты сплошь да рядом...— Он махнул рукой и замолчал.

Молчал и я.

Он посмотрел на меня и вдруг улыбнулся.

— Ну хорошо, что хоть не споришь.— И потом: — Зла в тебе, дорогой товарищ, много, то есть не зла, конечно, а какой-то глупой предубежденности. Необъективный ты человек, хранитель, вот что. Ну вот хотя бы взять опять эту историю с Родионовым. А ведь он еще что-то обещает принести.

— Товарищ директор,— сказал я официально.— Ну вы поймите, я археолог, «хранитель древностей», как вы меня называете, я занимаюсь тем, что умею — клею горшки и пишу карточки. В политпросвете вашем — я ни в зуб. Что же касается Родионова, его планов...— И я нарочно замолчал.

— Ну, а что его планы,— вцепился в меня директор,— что, что? Ведь копаем же мы именно там, где он нам указал, зарываем, так сказать, казенные деньги в землю по его указанию.

— Да и не там зарываем,— ответил я.— Вы посмотрите карту. Я отобрал ее у Корнилова и привез сюда. «Копать тут». А где копать, когда там одни яблони и змеи...

— Да,— спохватился директор,— ведь тебе из редакции звонили, все насчет этого чертова змея. Ну что, есть он там или нет, ты проверил? И вообще что ты про него знаешь?

Я развел руками.

— Да, что-то не того,— согласился директор.— Я ведь звонил в горсовет и ничего не узнал. И знаешь, говорят, что ниоткуда удав не сбегал и нигде не появлялся, а тут совсем иная история.

— Какая же?

— А вот какая,— он подумал.— Ездил по клубам такая гопкомпания: директор — грузин; рыжий — штаны в крупную клетку — гипнотизер То-Рама; какая-то старуха в кисее — «умирающий лебедь». А гвоздь-то программы — «борьба с удавом». Понимаешь, сгружают с фургона гроб с запорами и дырками, и шесть человек его еле-еле несут в сарай — это удав. А на крышке плакат: удав давит быка — «смертельная схватка человека с гигантской рептилией». Ну, конечно, народ валом валит — у кассы давка, будку опрокидывают. А когда программа уже кончается, выходит директор и объявляет: «Борьба состояться не может, потому что удав заболел». Ну и все. Сбор-то в кассе!

— Ловко! — воскликнул я.

— А как же не ловко,— нам дай бог такое придумать. Но в одном колхозе стали просить, чтоб хоть показали этого удава. Обступили ящик — открывай, да и все... «Ладно,— говорит директор,— вечером покажем». А вечером после конца программы объявил: «Тому, кто сообщит, где находится гигантский удав, сбежавший из трупы эстрадного объединения, выплачивается награда в десять тысяч. Приметы: двадцать пять метров длины, глотает людей, валит деревья, душит домашний скот». Прыгает, скачет, давит, ползает, плавает, ну только-только что не пышет огнем. Будьте осторожны, берегитесь! Следите за детьми! И началась, понимаешь, паника: бабы из дома не выходят, то одного удав задушил, то другого, работы срываются, в результате доходит до органов — и те высылают уполномоченного. Тот приехал, располо-

жился в правлении и начал вызывать по одному. Труппа тикать. Так рассыпалась, что и следов не найдешь. Вот такая история, говорят, вышла.

Я засмеялся.

— Совершенно великолепная история. Так вот этот самый удав и появился в «Горном гиганте»?

Директор улыбнулся.

— А пес его знает какой, скорее всего, и никакого нет. Но вот это мне рассказали в горсовете. А в общем-то, дело по нашим временам совсем не смешное, раз органы заинтересовались... Это ты запомни.

Это я запомнил.

А между тем в музее шло полным ходом разрушение старой экспозиции, и этим опять командовала массовичка. Клара ей уже не помогала. Но все равно за день с помощью двух подсобных рабочих Зоя Михайловна успевала опустошать целый отдел и ходила победительницей. С ней разговаривали по телефону, ей давали указания, ее вызывали для собеседования. С моим отделом она уж и не связывалась — не до того было. Внезапно врагами оказались многие знаменитости казахской литературы: один был разоблачен как шпион, другой признался в том, что он агент немецкой разведки, третий же, как выяснило следствие, вообще замыслил отторгнуть Казахстан от Советского Союза в пользу Японии. Об этом третьем хочется сказать особо. Гром над его головой грянул совершенно неожиданно. Только-только по республике прошел его юбилей, окончились банкеты и приемы, отзвучали речи, отсверкали адреса, еще не были распроданы в киосках все его фотографии и брошюры с биографией, средние школы еще не успели оплатить его портреты художественным мастерским, — а он уже оказался врагом народа. А ведь был он не только крупнейшим писателем, но еще и революционером, и членом правительства, и основоположником советской власти в Казахстане: целые разделы самых разных экспозиций были посвящены у нас ему. И вот позвонили откуда-то и приказали снять все, где только есть его имя. И все сняли и куда-то спешно отправили, а затем последовали еще звонки — и полетели другие портреты.

Прошли быстрые, закрытые процессы, и мы собирались после конца занятий, чтобы требовать расстрела. Выступал директор и говорил страстно, правдиво и убежденно, а в чем дело — тоже сказать не мог. Как почти все, и я верил в очень многое, даже в эти процессы, но все чаще и чаще меня стала посещать юркая и трусливая мыслишка: «А что, если... А вдруг все-таки?..»

...Однажды, когда я сидел в столярке за верстаком, зазвонил внутренний телефон. Я поднял трубку и услышал голос директора.

— Как титан, кипит? — спросил он.

— Так точно, — ответил я голосом деда. — Титан кипит всюю!

— Ну хорошо, я приду за кипятком, — сказал директор.

Когда я через минуту с кипящим мельхиоровым чайником вошел в кабинет директора, за столом сидели трое: директор, старик кладовщик Родионов и Клара. Они рассматривали что-то маленькое, круглое, переходящее из рук в руки, какие-то монетки, что ли.

— А вот и он! — радостно воскликнул директор. — О, даже чайник принес. Вот это молодец! Так вот, Кларочка, сейчас я вам покажу, что у нас в Кара-Кумах называлось пограничной заваркой: берется крутой кипяток — (директор пощупал чайник: «Ничего, сойдет!»), — сыплется в него пригоршня черного, как он раньше звался, фамильного чая — (он достал цветастую жестянку — всю в пальмах, китайцах и цаплях, от-

крыл, отсыпал в ладонь добрую половину ее, потом посмотрел и прибавил еще щепотку),— ставится все это минут на пять на горячие угли.

Он подошел в углу к тумбочке, включил электрическую плитку и поставил на нее чайник.

В это время Клара и сунула мне в руки то, что они рассматривали. Это были кружочки желтого металла величиною с пятак.

— Что же это такое? — спросил я.

— Это ты нам должен объяснить, что это такое,— жизнерадостно крикнул директор из угла.— Вот мы, например, думаем все, что это золото, а ты как?

— Это вы принесли? — спросил я Родионова.

— Так точно-с,— поклонился он.— Рабочие с кирпичного дали. Нашли-с где-то...

— Где?

Он пожал плечами.

— Где-то на охоте были, там и нашли-с.

Донельзя меня взрывала его мягкость и обходительность, эти неожиданные шипящие «с», так и извивающиеся в его голосе. Но я ничего не сказал, только отошел к окну.

Директор вернулся к столу, поставил чайник и сказал:

— ...И маленькую-маленькую щепоточку соды для разварки. Вот такую!

— Ой,— сказала Клара, глядя на него с испугом.— Соды?!

— Крохотную, такую, что даже не заметите,— заверил директор.— Теперь можно пить.

Он вынул из нижнего ящика и поставил на стол две пиалы — одну себе, другую кладоискателю, потом достал непечатую пачку сахара и положил на стол.

— Ну, а вы, товарищи, здешние,— сказал он,— у вас чашечки должны быть свои, тащите их сюда. Кларочка, вы ведь за чашкой вверх пойдете? Так притащите мне Петьку, а то забрался он на свою верхотуру и никак его оттуда не достанешь. Так что же, это не золото, хранитель?

Я взял бляшку в руки. Да, может быть, и золото.

— Не знаю,— сказал я.— Надо попробовать. А так что скажешь? Видите, как они расплющены, их, наверно, под трамвай клали.

— Ладно, давай их сюда, проверим.— Директор собрал бляшки и бросил в ящик стола.— Теперь вот какое дело. Вот мы договорились с товарищем Родионовым, он опытный резчик, предлагает нам свои услуги в части разных художественных работ.

Я пожал плечами: а какое мне дело до его художественных работ, у меня резать нечего, у меня клеить надо.

— Работы мы его видели,— продолжал директор, с нажимом повышая голос и глядя на меня.— Вот я и думаю: неплохо было бы заказать в твой отдел две-три объемных диорамы. А-а! Вот и он, наш знаменитый электротехник, стащила его все-таки Клара с кумпола. Садись, Петр, это и тебя касается. Вот, Петр, мы хотим сделать несколько диорам, так надо будет продумать освещение — простое, эффективное и доступное для посетителей: нажал посетитель кнопку — и все загорелось, заблестело, задвигалось. Понимаешь?

— Понимаю,— уныло ответил Петька.— Что ж, там у Клары Фазулаевны лежат сотни две лампочек от фонарика «гном». Вот их и можно приспособить, только раскрасить надо.

— Ох, халтурщики, ох, лентяи,— страдальчески сморщился директор.— Да лампочку от фонарика я и сам ввинчу. Обмозговать это дело надо! Обмозговать со всех сторон, чтоб было просто и удивительно! Чтoб

народ ахал! Чтоб толпы стояли! Вот что нужно. Изобретатель ты таковский, понял?!

— Ну так что ж,— пробормотал Петька.— Можно. Вот у Клары Фазулаевны...

— Ой! Даже разговаривать не хочется! Так вот, товарищи,— ты и ты! — Директор ткнул пальцем в меня.— Обдумайте все это дело, чтобы все было как следует. А ты не морщись, не морщись, хранитель, это тебя больше всех касается. Почему? А вот потому! Очень просто — по-то-му! В твой отдел и зайти-то, по совести, неприятно. Что там у тебя есть? Черепок, да земли кусок, да битый горшок. Вот и все. А знаешь, что мы можем сделать? Товарищ Родионов, скажи ему, что мы можем сделать. Вот что вы мне сейчас предлагали, скажите ему.

— Охота на мамонтов, согласно академику Васнецову,— прогудел старик.

— Вот! — крикнул директор и ткнул в меня пальцем.— На заднем плане из ямы голова мамонта, хобот поднят, клыки торчат! А вокруг носятся люди в шкурах с дубинками. Понимаешь? И все это освещено заходящим солнцем.

— Можно сделать еще мастерскую топоров в пещере и вечный огонь,— сказала Клара.

— Молодец, Кларочка,— похвалил директор.— Поняли? Слышишь, хранитель? Пещера, в ней вечный огонь и сидит старуха, лепит горшок. Вот это панорама! А пламя от костра неровное, все время меняющееся, с дымом. Это, осветитель, уже твое дело, там у вас какие-то вращающиеся цилиндры, я слышал, есть. Вот и орудуй. Так, товарищи. Кто еще будет чай пить, пока не остыл? Кларочка, Петр, хранитель, товарищ Родионов? Кому чаю пограничной заварки? Никому? Ну, тогда пока расходимся.— Он подошел к старику и похлопал его по плечу.— А насчет раскопок еще поговорим. Вот хранитель мне все расскажет. Я его уже расспрошу. Ты не смотри, что он такой, он парень с головой.— Он подмигнул мне.— Корчаги, говоришь, пустые стоят? Пусть берет корчаги, нам все пригодится. А кроме того, у меня с вами еще один разговор имеется. Вы звякните-то мне сегодня по домашнему. Ведь надо еще и с колхозом поладить.

Однажды под вечер, когда я сидел на своей вышке и пыхтел над последними карточками и последними экспонатами, ко мне влетел Корнилов и рухнул в епископское кресло — одно из них я вырвал для себя.

— Что случилось? — испугался я.

Он отмахнулся, придвинул графин и выпил не отрываясь два стакана, потом обтер губы и стал жаловаться и ругаться. Жаловался он на то, что ввязался (или был втянут, так я хорошо его и не понял) в совершенно безнадежное, бесполезное и даже бездарное дело.

— Что мы с вами делаем в горах, землю копаем! Капусту сажаем! — обрушился он на меня.— Так не работают и не раскапывают. Ведь ничего нет, ничего: ни плана работ, ни сметы, ни штата, ни открытого листа. Черт его знает, кто работает, как работает и для чего работает. И спросить не с кого. Десять мужичков с базара с поденной оплатой — и весь штат. Захотели — пришли, захотели — ушли. Хищнический налет это, игра в казаки-разбойники, а не раскопки. Руководящей окаменелостью,— сказал он,— служат осколки старого горшка, и раскиданы они по всему колхозу, где разрыхлишь землю — там и они. Где же что искать? Крепость? Это не крепость, а просто старая кирпичная кладка, и лет ей не больше ста.

— А клады? — спросил я.

— Да что клады? Что вы мне все время толкуете про клады? — зарорал он на меня. — Кто нашел, тот нашел, а кто не нашел, так еще сто лет впустую прокопается — вот и все, спрашивать-то не с кого. И вообще, — закончил он вдруг с внезапной злобой, — долго ли будет научной работой республиканского музея командовать отставной комбриг! Это же вам не дивизия все-таки, дорогие друзья, а наука. Надо же знать край!

Все это было очень неприятно выслушивать, и у меня так и вертелся на языке вопрос: «Да тебя-то кто неволит? Не нравится — подай рапорт, слезай с гор и садись со мной писать карточки». Но я молчал и только слушал. Но вот это-то и раздражало его больше всего. Он вдруг ударил кулаком по мраморному столику и выкрикнул несколько негодующих фраз. Их можно было отнести и к директору, и ко мне, и к раскопкам, и к музею в целом, и вообще ко всему чему угодно. Он понял это, вдруг спохватился и оборвал себя на полуслове.

— Ну, ладно, — сказал я и подошел к шкафу. — А про это что вы скажете? — И поставил на стол коробку с бляшками.

Он хотел что-то ответить, но тут вошел дед-столяр. Карман брюк у него слегка отдувался, а сам он уже был навеселе.

— Ну, граждане ученые, — сказал он, опускаясь на шатучий железный стульчик. — Кончен бал, огни потухли, пора и вам по домам. Я внизу уже все закрыл.

— Вот что, дед, — сказал я, придумывая, как от него отделаться. — Шкаф-то, оказывается, не заперт, придется тебе за ключом сбегать, а то ведь золото тут, червонное.

— Да оставь, оставь тут, — сказал дед пренебрежительно. — Все цело будет. Кому они нужны, пятаки твои? В них и золота-то на гривенник.

— Нельзя, дед, — ответил я. — Драгоценный металл это, не положено.

— Драгоценный, — сказал дед насмешливо. — Вот у меня драгоценный металл в кармане, это да! — Он вынул из кармана бутылку и поставил на стол. — А закуска у тебя есть?

— Так вот эти бляшки, — сказал я, поворачиваясь к деду спиной и не замечая его пол-литра. — Вы их уж видели?

Корнилов кивнул головой.

— Показывал Родионов.

— Так, значит, находится где-то поблизости могильник, и, очевидно, богатый могильник, женский. Ведь все это части какого-то женского украшения.

Корнилов покосился на меня.

— Были, — проворчал он, — были частью украшения; раз эти штуки у вас на столе — значит, они были да сплыли. Сейчас на их месте пустая яма с косточками. Все остальное унесено.

— Это не факт, — сказал вдруг дед твердо, — унесли бы, так это не принесли бы. А раз они здесь, то, значит, верно Родионов говорит, что их где-то в ручейке подобрали.

Корнилов удивленно посмотрел на деда. Я рассмеялся. Дед вечно был в курсе всех наших дел. Он все видел, все слышал, все чуял. Даже когда Клара отлучалась ко мне, позабыв запереть шкаф со спиртом, дед уж был тут как тут, он стоял около шкафа, ворчал и орудовал. И склянка у него откуда-то появлялась, и воронку он находил тут же, и все у него было в аккурат.

— Вот дед правильно сказал, — засмеялся я, — логика у него железная: знали бы люди, откуда эти бляшки, не отдали бы их задарма первому встречному. Я тоже думаю — могильник этот не тронут.

— Так где же он, — быстро спросил Корнилов, — где? Скажите, так я сразу туда побегу с лопатой.

Я развел руками. Да где он — в этом все и дело!

— Ну, вот то-то и оно-то,— вздохнул Корнилов.— Эти клады, дорогой, заговоренные, в руки они так не даются.

Он вздохнул и взял бляшку в руки. И тут я увидел нечто очень странное. Длинные пальцы Корнилова вдруг сделались какими-то необычайно бережливыми, чувствительными, чуткими. Он действительно чувствовал всей кожей, всеми кожными сосочками кончиков пальцев. Он как бы просветил эту бляшку насквозь, выявил то, что было стерто временем, погибло под ударами молотка, казалось — исчезло навсегда. Его пальцы бегали, нащупывая незримые следы очертаний и рельеф рисунка, бляшка заговорила формой, весом, шлифом поверхности, своим химическим составом. Лицо его было по-прежнему неподвижно, хмуро, и только, пожалуй, выражение какой-то сосредоточенности, похожей на легкую задумчивость, вдруг появилось на нем. Я не мог отделаться от впечатления (и потом, когда я вспоминал, оно становилось еще сильнее и сильнее), что Корнилов чувствует незримую радиацию, звучание, разность температур, исходящую от этой крошечной пластинки. Наконец он положил ее на стол.

— Да, это очень любопытно,— сказал он.— И вы, вероятно, правы, это именно часть женского украшения. Может быть, такая бляшка нашивалась на одежду, как аппликация, а может...

И в это время погас свет.

— Здравствуйте пожалуйста! — сказал дед крепко.— А если б я сейчас пил?

— А что это? — воскликнул я.

— Да Петька со светом там,— сказал дед.— Набрал лампочек, выкрасил их, как дурачок, и вот сидит любитесь, пробки жжет. Сколько раз я ему говорил — одни смешки! Смешно дураку, что сумка на боку, идет и потирает. У тебя на чердаке сидит! Что, не знал разве? Уж неделю оттуда не слезает, приспособил там себе какой-то арегат из фанеры и сидит пережигает пробки. А ну-ка, пойдем посмотрим...

Петька у меня на чердаке! Ничего хорошего мне это, конечно, не сулило. Я нащупал дверцу шкафа, открыл ее, вынул две свечи, зажег их и сказал:

— Пойдем посмотрим.

Мы спустились вниз, вышли на улицу, вошли в другую дверь. Она вела в большое пустое помещение (все думали, что тут раньше работали просвирни), взобрались по пожарной лестнице на колокольню, там пролезли в большую дыру у стены, и, когда добрались до второй площадки лестницы, свет опять зажегся. Но на чердаке было темно, и в этой темноте горели огненные гирлянды, голубые созвездия, целые кучи вспыхивающих и погасающих огоньков. Они были всех цветов — синие, желтые, зеленые, фиолетовые, красные, оранжевые, и так много было их, этих мельчайших, ярко светящихся звездочек, точек и кружков, разбросанных по всем концам чердака от пола до крыши, что мне показалось, будто все помещение наполнилось роем летучих светлячков или фосфорических бабочек. Огоньки жили. Одни тухли, другие вспыхивали, электрическая дрожь пробегала по гирляндам, и все время, качаясь, вспыхивала и гасла большая рогатая ветка, свешивающаяся с потолка.

— Петя, ты что это делаешь? — крикнул я.

— Пробки жжет,— пробасил дед.

Светлячки разом мигнули, погасли. Наступила полная темнота, и вдруг зажегся яркий, ослепительно белый, какой-то наглый свет. Везде около потолка были ввинчены яркие лампы. Петька растерянно стоял посредине, вокруг были разбросаны банки красок, куски фанеры,

оторванные от посылочных ящиков и расчерченные во всех направлениях, провода, батарейки.

— Ты что тут делаешь, Петя? — повторил я.

Он сконфуженно усмехнулся и наконец объяснил:

— Да вот директор приказал. Для панорам лампочки привинчиваю.

— Так ведь у тебя мастерская есть, что ж ты сюда-то залез? — все еще не понимал я.

Петька молчал.

— Нет, верно, Петя, почему ты не у себя?

— Изобретатель, — презрительно проворчал дед.

А Корнилов только усмехнулся и покачал головой.

— Да там ко мне все люди ходят: то исправь, там посмотри, — сказал Петька виновато, отворачиваясь. — Директор говорит: не сиди там, работать не дадут. Посторонние ходят.

Корнилов вдруг молча повернулся и пошел к выходу.

Я догнал его уже внизу. Он прыгал через три ступеньки.

— Черт ее знает что, — сказал он, останавливаясь, — дед с водкой, Петька с лампочками, вы с этими бляшками, не музей, а цирк, и я с вами тоже, дурак, а законной бумажки от музея все нет и нет. Завтра председатель вызовет меня и надает по шее... Что тогда делать будем?

— Ничего, — сказал я. — Поезжайте к себе. Я завтра пойду к директору. С колхозом мы поладим быстро.

С колхозом мы поладили очень быстро. Нам даже не пришлось выправлять открытый лист. На другой же день бригадир Потапов прислал в музей отношение за подписью председателя: нам предоставлялось право копать, пролагать шурфы, снимать землю слоями — все это в округности на полкилометра, по обеим сторонам дорожного холма.

Директор достал откуда-то две брезентовые палатки, потом дед привез «титан» и водрузил его перед «станом». Корнилов набрал рабочих, и экспедиция задышала, запылила, заработала. Без всякого пока, правда, толку. Рабочих Корнилов набрал молодых, здоровых, они постоянно около палаток играли на гармошке, пели и смеялись. Я мог посещать экспедицию только в выходные дни. Все остальное время приходилось работать в музее. Мы готовились к новой экспозиции: надо было смонтировать, выставить и написать текстовки почти к пятистам экспонатам. Это была чертовская работа, проделывал я ее один. Корнилову было не до меня. У него все еще висело в воздухе. Директор никаких приказов об экспедиции не подписывал, а попросту распорядился отпустить под личную расписку какую-то сумму из статьи: «На приобретение экспонатов». Я несколько раз говорил ему, что это непорядок, но он только махал рукой.

— Ну пусть хоть что-нибудь найдет, — говорил он, — ну что-нибудь самое мало-мальское, понимаешь? Я ведь не прошу Венеру Милосскую или там меч Александра Македонского, ну хоть что-то, что-то...

Но прошло уже полмесяца, а Корнилов ровно ничего стоящего не находил: он носился по прилавкам, фотографировал холмы, снимал какие-то планы, иногда вдруг заявлялся ко мне, рылся в моих ящиках, картотеках, фототеке и, ничего не найдя, так же мгновенно пропадал, как и являлся. Я его понимал: он хотел копать без промаха. Ребята и старики водили Корнилова на место находки кладов. Он наносил их крестиками на карту, и под конец весь яблоневый сад стал выглядеть у него, как кладбище. Тогда он пришел ко мне, швырнул карту в угол, выругался и сказал: «Ничего не установишь! Где-то, кто-то, что-то, когда-то находил, а где и что — никто точно не знает, все говорят по-разному. Нет, это совершенно не археологический метод». Но и археологический метод

ничего хорошего Корнилову не давал. Во всяком случае, когда я приезжал к нему, то он мне показывал только осколки кувшинов, какие-то странные тесаные камни — не то древние точила, не то остатки жернова. Ему же обязательно хотелось найти улицы, дома, мастерские.

Директор качал головой и говорил: «Ох, и затянете вы меня в историю, я уже чувствую». Но приказа о прекращении работы не давал и денежных отчетов тоже не спрашивал. Может, просто потому, что было не до этого: оформлялся вводный отдел, и в нем находилось все, что полагается иметь «уголку безбожника» — языческие кресты, слезоточивая чудотворная икона, таблицы, история креста и происхождение человека, всемирный потоп в легендах и в действительности, портрет Галилея, а под ним место для большой диорамы.

В это время мне впервые сказали, что в музее появился собственный скульптор. Говорили, что это очень странный человек — маленький, горбатый, чахоточный, кудрявый. Он живет не в городе, а в большой станице и работает в артели «Художник» надомником — кажется, вырезает какие-то сувениры. Разыскал и привел его к нам Родионов. Директор поговорил с обоими, потом вызвал Клару и приказал выдать «нашему скульптору», как он пышно представил горбатого, материалы — бархат, шелк, слоновую кость и вообще обеспечить всем нужным.

— Я вас очень прошу, Кларочка,— сказал директор,— проследите, чтобы ни в чем не было недостатка. Два историка у нас, а толку от них...— И он махнул рукой.

Так передавал мне по крайней мере Петька, который присутствовал при этом разговоре. А однажды пришел ко мне директор и молча сунул черный конверт из-под фотобумаги. В конверте была пачка каких-то совершенно непонятных мне снимков: черный фон, а на нем лучи, лучики, какие-то полоски.

— Ты не то,— сказал директор,— ты заключение смотри.

Заключение лежало тут же. «Пробы присланного металла,— писал металлургический институт,— являются химически чистым золотом. Примеси незначительны и случайны. ...Примерное соотношение таково. Более точные цифры мог бы дать количественный анализ».

Я бросил заключение на стол.

— Значит, правда — золото. Это, конечно, очень интересно. Но все равно история с бляшками по-прежнему и темна и загадочна. Откуда они? Что они? Кто их нашел? Где? — Директор коротко развел руками.— Да вообще, честно говоря, не нравится мне все это. Очень то есть не нравится. Гуляет где-то золото. Сколько его? Что оно? Откуда оно? Ясно, что разрыт какой-то курган, а где что — неизвестно. Ну, как вот в таком случае поступать? Такие ведь истории должны быть предусмотрены. Что делать-то? В милицию, что ли, звонить?

Я пожал плечами.

Он помолчал, подумал.

— Ну, а твой что там делает? Нашупал хоть что-нибудь?

— Так скоро дело не делается,— ответил я.— Если в этом году мы хоть составим ориентировочную карту, то и это будет уже хорошо. Но вероятнее всего — город был именно там.

— Почему так думаешь? — быстро спросил директор.

— Место уж больно подходящее. Подход узкий, затрудненный. Трава. Вода. Река. Видимость прекрасная — если с цитадели смотреть, то верст на пятьдесят вокруг видно. Вот эти цитадели в первую очередь и нужно нашупать. Фундамент-то, вероятно, сохранился.

— Так, так.— Директор постукал пальцами по краю стола.— Так, так,— сидел, о чем-то подумал и сказал: — Цитадели! А вот мне Корнилов рассказывал, что есть где-то старинная такая запись: «Кошка

может бежать от города Тараза¹ до города Багдада по крышам и ни разу не коснуться земли». Правда, было так?

Я рассмеялся.

— Ну, вряд ли следует понимать эту несчастную кошку слишком уж буквально. Но то, что тысячу лет тому назад на месте этих степей и песков стояли цветущие города и села — это, конечно, так.

Директор грустно покачал головой.

— Да! А сейчас едешь-едешь трое суток — и ни-чего! Ну ничего! Одна раскаленная земля да белая травка на ней — все! Да ночью еще желтое зарево над землей: в солончаках казахи камыш жгут. И куда все ушло? Пески пожрали? Ветром дуло? Или, как вы говорите, климат изменился и жара все спалила, а? Что было-то?

— Люди были! — сказал я. — Нагрянули чужие люди, сожгли город, разрушили канал. Жителей — кого убили, кого увели, а кто сам убежал. И вот вода ушла, песок пришел, и все. Дело-то нехитрое.

— Да, простое, простое дело, — покачал головой директор. — То есть такое уж простое, что дальше и некуда. Пришли. Сожгли. Ушли. Вот и вся история этих мест за тысячу лет. Весь потаенный смысл ее, так сказать. — Он посидел, подумал. — Года два тому назад был в командировке в одном степном совхозе, по партийному делу ездил. Ну, ничего не скажешь. Тот совхоз! Благоустроенный, прибыльный... Степь, а везде сады-садоочки, зелень, школа-десятилетка, клуб двухэтажный. Директор — из коренного местного населения. Он за эту землю, знаешь, зубами держится. Вот однажды, уж перед самым моим отъездом, сели мы с ним выпивать. Ну, парторг пришел, дыню с пуд весом в мешке притащил, вина бутылки три. Сидим, разговариваем. Смотрю — стоит на шкафу голубая чашечка. Под солнцем так и светит, так и горит. А в двух местах, по краям и на боку, у нее аккуратные металлические скобочки. Подошел я, взял ее в руки, а хозяин и говорит: «Осторожно! Знаете, сколько этой чашечке лет? Тысяча». Ну, я теперь к твоим тысячам по привычке уж немного. Камню твоему — тыща, черепку — тыща, а белой акации — так все три, а тогда чуть не упал. «То есть как это, спрашиваю, тыща? Откуда же она?» — «Да отсюда же, — отвечает. — Ребята из земли вырыли, вон видите, лопатой задели краешек? Ведь тут у нас, где пахота да арыки, — огромный город стоит. Один из самых больших городов в Азии. Дворцы. Бани. Сады. Короче — город Отрар. В нем Тамерлан умер. Тогда его воины и город разрушили». Просто ведь?

— Да, — ответил я, — просто!

Директор подумал, вздохнул и сказал:

— Ну, ладно, ищите, ищите свою цитадель. Будем восстанавливать историю края. Мы же музей!

Раздался стук в дверь, и появился Потапов. Он был в извозчикьем брезентовом плаще и почему-то с кнутом в руке.

— Здравствуйте, — сказал он. — Можно?

— А, входи-входи, хозяин, — заулыбался директор. — Ты ж теперь наш хозяин, — продолжал он, усаживая Потапова на диван. — Ну, а то как же, у тебя молодые люди землю роют, только найти ничего не могут. А может, это только так, для отвода глаз? Может, они уж целый котелок золота там накопили?

— Они накопили, — заговорил Потапов, загораясь. — Они там ничего... — Но наткнулся на мой взгляд и осекся. — Они там ничего работают, — сказал он, спадая с тона. — Похаять не могу, ничего. А меня вот, — он полез за пазуху, — на весь Союз прописали.

¹ Теперь город Джамбул.

— Как так? — Мы оба вскочили с места.

Потапов торжественно вынул из кармана плаща сложенную вчетверо газету и протянул директору. Это был вчерашний номер «Казахстанской правды», который я еще не успел посмотреть.

— Ну-ка, ну-ка, — сказал директор. — Читай вслух, хранитель, а то у меня голова что-то...

Статья была напечатана на развороте и называлась «Гость из далекой Индии».

Когда я прочел заглавие, директор вдруг рассмеялся.

— Ох, интересно, — сказал он и потер руки, — читай-читай, хранитель. С чувством, с толком читай...

— «Еще с прошлой осени ходила по колхозу «Горный гигант» молва об этом по меньшей мере нежеланном госте. Кто-то видел его выползающим из большого омета, какие-то ребята в ужасе шарахнулись по домам, заприметив его, свернувшегося огромным клубком в нескольких шагах от дороги.

А недавно позвонили по телефону.

Видели в саду... Обвился вокруг толстого дерева, выбирает и вмиг проглатывает самые крупные спелые яблоки.

Бригадир колхоза Потапов рассказал:

— Шел я двадцать второго июля. Иду — ни под ноги себе не смотрю, ни в сторону не оглянусь, вдруг как что-то зашипит около меня. Глянул — и обмер. Чуть на хвост огромной змее не наступил. Ползла она через тропинку.

...Из себя черная. Длинной добрые четыре метра. А толста, как ствол средней яблони».

— Врет, — прохрипел Потапов. — Ничего этого я ему не расписывал. Четыре, не четыре — ничего не говорил! Говорил — громаднующая.

Я продолжал:

— «— Без памяти метнулся я назад, забрался в садовый балаган и целый час от испуга пошевеливаться не мог».

— Ай да герой! — крикнул директор в восторге. — Вот утешил так утешил. А говорит — при царизме полного Георгия имел.

— Да вранье, вранье, чистое вранье! — налился кровью Потапов. — Сам все из своей головы придумал.

— «— Белее стенки был, — подтверждает находившийся в то время в балагане колхозник Завалюев».

— Да ведь вранье же, вранье! — опять закричал Потапов.

Директор махнул рукой.

— Ладно... Читай-читай, хранитель, что дальше-то.

— «По словам Луценко, Завалюева и других, гигантскую змею видел не так давно Василий Гутов из той же бригады.

Сопоставив все эти факты и свидетельства многих лиц с участвовавшими в последнее время случаями исчезновения кроликов и кур...»

— Молодец заведующий фермой, — сказал я. — Кролики — это вещь.

— Особенно под водку, — кротко согласился примолкший Потапов.

— Вот что, Иван Семенович, — сказал директор вдруг строго. — Тут уж всякие шутки в сторону. Ты что, действительно в него стрелял?

Бригадир изумленно промолчал.

— Да ты видел его или нет?

— Ну вот, как вас, — ответил Потапов тихо. — Как вас — вот так же и его видел. Большой, черный, ползет по траве так, что лопухи дрожат. Это правильно, правильно, верьте.

— Верю, — ответил директор. — Раз так говоришь — значит, верю. Ну, значит, и все. И не бойся тогда ничего. Раз есть, так есть. Так всем и говори! А газетчика этого поймай где-нибудь да и...

Глава четвертая

Шли дни, и что-то очень странное начало происходить в музее. Я не сразу даже уловил, что же именно. Но как-то само собой получалось так, что все, что мы считали в своей работе главным: реконструкция отделов, сбор материалов по истории гражданской войны, раскопки и даже инвентаризация — все это вдруг отодвинулось куда-то в сторону. В «Горном гиганте» вот уж второй месяц сидел Корнилов и только каждую неделю приезжал к нам с отчетами, планами и рапортами; отчеты были неутешительны (опять те же черепки и наконечники стрел), рапорты же почти повторяли друг друга. Что же касается отдела гражданской войны, то еще весной позвонил мне составитель книги «Октябрь и гражданская война в Казахстане» и спросил, не хочу ли я написать очерк о... И тут он назвал фамилию одного из первых членов Верненского ревкома. В музее мы этого человека знали по фамилии и понаслышке. Ни в экспозицию, ни в текстовки к ним он не вошел. Нам это попросту не порекомендовали. (А впрочем, кто, кто не порекомендовал-то? — мы даже и этого не знали, были какие-то намеки, слухи, а проще говоря, было обыкновенное умалчивание, но оно и действовало вернее всего.) А человеком-то герой этот был интересным, одной из тех личностей, которые рождаются только во время войн, мятежей и революций.

Был он казахом с почти русской фамилией и русским (кажется, начальным) образованием. Документы обрисовывают его как смелого, безудержного и волевого человека. Деятелен был чрезвычайно, инициативен — вероятно, более чем нужно. Он исчез сейчас же после установления советской власти в Семиречье при обстоятельствах неясных и загадочных.

Я давно заинтересовался этим человеком и поэтому ответил, что написал бы о нем с удовольствием, но материал-то где мне взять? Кроме выписок из официальных документов да личного дела (листок!), у меня ничего нет. Так я и ответил составителю.

— Да вот поэтому я вам и звоню,— засмеялся он.— Мы ведь жену его обнаружили! Очень много интересного рассказывает, у нее даже и документы кое-какие сохранились. Так если желаете, я пришлю ее к вам, вы нам тогда и очерк напишете. Ну как же, как же! Крупная фигура, революционер, личный друг Куйбышева.

Я, конечно, согласился и что-то около недели просидел над этим делом: стенографировал, заказывал снимки, рылся в архивах, сверял документы, диктовал на машинку. Статья была сдана в редакцию, послана в типографию, а месяца через два мне позвонил тот же самый составитель и спросил: что ему делать с материалом, который я как-то занес в редакцию,— сам ли я к ним зайду или прислать мне его с курьером.

— А что такое,— спросил я,— разве вас в нем что-то не устроило?

— Да нет, не в том деле,— ответил он очень неохотно.— Вы что? В музее этого, так сказать, деятеля представили каким-нибудь материалом? Портрет его, что ли, у вас там висит?

Я ответил, что портрет у нас его не висит, да и материала нет, но все-таки никак не пойму...

— Ну чего там еще вы не поймете! — раздраженно сказал он в трубку.— Как маленький, ей-богу... В общем, приходите заберите все это.

И даже не повесил, а просто бросил трубку.

Я рассказал обо всем этом директору. Он слушал меня и все ходил и ходил по кабинету. Потом вдруг остановился посередине и сказал:

— А послал бы ты всех их знаешь куда?.. Только сам не ругайся. Ты

сделал, что тебе заказывали? Сделал! Точно все записал? Точно! От себя ничего не прибавил? Ну и отлично — давай нам всю статью. Я тебе как-нибудь оплачу.

А потом еще позвонил кому-то по телефону, сел, подумал, пожевал губами и спросил:

— А портрет его еще не висит?

Я покачал головой.

— Ну, и хорошо, подожди пока. Я еще поговорю кое с кем. А пока давай заниматься вводным отделом. Это сейчас наше самое большое дело. Ты знаешь, сколько я на него времени и денег трачу?

Да уж что говорить, и денег и времени на этот тихий, мирный отдел директор тратил не жалея — и отдел разрастался и расцветал все больше: работали художники, скульпторы, резчики по дереву, появились красочные табличы, бюсты антропоидов, макет пещерного медведя и макет саблезубого тигра. А однажды мне показали что-то совершенно необычайное. Позвонила мне Клара и попросила, чтобы я зашел к ней. Я спрятал свои таразские орнаменты (мы их фотографировали для Эрмитажа) и взбежал по лестнице в отдел хранения. Там было тихо, темно и прохладно, как и всегда. Клара дневного света здесь не терпела. Окна у нее были постоянно задрапированы коврами. «Свет — мой самый страшный враг, — говорила она, — он прожорливее моли». А жрать здесь, по совести говоря, было что: китайские акварели, легчайшие расписные ткани, персидские миниатюры («словно бабочки сказочных стран»), золотые византийские и каирские пергаменты.

Человек пять собралось вокруг китайского лакированного столика. Они что-то рассматривали. Горело несколько карманных фонарей.

— Вот и он, — сказал директор обрадованно. — Хочешь увидеть суд в подземелье? Тогда смотри.

Оказывается, фонарики освещали диораму. В ящик из-под посылки были вмещены готические своды, высокие стрельчатые окна с разноцветными стеклами, длинный стол под черным покрывалом и монахи за ним. На возвышении стоял пурпурный кардинал, а рядом внизу некто в колпаке и в черной маске. Два солдата в панцирях с алебардами вытянулись около двери, окованной железом. Все это окружало центральную фигуру. Безусловно, то был Галилей, наигалилейший Галилей из учебников физики для шестого класса. Те же известные всем большие, умные глаза, борода лопаточкой, сорочка с белым воротничком. Галилей гневно показывал рукой на потолок, а около ног его валялись кожаные фолианты. На верху ящика была металлическая дуга и в ней славянская надпись: «А все-таки она вертится. Г. Галилей».

— Ну как? — спросил директор. — Понравилось?

«А к чему нам это», — чуть не вырвалось у меня. Но Клара как-то по-особому посмотрела на меня, и поэтому я ответил:

— Что ж, хорошо. Конечно, только надпись бы сделать иным шрифтом — готическим, что ли.

— Я ее могу вытравить на стали, — сказал около меня какой-то мягкий и гибкий голос.

Я обернулся и увидел очень странного человека, того, о котором я столько уже слышал, почти мальчика — пиджак аккуратный и твердо отглаженный, мальчикового размера, тонкая, сильная рука с красивыми длинными пальцами. Голова у человечка была вся в мелких жестких кодрях — каждая куделька отдельно. А лицо маленькое, хрупкое, не то кошачье, не то хорьковое; когда мне говорили о нем, он мне почему-то представлялся совершенно иным — может быть, горбатым, может быть, уродливым, но мощным и широкогрудым, как Квазимодо, а сейчас передо мной стоял маленький человек — щуплый и тонкий.

— Это сочинения Галилея — его заставляют отречься от них, — любезно объяснил человек.

Меня все это начало здорово злить — что за балаган!

— Раз, два, три, шесть, — сосчитал я, — товарищ дорогой, да при ваших масштабах каждая такая книжка — это годовой комплект «Известий», а все вместе взятое — это примерно раз в сто больше, чем Галилей сумел опубликовать за всю жизнь.

— Ой, хранитель, — пропела Клара. — Да разве в этом дело?

— Экспонат должен быть нагляден, — изрекла массовичка.

— Да нет, хорошо, хорошо, пусть! — поспешно сказал еще кто-то.

— И потом цветные витражи тут ни при чем, — продолжал я. — Вот тот в маске — он что? Палач? Ну так как же он попал в собор? В таком одеянье? Вы же смешали два события — допрос Галилея и его отречение.

— Тогда стол можно снять, — согласился маленький человек ласково. — Но не пострадала бы наглядность.

— Безусловно, безусловно, она пострадает, — подхватила массовичка. — Экспонат должен воспитывать посетителя, он...

Она говорила с минуту. Директор дослушал ее, а потом обратился ко мне:

— Ну, говори, говори, хранитель, что еще?

Я махнул рукой.

— Клара Фазулаевна, вы как будто что-то... Нет, ничего? Так. Значит, голосуем: кто за приобретение этого экспоната? Единогласно. Значит, панораму мы берем с обязательством внести поправки. А поправки буду! вот такие, — обернулся он к человечку, — стекла оставьте, так, верно, красивее. А вот книги с пола уберите, уберите. Вы посмотрите, что получается. Ведь он библию топчет. Ну, раз толстенный томище в церкви — значит, библия. Помните «Спор о вере» в Третьяковке? Ведь точь-в-точь. И надпись другую, конечно, нужно. Напишите попросту, обыкновенными буквами. Ну, все, товарищи.

А проходя, он взял меня за локоть.

— Идем, надо поговорить.

В кабинете он сел в архиерейское кресло и спросил меня:

— Чем же ты недоволен?

— Ну, зачем это нам, — сказал я, — ну, зачем? Галилей вот этот, ну, зачем он? Что мы, планетарий, что ли? Ну, те книги, я понимаю, они подлинники, а это что?

Директор посмотрел на меня и засмеялся.

— Эх, брат, какой ты оказываешься... Значит, культурно-массовая работа для тебя уже окончательно ничего не значит? Ладно, вот подпиши-ка за председателя. — И он сунул мне акт.

Круглым почерком Клары было выведено:

«Закупочная комиссия в составе... собравшись... осмотрев панораму, изображающую исторический факт отречения Галилея, и оценив ее, постановила...»

Я зачеркнул «исторический факт», поставил «сцену» и подписался.

— Исторический факт! Ну, это-то зачем было писать? Купили и купили. «Изнемогая от мучений, от страшных пыток палачей, на акт позорный отречения уже согласен Галилей». Стишок Сысова из календаря Сытина. И надпись эта: «А все-таки она вертится». Ну к чему это? Ведь никакого «а все-таки» не было.

— Как? — удивленно поглядел на меня директор. — Как же не было? Что ты говоришь? Да разве он не восклицал?

— Вот, — сказал я тяжело. — Вот почему палкой надо гнать Ротаторов. Потому, что они внушают своим читателям, что великие люди только и делали, что восклицали: «Эврика!», «Святая простота!». Ну, как опер-

ные тенора. Да до этого ли им было, Митрофан Степаныч? Это же все Ротаторы придумали. А массовички распространили. Для наглядности. Эх, черт бы вас!

Директор рассмеялся и встал.

— Ну, ладно, ладно, иди и ты к своим кругам. Раз уж до Добрыни-Ротатора дошло — значит, вправду здорово разозлился. Экие вы, однако, литераторы. Ежи! Иди.

Договорок мы составили, подписали, и художник вдруг пропал. С неделю я о нем не помнил, а потом как-то спросил директора, что случилось с декоратором, не заболел ли. Набрал у меня книг и исчез.

Директор улыбнулся и ответил:

— Нет, он не заболел, а... Но ведь все это у тебя не очень спешно? Так ты потерпи, брат, с неделю. Я, понимаешь, ему одну работу поручил. Тут мы говорили на заседании горсовета, и мне одна мысль пришла.

Я посмотрел на директора. Он улыбался, но, видимо, был смущен.

— А что за работа, секрет? — спросил я.

Тут он засмеялся и отвернулся.

— Да какой секрет, так, одна мысль. Сам еще не знаю, что выйдет.

Я не стал его больше расспрашивать, а у Клары как-то спросил, где же ее художник.

— Разве он у вас не бывает? — спросила она. — А я его каждый день вижу. Он и сегодня приходил. Что ж вы молчите? Надо сказать директору.

— Да я говорил.

А на другой день, зайдя ко мне проститься (она уезжала с этнографической экспедицией университета), она вдруг сказала:

— А сегодня утром я пошла к директору, в кабинете его нет. Уборщица говорит: он в художественной мастерской, на колокольне. Поднялась на колокольню, дверь закрыта. Слышу голоса: он и директор. Стучала, стучала, так и не открыли мне. В чем дело?

— Тайна старой башни, — сказал я.

Она даже не рассмеялась.

— А вы видели, какие вчера у директора были брюки? На правой коленке бронзовое пятно в ладонь. Он все тер его авиабензином. Что-то строят они там.

— Да, но что, что?

Она ничего не ответила.

Понял я кое-что через неделю. Вдруг газеты заговорили о новой Алма-Ате, о том, что в каких-то московских знаменитых архитектурных мастерских выработан проект социалистического города у подножья Ала-Тау. Ротатор ахнул статью о набережной из красного гранита, в которой будет заперта «буйная и вольная Алма-Атинка», о парках, самых больших в Советском Союзе, о «величественном здании библиотеки», о том, что на месте бывшего пустыря (здесь стояли казачьи казармы) встанет могущественное куполообразное здание, — не то обсерватория, не то планетарий, не то художественная галерея Казахстана — мраморная юрта на сорок метров.

В следующем абзаце он уже писал о нашем музее, о том, что давным-давно пора ему вылезти из собора и повернуться лицом к современности. Собор ни Ротатора, ни директора не устраивал. Потом я узнал, что на этот счет директор имел уже несколько ответственных разговоров, что у него была какая-то встреча в верхах и какой-то разговор с Москвой. Но все это — и встречи, и разговоры — проходило где-то очень далеко от нас. Со мной директор ничем не делился. Почему — опять-таки не знаю. И только раз я увидел что-то из этой области. Директор позвал

меня к себе, запер дверь и развернул передо мной какой-то, как мне показалось, многокрасочный плакат, или рекламу, нарисованную на листе ватмана.

— Смотри,— сказал он,— узнавай.

Я стал смотреть и узнал наш парк, тот угол, который каждый день вижу из окна своей колокольни. Только теперь в аллеях появились пальмы, а на площади вдруг забил огромный бронзовый фонтан. Цвели нарциссы и ирисы. Пара красавцев — он и она — сидела, обнявшись, на лавочке. Но самое главное было здание музея. Это было что-то сверкающее, многооконное, какой-то призматический куб из стекла и стальных перекрытий. От множества окон здание это выглядело фестончатым, как крылья стрекозы. К нему примыкали какие-то галереи. По углам его стояли арки, а на самой крыше этого куба торчала башня с флагом.

— И вам не жалко собор? — спросил я.

Он удивленно поглядел на меня.

— Вот еще! Этот клоповник, поповскую пылесобирательницу эту жалеть? Да что ты...

Я промолчал. Что и говорить, все тут, очевидно, отвечало последнему слову строительной техники.

— А на крыше что? — спросил я.

Он рассмеялся.

— Что ж ты не узнал свой будущий археологический отдел? Вот там будешь сидеть со своими камнями, а мы с Кларой вот куда поместимся.— И он показал на огромные, как ворота, окна нижнего этажа.

И тогда зачастил в музей этот маленький, вежливо улыбающийся человек, но теперь он был непроницаем и замкнут, как и тот английский фибровый чемоданчик, который он постоянно таскал с собой. Со мной скульптор только раскланивался. Появлялся он всегда в самом конце дня, вежливо здоровался со всеми, потом останавливался перед кабинетом директора и деликатно стучал в кожаную архиерейскую дверь одним ноготком. Дверь перед ним открывалась тотчас же. Директор, усталый, распаренный, но большой и добрый, стоял на пороге и благодушно повторял: «Жду, жду, пожалуйста»,— и наклонялся, слегка обнимая его за плечи. Затем дверь закрывалась, скрипели стулья, что-то вынималось из чемоданчика и раскладывалось на столе, начинался разговор и какие-то обсуждения. Несколько раз, очевидно по телефонному звонку, к ним приходил и Добрыня-Ротатор, а иногда я слышал его могучий лекторский голос с великолепными вибрациями и переливами. Порой доносилась и какая-нибудь особенно мудрая фраза, афоризм, которому суждено стать пословицей в веках.

Например: когда я увидел в первый раз Исаакиевский собор, я сказал: «Да, это окаменевшая соната», или еще круче: «Вавилон погиб, потому что задумал дотянуться куполом до бога. Но наши флаги и вышки врежутся уже в пустое небо».

Потом эта же фраза в урезанном, конечно, варианте (без бога) появилась в газете «Социалистическая Алма-Ата».

— Да объясните же вы ему, дураку,— сказал я директору,— что столпотворение вавилонское и гибель Вавилона — два совершенно различных события.

Директор вдруг рассердился.

— Не придирайся, это тебе не археология. Поезжай-ка,— сказал он,— брат, лучше в горы, пора закругляться с раскопками.

Я плюнул и больше ничем и интересоваться не стал.

На другой день я уже был в горах.

Глава пятая

Неожиданно кончилось лето. Листья на березах истончились, стали прозрачно-золотистыми, похожими на пластинки слюды. Густой и частый осинник побагровел, поредел, и через него засквозил противоположный прилавок с соседней усадьбой (забор, ворота, зеленая крыша). Повеяло тонким и вязким ароматом, так пахла увядающая трава, тяжелые осенние цветы, омытые ночными дождями, осыпающиеся листья. Они и падали-то теперь по-осеннему — медленно кружась и порхая. Появилось повсюду очень много красного и желтого цвета. Если листья кленов светлели, желтели, истончались и становились почти светочувствительными, то кусты барбариса перед концом наливались багрянцем.

И, заметив осень раз, я стал ее уже находить всюду. Например, спускался я к Алма-Атинке, останавливался на камнях, стоял и смотрел, как она грохочет, крутится и шипит меж камней, и чувствовал всей кожей, какая это ледяная, обжигающая вода. Шел по каменистому песчаному косогору, сплошь заросшему осинником, дудками и аккуратными фестончатыми лопушками нежного лягушечьего цвета, и видел внизу и дно оврага, и сиреневые глыбы на этом дне. А раньше через листву ничего нельзя было разглядеть.

У нас было пять рабочих — два старика, трое молодых. И надо отдать им должное: работали они как черти. Так мы их купили своими байками окладах. Когда мы рассказывали им о Венере Милосской, о золотом саркофаге Тутанхамона, о сокровищах Елены Прекрасной, у них загорались глаза и они вскрикивали, качали головами и становились как пьяные. А однажды я рассказал о том, что лет пятьсот тому назад в Риме по Апиевой дороге откопали красавицу. Она лежала в гробу, но казалась живой. Румянец на щеках, тонкая нежная кожа, длинные ресницы, высокая девичья грудь. На ней был убор невесты. Красавицу перенесли в Ватикан и выставили напоказ. И вот началось паломничество. Приходили из самых дальних мест, и людей становилось все больше и больше. Ходили странные слухи. Женихи начали отказываться от невест и уходить на свидания к гробу. Кончилось все это тем, что по приказу папы гроб опять закопали в землю. Так вторично умерла красавица, пролежавшая полторы тысячи лет в земле.

Когда я кончил рассказывать, Потапов махнул рукой и сказал:

— Ну, спящая царевна. Даже книжка такая есть. «Пушки с берега палят, кораблю пристать велят».

— Да нет же,— сказал я,— это не сказка.

— А что же это такое? — спросил бригадир презрительно.— Форменная бабья прибаутка, и все.

А самый молодой из наших рабочих — высокий, белокурый, тонколицый, его звали Козлом — покачал головой и тихо спросил:

— И неужели это все было?

Я сказал: да, было. Красавицу эту видел человек верный и тут же записал все в тетрадку; ни одна из его записей, кажется, никогда не оспаривалась.

— Ведь надо же,— сказал парень, подавленно выслушав меня.— Ведь надо же. Так что же, она вроде как обмерла на тысячи лет или как? Ведь надо же,— повторил парень задумчиво.

— Ну вот ищи,— сказал Корнилов грубовато и насмешливо.— Здесь тоже где-то такая же красавица находится. Вот недавно от нее две чешуйки принесли. Значит, лежит где-то, тебя с лопатой дожидается.

И тут же все засмеялись. Так шуткой все и кончилось.

А на другой день к нам опять пришел бригадир Потапов. Он вообще навевывался к нам каждый день — то яблони оглядывал, то приходил смотреть, как косят траву, то где-то близко строилась баня и он приводил техника. А в этот раз он пришел без всякой нужды — через плечо мешок, в руках вилы.

— Ты что это, как водяной бог с фонтана? — сказал я.

Он как будто не расслышал моих слов, поздоровался, махнул фуражкой рабочим и спросил:

— Ну как, работы, дела? Еще бабу сонную не выкопали? Не там копаете, наверное, глаза вам отводят. Небось дирекция для себя ее сберегает. Здравствуй, профессор.

— Здравствуй, — ответил я. — Что, выпимши?

— А с чего же это я выпимший, — слегка обиделся он. — Я на май бываю выпимший, на Октябрьскую. — Он облокотился на вилы. — Так, значит, ничего нет? А здесь где-то должно быть золото, должно, это я точно знаю. Здесь при царизме, так за лето до войны, полный котелок с червонцами выкопали. Губернатор приезжал, осматривал, всем медали роздал, потом в газетах об этом писали. Золото Александра Македонского.

(Ну, опять этот проклятый Александр Македонский со своим золотом!)

Бригадир поговорил о золоте еще с минуту, потом встал и взял вилы.

— Вилы-то у тебя зачем? — спросил я.

Он хмуро улыбнулся.

— Значит, надо. — И ушел, ничего не объяснив.

И еще мне запомнился один разговор с ним, и не по содержанию запомнился, а по какой-то страшной нервности тона, по той внезапности, с которой начался этот разговор. Я сидел на корточках и щеточкой прочищал черепок. И вдруг бригадир подошел и тихо остановился сзади меня. Я обернулся и увидел его, он стоял, опершись на вилы.

— Здравствуйте, — сказал он печально. — Меня здесь никто не искал?

— Нет, — ответил я удивленно. — А что?

— Да нет, просто так спросил, — ответил он. — Отлучался я сегодня.

— С вилами-то отлучался? — спросил я.

Он усмехнулся, опустил вилы и сел со мной рядом.

— Что газеты-то пишут? — спросил он.

— Разное пишут. Тревожно в мире, нехорошо, — сказал я.

Он вздохнул, вынул из кармана черный резиновый картуз, раскрутил его, вынул папиросную бумагу, насыпал табаку и стал лепить папиросу.

— Только ее бы не было, окаянной, — сказал он. — Только бы уж не воевать!

— Боишься? — спросил я.

— Боюсь, — серьезно сознался он. — Не за себя, за детей боюсь. Мы что? Мы свое прожили. Плохо ли, хорошо ли, а спрашивать уже не с кого. А вот ребята-то, вот мой старший кончает техникум — значит, на следующий год ему в армию идти. А начнется война — сразу же его на фронт. А там не то вернешься, не то нет. А что он в жизни повидал? Мы хоть пожили свое, попили водочки, а он ведь ничего не видел, ну ничего! Вот брательник мой пропал, я его не жалею. Нет, совсем не жалею! Виноват не виноват, а он свое отжил. Если где и ошибался когда, то за это и заплатил.

Я вспомнил его рассказ про брата и спросил:

— А он ошибся?

— Он-то? — Потапов вдруг решительно встал и взял вилы. — Ладно! — сказал он грубо. — Ладно! Что тут попусту языком теперь трепать. Было — не было, на том свете разберут. Не было бы, так не

взяли бы.— И он выдернул из земли вилы, положил их на плечо и пошел от меня. Пока я смотрел ему вслед, ко мне подошел Корнилов.

— Что это он? — спросил Корнилов.

Я не ответил. Корнилов покачал головой и усмехнулся.

— Вилы зачем-то таскает с собой. Рабочие рассказывают: пошли вчера гулять с гармошкой, ну с бабами, конечно, а он по кустам крадется с вилами и топором, а через плечо мешок.

— А топор-то зачем? — спросил я.

— А вилы зачем? Шут его знает, зачем топор, небольшой такой, говорят. Не топор, а топорик, ну знаете, сучья обрубать.

— Странно,— сказал я,— очень странно...

И еще одно происшествие крепко мне запало в память. То есть само по себе оно ровно ничего не значило, так, мелочь, смешной анекдот. Но я его запомнил потому, что тогда я в последний раз увидел Потапова именно таким, каким он был в первый день нашей встречи в те часы, когда мы сидели под яблоней и толковали об археологии, саранче и судьбах мира.

Два дня до этого я провел в городе, возвратился рано утром на казенной машине и первое, что увидел, вылезая около правления, была спина Потапова. С лопатой через плечо он стремглав неся вверх по дороге.

— Иван Семенович,— крикнул я ему в спину,— подожди, милый человек, куда ты так разогнался, эй!

Он обернулся и зарычал.

— К дураку твоему бегу, дурак-то твой что натворил, он кости чумные раскопал! Там сто лет пропащий скот закапывали, а он всю эту заразу вытащил и скрозь, скрозь по саду разбросал. Вот если бабы узнают!

И побежал дальше. Я догнал его уже у самой ямы. Картина представила мне очень выразительная. Яма была большая, четырехугольная, полная до краев каким-то косточным крошевом. Рабочие молча стояли вокруг. Корнилов держал в руках кость. Рядом на траве лежала огромная куча костей — белых, желтых, черных. Потапов шпынял их сапогом и шипел:

— И чтоб сей минут, сей минут! Чтоб ни косточки! Ах ты ученый! — И с размаху вонзил лопату в эту груды.

Через час под яблонями уже ничего не осталось. И только раз Потапов оторвался от работы: это когда Корнилов вдруг швырнул заступ и, что-то бормоча, сердито пошел прочь.

— Ах, бежите! — загремел ему вслед Потапов.— Барин! Белые ручки напаскудили, а работать не хотят. Ах, барин!..

Но тут я его толкнул, и он замолчал.

— А он у нас точный барин,— сказал молодой парень.— Работать никак не любит, только показывает, где копать. Вот они,— он показал на меня,— сразу видно, без дела сидеть не будут, а наш ученый...

И тут Потапов мне рассказал, что же произошло. Он выделил Корнилову дополнительно для каких-то особых работ по его просьбе еще пятерых парней. Корнилов привел их в сад и приказал раскапывать тот самый холм, что старик пометил стрелкой: «Копать тут!», а сам ушел пить чай в колхозную столовую. В этот день ничего не выкопали, а наутро в сторожку Корнилова ворвались два парня, и у одного в руках были сухие гурьи рога, а у другого обломок древнего глиняного светильника. Оказывается, срыв холм, землекопы наткнулись на кости. Эти турьи рога и светильник лежали сверху. Корнилов, который лежал на топчане в одних трусах и майке, вскочил и, как был, пронесся к месту раскопки. Яма почти до самых краев была полна костным крошевом:

рога, лопатки, позвонки, ребра, черепа — овцы, лошади, свиньи. Увидев свиной череп, Корнилов схватил его и, поднимая над всеми, как фонарь, заорал:

— Доисламский период, друзья! Саманиды. Десятый век! Копайте дальше! Ура!

— Вот ведь какой дурак!.. — сказал Потапов, дойдя до этого «ура». — Золото он нашел!.. Да раньше, доведись у нас в станице... Эх, научники!

Он был так возмущен, что не мог ни одну фразу договорить до конца, только фыркал и махал рукой.

— Ладно. Иван Семенович, — сказал я мирно. — Ладно! Конечно, сейчас это нам ни к чему. Но вообще кость в раскопках — это вещь.

Он посмотрел на меня и усмехнулся.

— Вещь! Да я, знаешь, сколько этой вещи каждый месяц в город отвожу? Вагоны! И что-то никто не интересуется ими. А ведь те же самые: коза, овца, барашек. Так что же, не такая же кость? Интересно!

— Такая, да не такая, — ответил я. — Этим вот барашкам, что Корнилов открыл, может, тысяча лет. Понял?

Потапов усмехнулся и что-то поддал ногой.

— Вот тоже наука валяется, — сказал он и поднял с травы что-то черное и грязное, какой-то влажный ком земли. — Эй вы, артисты! Чего сразу разбросали? — крикнул он парням. — Куда теперь это девать?

— А что это такое? — спросил я.

— Чурка! — ответил он презрительно. — Столб тысячу лет назад тут стоял. Столб! На столбе мочала... — Он нагнулся, поднял чурку и размахнулся, чтоб пустить ее под откос.

— Стой! — сказал я, перехватывая его руку. — Дай-ка я посмотрю. Это был срез бревна — очень ровный, только слегка подгнивший по краям. Сердцевина же сохранилась полностью.

— Вот что, — сказал я. — Это я заберу. Пойду сейчас к реке и отмою.

— Иди, — сказал Потапов сердито. — Вещь! Иди! Мой! Вещь! Иди!

И пошел, сердито бормоча и размахивая руками. Но, дойдя до дороги, вдруг остановился и крикнул совсем иным тоном — ясным и добрым:

— Слышь! Отмоешь свою вещь, чай пить приходи! И своего чудачка-мученика приводи, а то он совсем отощал, пока тебя не было. Вещь! Ах ты!.. Вещь!

А для меня эта чурка и впрямь была самой настоящей вещью. Несколько лет тому назад мне в руки попала книга «Занимательная метеорология». Уж не помню, кто был ее автором, но одна глава заинтересовала меня чрезвычайно. Древесина, писалось в книжке, является очень точным документом, она свидетель всех земных и небесных сил, проявившихся за период роста дерева. Засухи, ливни, суховеи, большие пожары, слишком суровая зима, слишком жаркое лето, солнечные пятна, изменение климата, отход Гольфстрима, ледяная арктическая блокада (и такое было в жизни нашей планеты) — словом, все-все, что пережила земля и увидело небо, все это фиксируется и хранится в туго свернутой ленте годового кольца.

Помню, как тогда меня, ученика восьмого класса, поразила эта связь всего со всем. Я подумал: а может быть, это только начало, и гораздо более тонкие, непрослеживаемые нити соединяют космос и сосну, куст орешника и созвездие Ориона? Кто знает, какие затмения, северные сияния, прохождение кометы, вспышки новых звезд прочтут наши потомки по доске, скажем, старого шкафа, сташенного с чердака. Может, и все звездное небо зашифровано там! Я так был захвачен этим, что стал искать специальную литературу и узнал еще больше.

Я узнал, что кольца деревьев указывают на какую-то пульсацию климата, на какие-то циклы жизнедеятельности планеты, не совпадающие ни с периодом солнечной активности, ни с чем иным. Что-то неведомое случается с землей через каждые десять, через каждые тринадцать, тридцать пять лет, и все это складывается в мощный столетний цикл. Он тоже прослежен — узнал я — в течение трех с половиной тысячелетий на кольцах гигантской секвойи из Калифорнии.

Вот бы сделать такую таблицу и для наших широт!

Я носился с этой идеей целый месяц, а потом как-то забыл о ней и вспомнил только через десять лет. На чердаке музея хранилось несколько отличных спилов с тьянь-шаньских сосен. На одном из них было двести семьдесят пять годичных колец, другие были моложе, но тоже очень старые. Я поговорил об этом с директором, и он мне привел дендролога, совсем еще молодого человека, футболиста и баскетболиста, в майке и с жестким ежиком на голове.

Исходя из нашего материала, он составил сравнительную (судя по толщине колец) таблицу влажных и засушливых годов в районе города Алма-Ата за двести пятьдесят лет, и мы выставили ее в музей.

Однако дендролог не был доволен.

— Двести пятьдесят лет? Что это? — говорил он. — Современность! Вот если бы узнать, какой здесь был климат тысячу лет тому назад. Неужели в курганах ничего нельзя найти? Ведь бывают там какие-то деревянные подпорки...

Никаких подпорок в курганах, конечно, не бывает, но вот один отпил, и, может быть, даже именно тысячетлетней давности, все-таки оказался в моих руках.

Внизу у реки я тщательно отскреб чурку от грязи, промыл ее несколько раз и положил сушиться. А сам пошел по берегу смотреть валуны. Здесь их было превеликое множество; как будто целое стадо их — красных, зеленых, синих, аспидно-черных — приковыляло сюда с гор и, добравшись до песка, застыло в разных позах: кто повалился на бок, кто заполз под кусток, кто по колени зашел в реку, подставляя горбатую спину солнцу и ледяным брызгам. Один самый длинный черный валун с узкой хищной мордой поднялся на дыбы и замер так в нелепой позе, похожий на только что вылезшего из берлоги перезимовавшего медведя.

Вот около него через час с чуркой в руках и застал меня Корнилов. Посмотрев на меня, он засмеялся и легко сбежал по тропинке. На нем был белый костюм, плащ, переброшенный через плечо.

— Ну как Потапов? — спросил я.

Он засмеялся.

— А что Потапов? — ответил он. — Эти злые и нервные мужики, писал где-то Чехов, — удивительно верно подмечено! Удивительно! Вот и этот такой же: накричит, наплюется, а потом ходит и качает головой: «Эх, неладно получилось». Ведь это он меня за вами послал: «Хранитель обиделся, с чуркой на реку побежал». — Он засмеялся. — Нет, в самом деле, что за чурка-то?

Он наклонился, поднял ее и стал рассматривать.

— Но ведь нет на ней ничего, — сказал он удивленно. — Это попросту кусок гнилого бревна, и все! Зачем он вам?

Меня коробил его тон, но объясниться, конечно, было необходимо.

— Видите ли, — сказал я, — с этим связана одна проблема, которая меня когда-то очень интересовала.

И в нескольких словах я изложил ее сущность: годовые слои, возможность получить картину температурного режима столетия, возможность сравнить ее с данными летописей и документов.

И говорил, он слушал меня и молчал. А потом вдруг пожал плечами и спросил:

— Господи, ну как это у вас все вмещается? Черепки, чурки, Хлудов, гражданская война... Господи, мне и с археологией-то одной и той не справиться... Копаем, копаем — и ничего нет. А вы... слои!

И он засмеялся.

И вдруг бригадир пропал. То он ходил, бухтел, рассказывал, поддразнивал, а тут вдруг как в тучку канул. Рабочие заметили это в первый же день.

И вечером, после работы, Корнилов сказал мне:

— В самом деле, что это с нашим Потаповым случилось? Сильно он задумываться в последнее время стал.

— Войны боится, — ответил я. — Насчет детей думает. Это сейчас бывает с людьми.

К Потапову я собрался вечером и пошел прямо через косогоры. Быстро темнело, и я засветил фонарик. Собирался дождь. На горизонте несколько раз вспыхивали бесшумные молнии. Тогда становились видными облака, дикие и обрывистые, как те кручи, мимо которых я шел. Вскоре сделалось уж так душно, что мне показалось, будто я заперт в узком и длинном сарае, накрытом мокрой ватой. Дождь должен был хлынуть вот-вот. Я остановился на краю обрыва и стал соображать, где же удобнее спуститься. Было уже так темно, что я не различал дороги. Чуть не коснувшись лица, мимо меня пролетела длинная и бесшумная, как кошка, ночная серая птица. И только я нащупал дорогу и начал спускаться, как внизу в кустах ответно зажегся другой фонарик. Я остановился и два раза описал рукой светящуюся дугу (глупее, конечно, ничего уж нельзя было придумать), и другой фонарик проделал то же самое. Затрещали ветки, и я увидел на фоне кустов, как при свете молнии внезапно появилась неподвижная белая фигура. На секунду мне сделалось вдруг очень неприятно. Но тут вдруг фигура засмеялась и голосом Софы сказала:

— Ну как хорошо, что я с вами встретилась. Ведь я заблудилась. Здравствуйте, дорогой. — Она протянула мне руку. — А Михаила Степановича вы здесь нигде не встречали?

— Нет, — сказал я.

— Вот незадача, вот незадача, — повторила она, глядя мне в лицо. — Понимаете, испортилась машина, и как-то безнадежно, как-то совсем испортилась. И вот пока он возился, я решила пойти пешком, да, видите, запуталась, никак не могу найти дорогу.

Дорога была рядом, только надо было спуститься. Я сказал ей об этом. Она опять засмеялась.

— Ну, значит, лешак водит, как говорил мой дед, — сказала она. — Вы знаете, мой дед замерз около стены своей усадьбы. Дошел до нее, уперся в стену спиной, сполз и замерз. — Она посмотрела на меня. — Он был помещик Якушев. Слышали таких?

— Ну как же, — воскликнул я. — Так вот вы из каких!

— Да-да, — сказала она, — да, я из таких! Старый дворянский род.

Тем временем мы уже спустились и сошли, вернее, прыгнули, на дорогу.

— Ну вот вы и на месте, — сказал я. — Но куда ж вы шли? К машине или... куда вас проводить?

— К Потапову, — сказала Софа. — Я хотела достать у него яблок для посылки.

— Ну вот смотрите, как хорошо! — воскликнул я. — И я к нему тоже. Он пропал куда-то, вот мы боимся, не случилось ли чего-нибудь.

Она поглядела на меня.

— А что же может с ним случиться? — спросила она осторожно и не сразу.

— Не заболел ли? — предположил я.

— Ах, не заболел ли! — воскликнула она. — Нет, не заболел. Сегодня Михаил Степанович встретил его в городе, там они и сговорились насчет яблок. — Она пошла и остановилась. — Знаете что, давайте спустимся на шоссе к машине, посмотрим, что там стряслось, может, он зря возится. Может, нужно просто поехать в город за помощью. Идемте-ка.

И, не дожидаясь моего согласия, она быстро пошла назад. И только мы сделали с ней несколько шагов, как из-за поворота вылетела длинная желтая машина, ширнула лиловым лучом по дороге, осветила нас, кусты барбариса на обочине и вдруг резко, с визгом остановилась. Из машины выскочил Михаил Степанович и бросился к нам. В кабине сидело еще два человека в серых военных плащах.

— Ну как, — спросила Софа, — все в порядке?

— Вроде, — уклончиво ответил Михаил Степанович, смотря на меня. — Откуда вы, прекрасное дитя?

— Встретились по дороге, — сказала Софа, — тоже шел к Потапову.

— Так я был там, — ответил Михаил Степанович, — Потапов в городе. «Когда же они тогда с ним сговаривались?» — подумал я, но ничего не спросил.

— А вам, кстати, в город не нужно? — спросил меня Михаил Степанович. — А то можем довести.

— Нет, — сказал я, — в город мы ездим только по выходным.

В кабине что-то произошло, зашевелился кто-то из военных и не то спросил, не то сказал что-то.

— Так мы вас довезем до вашего лагеря, — воскликнул Михаил Степанович, — садитесь, садитесь!

Не могли они меня довести до нашего лагеря, не было туда дороги, и они отлично знали это. Я стоял, не зная, что предпринять, — все было странно, очень странно.

— Поедьте, — ласково предложила, даже, скорее, попросила меня Софа и слегка дотронулась до моего плеча.

— Поедет, поедет, — весело повторил Михаил Степанович и взял меня за руку.

Мне стало вдруг очень не по себе. Черт знает что хотели от меня эти люди. Ясно было только одно: они совсем не то и не те, за кого себя выдают.

— Ну, прошу, — сказал Михаил Степанович уже без всякой улыбки.

В это время впереди нас мягко вспыхнули лиловым лучом фары и другая машина, черная и бесшумная, остановилась около нас. В ней никого не было, кроме шофера. Впрочем, не походил на шофера человек, сидящий за рулем. Был он маленький, очень тщедушный, с холодными серыми глазами и морщинами — две глубокие складки прорезали его лицо. Он мимолетно, но зорко взглянул на меня, потом молча перегнулся, протянул руку, отворил дверь кабины, тут я увидел, что под плащом на нем мундир.

— Садись, — кивнул он Софе.

И она сейчас же пошла к машине.

— Нет, ко мне, — приказал он, — а его в другую.

И тогда Михаил Степанович слегка подтолкнул меня, а один из военных подвинулся и освободил мне место.

— В тесноте, да не в обиде,— сказал он улыбаясь.— Едем!
И мы поехали.

Мы молчали. Михаил Степанович достал из кармана портсигар и протянул его мне. Я покачал головой.

— Тут недалеко,— успокоил он меня вполголоса.

Машина неслась по асфальтированному шоссе в город, но вдруг шофер осадил ее, повернул руль, и мы нырнули на боковую дорогу. Я знал про эту дорогу только то, что она ведет к зданию, расположенному на противоположном прилавке. Машина мчалась очень легко, дорога была асфальтирована, и свет фар опять вырывал аккуратные кусты по обочинам дороги. Какие-то сторожевые будочки, сторожевой грибок, поднятый шлагбаум, а около него лавочка и человек на ней в военной гимнастерке. Здесь машина сделала поворот и понеслась уже не вверх, а вниз. Мы въехали в широко открытые, большие деревянные ворота. Я увидел двор, усыпанный белым песком, и в глубине большую каменную дачу с застекленной террасой. Окна были освещены и плотно задрапированы.

Машина остановилась, завизжала проволока, и к машине не торопясь подошла и остановилась огромная серая собака, похожая на волка. Михаил Степанович обхватил ее за шею и сказал:

— Вылезайте.

Я вылез. Впереди меня очутился один из моих спутников. Он слегка дотронулся до моего плеча и сказал, показывая на дом:

— Пошли.

Тут я впервые увидел его лицо — светлые глаза, аккуратно зализанные волосы, тяжелые скулы. Второй мой спутник был высок, худощав, костист, осыпан золотыми веснушками, рыжеволос. И хотя на первого, плотно и крепко сбитого, он совсем не походил, ясно было, что оба они существа одной и той же породы, оба одинаково подтянуты, чисто вымыты, ухожены.

— Пройдемте,— пригласил или приказал мне первый.

Пошли. Он впереди, я за ним, рыжий сзади.

Он привел меня в большую комнату с завешенным окном, письменным столом около него и книжным шкафом в углу, выдвинул ящик стола, вынул оттуда кипу «Огонька», два-три номера «Вокруг света», положил все это на стол и вышел, плотно закрыв дверь и сказав: «Только одну минуточку». Я постоял, посмотрел, потом перегнулся через стол и поднял занавеску. Окно упиралось в забор и мощные ворота, заложённые бревном. Между забором и окном не было ничего — белый песок, и ни кустика, ни цветика. Я опустил занавеску, подошел к шкафу и стал рассматривать книги. Впрочем, книга была только одна: Большая Советская Энциклопедия в новешеньком зелено-красном переплете. И тут в комнату вошел Михаил Степанович.

— Ну как, нравится вам у нас? — спросил он радушно.— Ведь вы, наверно, по этой дороге никогда не забирались?

— Нет,— сказал я.

— Ну вот теперь поднялись и увидели, как живем! Садитесь, садитесь, пожалуйста, курите. Этот дом сейчас пустует. Здесь живут иногородние преподаватели Высшей пограничной школы, когда они к нам приезжают. Ведь и сама школа рядом. Я преподаю в ней международное право, а Софа — моя аспирантка. Я руковожу ее практикой.

— Ах вот как! — сказал я.

— Да, вот так. Да не стойте, садитесь. Вы же гость.— Он поглядел на меня и улыбнулся.— Тут ведь вот какое дело. Да стойте-ка, я сейчас принесу стул и приду — поговорим.

Он вышел, аккуратно притворив дверь за собой. Пришел он только минуты через полторы со стулом и портфелем.

— Тут вот какое дело,— продолжал он, ставя стул и садясь.— Тут довольно смешное дело. Вам Потапов про удава рассказывал?

— Да,— ответил я.

Он юмористически сморщился.

— И, наверное, вы еще и в газете что-нибудь читали про него?

— Читал.

— А видеть его не видели? Нет, конечно. Ну, а человека, который видел этого удава, вы встречали?

— Ну да, Потапов,— сказал я.— Он даже стрелял в него раз.

— Но промахнулся. Отлично! Запомним... А еще кто видел этого удава? Какие-то пионеры, которых так и не разыскали. Да? Пастушонек Петька, которому двенадцать лет и который, когда его стали расспрашивать, ничего путного рассказать не мог. Стрелял в кого-то дядя Потапов, а в кого — разглядеть не смог. А еще кто?

Я молчал.

— Вы понимаете, о чем я говорю?

— Да, откровенно говоря, нет,— ответил я.

— Да неужели нет? — удивился он.— Фантастика все это... Никакого удава в горах нет и никогда не было. Зоологи нас просто на смех подняли. Удав перезимовал в сугробах! Да это все равно, что сказать: у меня в подполье завелась щука.

— Постойте, постойте,— сказал я,— так, значит, Потапов врет?

— Значит, брешет наш Потапов как сивый мерин,— ответил мой собеседник ласково,— вводит, как говорится, в заблуждение общественное мнение и советскую печать.

Я молчал и смотрел на него.

— Вижу, вы все еще сомневаетесь,— покачал он головой,— тогда прочтите вот это. «Социалистическая Алма-Ата» за вчерашнее число.

Я взял газету. На верху страницы были изображены обезьяны, карабкающиеся по решетке, попугай на кольце, лев с гневно занесенным хвостом — и все это в окружении больших вертялых букв.

— Да читайте, читайте,— сказал Михаил Степанович.— Вслух читайте.

— «Уж много дней свежевыкрашенное здание на колхозном базаре привлекает к себе любопытных...» — прочитал я первые строчки и перевернул газету, чтоб посмотреть, когда она вышла.

— Номер сто шестнадцать от двадцать восьмого числа этого месяца,— услужливо подсказал Михаил Степанович.— Открылся новый зверинец: львы, тигры, крокодилы, страусы, удавы. А вы тут сидите в горах и ничего не знаете. Прочитайте вот тут отчеркнутое красным карандашом.

«Демонстрируя удава,— писала газета,— директор напомнил, что летом этого года в одной из алма-атинских газет появилось фантастическое сообщение о сбежавшем из зверинца удаве, будто поселившемся в садах колхоза и даже перезимовавшем в прошлую особенно суровую зиму. Тропический гость никак не может акклиматизироваться в Алма-Ате. Он погиб бы через несколько дней при нашем климате. Да вдобавок удав и не сбежал.

Вся история с удавом — выдумка досужего, не очень грамотного любителя желтеньких сенсаций».

— Да, но к чему ему все это? — вырвалось у меня.

— Вот,— удовлетворенно сказал Михаил Степанович.— Вот наконец-то вы задали совершенно дельный вопрос. К чему подняли весь этот шум? А шум поднят действительно не малый. В республиканской газе-

те — одна статья, в вечерней газете — другая. А затем эта история вынырнула за границей и появилась знаете где? В фашистской Германии. В газете «Фёлькишер беобахтер» опубликована большая статья о всей этой фантастике. Интересно?

— Чрезвычайно,— воскликнул я,— но все-таки до меня еще не полностью доходит, что все это значит.

— А надо, чтоб дошло, надо,— строго сказал Михаил Степанович.— Для вас это просто необходимо. Я пытался дать вам это понять, но вы... Давайте зададим себе вопрос: кто мутит воду, кто распускает слухи? Бригадир Потапов. Ну, а что из себя представляет этот Потапов, кто он такой, а?

Я молчал.

— Ну кто он такой — скажите?

— Бригадир шестой бригады,— ответил я.

— Точно! — обрадовался Михаил Степанович.— Бригадир шестой бригады колхоза «Горный гигант». Но это сейчас он бригадир, а кем он был раньше? Вот стали мы дознаваться и дознались. Оказывается, был он белоказак, участвовал в мятеже девятнадцатого года. Потом бежал из города Верного в Кульджу, то есть на китайскую границу. Доходит это до вас? Брат Потапова в прошлом году арестован и осужден за вредительство, он находился в связи с консулом одной из враждебных держав и получал задания от иностранной разведки. Во всем этом он сознался. Вот вам вторая и, так сказать, неожиданная сторона бригадира Потапова. Вы всего этого, конечно, не знали,— улыбнулся он.

— Про брата знал,— сказал я неожиданно для самого себя.

Он удивленно посмотрел на меня.

— Откуда же?

— Он рассказывал.

— Да? — Секунду Михаил Степанович молчал, а потом воскликнул:— Ловко! Вот подлец! Прет напролом! Ну, раз вам это уже известно, то и дальнейшее не удивит. Вот.— Он вынул из портфеля и положил передо мной почтовый конверт, адрес был напечатан на машинке.— Обратите внимание — обратного адреса нет. Так что сразу не поймешь что откуда.— Он вынул из конверта письмо, отпечатанное на машинке, подал его мне и сказал:— Читайте!

«Германская Империя.

Министерство иностранных дел
Консульский отдел

Уважаемый г. Потапов.

Обращаемся к вам по поручению Немецкого общества акклиматизации животных. Означенное общество, существующее с 1848 года и объединяющее виднейших ученых Германии, обратилось к нам с просьбой выяснить все обстоятельства, связанные с появлением удава в горах алма-тинского Ала-Тау. «Самый факт,— пишет нам секретарь общества проф. Фохт,— что столь теплолюбивое животное, каковым является удав, могло провести суровую континентальную зиму, заслуживает всяческого внимания и детального изучения». Он надеется, что вы поймете, какое значение для науки имеют наблюдения, подобные тем, которыми вы располагаете, и поэтому просит не отказать нам в информации. В случае получения подобных сведений президиум общества перешлет вам диплом почетного члена-корреспондента, дающий право на посещение всех заседаний, выставок и мероприятий общества. Адрес общества...

...Если это вас устроит больше, вы можете сноситься с нами прямо через Германское консульство.

С почтением...»

— Ну, что вы скажете? — спросил Михаил Степанович, когда я положил бумагу на стол.

— Оригинально.

— Оригинально, — вздохнул он. — Хорошо, если бы это было только оригинально. Теперь вспомните шум, который был поднят, статьи в газетах, это самое отношение, и вы поймете смысл и содержание следующей бумаги, которую я вам сейчас предъявлю. На этот раз она исходит от советского учреждения и советских людей. Бумага эта, конечно, строго секретная. Но уж если говорить, то говорить начистоту. Вот с этого места.

И он достал из портфеля другой конверт — большой, глянцевитый, без всяких надписей, вынул из него какую-то журнальную вырезку на немецком языке и отложил в сторону, потом бумагу, напечатанную на машинке, загнул ее начало и конец, дал мне и сказал:

— Читайте, доверять так доверять.

Я стал читать. Это были вопросы. Некоторые из них я запомнил. Вот примерное их содержание. Вопрос первый: прошлое бригадира Потапова, его политические убеждения. Вопрос второй: что именно могло заинтересовать фашистскую печать в сообщении об удаве, напечатанном в «Казхстанской правде» (перечислить все соображения). Вопрос третий: какую цель преследовала молодежная газета, пытаясь повторно опубликовать заметку на эту же тему. Кто является ее автором. Зачем потребовалось указывать на тайник (пещеру), находящийся в горах, в которой якобы мог пережить удав. Где находится этот тайник, обследован ли он органами государственной безопасности. Вопрос четвертый: есть ли какие-нибудь основания считать, что заметки эти являются кодированным сообщением фашистской разведки. Вопрос пятый: чем занимается археологическая экспедиция, работающая в районе мнимого появления удава. Какую роль в работе экспедиции играет археолог Корнилов, ранее репрессированный органами НКВД. Что вы можете сообщить о... (далее стояла моя фамилия).

Пока я читал, Михаил Степанович следил за мной глазами.

— Вот видите, и о вас тут! — сказал он, когда я дошел до последнего вопроса, и отобрал у меня бумагу. — Вы понимаете, — продолжал он, — что такие документы являются секретнейшими, в особенности для лиц, затронутых в этом документе. А я взял и показал этот документ вам. Вы учитываете, что это серьезнейшее служебное нарушение? Так как по-вашему, зачем я на него пошел, а?

Я пожал плечами.

— Но должна же быть причина! Не знаете? — Михаил Степанович не спускал с меня ясных, чуть насмешливых глаз. — Потому что доверяю я вам, вот почему. По-видимому, вся эта история с удавом — хитро задуманная диверсия.

Он снова улыбнулся, и это была какая-то особая улыбка — тонкая, загадочная, чуть высокомерная. И сам он как-то сразу и мгновенно изменился. Из радушного, веселого хозяина дома вдруг незримо превратился в почти официальное лицо. Не говорил уже, а приступал к допросу. Но голос его был по-прежнему тих, и смотрел он на меня, тонко улыбаясь. А у меня уже голова шла кругом.

— Слушайте, но зачем и кому это все нужно? — воскликнул я.

— Зачем шпионам нужно шпионить? — спросил он, тщательно подчеркивая свое удивление. — Ну, наверно, просто потому, что они шпионы. Другой причины нет. — И он спрятал оба конверта в портфель.

— Но если Потапов шпион, почему вы его не арестуете? — спросил я.

— Есть основания, — сказал он ласково. — Почему шпиона далеко не всегда берут сразу? Во всяком случае мы хотим вас предупредить. — Он

встал.— К Потапову не заходить! Если же встретите в горах, то держитесь с ним по-прежнему, но сразу же известите нас. Вот сюда придете! А теперь пошли обедать!

Домой я шел в обход, косогорами.

Уже наступило утро — холодноватое, ясное, с высоким небом и прозрачной далью. С вершины прилавок можно было охватить глазом верст десять. И впервые я увидел в это утро ту синеву, которой всегда в этих местах означает осень. Сизыми были склоны гор, поросшие лесом; сиреневыми — камни и глинистые обнажения оврагов; совсем синими — низ снежных шапок и заросли терновника. Чем дальше, тем этот цвет крепчал, наливался и где-то вверху переходил в фиолетовый и просто темный — летом его скрывала зелень, а осенью, когда все обнажалось, он становился основным фоном гор и сливался с небом. На этом фоне мерцали красные, оранжевые, золотые, светло-зеленые пятна. Стоило прищурить глаза — и предметы исчезали, а вся долина представлялась огромной мозаикой или панно из разноцветных камешков. Ночью прошел дождик, и пахло землей, мокрым щебнем и листьями.

Я шел по высокой росистой траве, нес узелок, и колени у меня уже были мокрые, а башмаки хлюпали. Но я думал только о бригадире Потапове. Теперь мне многое представлялось в ином виде: прежде всего то, что он сильно переменялся, таскается по целым дням в горах и перестал обращать внимание на колхозные дела. Вилы же и топор после сегодняшнего разговора приобрели в моих глазах совершенно особое значение. Хотя к чему они — я все-таки объяснить не мог. Непонятно казалось и все остальное: эта ночная встреча с Софой, шоссе на дорожку в гору, звание на горе, разговор в комнате с видом на заколоченный забор, неведомые и непонятные мне люди. Во всем этом было что-то и от настоящей тайны, и от чего-то совсем иного, раздутого, надуманного и несерьезного. Но ложь об удаве! Но статья в немецкой газете! Но письмо германского консула! Ведь все это действительно печаталось, писалось, существовало.

Я шел, думал... И вот уже стали видны наши палатки и даже потянуло речной свежестью. Вдруг кто-то сзади осторожно дотронулся до моего плеча. Я обернулся. Незнакомая девушка в красном платке стояла передо мной. На ней была блузка защитного цвета, узкая юбка и тапочки на босу ногу.

— Здравствуйтесь,— сказала девушка.

— Здравствуйтесь,— ответил я, с некоторым даже страхом оглядывая ее небольшую статную фигуру.

— Вы меня не знаете? — спросила она. Голос у нее был глубокий, грудной.

— Нет,— сказал я.— Но что-то как будто...

— Я племянница бригадира Потапова,— объяснила она.

— А-а,— засмеялся я.— Помню, помню. Это вы, вместо того чтобы работать, хохочете?

Она засмеялась.

— Ну вот, вспомнили. А меня за вами прислал дядя,— сказала она,— вы ему очень нужны.

— Бригадир Потапов? — воскликнул я.— Пойдемте, пойдемте.

И, честное слово, с меня сразу отлетели все раздумья, предположения и вопросы. Так все это не вязалось с ясным, солнечным утром, с открытым круглым лицом этой девушки, с беззаботностью тона, тем, что на груди ее был комсомольский значок, а на голове красная косынка. (Так в те годы на плакатах изображался комсомол.)

Я повернул было на дорогу, но она меня остановила.

— Не домой,— сказала она,— он вас в щель просит.

— А почему в щель? — снова насторожился я.

— Да тут близко,— успокоила она меня.

Знал я, что это близко. Я был даже несколько раз в этой щели. Боже мой, до чего там было сыро и темно! Огромные желтые камни цвета ржавой воды, каменные пещеры по склонам. Большие желтые, оранжевые, белые глыбы, продолговатые, как лошадиные черепа. Вот-вот и сам дракон пожалует из пещеры. И особенно тоскливо было глядеть на нависшие и набрякшие груды песка (они, кажется, могли ухнуть каждую секунду), на кустики осины с горькими зелеными побегами, на крошечные чахоточные березки. «Что ж там потребовалось Потапову?» — подумал я и вспомнил о тайнике.

Девушка шла впереди, перескакивая с камня на камень, нащупывая ногой невидные мне тропинки и уступы. И было видно, что в этих местах она как дома.

— Не упадите! — крикнула она мне, когда под ногой у меня обвалился камень и я было поехал под откос.

— Держите меня за плечи,— приказала она в другой раз, когда мы стали спускаться.

Потапова я увидел сразу. Он сидел на большой глыбине, рядом лежало что-то накрытое серой мешковиной, валялись вилы, топорик и ружье.

— Ну вот, молодец Дашка,— похвалил он мою спутницу,— а я уж думал, если не дождусь, то поеду сам. Ты что, был у меня вчера? — обратился он ко мне.

— Нет,— ответил я.

— Не дошел,— усмехнулся он.— Встретили и завернули. Куда же они тебя повели, в органы, что ли?

— Да нет,— ответил я, не зная, что сказать.— В пограншколу.

— Тоже неплохо,— сказал он.— А насчет змея говорили, что нет, мол, никакого змея? Его Потапов выдумал.— Он сжал кулаки.— У, нечистая сила! Всю работу у меня отбили. Яблоки собирать надо, а я с ними пять дней как в котле киплю.— Он посмотрел на меня и вдруг сообщил: — А меня ведь вчера арестовывать приезжали.

— Да что ты! — воскликнул я, соображая, к чему все это идет и как мне в случае чего надлежит поступить.

Наверное, на моем лице выразилось что-то подобное, потому что он вдруг посмотрел на меня, грубо усмехнулся и вдруг ударом сапога сбросил мешковину. На срезанных лопухах лежало что-то черное, скрученное, чешуйчатое, кольца какой-то довольно большой, как мне показалось — метра полтора, змеи. Она была еще жива: кольца вздрагивали, сокращаясь, по ним пробежала длинная дрожь, чешуя блестела мельчайшими чернильными капельками, словно исходила предсмертным потом.

— Да что же это такое? — спросил я очумело.— Откуда эта змея? Ведь это совсем даже не...

Потапов искося посмотрел на меня, зло усмехнулся и опять накрыл мешковиной умирающее чешуйчатое тело.

— Вот и весь сказ,— сказал он твердо и скорбно.— Только всего и было, что вот эта гадючка. Вот она тут и ползала. А когда она ползет, знаешь, какой она кажется?.. Написал этот дурак четыре, а мне подумалось: нет, мало, метров шесть в ней будет.

«Да, да,— подумал я.— Правильно, правильно... Как же это мне сразу не пришло в голову? Об этом и Брем пишет: когда змея ползет в траве, она кажется раза в два, а то и в три длиннее, чем есть... Да, так всегда бывает».

Я приподнял концом сапога мешковину, разбросал лопухи — и тогда

показалась голова, небольшая, плоская, с широко открытыми, пристальными синими глазами.

— Черный полоз,— сказал я.— Самый обыкновенный черный полоз. Но только большой-большой. У нас стоят два в банках на выставке, но такого я еще не видел.

— Я мерял — метр шестьдесят сантиметров,— сказал Потапов.— Вот, дорогой товарищ, и все, что было. Признаешь теперь, какие у страха глаза? В газету попал, себе на шею петлю надел, здесь уже пять суток сидю, а из-за чего? Эх! — Он махнул рукой.

— Да, но при чем же тут ты? — сказал я.— Нет-нет, ты лишнего на себя, бригадир, не бери. Не ты эту анафему выдумал, и писать ты о нем тоже не писал. Подписи твоей нигде нет. А что другие там от твоего имени...

— Эх, кабы попался мне тот артист, что с аппаратом приезжал. Уж я б его...— алчно покачал головой Потапов.— Но как я мог в нем эти метры насчитать? Как? Ведь явственно, явственно видел — громаднейший змей ползет. Или наваждение такое? А то говорят, что они отвод глазам такой делают. Ползет змеючка, а ты видишь дракона. Может, правильно так.

Я засмеялся.

— Какой там к черту отвод? Нет, это со всеми бывает, бригадир. Вот и Брем такие случаи подробно разбирает. Это, говорит он, самая обычная ошибка наших воспринимающих и оценивающих способностей. Так что не бойся.

— Воспринимающих...— улыбнулся бригадир и покачал головой.— Да ведь не будут они твоего Брема спрашивать. Никогда не будут! Да что ты? Они в случае чего его сразу из города вышлют. Им дело нужно. Вот что! Разве они теперь со мной когда расстанутся?

— Да зачем ты им, зачем? — сказал я.

— Будто не понимаешь. Один брат расстрелян за вредительство, другой схвачен как шпион, что же им еще надо? Они и во сне такое дело не видели.

— Ну ладно, ладно,— сказал я сурово.— Не говори, что не надо. Бери его, пойдем.

— Пойдем,— устало вздохнул Потапов.— Конечно, пойдем. У меня теперь только один путь — являться. Вот с этой самой штуковиной и пойду. Эх, не сумел я тогда отстоять брата Петьку. Не сумел. Оробел, струсил. Думал свою шкуру спасти. А вон видишь, что вышло.— Он снова наклонился, взял змея и стал засовывать его в мешок.— Всю жизнь он мне взбаламутил, из-за него покой потерял. Ведь знаешь, всех рабочих перетаскали на допросы. И что им надо? Ведь я снес бумагу, что мне германцы прислали. Поблагодарил этот длинный, что со мной водку трескал! Сначала ты, говорит, «советский человек», а потом: «Расскажи, с какой целью агитируешь население насчет Бовы-конструктора. Скажешь — простим. Нет — пеняй на себя. Значит, сколько тебе ни говори, ты все равно ведешь свою линию». — «Да какую такую свою линию я веду, какая такая линия? Зачем она мне нужна?» — «Хорошо! А брат у тебя где?» — «А это вам лучше знать! Вы его забрали». — «А ты как будто ничего уже и не знаешь. Мужичок-серячок! Брат он тебе, мать твою, или нет?» — «Брат! Брат, единокровный брат он мой, Петька! И знаю — ничего он не делал, никаких клещей в банке с собой не носил, и хлеб им не заражал, и к консулу не ездил. Все это одна ваша агитация». — «Ах, вот как ты заговорил, ты теперь за брата заступаешься, вражина! Значит, тебе враг, вредитель, шпион, диверсант дороже советской власти, да?! Да разве органы зря кого забирают? А ты знаешь, где ты находишься? Контрреволюционер! Антисоветчик! Японская морда!

Встать! Марш в коридор! Посиди подумай!» Вот и весь разговор со мной. А что я сделал? Кому я что перешел? Что ж, неужели все это правда, что он творит, а? Ты умный, скажи.

Он говорил теперь тихо, печально разводя руками. Я ему ничего не ответил. Он постоял, подумал, помолчал и вздохнул.

— Думаю-думаю и ничего придумать не могу, какой враг все это устраивает, на что он людей толкает? Зачем все это ему? Вот и ты боишься! Стоишь молчишь. Ну хорошо, не надо.— Он посмотрел на племянницу.— Водку-то захватила или опять тетя Маня не дала? — спросил он хмуро.

— Захватила,— ответила племянница,— два пол-литра даже, да вот и они...

— О,— сразу встрепенулся бригадир,— неужто два? А закуску?

— Взяла колбасы, да полбуханки, да вот и у них...

— Вот это чисто! — сказал бригадир.— Это ты чисто одумала. Это прямо можно сказать, что молодец-девка! В самый, самый цвет мне попала. Эх, напьюсь! А стаканы есть? Ну-ну! — И он восхищенно развел руками.— Вот какому-то счастливому жена будет... Ну тогда садись с нами. Садись... Сейчас мы это дело воспроизведем в большом масштабе. Садись, что стоишь? Сдвинь змея к чертовой матери и садись. Дашка, давай приготовляй все. Ну, как ты думаешь,— обратился он ко мне,— возьмут меня или нет?

— Да за что же? — сказал я.— Теперь все в порядке, ты ничего не врал. Доказательство налицо — вот он, удав-то! Завтра стащим его в город, и все.

— А я, брат, где? Я тоже вот он! — усмехнулся Потапов.— Заберет он меня — и следа не найдешь. Ну, ладно, что там говорить, все равно идти надо.

Куда мы шли? Зачем мы шли? Кому мы несли этого дохлого змея, и не удава даже, а самого обыкновенного туркменского полоза — никто из нас ничего на это ответить не мог. В общем, шли в город «являться», как сказал Потапов. Солнце палило вовсю. Шоссе разогрелось так, что в нем отпечатывались следы. Пахло резиной и асфальтом. Это в августе в горах Ала-Тау! Я был уверен, что бригадира посадят, и молчал. Молчал и он. На третьем или четвертом километре нам наконец повезло. Попался знакомый шофер, и мы как-то очень быстро, тары-бары, траливали («А где теперь Петька Гвоздев? А что Маруська все с тем, косым? А кто ездит с председателем?»), доехали до пивного завода. Здесь начался город, отсюда Алма-Атинка текла уже по равнине. Тут мы и расстались с Дашей. Она не особенно понимала, что такое происходит, и поэтому покинула нас беззаботно. Бригадир наказал ей ждать его до утра (тетке пока ничего не говорить), а в обед бежать к председателю и сказать ему, что вот Иван Семеныч убил казенного удава и пошел с ним («Напиши куда! Адрес»), да и не пришел до сих пор. Так не случилось уж что?

Итак, мы простились на мосту. Даша ушла, помахав нам ручкой, а мы остались ждать попутной. Бригадир сидел на перилах моста в пыльных сапогах, что-то посвистывал и листал самодельную записную книжку в желтой картонке. Потом вытащил зеленую бумажку и потряс ею.

— Вот она, родная! Живые пол-литра,— сказал он.

— Да деньги и у меня есть,— проворчал я.

— Да? — Он сразу оживился и поднял мешок.— Ну тогда пошли напрямик. Здесь по дороге на мельнице «Смычка» есть шашлычная. Там и машину подцепим. Пойдем!

Мы спустились с дороги и пошли через поле. Вот этот последний путь

мне почему-то запомнился особо. То было место, где горная речка, вдруг резко изгибаясь, ныряет в лопухи и через двести метров появляется снова ласковой тихой Алма-Атинкой — спокойной городской речкой. Зато здесь у нее появляются отмели, косы, намывные песчаные островки, а кое-где даже тихие заводи и в них светло-зеленые клубки — комья русалочьих волос. Здесь купаются. Здесь лежат и загорают. Сюда любят бегать ребята. Здесь над разноцветными голышами стоят спокойные, дымчатые, как стрекозы, плотвицы.

Так мы прошли с версту. Бригадир шел по песку, я по воде — парной и ласковой. А потом река вдруг потемнела, напряглась и остановилась около камней, свирепо гудя и набирая сивую, морщинистую пену.

— Тут взрыв о прошлый год делали, — сказал Потапов, — русло расширяли. Видишь, что получилось? Столько он тут, дурак, поуродовал!

Глыбины лежали в воде то боком, то плашмя, и вода возле них ходила винтом. А около двух острых, косо срезанных глыбин — очевидно, Сцилле и Харибде этих мест — свила гнездо семья мелких сердитых бурунов. Но прошли метров сто, и опять потянулись косы, заводи, а в них тихие рыбки и солнечные тени на дне. Все просто и ясно, понятно.

Прошли с полверсты, пересекли какую-то дорогу и вышли в поле. Сразу потянуло влажностью и прохладой большого открытого пространства. Река появилась опять тихая, неслышная, в широких низких берегах. Пышно разрастаются болотные травы: высокие дудки, белые воздушные зонтики (их настоем отравили Сократа), широкие, разлапистые листья, то оранжерейно нежные, то тропически зеленые, сердитая голубая осока, а дальше, там, где тростники зелены уже просто до черноты, державным строем стоят вокруг какого-то окна или особо опасной топи камыши в коричневых меховых опушках.

— Снять сапоги, — вздохнул бригадир. — Дай плечо. Тут и ухнуть одна минута. Пойдем стороной, где мох.

Мох здесь был влажный и высокий. Металлически лиловая ржавчина, холодная, как ключевая вода, закипела у нас между пальцами, но окна и проймы стали отходить вбок. Зачастились небольшие кусты, поднялся болотистый ивняк. И кора на нем на солнце блестела, как золото суздальских мастеров. Белая хищная птица с круглыми голубыми глазами сидела на вершине большого куста и равнодушно, не мигая — так могут глядеть на человека только гады и хищные птицы, — смотрела на нас.

— Она на той стороне живет, — сказал бригадир и показал на черно-зеленые и сизые осоки. — А воздух, чуешь?

Да, воздух здесь был совсем особый. Болото курилось тысячами запахов, тонких, терпких, не смешивающихся друг с другом. По-одному нашли мох и вода, по-другому — неясно и терпко — осоки. Неуловимый чайный аромат исходил от странных, бурых цветов с телесно-серыми лепестками и мохнатой пчелиной шапочкой, и совсем иным — водой и торфом — несло от широких промоин с совершенно прозрачной, но, как казалось сверху, черной водой. Кое-где в них, как свечи, стояли восковые кувшинки.

И в помине не было тут того открытого, задорного перезвона, как в молодом осиннике или ельнике — там весь лес шуршит, как огромный муравейник. Там слышно, как опять лезут на пни, лист — на лист, здесь же только мох хлюпал под ногами. Даже зеленые лягушки с золотыми глазами телескопов уходили под воду без взрыва и шелканья.

— Приволье-то какое, — сказал бригадир. — А тут...

И я понял: «А тут в тюрьму идешь».

Ветер пробежал вдаль по камышам, и они заколебались, задвигались, задышали, бесшумно показывая свои широкие голубоватые лопасти и изнанки. Сзади нас раздался громкий короткий, отрывистый писк.

Я оглянулся. Это та белая птица снялась с ветки и полетела. Она куврыкалась, становилась то боком, то плоскостью, словно норовя нащупать подходящий воздушный ток. Наконец, видно, нащупала его и спокойно взмыла, набирая высоту.

«Нет, окончательно все это глупость»,— решил я.

Через минут пять мы выбрались на шоссе, и Потапов шмякнул мешок на асфальт.

— Дошли,— сказал он.

Мы подошли к павильону. Павильон этот стоял у автобусной станции. Был он новенький, легонький, разноцветный, лакированный и весь блестел. Народу набралось уже порядочно. С десяток человек сидело, несколько стояло у стойки. Кто-то спал, положив голову на стол. Красивая рыхлая блондинка в белом фартуке стояла над бочкой, и кружка так и летала у нее в руках.

— Молодец, Маша. Так ты никогда не проторгуешься,— похвалил бригадир.— Ну-ка и нам по полной.

Продавщица поглядела и засмеялась.

— А мы уж вас вспоминали,— сказала она весело.— Тут ваш приятель из пограна заезжал с компанией. Эта беленькая что, его жена?

Потапов посмотрел на меня.

— Чуешь, Алексей? Вот где она, наша Софа-то. И долго сидели?— спросил он.

— Да нет, с полчаса, говорят — встречают кого-то: профессор московский, что ли, должен приехать.

— Профессор? — насмешливо переспросил Потапов и ногой загнал мешок под стол.— Теперь что-то все стали профессорами. Вот и я тебе профессора привез. Высший специалист по пятакам. У вас там, ребята, старых железяк нигде не находили?

Продавщица посмотрела на меня.

— А вы не из музея?

— Из музея,— ответил я.

— Постойте,— сказала она.

Отставила кружку, подошла к столу, выдвинула ящик и достала оттуда какую-то бляшку и протянула мне. Я поглядел. Формой и цветом бляшка напоминала большой березовый лист. Были видны на ней и остатки каких-то узоров. Я подбросил бляшку на ладони. По тяжести это могло быть золотом или электроном. Так назывался сплав, употреблявшийся для монет и ювелирных изделий (античного ширпотреба, что ли).

— Откуда это у вас? — спросил я.

Она усмехнулась.

— Да пьяный один дал. На тебе на зуб, говорит. Я спрашивала у нашего шефа, он говорит — латунь.

Я попробовал бляшку на зуб и вдруг совершенно ясно понял, что это золото, и очень древнее, червонное. Я даже сам не знаю, откуда пришла ко мне эта уверенность. Вкус, что ли, у золота особый или по-особому оно поддается под зубом. Но, в общем, я уже не сомневался, что где-то поблизости действительно разрыли и разграбили курган.

— Давайте я проверю в лаборатории на кислотность,— предложил я.

— Да берите,— охотно согласилась она, и в ее руках опять снова зашипели, запенились и залетали кружки.— Пиво у нас сегодня настоящее, жигулевское. А Терентьева, уборщица, у вас работает в музее?

— В музее? А-а?

И вдруг я что-то сразу понял, что-то шелкнуло как будто у меня в голове, и я сразу решил, к кому идти, куда идти, что говорить.

— Ты далеко? — крикнул Потапов.

— Ты заказывай, а я сейчас. — И выбежал на шоссе голосовать.

Около самого павильона над раскаленной жаровней, черной, как дракон с тупо обрубленной головой, над четырьмя уродливо вывернутыми лапами ее стоял духанщик. Он махал кожаным опахалом, снимал и подкладывал дракону палочки шашлыка, а в такт его взмахам круглые кривые отверстия на боках дракона наливались огнем и оттуда тянуло тонким березовым угаром. Пахло еще шашлыком, красным перцем, луком, уксусом и еще чем-то рыночным. Другой духанщик, желтый, худой, голый до пояса, как факир, с выступающими ребрами, все время выхватывал из огня железные прутья и бросал на тарелку. Все это по-базарному, свободно, шумно и весело. Он кропил шашлыки желтым уксусом из одной бутылки, красным перцем из другой, засыпал рубленным луком и совал подручному. Подручный, подросток, в пышной, золотом шитый тубетейке, серьезный и строго улыбающийся, как молодой будда, принимал деньги и совал тарелки в протянутые руки. Гуляющие подходили со всех сторон. Подъехал с гор голубой курортный автобус и остановился, мягко покачиваясь. Посыпались и побежали к духанщику пассажиры.

И вот, смотря на них — веселых, беззаботных, с рюкзаками и гитарами, на духанщика, на его доброго черного дракона, — я опять почувствовал, что все, чем мы забили себе голову, совершенно невозможно и невероятно.

Подошел Потапов и остановился рядом.

— Да не будет тебе ничего, — сказал я. — Выгонят тебя с мешком, вот и все!

Он голько вздохнул и головой покачал.

— Ох! — сказал он. — Ну-ну...

Около въезда в город, где теперь памятник Абаю, я крикнул шоферу, чтоб он остановился. Посредине шоссе стояла Клара и готовилась голосовать. Была она белая, ажурная, с розовым зонтиком в руках — такие девушки на большой проезжей дороге не стоят более пары минут. Увидев остановившуюся вдруг машину, а потом нас, она прыгала, завертела зонтиком (извечная студенческая манера останавливать машины) и радостно закричала:

— Вот как кстати! Вот как кстати! А я уж второй раз как к вам. Здравствуйте, хранитель! Добрый день, Иван Семенович!

Была она тонкая, гладко причесанная, высокая, и Потапов посмотрел на нее и отвернулся. Я молча кивнул головой. Клара вопросительно посмотрела на нас и сразу осела. Я наклонился и открыл ей дверцу:

— Садитесь! Бригадир, ну-ка подбери мешок.

Она влезла, села рядом со мной и сразу примолкла.

— Так куда же теперь? — спросил шофер.

— К собору, — ответил я. И объяснил Кларе: — Едем к директору. Будет один разговор.

Она не спросила, о чем, только испуганно поглядела на меня и отвернулась.

Глава шестая

В директорском кабинете было темно, а в коридоре около печки мирно дремал старый казах с ружьем, и мы его еле-еле добудились. Он продрал глаза, зевнул, посмотрел на нас и сказал, что директора нету.

— Так, может быть, он на заседании в каком-нибудь...— робко сказала Клара.

И так могло быть, конечно. Но тогда мы просто попадали в идиотское положение. Что же, ночевать с убитым змеем, что ли? Мы на диване, а он на полу? Кроме того, мы сейчас обязательно должны были куда-то спешить, кому-то рассказывать, что-то делать, что-то доказывать, а не спать. Мы стояли с Потаповым и молча глядели друг на друга не в силах сообразить, что же надо делать.

— Да в чем же дело наконец, что у вас там, в дурацком мешке?— вдруг воскликнула Клара.

— Смерть свою за собой таскаю,— усмехнулся бригадир.

И тут сторож вдруг посмотрел на него и сказал:

— А ведь похоже — он где-то здесь! Столяр от него приходил за лампочкой, говорит — директор послал. Сходите-ка к нему, в столярку.

Но и в столярке никого не было. Опять мы стояли и думали. Но тут вдруг какое-то вдохновение осенило меня, я схватил мешок и сказал:

— Пошли!

Обогнули все здание и около спуска в глухой церковный подвал на круглом сирийском надгробье, высеченном из гигантского голубого валуна (сколько раз я говорил директору, что его нужно взять отсюда), увидели деда. Он сидел и курил. Я его окликнул. Он поднял голову и спросил, как всегда ничему не удивляясь:

— Неуж столько золота уже накопал?

— Где директор? — спросил я свирепо.

Он усмехнулся.

— Ну, а где ж ему быть? Дома чай пьет с клубничным вареньем.

— Ты не ври,— сказал я сердито.— Здесь он где-то...

— Ишь ты, как тебе некогда,— удивился дед.— Да ты только что приехал, что ли?

— Да вот так, мне некогда,— огрызнулся я.— Где, спрашиваю, директор?

— Дома.

— Нет его там.

Он скучно вздохнул и затыкнулся.

— Ну, так, значит, тебе лучше знать, где он,— сказал он равнодушно и отвернулся.

Я постоял, подумал и вдруг опять что-то понял.

— Постойте-ка,— сказал я и скатился в подвал.

Страшный был у нас этот подвал — темный, глубокий, сырой, ступеньки у него были узкие, сколотые, выщербленные. Для чего попам понадобился такой подвал, я так и не знаю,— может быть, покойников они туда затаскивали. Но у нас в нем лежали камни: сирийские надгробья, мусульманские плиты с полумесяцем, десяток гранитных баб, сташенных со всех концов степи. Деду как-то предлагали этот подвал под столярку, но он отказался, сказал: «Это, значит, мне из ямы да в яму? Нет, я еще жить хочу, у меня внук университет кончает. Вот самогон здесь гнать — это нормально: пожара не будет».

Итак, я сбежал по ступенькам и очутился как в каменной пещере. Передо мной была железная дверь; даже в сумерках я понял, как она походит на крыло дракона — зеленая, тонкая, перепончатая, злая. Я стукнул в нее кулаком. Никто мне не ответил. Я ударил ногой гак, что она загудела,— опять не ответили. Тогда я увидел около новой проводки белую грушу и несколько раз ее дернул. Раздалось что-то очень противное, дребезжащее, жидкое, как будто покатила по ступенькам и разбилась пара бутылок. Опять никто не ответил. Ничего не понимая, я поднял голову и увидел Потапова. Он сидел наверху и курил, лицо

у него было утомленное, усталое и такое же серое и бесчувственное, как у тех каменных баб, что мы стащили со всех степен и заперли в этом подвале. Тогда я скверно выругался, плюнул и хотел поддать эту проклятую дверь уже по-настоящему. Но тут Клара отодвинула меня от двери и громко приказала:

— Митрофан Степанович, откройте.

За дверью что-то произошло, послышались чьи-то шаги и голос директора спросил:

— А дед где?

— Да отворяйте же, отворяйте! — крикнул я бешено.

— Что? Уже? — беззлобно спросил директор и открыл дверь.

Клара сразу нырнула в темноту.

— Давай,— махнул я Потапову.

Он так и скатился с мешком.

— Проходите,— сказал директор и захлопнул дверь.

Стало сразу так темно, что я уж не видел собственных рук. Со всех сторон нас обнял запах устоявшейся сырости, плесени и отсыревшего камня. Директор взял меня за плечо и провел куда-то. У другой стены вспыхнула папироска, и на секунду я увидел желтый шербатый известняк — крепкую тюремную кладку стены...

— Иди, иди,— сказал директор,— не бойся, ям нет!.. Да брось, брось мешок. Это что, яблоки?

Я покачал головой.

— Коровы кости? — спросил он и приказал кому-то: — А ну давай... А мы тут над макетами работали,— объяснил он мне.

Опять произошло что-то в темноте. И вдруг перед нами возник целый сверкающий город. Поднялись купола радиобашни, забил голубой фонтанчик, вспыхнули витрины магазинов, побежали автомобили, закрутилось огромное огненное колесо. А над всем этим, как огромный голубой кристалл, куб или октаэдр, возникло здание музея. Было оно такое же, как и на том листе ватмана, который мне показал однажды директор: те же арки, портики, переходы. Я узнал и ту башню, где я буду сидеть со своими камнями, и те светлые покои, где разместятся директор и Клара. Четыре человека до сих пор только знали об этой тайне (я оказался недостойным ее). И трое из них работали над ней своими руками. Все это огненное, сверкающее, великолепное, составленное из крохотных электрических лампочек, простояло минуту перед нами и так же исчезло бесшумно, оставляя нас в полной темноте.

— Ну, как? — спросил директор.

— Понравилось? — вежливо спросил меня чей-то ласковый голос.

Я только вздохнул.

— Вот какой будет наш музей через три года, если не случится война. Уже отпущены средства.

Зажегся ровный электрический свет (это вошел дед), и подвал опять стал подвалом. Маленький архитектор стоял над ним и, склонив свою странную, неприятно красивую голову, заглядывал в окно одного из зданий. Оказывается, подвела проводка, один квартал так и не вспыхнул. Сейчас это выглядело довольно жалко — и лампочки и крашенный картон. Но я подумал: а может, он и в самом деле гений, второй Зенков, ведь собор-то они ломают, конечно.

— Через две недели,— сказал директор,— мы все это выставим в здании Городского совета на пленуме, пускай посмотрят.

Клара стояла сзади директора. Она замерзла так, что сделалась черной и некрасивой.

— Так что кончай раскопки и будем заниматься выставкой,— сказал директор, снова спускаясь в сегодняшний день и становясь дирек-

тором музея.— Что ты такое привез? Кости? Там, говорят, вы черт знает что наделали. Мне из колхоза звонили. Зарывайте вы эту яму к чертям — может, верно, заразная.

Бригадир опустился на колени и размотал проволоку на мешке.

— Вот,— сказал он робко и вытряхнул змея на белые плиты.

Выглядел змей сейчас очень жалким и ненастоящим, как будто бы сделанным из черной гуттаперчи. Директор опустился на корточки.

— Так вот что было!..— воскликнул он протяжно.— А, Кларочка? Видели, что они нам притащили? Полоз...

Огромная пристальная ясность и трезвость исходила от этого человека. И с ней было несовместимо все — и наши страхи, и нелепость положения, и все то, что мы пережили за эти дни.

— Да уж очень он большой для степного,— сказала Клара.— Ведь те, что у нас стоят в отделе «Природа»...

— Да, здоров, здоров.— Директор поднялся с колен и отряхнул руки.— Такого я еще и не видел. В нем что, метра полтора будет? Клара, вы вот что...

Она хотела улыбнуться, но вдруг ее всю передернуло, и она только щелкнула зубами.

Тут только директор заметил ее голые плечи и всплеснул руками.

— А ну-ка давай отсюда,— сказал он строго.— Кто за тебя отвечать-то будет? Ишь вырядилась, голенькая.

Она хотела возразить, но он закричал:

— Марш, марш, мы сейчас вслед идем. Дед, проводи, набрось ей там на плечи мой плащ!

Когда они ушли, наступило недолгое молчание. Директор что-то обдумывал.

— Ну, вот что, Иван Семенович,— сказал он решительно.— Вы его оставляйте здесь, мы его у вас купим, чучело сделаем или заспиртуем и дощечку сочиним: «Гигантский полоз, убитый в горах Ала-Тау». А может, он и вырос тут так, а? — обратился он ко мне.— Уж больно он, правда, здоров. Таких «корольками» называют. Той же самой породы змея, ну, вроде как король среди своих. Бывает, бывает такое у них. Это и старики рассказывают, и читал я где-то об этом. Ты сходи завтра, хранитель, на биофак, там есть препарат. Пошли, товарищи! А змею оставляйте, оставляйте тут, бригадир. Здесь холодно, она не испортится.— Он пошел и ласково тронул архитектора за плечо.— Ну, пошли, пошли, дорогой,— сказал он заботливо.— На вас сегодня даже фуфайки нет.

На улице было уж совсем темно. Клара, высокая, прямая и опять очень красивая, стояла в плаще директора, наброшенном на плечи, и, закинув голову, смотрела на звезды.

— Самолет пролетел,— сказала она.— Вон-вон, над горами огонек. Часто что-то стали они летать за последнее время.

— Да, часто,— невесело подтвердил директор.— Очень часто.

Настроение у него заметно испортилось.

— Ну, а раскопки у тебя как? — спросил он хмуро.— Одних копыт да рогов накопал, да? Бросай все это дело. Сматывай палатки и приезжайте сюда. Вот и все.

Я вынул из кармана бляшку и протянул ему. Он равнодушно взял ее в руки, осветил папироской и вдруг ахнул, высек огонь из зажигалки и стал жадно рассматривать.

— Откуда это у тебя? — спросил он.

Я сказал, что дала в горах буфетчица.

— А у нее откуда?

— А ей принес какой-то пьяный.

— Да? Пьяный? — в восторге крикнул директор. — Вы слышите. Клара, пьяный! Ну, все! Значит, есть где-то своя спящая красавица, есть, есть! Нам тоже вчера принесли в музей две таких бляшки и серьгу с верблюдом. Я уж хотел посылать за тобой, а Клара сказала: «Да ведь это из нашей же коллекции, у нас при прошлом директоре всю коллекцию скифского золота раскрали». Клара, смотрите, видите? — И он сунул ей бляшку в руки.

— Да,— сказала серьезно Клара, глядя на меня.— Да, хранитель, значит, действительно ваша красавица ждет вас где-то. Надо искать.

Я промолчал.

— Ваша красавица, хранитель. Ваша! Археологическая! — повторила Клара с нажимом.

Директор поглядел на нее, хотел что-то сказать, но вдруг махнул рукой и отошел.

— Пока! — крикнул он.— До завтра.

— Ладно,— сказал я Потапову.— Пошли и мы.

И мы пошли.

— Стойте! — крикнула вдогонку Клара.— Стойте. Я вас провожу.— Она подбежала к нам.— Ну, стойте же, товарищи.— И она нас обоих подхватила под руки.— Завтра, если будет хорошая погода, надо съездить в горы. Если это действительно древнее золото...

К себе я ее не пустил. Мы попрощались на пороге.

— У меня очень неубрано,— сказал я ей.

Потапов, как вошел, так и рухнул на диван, только сапоги сбросил. Когда я вернулся с чайником, он уже храпел. Лицо у него было изможденное, желтое, с запекшимся ртом. Я осторожно приподнял его голову и подsunул подушку. Он даже и не шелохнулся, только бормотал что-то. Я пошел, сел за стол, налил себе холодного чая; но только пригубил и отставил. Не хотелось ни сидеть, ни пить, ни думать. Тогда я достал из шкафа пальто, бросил его на пол около дивана, положил в изголовье пиджак, лег и сразу же заснул. Спал я часа три и проснулся от собственного крика. Впрочем, может, это мне тоже приснилось: В комнате было по-прежнему тихо. Светлый лунный квадрат лежал на полу, и в нем шевелились какие-то неясные тени. Тишина стояла такая, что было слышно, как перекликаются собаки всего города. Я подошел к окну, асфальт блестел (значит, пролетел дождик), с другой стороны улицы поднимались неподвижные темно-синие тополя — парк. И ни прохожего, ни проезжего! Все спало, спало, спало... «Ну, хоть одно-то хорошо,— смутно подумал я,— с этой дурацкой историей теперь покончено! Впрочем, и вообще-то мы все придумали со страху! Что же?.. Ведь и черт когда-то существовал. Его тоже видели». Я вынул из кармана бляшку и немного повертел ее в руках. «Вот бляшка: где-то разграбили богатое женское погребенье, и золото уже пошло гулять по рукам. Не сегодня-завтра они появятся в скупке и у протезистов. Значит, надо не опоздать, завтра же сделать заявку: Пойти в управление милиции или в НКВД»... И тут вдруг кто-то совершенно ясно и отчетливо сказал мне в ухо:

— Уходи, пока не поздно! Скажи, что получил телеграмму от матери, и уезжай! Чтоб завтра тебя здесь не было! Слышишь?

Это была трезвая, совершенно дневная мысль, из числа тех, которые приходят внезапно, поражают своей ясностью и достоверностью и именуется «озарением». Я вздохнул, отошел от окна и уже хотел лечь опять, как в коридоре рядом хлопнула дверь, заплакал ребенок и женский голос запел:

Все люди-то спят,

Все звери-то спят!

Одна старуха не спит,
У огня сидит,
Мою лапу варит,
Мою шерсть прядет.
Курлы, курлы, курлы,
Отдай, старуха, мою лапу.

«Это у нового завхоза поют»,— подумал я.

Наступила минута тишины, потом резко скрипнула колыбель и опять тот же голос повторил таинственно и зловеще:

— Отдай мою лапу, старуха.

«Вот где чертовщина-то»,— подумал я и поглядел на часы.

Было уже три часа. Спать не хотелось. Провырнуться, что ли? Может, тогда лучше засну...

Я очень люблю ночную Алма-Ату: ее мягкий мрак, бесшумные ночные арыки, голубые прямые улицы, дома, крылечки, низкие крыши. Весной — тяжелые и полные, как гроздь винограда, кисти сирени; осенью — пряный аромат увяданья; зимой — сухой хруст и голубые искры под ногами. Как бы ты ни волновался, что бы ни переживал — пройди этак кварталов двадцать, и все встанет на свое место: сделается ясным и простым. Только не торопись, а иди потихонечку, насвистывая что-нибудь, кури, если куришь, грызи семечки и отдыхай, отдыхай!

Путь, который я проделывал в эти часы, всегда одинаков: сначала через весь город к головному арыку — посмотреть, как несется по бетонному ложу черная бесшумная вода, потом вниз, к Алма-Атинке, к ее плоским низким песчаным берегам; посидеть там, опустить ноги в холодную воду, помочить голову, а потом встать и, не обуваясь, пройти по не совсем еще остывшему асфальту в парк, к собору; сделать полный круг около него, потолковать с ночным сторожем — казахом-стариком, отлично, без запинки говорящим по-русски, покурить, что-то такое от него выслушать, что-то такое ему рассказать и уже усталым, успокоившимся, ленивым и добрым идти и ложиться. Вот этот путь я проделал сейчас. Но когда я подошел к собору, то увидел, что на лавочке со сторожем сидит и еще кто-то незнакомый в стеганой ватной куртке. «Кто же это такой?» — подумал я.

— Нет, это не тот Шахворостов,— сказал сторож.— Этот — Петр Андреевич! Он не особо богатым был. У него всего один колониальный магазин на базаре, а ряды не его, а Семена Фомича.

— Все Шахворостовы богатые,— категорически ответил тот, в куртке, и я вдруг узнал моего кладоискателя.

«Подойти»,— подумал я и кашлянул. Но они разговаривали и не слышали.

— А Петр Андреевич был простой,— сказал сторож.— Мы с ним пили вот так! И это его дочка, что булгахтером в утиле работает, всегда со мной здороваается, как увидит.

— Так ты, верно, знаешь, что она все еще там на приемном пункте? — спросил старик, что-то прикидывая.

— Хм, странное дело,— усмехнулся сторож.— Пойди посмотри, какая у меня дощечка висит. «Собирайте рога, кости, тряпки. Получите костюм и велосипед». И все это нарисовано красками. Иду раз, а она с этой дощечкой мне навстречу: «Прибейте, дедушка, куда повидней, видите, какая она нарядная. Вся блестит!» Я и повесил возле численника, кто приходит — всегда смотрит.

— Так я завтра схожу,— решил Родионов.— Там их целый грузовик: и бараньих и коровьих. Ну что ж? Ты вот так целую ночь и сидишь на лавочке?

Сторож взглянул на небо.

— Вот сейчас пойду в столоярку, лягу, — сказал он, — теперь уж до утра никто не придет. Директор иногда ходит.

— Что это он? — удивился Родионов.

— А кто ж его знает, — ответил сторож, зевая и качаясь от зевоты. — С женой что-то, наверно.

— Да что ты! — радостно воскликнул Родионов.

Но тут я вышел из тени, и они оба смешались. Сторож начал лепить папироску, а кладонискатель шарить по карманам. Я помахал им рукой и сказал:

— Привет вам, громадяне! Все полуночничаете?

— Служба такая, — строго улыбнулся сторож. — Не отойдешь ведь. Вот говорил дирекции: овчарку надо. Как бы нужно! Я бы, скажем, пошел в обход...

— Ладно, дед, — сказал я и сел. — Не крути ты мне шарики, тебе-то и одному тут делать нечего, а то — овчарка ему! Что давно вас не видно? — обернулся я к Родионову.

Он неуверенно посмотрел на меня.

— Я только что из гор, — ответил он, — вот записку вам... — Он полез в карман. — Два раза проходил мимо вашей резиденции. Огонь горит, а голоса не слышно — то ли спите, то ли работаете. Я не решился. Вот, пожалуйста... — И он протянул мне записку.

Выплыла луна, стало совсем светло, и я без труда разобрал убористый, очень четкий почерк Корнилова.

«Дело получается дрянь, — писал он. — Как вы знаете, черт нас попутал открыть огромное скопление костей крупного и мелкого домашнего скота. Сюда их сбрасывали, наверно, веками (попадают и черепа диких животных — барсука, волка, лисы). Все это очень интересный материал для тем «Охота и животноводство древних усуней» и «Истории фауны голоцена». После того как все это зарыли, я приказал тихонько выбирать целые черепа и плюсны ног. Но тут кто-то распустил слух, что мы опять раскапываем скотское сапное кладбище. Паника началась страшная. Колхозники перестали к нам ходить, жена бригадира пришла за самоваром, а про стаканы сказала: пусть остаются, мне их не надо. Володину (это, помните, тот, который интересовался красавицей) запустили в голову кирпичи. Кто, за что, он не говорит, но ясно: колхозные ребята. Поговорите с директором — может быть, он приедет с милиционером».

Я сунул письмо в карман и сказал:

— И на кой черт ему понадобились эти кости, ну зарыл бы их с самого начала, и все! А то ведь вон что получается.

Родионов встрепенулся и так обрадовался, что схватил меня даже за руку.

— Да ведь и я ему говорил: «Зарой!..» — азартно воскликнул он. — На кой черт вам эти коровьи лопатки? Это что, вещь? Это древность? Археология? Э, да что! — Он досадливо махнул рукой и вдруг сказал своим обычным тоном, скрипучим и злым: — Вот бригадир Потапов вчера в город поехал докладывать.

— О чем, — спросил я, — кому?

— Ну о чем? О том самом! — ответил он сердито.

— А кто вам про это?.. — спросил я.

Он помолчал.

— Никто, — сказал он сухо, — сам знаю!

Тут мне что-то пришло в голову, и я сказал:

— Это Михаил Степанович вам сообщил.

Он не ответил, только быстро посмотрел на меня, и я понял, что угадал.

«Здорво! — подумал я.— Везде он успевает!»

Дед-сторож сидел на лавочке и преувеличенно громко зевал. Ему давно хотелось идти в столярку на боковую, но при мне покинуть пост он не решался.

— Ну ладно! — сказал я.— Утро вечера мудренее. Пойдемте спать.

— Куда это? — спросил Родионов удивленно.

— Ко мне.

Он вдруг как-то потерялся, словно обомлел, и робко поглядел на меня.

— Да ведь поздно,— сказал он.— Я к вам лучше завтра, если позволите.

— Идем, идем,— сказал я категорически и дотронулся до его руки.— Вы ведь не здешний, так куда вы сейчас пойдете?

Он переглянулся со сторожем.

— Вот и ему не даете спать! Идемте!

Входная дверь была открыта. На пороге Родионов остановился и стал разуваться. Я хотел ему сказать, что это уж лишнее, но он замахал на меня руками, поднялся на цыпочки и проследовал по коридору в чулках. Бригадир Потапов лежал по-прежнему на боку. Но я сразу увидел, что он уже просыпался: на столе лежали его часы с откинутой крышкой и стоял наполовину пустой стакан чая. Родионов, как вошел, так и остановился посреди комнаты. Я указал ему на стул. Он сел. Все бесшумно, быстро, предупредительно.

— Чаю? — спросил я.

Он покачал головой.

— Ну, стаканчик-то! Я поставлю на плитку,— сказал я.

— Да! — воскликнул он.

— Тише,— шикнул я,— спят!

И тут за стеной опять запели:

Все люди-то спят...

— Страшная песня,— сказал я, совершенно забыв про то, с кем я говорю.

Но он мне неожиданно ответил:

— Ужасная! Я когда был маленький, так прямо замирал от нее. Да затем ее и поют, впрочем...

— Зачем?

— А вот чтоб напугать: у ребенка дух захлестнет — он прижмется как заяц и заснет.

Я в недоумении посмотрел на него. Это мне еще в голову не приходило.

— Да ведь их несколько таких песен,— улыбнулся он.— Вон про козлика есть, так та еще страшнее.

— Это что: «Жил-был у бабушки серенький козлик? — спросил я.— Вот как, вот как, серенький козлик?»

— Нет, нет, это не та,— ответил он.— Тут вот что...

Он подумал и запел: голос у него был тихий, приглушенный, пожалуй, даже сиплый, но пел он хорошо, и мне сделалось даже страшно-вато. Ночь, тишина, все спят, и только в этой комнате какой-то недобрый, колючий старик поет за стеной...

Сложил эту песню, безусловно, гений: Никаких наших штучек он не знал, никакими художественными средствами не пользовался и все-таки сумел достичь поистине страшной выразительности. Страшное заключалось в самой монотонности этой песни, в гипнотизирующих повторях ее (ведь она, черт ее побери, колыбельная!), которые каждый раз звучат по-иному, но все страшнее и страшнее. И есть в этой песенке еще какой-то пафос пустоты: вот лес, горы, поля, непроглядная тьма, и из этой тьмы раздаются разные звериные голоса. С первых же строк чувствуется, как холодно, страшно этому серому козлику блуждать по лесам и долам. Сейчас мне очень трудно точно вспомнить, что же именно пропел старик. Ведь это народная песенка, и поэтому всюду она поется по-разному. Но вот примерно, что я услышал:

Ох ты зверь, ты зверина,
Ты скажи свое имя...

Это обычным дребезжащим голоском заблудившегося козлика («козлетоном»). Из непроглядной тьмы (только как свечи горят звериные глаза) отвечает силпый волчий голос:

По лесам я брожу,
Каждой костью дрожу,
Мне в обед сотня лет,
А покоя все нет.

Тут голос волка прерывается, на секунду он как бы забывает обо всем, кроме своей волчьей доли.

А затем волчий голос взлетает, как топор, и бьет уж наотмашь!

— И остались от козлика рожки да ножки,— сказал Родионов своим обычным голосом и пощупал рукой чайник.

— Сейчас, сейчас поставлю,— сказал я.

— Вот такая-то песня,— вздохнул Родионов, и по его голосу я понял, что он все еще находится под свирепым обаянием этой колыбельной.

Я отошел, поставил чайник и вернулся.

— А вот Потапов,— сказал я,— сегодня свою смерть за собой в мешке таскал.

И только я сказал это, как Потапов (он до сих пор лежал совершенно неподвижно) поднялся и сел.

— Наша смерть в игле,— сказал он,— а игла в яйце, а яйцо в щуке, а щука в море. Вот так бабки нам сказывали. Здравствуйте, граждане!— Он забко передернул плечами.— Замерз что-то. То ли устал, то ли опять начало трясти.

— А тебя что? Трясет? — быстро спросил Родионов.

— Ужас как,— ответил Потапов и доверчиво взглянул на Родионова.— Я ее, проклятую, в Галиции в шестнадцатом году захватил. Понимаешь, сырой воды выпил из колодца, и в тот же вечер меня и забрало. Уж трясло, трясло... Как солнце заходит, так я без памяти, рубашка как из ведра! Хины я этой проклятой пуды, ну, просто пуды съел! Оглох даже! Приехал домой, так родной шурин не узнал. «Нет, говорит, это не ты, это еще какой-то». Вот этим и спасся.

— Хорошее спасся! — удивился я.

— А вот видишь, жив,— улыбнулся он.— Э, да что с вами, молодыми, говорить. Там весь наш полк подорвался. Там, знаешь, какое дело было? Там очень ужасное дело было! Там целые дивизии в котлы шли... Там нас немец как хотел, так и бил. Дисциплины никакой, а шпионаж этот

наскрозь, наскрозь! А это все Сухомлин производил. Он от Гришки Распутина за нас, говорят, сто миллионов золота получил. Вот он знает.

— Буровишь ты невесть что,— с досадой сказал Родионов.— При чем тут Сухомлин? Тут царизм...

— А Гришка кто? Не царизм? — быстро спросил Потапов.

— А Гришка — простой сибирский мужик, конокрад. Но только что гипнозу много имел, вот он Алису и того! А что в штабах происходило, он того знать не мог. Эх, вроде грамотный ты человек, газеты читаешь, а...

Я подошел к плитке, снял чайник, всыпал прямо в него горсть мелкого чая и стал разливать в пиалы.

В этих людях еще жило, продолжалось и волновалось прошлое, то, что для меня вообще не существовало.

— Пей вот! — сердито приказал Родионов.— Тебе сейчас обязательно нужно домой; приехать, сухой малины заварить с медом и чашек пять опрокинуть, а потом — в полушубок и пропотеть хорошенько. Проснешься здоровым! А так толку не будет. Если она точно пришла...

С минуту мы все молча пили.

— Сухомлин, — повторил Родионов усмехаясь.— Ты мне про него не говори. Я его на Кавказском фронте вот как тебя видел.— Он усмехнулся.— От него крест получил! Вот так же проснешься ночью, выйдешь на улицу — а ночи там ясные, ни облачка! Стоишь и думаешь: а уж, верно, стоит где-то у стеночки та австрийская винтовочка, в которой лежит моя смертушка. Стоит и дожидает своего часа. Он в то время из австрийских нас бил! Точный бой, за версту снимает. Вот и выходит: ты тут стоишь, а смерть твоя в окопе: ее из Берлина привезли, в австрийское дуло вложили, турку в руки придали. А задумал ее царь Николай да и кайзер Вильгельм из-за австрийского принца в Сербии. Когда ее обговаривали, тебя не спрашивали, а умирать — так небось позвали. Понял? Вот в чем дело! А ты Сухомлин! Это что?

— Это, конечно, так, — согласился бригадир.

— Ну, вот то-то, что так, — ответил Родионов.— А Сухомлин — дело пятое. Из-за этого я и к Красной гвардии примкнул. Понял?

Бригадир что-то тихо ответил. И вдруг они как-то разом сблизили головы, стаканы и очень хорошо заговорили о брате бригадира. Как же это так могло выйти? Почему? И кто в этом виноват, если он не виноват?

Я увидел, что им не до меня, и тихонечко вышел на улицу. Уже почти рассвело. Небо было высоким, и хотя казалось оно еще тускло-зеленоватым, но на горизонте уже ползла и разливалась светло-розовая полоса, как будто над горами медленно раскрывалась огромная перламутрица. Два старика сидели за столом, пили чай и толковали о жизни. Оба они любили ее и старались сделать как можно более понятной, честной и чистой, и оба они не знали, как это сделать. А там в горах ворочался и не спал Корнилов. Что-то ничего путного у нас не получалось с древним городом, а время все шло и шло, и он начал терять всякую надежду. Директор тоже не спал и если только не лежал на диване с мокрым комком на лбу, то ходил по кабинету большими бесшумными шагами и думал. Думал о маленьком, горбатом архитекторе, о том макете, который он нам пока зал сегодня; о наших раскопках; о том, что истрачено столько денег, а результатов никаких; что мы его обязательно впускаем в какую-нибудь дурацкую финансовую историю; потом (сердито усмехаясь) об удаче и о том, как со всем этим покончить; опять об архитекторе в связи с проектом нового здания музея и реконструкцией города и, наконец, о том, что все это неважно и не нужно, потому что реконструкции не будет и скоро грянет война. Директор думал о ней и ходил, ходил по

комнате, подходил к столу, пил прямо из горлышка холодный горький чай и прикидывал, что же тогда произойдет. Что будет со мной, с Корниловым, со всем музеем в тот день, когда заработают призывные пункты, подвалы окажутся вдруг не подвалами, а бомбоубежищами, а он не директором музея, а командиром какой-то части. Он думал об этом и не спал. Зато, очевидно, крепко спала за стеной и ни о чем не думала его жена Валентина Сергеевна. А в другом конце города спала Клара — длинная, тонкая, сильная, вытянувшаяся на кровати, как в строю. А еще дальше, в горах, спала племянница бригадира Потапова, которая так хорошо умела смеяться, когда надо было работать. Она, верно, тоже сейчас бормотала и улыбалась во сне. Тихо и мирно спали наши женщины, веря в нас, в нашу мужскую силу, доброту, ум, мужество и в то, что мы сумеем не допустить в мир ничего плохого.

А где-то там, верст за двадцать, в глухом урочище, на берегу грязной речонки, под огромными голубыми валунами спала уже второе тысячелетие та, которая когда-то была первой красавицей, принцессой, невестой, а может быть, еще и колдуньей.

Все вокруг нее было овеяно темнотой и тайной. Она не была похоронена и оплакана, над ней не возвели погребальной насыпи, не поставили надгробного камня. В день свадьбы она вдруг пропала из глаз людей. И два тысячелетия никто не знал, как же это случилось и где она находится. При жизни она была высокая, с тонкими пальцами, продолговатым лицом, и все ее считали, конечно, красавицей. Сыплет дождик, летят мокрые листья, идут низенькие тучи, грязь прямо хлещет с гор жирными потоками. Но она надежно укрыта валуном, и две тысячи лет, прошедшие над ней, ничего тут не изменили. Еще только две-три бляшки из ее свадебного убора попали нам в руки, все остальное цело. Ее еще не нашли и не ограбили. Придет время, и все триста ее золотых украшений — кольца и серьги — полностью переселятся в витрины музея. А сейчас она все еще невеста. И я только стою и гадаю, какая же она?..

Вот в это время и прошли около меня две женщины. Одна, та самая, которую за глаза мы звали «мадам Смерть». Я за последние два года видел ее только однажды — в ту ночь, когда увозили завхоза. Но никаких сомнений у меня это не вызвало. Я ведь тоже был понятой. А она была машинисткой особого отдела, и поэтому все, что выходило из ее рук, было тоже секретным, важным и особенным. Полчаса тому назад, отчетливо представил я себе, она закончила печатать длинную бумагу, где упоминалась моя фамилия. В бумаге этой описывались наши поступки, приводились отдельные фразы и делался вывод, что мы люди опасные, ненадежные и доверять нам нужно с осторожностью, а одному так и совсем нельзя даже доверять. Машинистка неплохо, пожалуй, ко мне относилась и даже рискнула раз меня предостеречь, но я не послушал, и теперь она, печатая бумагу, думала только о том, чтобы все буквы выходили четко, интервалы и красные строки были расположены правильно, а заголовок и поля достаточны для резолюции.

А рядом, в другой комнате, думалось мне, сидела другая женщина — красивая, молодая блондинка, задумчиво курила и ждала эту бумагу. Ей надлежало сейчас же ее принять и приобщить к чему-то. Она знала всех упоминаемых в этой бумаге и полностью понимала, что по крайней мере для одного из них все это означает. Именно поэтому она была слегка смущена, огорчена... и даже, пожалуй, чуть-чуть взволнована и курила. С человеком, фамилия которого упоминалась в этой бумаге чаще всего и ради которого, собственно говоря, вся бумага и была составлена, ей редко случалось разговаривать. Тем не менее однажды она целый вечер просидела в нетрезвой компании, специально слушая его. И по-

этому сейчас ей, должно быть, казалось, что не все в этой бумаге изложено правильно, что из нее ушло что-то очень важное, а появилось что-то совсем лишнее. Герой этой бумаги, обрисованный (вернее, сформулированный) со зловещей традиционной безличностью тех времен (он, оказывается, «восхвалял», «клеветал», «дискредитировал», «сравнивал»), очень мало напоминал ей того, кто вызвал однажды у нее за оживленным столом неясную, несильную, но все-таки достаточно определенную симпатию.

А к четырем часам утра бумага была напечатана, проверена и отложена в особую папку с надписью: «На визу». И вот теперь, в половине пятого, они обе прошли мимо меня, обе меня сразу узнали и поздоровались. Все было, как и раньше.

Над городом опять стояло высокое, холодноватое утро. Пробуждались первые птицы, спешили первые прохожие. Где-то далеко-далеко на высокой чистой ноте звенел первый трамвай, и мы втроем стояли, смотрели на небо, дышали острым воздухом и весело говорили о том, что день установится ясный и погожий. И хорошо бы сегодня выбраться в горы.



А. ПРАСОЛОВ

★

ДЕСЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

Весна — от колеи шершавой
До льдинки утренней — моя.
Упрямо в мир выходят травы
Из темного небытия.

И страшно молод и доверчив,
Как сердце маленькое, лист,
И стынет он по-человечьи,
Побегом вынесенный ввысь.

И в нас какое-то подобье:
Мы прорастаем только раз,
Чтоб мир застать в его недобрый
Иль напоенный солнцем час.

Нам выпало и то и это,
И хоть завидуем другим,
Но, принимая зрелость лета,
Мы жизнь за все благодарим.

Мы знаем, как она боролась
У самой гибельной стены,—
И веком нежность и суровость
В нас нераздельно сведены.

И в постоянном непокое
Душе понятны неспроста
И трав стремленье штыковое,
И кротость детская листа.

* * *

Привычно клал он заводскую
Фундаментальную трубу,
И час и два держал людскую
Там, у подножия, толпу.

В нас тяга к высоте издревле,
И вот приплюснулись у стен
Зеваки, вниз ушли деревья,
Дома и ежики антенн.

Тысячелетней гордой силой
Отчаянное ремесло
Торжественно и неспесиво
Его над всеми вознесло.

И справа месяц запоздалый,
И солнце в левой стороне
С далеким, маленьким, усталым
С ним поднимались наравне.

* * *

Черней и ниже пояс ночи.
Вершина строже и светлей.
А у подножья — шум рабочий
И оцепление огней.

Дикарский камень люди рушат,
Ведут стальные колеи.
Гора открыла людям душу
И жизни прожитой слои.

Качали тех, кто, шахту вырыв,
Впервые в глубь ее проник.
И был широко слышен в мире
Восторга вырвавшийся крик.

Но над восторженною силой,
Над всем, что славу ей несло,
Она угрюмо возносила
Свое тяжелое чело.

* * *

Среди цементной пыли душной,
Среди кирпичной красноты
Застигла будничную душу
Минута высшей красоты.

И было все привычно грубо:
Столб, наклонившийся вперед,
И на столбе измятый рупор —
Как яростно раскрытый рот.

Но так прозрачно, так певуче
Оттуда музыка лилась...
И мир был трепетно озвучен,
Как будто знал ее лишь власть.

И в нем не достигали выси,
Доступной только ей одной,
Все звуки, без каких немислим
День озабоченно-земной.

Тяжка нестройная их сила,
Неодолима и густа...
А душу странно холодила
Восторженная высота.

Быть может, там твоя стихия?
Быть может, там отыщешь ты
Почувствованное впервые
Пристанище своей мечты?

Я видел все. Я был высоко.
И мне открылись, как на дне,
В земной нестройности истоки
Всего звучавшего во мне.

И землю заново открыл я,
Когда затих последний звук,
И ощутил не легкость крыльев,
А силу закрученных рук.

* * *

Платье — струями косыми.
Ты одна. Земля одна.
Входит луч тугой и сильный
В сон укрытого зерна.

И, наивный, тает, тает,
Жавороночий восторг...
Как он больно прорастает —
Изогнувшийся росток!

В пласт тяжелый упираясь,
Напрягает острие —
Жизни яростная завязь,
Воскрешение мое!

Пусть над нами свет — однажды
И однажды — эта мгла,
Лишь родиться б с утром каждым
До конца душа могла.

* * *

Памяти художника С.

Взметнули трубы медные
«Интернационал».
Встает двадцатилетняя
Тревожная страна.

На всем — отсветы красные
Октябрьского огня
И пятилетки властная
Крутая пятерня.

Весь мир писать бы заново
В его гигантский рост —
От доменного зарева
До беспокойных звезд.

Дерзнув на поиск яростный,
Свести б на тыщу лет
Со всей земною яркостью
Победно красный цвет.

И думалось ли смолоду,
Что в лучший срок весны
Виски овеет холодом
Колымской седины?..

Молчат холсты шершавые,
Мертва седая кисть.
От немоты, душа моя,
Сурово отрекись!

Гляди: неправда — вот она!
Клянись же у черты
Быть безраздельно подданной
Прицельной прямоты.

* * *

Сюда не сходит ветер горный.
На водах — солнечный отлив.
И лебедь белый, лебедь черный
Легко всплывают в объектив.

Как день и ночь. Не так ли встретил
В минуту редкостную ты
Два проявления в разном свете
Одной и той же красоты?

Она сливает в миг единый
Для тех, кто тайны не постиг,
И смелую доступность линий,
И всю неуловимость их.

Она с дичинкой от природы:
 Присуще ей, как лебедям,
 Не доверять своей свободы
 Еще неведомым рукам.

* * *

Далекий день. Нам по шестнадцать лет.
 Я мокрую сирень ломаю с хрустом:
 На парте ты должна найти букет
 И в нем — стихи. Без имени, но с чувством.

В заглохшем парке чуткая листва
 Наивно лепетала язычками
 Земные, торопливые слова,
 Обидно не разгаданные нами.

Я понимал затронутых ветвей
 Упругое упрямство молодое,
 Когда они в невинности своей
 Отшатывались от моих ладоней.

Но май кусты порывисто примял,
 И солнце вдруг лукаво осветило
 Лицо в рекламном зареве румян
 И чей-то дюжий выбритый затылок.

Ты шла вдали. Кивали тополя.
 И в резких тенях, вычерченных ими,
 Казалась слишком грязною земля
 Под тапочками белыми твоими...

Но на земле предельной чистотой
 Ты искупала пошлость человечью,—
 И я с тугой охапкою цветов
 Отчаянно шагнул тебе навстречу.

* * *

Зима крепит свою державу.
 В сугробах трав стеклянный сон.
 По веткам белым и шершавым
 Передается ломкий звон.

Синеет след мой не бесцельный.
 О сказки леса, лег он к вам!
 И гул певучести метельной
 С вершин доходит по стволам.

Я у стволов, как у подножья
 Величья легкого, стою.
 И сердце родственною дрожью
 Певучесть выдало свою.

В объятых сосен я исколот.
Я каждой лапу бы пожал.
И красоты кристальный холод
По жилам гонит алый жар.

* * *

Тревожит вновь на перепутье
Полет взыскательных минут.
Идут часы — и по минуте
Нам вечность емкую дают

Березы яркие теснятся,
По свету листья разметав,
И травы никнут — им не снятся
Былые поколенья трав.

Там древние свои законы,
И в безучастности земли
Граничит ритм наш беспокойный
С покоем тех, что уж прошли.

Земля моя, я весь — отсюда!
И будет час — приду сюда,
Когда зрочки мои остудит
Осенним отблеском звезда.

И думаю светло и вольно,
Что я не твой, а ты — моя,
От гулких мачт высоковольтных
До неуютного жнивья.

И душу я несу сквозь годы,
В плену взыскательных минут
Не принимая той свободы,
Что безучастностью зовут.

Воронеж.



С. СЛАВИЧ

★

НА МОРСКОЙ ДОРОГЕ

Рассказ

В наше время настоящих моряков нужно искать на рыбацких судах. С каждым годом танкеры, сухогрузы, лесовозы, пассажирские лайнеры увеличиваются в размерах и как бы отдаляют моряка от воды. На некоторых из них матрос может видеть море не иначе, как с высоты четвертого этажа. Да и что осталось в ином нынешнем молодом человеке от прежнего матроса, кроме косых бачков, одесского пришепетывания и песни «Раскинулось море широко»? Все ли они умеют вязать узлы, работать с парусом, конопатить палубу, орудовать рашкеткой?

А нынешний боцман! Он скорее похож на завхоза, чем на прежнего могучего и грозного мастера на все руки. Ему бы очки, портфель да капроновую шляпу с пестрой ленточкой.

И потом это предупреждение в лощиях: «Мореплаватель, отклоняющийся от рекомендованных лощий курсов, действует на свой риск». Вот и пересекли моря и океаны этикие шоссе с двухсторонним движением.

На этих рекомендованных курсах все расписано — градусы, магнитные аномалии, маяки, течения, створные огни... Созданы даже свои правила «уличного» движения. Где вы, времена пустынных морских горизонтов?

Конечно, не обходится без того, что кто-нибудь с кем-нибудь столкнется. Но ведь это случается даже с самолетами, хотя в небе нет проливов, шхер, фьордов и прочих, как их называют моряки, у з к о с т е й.

Бывает, что даже иной крупный корабль заблудится, потеряет ориентировку, но и это в наше время редкость.

Что касается малотоннажных судов, то настоящих моряков тем более не найдешь на всех этих лихтерах и сухогрузах, перевозящих руду из Керчи в Мариуполь или пиво из Одессы в Ялту. Эти почтенные «лапти» держатся берега (наверное, для того, чтобы все могли ими любоваться) и юркают в порты под прикрытие волноломов при первом намеке на шторм. Да иначе им, собственно, и нельзя.

По сравнению с любым кораблем рыбацкий сейнер — не более как ореховая скорлупка. Но только на этих скорлупках и увидишь настоящих моряков. Не щеголей, блистающих шевронами на рукавах и «капустой» на фуражке, а обыкновенных хлопцев в кепочках, штапельных рубашках и кирзовых сапогах.

Нет в них морского шика, и если кто-нибудь — не дай бог! — вздумает напускать его на себя, это вызовет у остальных вначале удивление, озабоченность — что с парнем стряслось? — а потом, когда выяснится, что не случилось ничего, — такие подначки, от которых никуда не денешься.

Скажите кому-нибудь о том, что средний черноморский сейнер вышел в океан, — засмеют. А ведь выходят! Да что там говорить — наши же ребята ловили рыбу на этих скорлупках в Атлантике, в Индийском океане.

От палубы до поверхности моря какой-нибудь метр с хвостиком. Нужно галюн промыть — пожалуйста! Зачерпнул ведро воды, плеснул — и полный порядок.

А ребята, которые ходят в северные моря за селедкой и треской! Они даже нашим сто очков вперед дадут. И опять-таки никакого форса, никакого шика. Шик оставлен для водителей речных трамваев на Москве-реке.

Отличные люди, бесстрашные моряки. Никто меня не переубедит в этом. Тем более не сможет это сделать Николай Второй.

До чего же чмурная личность! Дернуло его увязаться с нами в этот рейс в Болгарию.

Урсус чертов. Урсус — это, как бы вам сказать, ну, в общем, человек, которого очень неохотно берут на судно, потому что, если он на борту, так и знай: улова не будет. Есть такие люди. Можете не сомневаться. Проверено.

Урсус, Наш Дурачок — каких только кличек ему не лепили поначалу. А потом все вдруг стало на свои места. Предыдущего председателя колхоза звали Николаем — и этот Николай. «Бим-бом, все готово», — как говорит Жорка (на каждом почти судне есть свой Жорка): новый председатель получил кличку Николай Второй.

В глаза его упрямо величали Николаем Александровичем. Почему упрямо? Да потому, что в действительности он был Николай Петрович. Однако, поскольку он был не просто Николай, а Второй, а последний российский самодержец, как известно, именовался Николаем Александровичем, то вот председателя и приучали — деликатно, но настойчиво — к этому имени. Стал откликаться. Приучили.

Хотя вообще-то заслуга невелика. Его легко было к чему угодно приучить. До колхоза он работал директором бани. Отвечал за «помыв». Потом, видно, надоел. Предложили две другие должности: директором промкомбината (пластмассовые пуговицы и гребешки делать) или председателем рыбколхоза. Он избрал второе, вот и стал Николаем Вторым. Слабаки из промкомбината ему, конечно, такой клички не придумали бы.

Шли мы к болгарским берегам на перехват скумбрии, которая весной выходит из Босфора и, постепенно передвигаясь на север, пасется на мелководье. Шли впервые, но с большой охотой, потому что у каждого почти были на том берегу друзья: к нам не раз заходили болгарские дельфинеры и все звали к себе в гости. Отличные ребята и потом — братья-славяне, с которыми легко объясняться без переводчика. Жорка, о котором здесь уже говорилось, вообще пришел к выводу, что вся разница между болгарским и русским языками заключается в том, что рыбу, которая идет «налево», мы называем м у г а н, а болгары — ч а л о.

Однако Жорка — не очень крупный авторитет, и это его лингвистическое наблюдение можно оставить без внимания. Николай Второй был вообще убежден, что Жорка существует на судне только для того, чтобы каждый, кто хочет, имел возможность сказать: «Жора, подставь макинтош — рыбы насыплю». Однако это неправда.

С охотой шли к Болгарии еще и потому, что промысловая обстановка во всем бассейне складывалась скучно. Суда и самолеты рыборазведки жгли солярку и бензин впустую. Ни ставрида, ни пеламида, которые обычно ловятся весной вначале у Анатолийского побережья, а потом

у Кавказского, на этот раз не появлялись. И вот в этот-то момент болгары передали: спешите в гости — пошла скумбрия.

То, что пошла скумбрия и можно было отличиться, обрадовало председателя, он решил и ч н о возглавить экспедицию, но вот приглашение в гости всякий раз, когда он вспоминал о нем, портило ему настроение. Он не знал, что делать с этим приглашением.

Оно конечно, существует конвенция, разрешающая рыбакам наших стран заходить в порты друг к другу, и болгары не раз этим пользовались, однако, с другой стороны, нам прямого разрешения на это не было. Правда, никто и не запрещал ничего, посоветовали даже купить на всякий случай сувениров, ну, значков там с надписями «Мир», «Дружба», открыток с портретами Гагарина и Титова. Но опять-таки совет дан на словах, а слова к делу не подошьешь...

А ребята давят. Они, оказывается, давно решили, что в Созополе, откуда чаще всего наведывались к нам болгарские рыбаки, побывают обязательно. Ишь шустрые какие! Они решили! Приспичило! А отвечать в случае чего кому? Председателю!

Неожиданно обстановку еще больше усложнил судовой радист, Маркони, как мы его называли. Работа у него на переходе известная — обеспечить ребятам спортивный выпуск последних известий, регулярно выходит на сеансы с берегом, аккуратно записывай прогнозы («...ветер западный с переходом на северо-западный, 5—6 баллов, море 4—5 баллов...»), дай хорошую музыку и вообще проявляй инициативу, следи за эфиром. Все это радист делал и даже успевал мечтать, глядя на вырезанные из польского журнала «Экран» изображения девиц с ногами немислимой длины.

Из радиорубки слышался загробный голос:

— Я — «Гагара», я — «Гагара», я — «Гагара»... Болгарские рыболовецкие суда, болгарские рыболовецкие суда, болгарские рыболовецкие суда... Прошу связи, прошу связи, прошу связи. Прием.

Он повторял это несколько раз, пока однажды мы не услышали сдержанно-ликующее:

— Я — «Гагара», я — «Гагара»... Слышу вас. Слабо, но слышу. Здравствуй, Антон, здравствуй, друг. Мы на переходе, мы на переходе. Держим курс на мыс Калиакра. Часов через восемнадцать—двадцать думаем быть на месте, через восемнадцать—двадцать часов будем на месте, у мыса Калиакра. Сообщите, где находитесь, где находитесь...

Дальше он с теми же неизбежными повторениями попросил сообщить погоду, промысловую обстановку, передал целую кучу приветов и наконец сказал:

— Сообщите, как поняли. Прием.

Поняли его хорошо. Погода у болгар стояла промысловая, рыбу они брали успешно.

Пока все шло нормально. Мы слушали этот разговор в ходовой рубке, которая сообщается с радиорубкой небольшим окошком. Нащ председатель даже величественно выпрямился от сознания того, что впереди у него исторический мыс Калиакрия, с видом флотоводца обшарил биноклем горизонт и не удержался от того, чтобы не дать вахтенному ОЦУ (особо ценное указание):

— Не рыскай по курсу.

И тот промолчал, не ответил на это, как наверняка ответил бы в другое время:

— А ты не рыскай под ногами.

Да, за штурвалом стоял Гаврош — ядовитейший лысый мужик лет пятидесяти пяти, для которого это «не рыскай по курсу» было страшным оскорблением, и все-таки он промолчал, чтобы не спугнуть, не сглазить

едва намечавшееся везение. Мне уже казалось, что я чувствую запах только что пойманной рыбы на борту.

А болгарин, ответив на вопросы, звал нас в гости. Председатель нахмурился и буркнул:

— Тоже начальник нашелся.

Не знаю, как услышал это Маркони, но он тут же сказал:

— Благодарим, Антон. Ты что, нас от себя лично приглашаешь?..

Антон понял. Через несколько часов была получена радиограмма, в которой нас вполне официально приглашали нанести визит в свободное от промысла время для обмена опытом и встречи «за дружественным столом». Перед подписями была фраза: «Ждем ответа».

Председатель сунул радиограмму в карман и сказал:

— Ребятам ни слова.

— А они знают. Были рядом, когда принимал.

Трудно сказать, почему именно это вдруг взорвало председателя. Он разорался:

— Шутишь? Нарушаешь инструкцию? Допускаешь посторонних в рубку? Попорчу я тебе автобиографию, Маркоша..

Радист глянул на него, как на раздавленного на палубе бычка:

— Маркошей меня называют друзья и родная мама. Для вас я радиоператор Загоруйко. А биографию мою портить поздно — я уже плачу алименты. Ясно?

Он ушел к себе. Из окошка в ходовую рубку доносилась его песенка:

Как из-за той девчоночки
Отбили мне печеночки...

Председатель захлопнул окно. Маркони снова открыл его, спросил:

— Ответ на радиограмму будет?

— Нет.

— Так и передать?

— Не смейте ничего передавать!

— Между прочим, здесь я подчиняюсь только капитану, а с вами говорю из любезности. Верно, кэп?

Капитан сам стоял за штурвалом. Ему этот компот не нравился.

Кэп был здоровенный, похожий на литой чугунный кнехт, мужик, служивший на флоте старшиной водолазов. Когда заходил разговор об образовании, он, бывало, не раз говорил, что у него два диплома — свидетельство о браке и свидетельство об окончании курсов судоводителей-малотоннажников. Первое для практики судовождения давало ему больше. Чтобы понять это, нужно было видеть его жену — горластую одесситку из тех, что скупают рыбу в гавани, а потом перепродают на Привозе. С такой ладить труднее, чем идти в тумане без лоцмана по незнакомому фарватеру.

...Капитану все это явно не нравилось. Ловили бы себе рыбу спокойно, безо всяких визитов, как возле турецких берегов, например. Там все ясно: что бы ни случилось, держаться за пределами территориальных вод — и баста. На судне капитан за все в ответе. Вот и сейчас, если, не дай бог, что случится...

Только вот вопрос: а что, собственно, может случиться?..

— Так что будем делать? — спрашивал между тем Николай Второй.

Его мучили сомнения: с одной стороны, вроде неловко лазить у них по огороду, а в дом не зайти. Все-таки в их водах ловить будем — косяки держатся у берега. А с другой стороны, они у нас были, мы их прини-мали, угощали, возили на экскурсии. Они чувствуют себя обязанными.

Не зайти — можно обидеть. Нехорошо. Тем более что зовут настойчиво. Эх, знали бы они, сколько хлопот из-за их приглашений!

Капитан сочувственно помалкивал. Он вообще начинал говорить, только когда выпьет.

— А может, рискнем? — отчаянно говорил вдруг Николай Второй и тут же отвечал себе: — Нет, нельзя. Ты посмотри еще, что у нас за народ, между прочим. Один Жорка чего стоит. Как говорят: «Бригада — ух, работает с часу до двух, в полтретьего обед получает, а в три работу кончает...»

Его перебил появившийся в рубке Гир-гир. Он дожевывал что-то. Последние слова его обидели.

— «Между прочим», — передразнил он. — Между прочим, план выполняем, газеты читаем, в кино ходим, водку в море не пьем...

— А Гаврош? — перебил председатель.

— Пожилого человека сразу не перевоспитаешь. А потом — сколько он пьет? Таким, как Гаврош, бутылку пива на ведро воды — и вся деревня пьяная.

— Тем более нельзя в иностранный порт.

— Ладно, — сказал Гир-гир, — идите рубать. Кок сегодня классный борщ сварил. Я тебя подменю, кэп.

Гир-гир был бригадиром. Вообще-то «гир-гир» — составная часть кошелькового невода, которым ловят рыбу. Бригадира прозвали так за его говор: он был немного косноязычен.

— А суеверия? — сказал председатель.

— Ты что, шуток не понимаешь? — ответил бригадир, становясь за штурвал.

Дело в том, что у старых рыбаков масса предрассудков. Нельзя «кудакать» — спрашивать перед выходом в море или на судне, куда идем, нельзя царапать мачту, чтобы не вызвать ветер, нельзя на судне говорить о попе, о кресте и о зайце. В общем, много чего нельзя. Недавно неожиданно для всех добрый старик Гаврош выступил хранителем этих обветшалых традиций, этого наследия, от которого мы отказываемся. Началось с того, что в полутрезвом виде он среди прочих вещей выкинул за борт плюшевого зайца, которого Маркони купил в подарок своему младенцу. Проспавшись, он, вместо того чтобы честно признать ошибку и пообещать больше не позорить передовой коллектив, занялся демагогией — заявил, что от этих зайцев все последние неудачи.

Второй механик Сашка Рабинович грустно улыбнулся и сказал, что, когда Гаврош напьется следующий раз, причиной всех неудач будет он, Сашка.

— Я это чувствую, — добавил он. Но ему никто не поверил.

Гавроша начали перевоспитывать. Над его койкой в кормовом кубрике поочередно висели все двенадцать открыток из серии, изображавшей проделки трех веселых зайчат. Гаврош рвал и метал. Над входом в кубрик повесили заячьи лапки — он их сорвал и выкинул. На немыслимой высоте на фок-мачте Маркони прикрепил целлулоидного зайца. Старик бесстрашно расстрелял его из ружья.

Об этом-то и вспомнил председатель. А стояло ли? Дались ему эти зайцы.

За Гавроша заступался один Жорка. Но он за многих заступался — здоровье позволяло. Его считали дураком, а он был просто добрый.

В Жорке было метр восемьдесят пять. Какой-то народный умелец разрисовал его наколками во всех измерениях — даже на ягодицах была изображена кошка, играющая в мяч. Во время купаний мы специально просили его походить по палубе голышом, чтобы посмотреть на это чудо:

с каждым шагом кошка протягивала лапу, а мяч тут же откатывался. Такую иллюзию создавало движение мышц и кожи.

Это был высший класс. Парень, который придумал это, смело мог тягаться в мастерстве с чудаками, вырезающими на пшеничных зернах разные рисунки и тексты. Жаль, что этот шедевр оказался в положении недоступной для всеобщего обозрения картины из частной коллекции какого-нибудь лорда. Большую часть времени его скрывали грязные Жоркины штаны. Но кто может видеть все эти художества на пшеничных зернах? Микроскоп-то ведь не каждый носит с собой.

...Сейнер пересекал бойкую морскую дорогу, связывающую порты северо-западного Причерноморья (Одессу, Констанцу, Николаев, Херсон) с Босфором. Часто стали попадаться иностранные суда, и Жорка нашел себе развлечение, в которое вскоре втянулася вся команда.

Как известно, каждое судно ходит под флагом своего государства. На флоте, особенно у военных моряков, существует целый церемониал подъема и спуска флага. На небольших рыбацких судах этим себя не затрудняют. Там флаг обычно поднимут и не трогают, пока он не истреплется. На средних черноморских сейнерах он висит почти над трубой и иной раз так прокоптится, что и цвета не различишь. Происходит это, поверьте, не от неуважения к флагу, а просто жизнь там настолько суматошная, что иногда и поесть забывают.

В море суда приветствуют друг друга приспусканием флага. Но и тут рыбаки обычно не придерживаются этикета. И опять-таки не подумайте, что причина — отсутствие вежливости. Просто они рассуждают: ну разве обратит внимание на нашу скорлупку раззолоченный капитан или вахтенный штурман какого-нибудь лайнера водоизмещением тысяч в двадцать тонн?

Но на этот раз на Жорку что-то нашло. Вооружившись биноклем, он уселся на ходовом мостике и стал подкарауливать корабли. Как только сейнер сближался с каким-нибудь судном, Жорка приспускал свой прокопченный флаг: здравствуйте, мол, приветик! И тут же хватался за бинокль, чтобы посмотреть, как ведет себя встречное судно, выяснить, кому оно принадлежит.

С румынским танкером, который, по-видимому, возвращался откуда-то в Констанцу, мы поздоровались быстро, весело и как бы с подмигиванием:

— Ну как — порядок?

— Порядок!

Советский лесовоз, который протащил свои дрова сквозь штормы всех северных морей и теперь сопел от удовольствия, предвкушая встречу с Одессой, приспустил флаг, ухмыльнулся:

— Рыбка плавает по дну?

Жорка понял и застеснялся.

Югославский сухогруз современной красивой постройки с трубой, одновременно похожей на перевернутый цветочный горшок и на модную дамскую шляпку, приветствуя нас, чуть задержал свой флаг приспущенным. Он будто спрашивал:

— А дальше что?

Жорка пожал плечами.

Белый пассажирский теплоход под нашим флагом (видимо, со средиземноморской линии) вообще не пожелал нас заметить и быстро прошел мимо: он, видите ли, везет иностранных туристов и бедные родственники ему ни к чему.

— Ах ты стерва! — возмутился Жорка. — Обязательно пожалуюсь в «Известия»...

Старенький пароход средней комплекции неожиданно оказался британцем. Несмотря на потертый пиджак и пенсионный возраст (а может быть, именно поэтому), он повел себя чопорно, едва кивнул, приспустив флаг на какие-нибудь четверть секунды.

Жорка сделал такое выражение лица:

— Хм?!

Впрочем, точно так же этот пароход спустя несколько минут поздоровался и с соотечественником — пижонистым лайнером с корпусом салятного цвета и красной трубой. Жорка следил за ними в бинокль.

Шедший следом израильтянин салютовал как-то по-одесски:

— Ну? Ловите рыбу? А от меня чего нужно?

— Фу-ты ну-ты, — покачал головой Жорка.

И опять новое большое судно. Оно долго не отвечало, хотя в бинокль Жорка видел, что нас там заметили. Вся команда сейнера наблюдала за судном, и это, наверное, тоже там заметили. Молчание становилось невыносимым. Не видеть протянутую руку оказалось дальше невозможным, и на встречном судне нехотя приспустили флаг.

— «Гамбург», — прочитал Жорка на корме. — Жлоб недобитый, — крикнул он.

Игра всем надоела. Жорка слез с мостика и устроился загорать вместе с обольстительной красавицей, выколотой у него на спине. И тут вдруг нас первым приветствовал проходивший мимо болгарин. Что за суета поднялась на палубе! Сашка кинулся приспускать флаг, обзывая на ходу Жорку лопухом. Жорка вспомнил спасителя и триста боженят. Гаврош требовал поднять сигнал с пожеланием счастливого плавания. Кэп, у которого сигнальные флаги валялись под койкой, рывкнул в ответ что-то устрашающее. Успокоил всех Маркони. Он связался с болгаринном и дружески поговорил с ним.

Председатель смотрел на эту неразбериху, многозначительно поджав губы. В нем снова ожили все сомнения: ни сообразительности у этих людей нет, ни обхождения, ни такта. Наломают они дров в чужом порту, как пить дать. Хлебать потом эту историю, не расхлебать. И до Москвы дойдет и до Киева, а о своем городе и говорить не приходится — не меньше года на каждом активе и пленуме будут вспоминать. Хорошо, если еще строгачом отделаешься. «Нет, нет и нет, — решил он. — Никаких заходов в порты».

Вечером подошел Маркони:

— Болгары просят подтвердить получение радиограммы.

— Что это значит?

— Намек, — ухмыльнулся Маркони. — Ждут ответа.

Николай Второй увидел в этой ухмылке покушение на свой авторитет, но сдержался.

— Промысловая сводка есть? — спросил он.

— Болгары сегодня взяли немного меньше, чем вчера, — ответил Маркони.

— Да? — обрадовался председатель.

— У них полдня самолет-разведчик не работал. Позывные у самолета интересные — «Акула»...

Николай Второй пожал плечами, явно не одобряя эти позывные: почему в Черном море и вдруг «Акула»? Ему бы, наверное, больше понравилась «Хамса». Но что делать с людьми, которые не хотят быть мелкой рыбешкой?

— А сводку по бассейну принял?

Маркони принес ее:

Сводка, как обычно на безрыбье, была туманной. Составители ее словно бы чувствовали себя виноватыми в том, что все старания разведчиков не приводят ни к чему. Единственным проблеском было сообщение поискового судна «Луч», которое в центральных квадратах (примерно «посредине» моря) обнаружило небольшие косяки пелаמידы.

— Ну? — сказал Николай Второй. Его заинтересовала пеламида.

Кэп, как обычно, промолчал, а Гир-гир скривился:

— Болгарская скумбрия — верняк. Там ловят. А эта пеламида — еще курочка в гнезде... Сегодня утром ее видели, а завтра где она?

— Скумбрии сегодня тоже меньше взяли...

— Это бывает. День на день не похож, — возразил Гир-гир.

Они еще долго говорили втроем в каюте капитана. Председатель спорил с бригадиром. Ему что-то слишком нравилось это сообщение о пеламиде.

Давно стемнело. Кроме двух вахтенных и радиста, все из команды пошли спать. Даже кок (он последним ложился и первым вставал), помыв посуду и накачав из цистерны воды на камбуз, пошел в кубрик.

Ровно стучал дизель, но этот стук был свой, привычный и его не замечали, как не замечают биения собственного здорового сердца. Судно немного покачивало, но этого тоже никто не замечал. Время от времени в правую скулу сейнера беззлобно, вполсилы била волна. Видно, на этот раз морю нравилось быть добрым.

Воздух был чист и влажен, от этого ходовые огни светились пронзительно-ярко. Зеленый казался ярче красного. Из радиорубки доносилась грустная музыка. Гмыря пел серенаду Шуберта — Маркони слушал Варну.

Председатель постучал в переборку:

— Чего нудьгу завел? Смени пластинку!

— Хор Пятницкого выходной сегодня, — ответил радист и вообще прикрыл лавочку. Укладываясь спать, он решил заключить перемирие с Гаврошем, которому все равно скоро на пенсию пора, и направить основной удар против Николашки. «Не может быть, — думал он, — чтобы я не подловил его на чем-нибудь. Придет же время, когда я скажу ему: «Коля, ваше величество, если не умеешь думать, то хоть шевели рогами...»

Маркони уже засыпал, когда почувствовал, что вроде бы изменилась качка. Раньше судно слегка переваливалось с борта на борт, а теперь стало как бы кланяться волнам.

— Что там — ветер переменялся? — спросил он бригадира, который, гремя сапогами, спустился по трапу.

— Вот именно, — буркнул тот.

В том, что Жорка вылез утром на палубу раньше всех, ничего удивительного не было — Жорка был работяга. Правда, его однажды разыгрывали, что он, мол, по утрам просто спешит первым в галюнь, чтобы потом не ждать очереди. Но если даже и так? Что тут особенно-го? Человек торопится покончить с личными нуждами. Что же тут плохого?

Но на этот раз его подняло раньше всех даже не это. Ему хотелось первым увидеть чужую землю.

Еще накануне он взял у кэпа трехцветный болгарский флаг, чтобы поднять его, как это и положено, при входе в болгарские территориальные воды. «Но чего, собственно, ждать? — подумал он теперь. — Пограничных столбов на море все равно нету». И решил поднять флаг прямо с утра. Сказано — сделано.

Однако, когда на мачте рядом с советским флагом заполоскался болгарский, Жорка вдруг ужаснулся: где же его глаза были раньше?!

Болгарский флаг был новенький, чистый, праздничный, а наш родимый казался рядом с ним прокопченным, грязным. Да и немудрено — сколько месяцев он бесценно нес свою вахту над самой дымогарной трубой! Ну разве можно было показаться в таком виде чужим людям?

Раздумья заняли секунду. Это какой-нибудь пижон-чистюля с океанского лайнера или эсминца побежал бы докладывать обо всем офицеру, а настоящий моряк способен и сам принять решение. Шевеля от волнения губами, Жорка спустил наш флаг, схватил бачок для мытья ног, мотнулся за мылом, кинулся на камбуз за горячей водой...

Просто горячей воды не оказалось, но на плите стоял полуведёрный чайник с заваренным кипятком. Обжигаясь, Жорка выпорожнил его в бачок и только тогда подумал: ведь чай, может быть, сладкий! Ах, будь ты неладен!

Нет, слава богу, кок сахар еще не успел положить. Как здорово все получается! Теперь полный порядок.

Что значит для бывалого моряка выстирать флаг? Это для стирки штанов вечно не хватает времени. А флаг — раз-два, и готово.

Пообтрепался? Ничего! Немного выцвел? Не страшно! Это от солнца и ветра. Это не страшно. Для флага главное — чтоб чистый был.

Недаром бабы чаем пятна сводят. Как славно получилось! Жорке вдруг стало смешно, когда он вспомнил: а ведь чай мог все-таки оказаться сладким. Ну, сняли бы тогда нагар ребята... Нет, ему просто во всем улитительно повезло. Если такому прокопченному флагу вчера даже тот надутый немец отсалютовал, то о нынешнем свеженьком и говорить не приходится.

И руки совсем не болят, хоть волдыри, гляди-ко, какие повыскочили. Это морская вода боль уняла. Лучшее лекарство от всех болезней. Окунул в нее флаг раз-другой — и рукам легче стало.

Наверху заполоскалось еще сырое красное полотнище. Ничего, свежим ветром его быстро высушит.

Вот теперь оба флага — подходящая пара. Чистые, свежие, праздничные. Ни перед кем не будет стыдно. Жорка полюбовался ими, послушал, как весело они лопочут на ветру, и взошел на ходовой мостик. Он стоял на нем, как на трибуне, гордый и довольный собой.

А снизу, из камбуза, раздался вопль кока: распаялся пустой чайник. Какой ишак выпорожнил его и снова поставил на раскаленную плиту?!

Жорка поморщился: а ведь верно, малость нескладно получилось. Но ничего, Маркони носик к чайнику опять припаяет. Не первый раз. И потом у него это здорово получается. Пусть парень попрактикуется. Еще спасибо скажет.

А обычно тихий кок продолжал метать икру с нездешней силой. «Чего это он?» — озабоченно подумал Жорка. Он перегнулся через поручни мостика, чтобы оценить обстановку, и увидел председателя.

— Чего наверху маячишь?

— Берег выглядываю, — застенчиво улыбнулся Жорка.

Председатель промолчал было, но вдруг увидел оба флага.

— Что это? — глуповато спросил он.

Жорка пожал плечами: неужто не видишь?

— Сними... это, — попросил Николай Второй.

Жорка не понял.

— Флаг сними! — крикнул председатель.

Жорка испугался: неужто плохо постирал? Или слишком вылинял?

И вдруг он услышал, как сменившийся с вахты Гаврош объясняет Маркони:

— При чем тут ветер! Ночью курс изменили, потому волна и хлещет в зад. Не видать тебе Болгарии. Николай Второй решил искать пеламиду. Это спокойнее, говорит.

Жорка слез вниз и пошел к себе в кубрик. Спускать болгарский флаг пришлось самому кэпу.

Председатель, глядя вслед Жорке, сказал:

— Чего это он?

Но ему никто не ответил. Только Маркони, бросая окурочек в безбрежное море, заметил, ни к кому не обращаясь:

— Вот так по глупости и невежеству можно довести до слез старого моряка. Кто же говорит о флаге: «Сними это»? Снять можно штаны, белье с веревки, дурака с должности. А флаг спускают.

Одинокая чайка, непонятно почему залетевшая так далеко от берега, выхватила из воды брошенный Маркони окурочек и тут же разочарованно бросила его обратно.

— Ну что ж,— сказал радист,— пойдем связываться с поисковым судном «Луч». Жить-то ведь надо. Эх!..

* * *

Мы все же побывали в Болгарии. Но не в этот рейс. Все было очень здорово. Жорка интеллигентно пил сухое вино, Маркони угощал Антона «казбеком», тот вежливо курил его, хотя явно предпочитал сигареты, а что касается разговоров, то говорили мы о море, о рыбе и о тех, кто нас ждет на берегу. Да еще без конца приглашали друг друга к себе в гости.



В. БОГОМОЛОВ

★

РАССКАЗЫ

Кладбище под Белостоком

Католические — в одну поперечину — кресты и старые массивные надгробья с надписями по-польски и по-латыни. И зелень — яркая, сочная, буйная.

В знойной тишине — сквозь неумолчный стрекот кузнечиков — не сразу различимый шепот и еле слышное всхлипывание.

У каменной ограды над могилкой — единственные, кроме меня, посетители: двое старичков — он и она, — маленькие, скорбные, какие-то страшно одинокие и жалкие.

Кто под этим зеленым холмиком? Их дети или, может, внуки?..

Подхожу ближе и уже явственно — шепот:

— ...Wieczny odpoczywanie racz mu doć Pannie, a swiatłość wiekuis-ta niechaj mu swieci na wieki wiekow...¹

А за кустом, над могилкой, небольшая пирамидка с пятиконечной звездочкой. На выцветшей фотографии — улыбающийся мальчишка, а ниже надпись: «Гв. сержант Чинов И. Н. 1927—1944 г.».

Смотрю со шемящей грустью на эту задорную курносую рожицу и на старых-стареньких поляков и думаю: кто он им?.. И отчего сегодня, пятнадцать с лишним лет спустя, они плачут над его могилой и молятся за упокой его души?..

Второй сорт

Он приезжает с некоторым опозданием, когда гости уже в сборе и виновница торжества, его двоюродная племянница, то и дело поглядывает на часы.

Моложавый, с крупной серебристой головой и выразительным, энергичным лицом, он, войдя в комнату и радушно улыбаясь, здоровается общим полупоклоном, представительный, почтенный и привычный к вниманию окружающих.

Для хозяев он — дядя Сережа или просто Сережа, а для гостей — Сергей Васильевич, и все уже знают, что он писатель, человек известный и уважаемый.

И подарок привезен им особенный: чашка с блюдцем из сервиза, которым многие годы лично пользовался и незадолго до смерти передал

¹ ...Дай ему вечный покой, господи, и да светит ему вечный свет... (польск.).

ему сам Горький. Эту, можно сказать, музейную ценность сразу же устанавливают на верхней полке серванта за толстым стеклом, на видном, почетном месте.

Сажает Сергея Васильевича рядом с именинницей во главе стола и ухаживают, угощают наперебой; впрочем, он почти от всего отказывается. Наверно, только из вежливости потыкал вилкой в горстку салата на своей тарелке да еще за вечер — с большими перерывами — выпивает рюмки три коньяку, закусывая лимончиком.

Он, должно быть, тяготится этой вынужденной ролью свадебного генерала, но виду не подает. Зная себе цену, держится с достоинством, однако просто, скромно и мило: улыбается, охотно поддерживает разговор и даже пошучивает.

А на другом конце стола не сводит с него глаз будущий филолог, студент первого курса, застенчивый белобрысый паренек из глухой вологодской деревушки.

В Москве он лишь второй месяц и, охваченный жаждой познания, ненасытно вбирает столичные впечатления, способный без усталости, целыми днями слушать и наблюдать. Попал он на именины случайно и, увидев впервые в своей жизни живого писателя, забыв о роскошном столе, о вине и закусках, забыв обо всем, ловит каждое его слово, и улыбку, и жест, смотрит с напряженным вниманием, восхищением и любовью.

По просьбе молодежи Сергей Васильевич негромко и неторопливо рассказывает о встречах с Горьким, о столь памятных сокровенных чаепитиях, под конец замечая с болью в голосе:

— Плох был уже тогда Алексей Максимович, совсем плох...

И печально глядит поверх голов на полку серванта, где покоится за стеклом горьковская чашка, и задумывается отрешенно, словно смотрит в те далекие, уже ставшие историей годы, вспоминает и воочию видит великого коллегу.

Окружающие сочувственно молчат, и в тишине совсем некстати, поперхнувшись от волнения, сдавленно кашляет будущий филолог.

Когда начинают танцевать, он после некоторых колебаний, поправив короткий поношенный пиджачок и порядком робея, подходит к Сергею Васильевичу и, достав новенький блокнот, окая сильнее обычного и чуть запинаясь, неуверенно просит автограф.

Вынув толстую с золотым пером ручку, тот привычно выводит свою фамилию — легко, разборчиво и красиво — на листке, где уже имеется редкий автограф: экзотическая, непонятно замысловатая роспись Тони, африканского царька, а ныне — студента-первогодка в университете Лумумбы.

Уезжает Сергей Васильевич раньше всех. Его было уговаривают остаться еще хоть немного, но он не может («Делу — время, потехе — час... Да и шоферу пора на отдых...»), и, услышав это с огорчением, более не настаивают. Прощаясь, он дружески треплет вологодского паренька по плечу, целует именинницу и ее мать, остальным же, устало улыбаясь, делает мягкий приветственный жест поднятой вверх рукой.

Он уходит, и сразу становится как-то обыденно.

А в конце вечера будущий филолог, находясь всецело под впечатлением этой необычной и радостной для него встречи, стоит у серванта, зачарованно уставясь на горьковскую чашку. Толстое стекло сдвинуто, и она, доступная сейчас не только глазам, манит его как ребенка — страшно хочется хотя бы дотронуться.

Наконец, не в силах более удерживаться, он с волнением, осторожно, как реликвию, обеими руками приподнимает ее. С благоговением рас-

сматривая, машинально переворачивает и на тыльной стороне донышка видит бледно-голубоватую фабричную марку:

Дулево

2 с.— 51 г.

«Дулево... Второй сорт... 51 год...» — мысленно повторяет он, в растерянности соображает, что Горький умер на пятнадцать лет раньше, и вдруг, пораженный в самое сердце, весь заливаясь краской и, расстроенный буквально до слез, тихо, беспомощно всхлипывает и готов от стыда провалиться сквозь землю — будто и сам в чем-то виноват.

...Дурная это привычка — заглядывать куда не просят. Дурная и никчемная...

Кругом люди

Она дремлет в электричке, лежа на лавке и подложив руку под голову. Одета бедно, в порыжелое кургузое пальтишко и теплые не по сезону коты; на голове — серый обтерханный платок.

Неожиданно подхватывается: «Это еще не Рамень?» — садится и, увидев, что за окном — дождь, огорченно, с сердитой озабоченностью восклицает:

— Вот враг!.. Ну надо же!

— Грибной дождик — чем он вам помешал?

Она смотрит недоуменно и, сообразив, что перед ней — горожане, поясняет:

— Для хлебов он теперь не нужен. Совсем не нужен.— И с мягкой укоризной, весело: — Чай, хлебом кормимся-то, а не грибами!..

Невысокая, загорелая, морщинистая. Старенькая-старенькая — лет восьмидесяти, но еще довольно живая. И руки заскорузлые, крепкие. Во рту спереди торчат два желтых зуба, тонкие и длинные.

Поправляет платок и, приветливо улыбаясь, охотно разговаривает и рассказывает о себе.

Сама из-под Иркутска. Сын погиб, а дочь умерла и родных — никого. Ездил в Москву насчет «пензии», причем, как выясняется, и туда и обратно — без билета.

И ни багажа, ни хотя бы крохотного узелка...

— Как же так, без билета? И не ссадили?.. — удивляются вокруг.— А контроль?.. Контроль-то был?

— Два раза приходил. А что контроль?..— слабо улыбается она.— Контроль тоже ведь люди. Кругом люди!..— убежденно и радостно сообщает она и, словно оправдываясь, добавляет: — Я ведь не так, я по делу...

В этом ее «Кругом люди!» столько веры в человека и оптимизма, что всем становится как-то лучше, светлее...

Проехать без билета и без денег половину России, более пяти тысяч километров, и точно так же возвращаться — уму непостижимо. Но ей верят. Есть в ней что-то очень хорошее, душевное, мудрое; лицо, глаза и улыбка так и светятся приветливостью, и столь чистосердечна — вся наружу, — ей просто нельзя не верить.

Кто-то из пассажиров угостил ее пирожком, она взяла, с достоинством поблагодарив, и охотно сосет и жамкает, легонько жамкает своими двумя зубами.

Меж тем за окном после дождя проглянуло солнышко и сверкает ослепительно миллионами росинок на траве, на листьях и на крышах.

И, оставив пирожок, она, радостная, сияющая, шуря блеклые старческие глаза, смотрит как замороженная в окно и восторженно произносит:

— Батюшки, красота-то какая!.. Нет, вы поглядите...

Сосед по палате

— К вашему сведению, папиросами я недавно торгую, а до этого двадцать три года в органах прослужил, честно и безупречно! Двадцать три года с врагами боролся, и, заметьте,— в самые трудные времена. Должность небольшую, конечно, занимал, но ответственность огромная... вот, поседел даже... Я ведь не только нашего брата Савку, я ведь и начальство тоже оформлял — профессоров там всяких, да и генералов... Я хоть и не теорик, но политику насквозь понимаю и на практике все могу... А когда эта бериевщина обнаружилась, меня и попросили. Двадцать три года, честно и безупречно, и вот пожалуйста — отблагодарили!.. Под самый корень подсекли, а позвольте узнать: за что?!. Говорят, по непригодности, а я и спрашиваю: как же двадцать три года был пригоден?.. Говорят, по недостаточной грамотности, мол, кругозор маловат, а я и спрашиваю: как же двадцать три года был достаточным?.. Тогда мне и заявляют: приказ министра! А я им и говорю: а если бы министр приказал меня расстрелять, вы бы расстреляли?.. Вот то-то и оно! И не потому, что пожалели бы, не-ет!.. Просто это было бы нарушение соцзакононости, а теперь за это кре-епенько бьют!..

Сердца моего боль

Это чувство я испытываю постоянно уже многие годы, но с особой силой — 9 мая и 15 сентября.

Впрочем, не только в эти дни оно подчас всецело овладевает мною.

Как-то вечером вскоре после войны в шумном, ярко освещенном «гастрономе» я встретился с матерью Ленки Зайцева. Стоя в очереди, она задумчиво глядела в мою сторону, и не поздороваться с ней я просто не мог. Тогда она присмотрелась и, узнав меня, выронила от неожиданности сумку и вдруг разрыдалась.

Я стоял, не в силах двинуться или вымолвить хоть слово. Никто ничего не понимал; предположили, что у нее вытащили деньги, а она в ответ на расспросы лишь истерически выкрикивала: «Уйдите!!! Оставьте меня в покое!..»

В тот вечер я ходил словно пришибленный. И хотя Ленка, как я слышал, погиб в первом же бою, возможно не успев убить и одного немца, а я пробыл на передовой около трех лет и участвовал во многих боях, я ощущал себя чем-то виноватым и бесконечно должным и этой старой женщине, и всем, кто погиб — знакомым и незнакомым,— и их матерям, отцам, детям и вдовам...

Я даже толком не могу себе объяснить почему, но с тех пор я стараюсь не попадаться этой женщине на глаза и, завидя ее на улице — она живет в соседнем квартале,— обхожу стороной.

А 15 сентября — день рождения Петьки Юдина; каждый год в этот вечер его родители собирают уцелевших друзей его детства.

Приходят взрослые сорокалетние люди, но пьют не вино, а чай с конфетами, песочным тортом и яблочным пирогом — с тем, что более всего любил Петька.

Все делается так, как было и до войны, когда в этой комнате шумел, смеялся и командовал лобастый жизнерадостный мальчишка, убитый где-то под Ростовом и даже не похороненный в сумятице панического отступления. Во главе стола ставится Петькин стул, его чашка с душистым чаем и тарелка, куда мать старательно накладывает орехи в сахаре, самый большой кусок торта с цукатом и горбушку яблочного пирога. Будто Петька может отведать хоть кусочек и закричать, как бывало, во все горло: «Вкуснота-то какая, братцы! Навались!..»

И перед Петькиными стариками я чувствую себя в долгу; ощущение какой-то неловкости и виноватости, что вот я вернулся, а Петька погиб, весь вечер не оставляет меня. До боли клешнит сердце; в задумчивости я не слышу, о чем говорят; я уже далеко-далеко... Я вижу мысленно всю Россию, где в каждой второй или третьей семье кто-нибудь не вернулся...



А. ПОБОЖИИ

★

МЕРТВАЯ ДОРОГА

(Из записок инженера-изыскателя)

Газета «Известия» 14 июля 1960 года напечатала заметку под названием «Мертвая дорога»:

«На севере Тюменской области несколько лет назад начали строить железную дорогу Салехард—Игарка. На сотни километров уложили рельсы, построили поселки железнодорожников, железнодорожные станции, мосты. Стройку прекратили из-за ненадобности дороги. Увезли технику, ушли люди... Сотни километров рельсов ржавеют...»

Вот об этом строительстве, как участник его, я хочу рассказать.

От Свердловска до Новосибирска и от степей Казахстана до Ледовитого океана раскинулась на миллионы квадратных километров Западно-Сибирская низменность. Южная часть ее пестреет на карте городами, поселками, деревнями на плодородных полях. К северу от Транссибирской железной дороги — пустынная низменность, покрытая лесами и непроходимыми болотами.

Чем дальше на север, тем реже встречаются поселки. Они ютятся на небольших клочках земли, отвоеванных у природы. А еще дальше, к Полярному кругу, начинается тундра со множеством больших и малых озер. Широкие реки Надым, Пур и Таз тихо текут на север, сбрасывая воду в Ледовитый океан. Здесь совсем нет полей и дорог. Небольшие фактории и поселки разделены сотнями километров плоского пространства. Кое-где среди тундры стоят чумы ненцев да рядом с ними пасутся стада оленей. Но если посмотреть с птичьего полета на эту землю, изрытую, как оспой, торфяными буграми и лишайниками, то увидишь железную дорогу. Она тянется от города Салехарда на восток вдоль Полярного круга к Енисею. Через каждые пятнадцать—двадцать километров — разъезды, станции с полуразвалившимися вокзалами и поселками. Во многих местах полотно дороги размыто, провалились насыпи, повисли рельсы. Не бегут по ним поезда, не дымятся ни паровозы, ни поселки — нигде ни одной живой души. И так одна сотня километров за другой.

За рекой Надым, на четырехсотом километре, рельсовый путь обрывается, и дальше на восток стоят одни телеграфные столбы с проводами. За рекой Таз опять лежат рельсы, но потом — новый разрыв; а уже от реки Турухан до самого Енисея железная дорога тянется без перерыва. На левом берегу его раскинулись большой полусгоревший пустой поселок, станция, депо. Накренившись, стоят брошенные паровозы, вагоны. За Енисеем, по правому его берегу, до самой Игарки, та же унылая картина — ржавые рельсы, полуразрушенные дома, покосившиеся семафоры и нигде ни одного человека.

Что же это за дорога, проложенная через самое сердце бесплодной земли? Почему ее нет на карте? Зачем строили ее в этом крае северных сияний, метелей и шестидесятиградусных морозов?

Она брошена и представляет унылую картину запустения среди однообразной суровой природы необжитого северного края. Лежит она в тундре, скованная вечной мерзлотой. Там каждый полуразвалившийся дом, покосившийся мост, ржавые рельсы, сгнившие шпалы — безмолвные свидетели забытого и незабываемого.

Стоя у географической карты, я много раз ловил себя на том, что мой взгляд невольно поднимался вверх — туда, к Полярному кругу, где пролегла эта мертвая дорога...

1

Чтобы доехать до Салехарда, пришлось делать пересадку. Поезд, с которого мы только что сошли, отправился дальше на север, в Воркуту. Слушая затухающий стук его колес, мы словно расставались с цивилизованным миром, оставаясь среди непривычной тишины снежной равнины.

Покрытая снегом тундра незаметно сливалась на горизонте с серым северным небом. Стоящий у путей, среди снежных сугробов, небольшой барак да вагон-теплушка с огромной вывеской «Станция Чум» не могли оживить унылой картины.

Только вдали, на востоке, тундра упиралась в высокую гряду альпийских гор Полярного Урала. Его хребты и отроги с острыми гребнями, разбросанные в беспорядке, были закованы вечным льдом и покрыты снегом. Узкие долины, похожие на ущелья, заканчивались в горах огромными цирками. Казалось, нет ничего живого в этой горной стране.

Всматриваясь, я пытался отыскать Сось-Елецкую ледниковую долину, прорезавшую насквозь Полярный Урал. Ведь по этой долине, минуя неприступные скалы, и проложена железная дорога на Салехард. Люди давно знали этот свободный проход в горах. По нему с незапамятных времен проходила «ворга» — старинная скотопрогонная тропа оленеводов. Мне не удалось отыскать долину в складках гор, но я надеялся увидеть ее по пути.

После душного, старого вагона, пропитанного запахом многих дезинфекций, табака и пота, морозный воздух казался особенно чистым и прозрачным. Уже затихли далекие звуки поезда, скрывшегося за пеленой поземки, а мы все еще стояли у путей, рассматривая непривычную для нас картину Севера.

— Насчет поезда на Салехард не мешало бы узнать, — сказал начальник изыскательской партии Рогожин.

— Идемте, — ответил я, выбираясь из снега на тропинку.

Крохотная теплушка едва вмещала желающих погреться: в ней стоял жезловый аппарат, висели телефоны — все как на настоящей станции.

Дежурный по станции, худощавый, давно небритый мужчина лет сорока, по селектору вызывал диспетчера. Ему отвечал хриплый, протуженный голос.

Это было в марте 1949 года. Заполярная дорога от Печоры до Воркуты и дорога от Чума на Салехард, куда мы ехали, еще не были тогда сданы в постоянную эксплуатацию и находились в ведении строительства. Пассажирские поезда из-за плохого состояния пути и вагонов часто опаздывали, да и предпочтение на дороге отдавалось грузовым поездам, идущим с углем из Воркуты.

— Скоро на Салехард поедет? — спросил я у дежурного, когда он закончил разговор с диспетчером.

— Наверно, через часок, а может, через два,— неуверенно ответил он и добавил:— Вам, кажется, повезло. В Абези к поезду прицепили два классных вагона, постараюсь посадить.

Поезда мы прождали до ночи: машинист с помощниками обедали на соседней станции, где была столовая, а потом пропускали поезда с углем и порожняк в Воркуту.

Когда наконец наш поезд пришел, помощи дежурного нам не потребовалось. Летчики нашей экспедиции, Волохович и Юркин, с ходу покорили проводниц, и нас пустили в классный вагон.

Видавший виды и переживший три войны двухосный вагончик раскачивался, скрипел, стучал и громыхал всеми своими частями, подпрыгивая на стыках. На кривых его так швыряло в разные стороны, что, казалось, он вот-вот рассыплется. Крохотные оконца обледенели, у дверей клубился пар. Два закопченных фонаря тускло освещали вагон.

На тяжелой и черной работе люди одеваются в старую, потрепанную одежду, и чем работа грязнее, тем хуже одежда. Так и здесь. Сквозь пургу, в пятидесятиградусные морозы, по недостроенной железной дороге ходят растрепанные вагончики, чтобы потом, когда дорога будет совсем готова, уступить место скорым поездам с мягкими и купированными вагонами. А эти вагончики, свидетели многих человеческих трудов и надежд, еще долго будут стучать колесами на других недостроенных дорогах, пока их не выбросят на слом.

Взявшие при посадке обязательства перед проводницами Волохович и Юркин усиленно шуровали чугунную печку.

Мне даже нравилось, что с каждым днем все становится труднее и труднее. Ведь нам нужно надолго отвыкнуть от многого, чем балует человека цивилизация. И хотя мы почти все уже и прежде расставались с нею и без особого сожаления уезжали на Дальний Восток, в Забайкалье, на Сахалин и Камчатку, все же всякий раз нам снова нужно привыкать к обстановке — так или иначе всегда новой. Сейчас условия, в которых предстоит работать нашей экспедиции, будут совсем непривычные: нам предстоят трудные изыскания для прокладки железной дороги через необъятную полярную тундру от Салехарда до Игарки.

Лежа на нижней полке, я пытался представить себе местность, но совсем неведомое вообразить трудно, а в Заполярье я ехал вперые.

Рядом со мной, закутавшись в полушубок и положив под голову небольшой чемодан, лежал Рогожин.

— Как думаете, Александр Петрович, доедем к утру? — спросил я его.

Он стал соображать вслух:

— Скорость нашего экспресса километров двадцать. Это значит девять часов езды. Да на остановки три часа. Потом — непредвиденные задержки... Так что утром вряд ли. А днем обязательно доедем, если пурга не застанет.

Расчеты Рогожина были правдоподобными. Возможно, завтра закончится наконец наше длительное путешествие по многим железным дорогам от Иркутска до Салехарда.

Неделю тому назад, проезжая по мосту через Обь у Новосибирска, я вспоминал детство и юность, проведенные на берегах этой реки. У города Камня на Оби, где я вырос, ее гладь бороздили большие, двухпалубные пароходы, накатывая на песчаные берега высокие волны. Затаив дыхание, с детским страхом я смотрел тогда на просторы реки, прислушивался к плеску волн, гудкам пароходов, крику в жестяные рупоры лоцманов, гнавших длинные плоты по реке, к перебранке грузчиков на пристани. Мое воображение не могло тогда представить ничего

более величественного. Завтра я снова увижу Обь, но уже на широте Полярного круга, закованную толстым льдом, преодолевшую тысячи километров с юга, чтобы сбросить воды алтайских гор в Ледовитый океан.

Наш вагончик по-прежнему подбрасывало, паровоз временами надрывно гудел, то замедляя, то убыстряя бег. Мне очень хотелось посмотреть Полярный Урал, я боялся проспать и решил попросить Рогожина, чтобы он, если проснется первым, разбудил меня. Но он уже крепко спал.

С Рогожиным мы были товарищами еще до войны. Дальневосточная тайга и Забайкалье, где мы вместе работали, сблизили нас. Теперь, после трехлетнего перерыва, судьба вновь нас свела. Нас обоих почему-то считали «старыми изыскателями», хотя обоим нам недавно исполнилось по тридцать три года.

Рогожин всегда был хорошим товарищем, особенно для тех, кто надолго уходил с ним в глухие края, куда забрасывает судьба изыскателей железных дорог. Рогожин понимал, что такое взаимная выручка, и нетерпимо относился ко всякому, кто прятался за спины в минуту опасности. Он сумел за короткий срок подобрать хороший коллектив, и уже несколько лет его партия ездил с одной линии на другую. Но, как часто случается у людей с добрым и сильным характером, семейная жизнь у Рогожина не клеилась. Когда он возвращался в Москву, к семье, его словно подменяли. Вместо веселого, энергичного и общительного Рогожина мы видели унылого, замкнутого и хмурого нелюдима. О его разрыве с женой мы узнали только месяц назад, когда ему за это объявили по партийной линии строгий выговор. Но нелады в семье начались давно.

С первых же дней Рогожин не был счастлив в браке. Жена его была дамой с большими претензиями, хотя родилась и выросла в простой трудовой семье. Рогожин на себе испытал все ее представления о «воспитанности». Она просто дрессировала его.

— Не так держишь вилку,— наставляла она.— Что у тебя за мужичья походка — ходишь вразвалку! Голову держи выше да по стопанам не смотри.

Рогожин всегда просил начальство послать его в самые отдаленные места и бывал счастлив там, отдаваясь работе. Он с радостью сбрасывал с ног туфли и надевал сапоги, заменял шляпу и модный костюм накомарником и простой одеждой, чувствуя себя в них свободно и легко.

Ольге Ивановне так и не удалось сломить «упрямство» своего мужа. Они уже давно не терпели друг друга, и для обоих оставалось только одно — разойтись. Но после разрыва Ольга Ивановна не согласилась на развод: уже через месяц начала писать одно за другим заявления в партийную организацию Рогожина. И хотя многие товарищи сочувствовали Рогожину, ему все же был объявлен строгий выговор — за то, что он «не сумел перевоспитать жену и, как трус, сбежал от семьи».

Сейчас он был рад, что едет в неведомые края, где можно как-то забыть о том, как разбирали его «персональное дело» на бюро, на собраниях и в райкоме. Он мирно спал. Незаметно уснул и я.

На место мы прибыли только в середине дня и на противоположном крутом берегу Оби увидели сквозь морозную дымку Салехард. Сложив вещи в старенький грузовик, мы поехали в сторону реки. Спустившись на пойму, дорога вначале шла по неширокой протоке с огромными штабелями сплавного леса по берегам. Вскоре протока соединилась с главным руслом шириной в несколько километров. По бокам дороги потянулись снежные валы, предохраняющие от заносов.

Не успели мы выехать на главное русло, как неожиданно с острова, из прибрежных кустов, выскочила упряжка оленей и понеслась по ворге, идущей параллельно дороге. Сидевший на нартах ненец подгонял оленей длинным хореем, и те неслись, не отставая от автомашины. Ненец махал нам, смеялся, а олени убыстряли бег. Минут пять шло состязание, потом олени стали обгонять грузовик, и ненец, торжествуя победу, придержал их. Он, смеясь, еще раз помахал нам, а мы ему.

Проехав километра три по ледовой дороге, грузовик въехал в город. Его прямые и тихие одноэтажные улицы были занесены снегом. Деревянные опрятные дома с шапками снега на крышах были обнесены штакетниками и высокими заборами.

За всю дорогу навстречу нам попались один грузовик да три олени упряжки — вот и все движение, если не считать редких пешеходов.

На небольшой площади стоял невысокий каменный столб; позднее мы узнали, что это знак Полярного круга и установлен он очень давно.

На десять дней раньше нас в Салехард приехали наши хозяйственники. Они заняли для экспедиции барак на берегу реки Полуй. В бараке было тепло, стояли топчаны, тумбочки, табуретки, на большом столе лежала клеенка, на окнах висели марлевые занавески. Было уютно, а главное — не трясло и не стучали колеса.

Но сразу же в бараке стало шумно. Приходили уже обжившиеся в городе сотрудники экспедиции. Рогожин звал всех в баню, летчики Волохович и Юркин — в ресторан «Голубой Дунай».

— Какой там «Голубой Дунай»! — вмешался начальник базы экспедиции Пономаренко. — Сейчас свой обед дома будет.

Через десять минут мы сидели за столом.

В алюминиевых мисках — копченая и соленая рыба, в кастрюле — наваристая уха.

— Делайте пыжи из соленых муксунов — красотулечка! — угощал Пономаренко, разливая в кружки спирт.

— Может, после бани? — неуверенно возразил Рогожин.

— Конечно, после бани. А сейчас с прибытием, — отвечал расторопный хозяйственник.

— Не мешало бы спирт водой развести, — предложил Рогожин.

— Иван, воды! — крикнул Пономаренко.

В дверях появился здоровенный парень с ведром воды.

— Налей в графин и марш на кухню, — последовало новое распоряжение.

Иван, ни слова не говоря, наполнил графин и вышел, оставив ведро.

— Это что у тебя за холуй еще? — спросил Волохович.

— Какой холуй? Рассыльный. По штату положено, — обиделся начальник базы.

— Уж больно здоров для рассыльного. Чего он только на такую должность пошел... — засмеялся Рогожин. — А вода-то, видно, из капустной бочки? — поморщился он, понюхав воду.

— Здесь повсюду такая тухлая, что в Оби, что в Полуе, — пояснил Пономаренко и снова крикнул: — Иван!

Иван тихо втиснулся в комнату.

— Сколько тебе раз говорил, — зло закричал на него Пономаренко. — Для кухни воду из льда нужно вытаивать! А ты что!

— Не поспел, гражданин начальник...

— Не гражданин, а товарищ начальник, — перебил Пономаренко. — Все путаешь. Забыл, что из лагеря уже вышел?

— Виноват, товарищ начальник. Исделаю.

— «Исделаю», — передразнил хозяйственник. — Забаловался совсем. Тащи с реки хоть ведро льду.

— Слушаюсь, товарищ начальник,— сказал Иван и вышел.

— Хватит вам на него кричать,— сказал я Пономаренко.

— Иначе нельзя, товарищ начальник,— пропел он.

— Можно. И запомните, что у меня есть фамилия и имя,— резко сказал я.

— Виноват, привычка,— оправдался он.

— Ладно. Но не насаждайте в экспедиции лагерных привычек.

— Слушаюсь,— чуть не козырнув, подтвердил он.

— Можно и без «слушаюсь». Довольно будет и «хорошо».

Настроение у Пономаренко не упало; он, правда, поджал губы, но выпил первым и лихо.

Свежесоленая рыба оказалась вкусной; а уха просто знатной.

— Оставляйте место в желудках для лебедятины,— предупредил снова повеселевший Пономаренко.

Мы переглянулись, а Рогожин сказал:

— Видно, вам красоты такой не жаль.

— Да ее здесь в магазинах навалом, дешевле оленины. И что же я против красоты сказал? — оправдывался Пономаренко.— Красотулучка, а не мясо... Вот только подсоленное немного, лебедей ведь осенью бьют.

Из кастрюли торчали большие куски темно-красного мяса, но от жаркого все отказались, а я предупредил:

— Лебедей нам больше не покупайте.

— Слушаюсь! — гаркнул Пономаренко, поправляя ремень со звездой и одергивая гимнастерку военного образца.

Начальник базы хотел казаться военным «только что из армии». Но мы-то, конечно, знали, что после Отечественной войны он уже сидел в лагере за воровство. По его рассказам, в лагере ему жилось совсем неплохо. Ходил он там без конвоя и занимал пост «по своей специальности» — снабженца. Умел угождать начальству, вместо четырех лет отсидел два и сумел даже получить направление на работу в нашу экспедицию с хорошей характеристикой. Поступив к нам, он быстро свел знакомство со снабженцами многих организаций и обеспечивал экспедицию всем необходимым. Он доставал оборудование, горючее, снаряжение и продовольствие только одному ему ведомыми путями; но ни одна из строгих ревизий не уличила его в махинациях, и вот теперь он поехал с нами в Заполярье.

Приехав в Салехард на десять дней раньше нас, Пономаренко и здесь успел познакомиться с работниками торговой сети города и докладывал: помещение для склада выделили ему в старой церкви, муки пять тонн дали строители из лагерного фонда, они же дали тонну масла и тонну мясных консервов, рыбокомбинат отпустил пять бочек соленого муксуна и десять ящиков копченого сырка. А завтра окрторготдел обещал дать распоряжение своей базе продать нам твердокопченую колбасу, сыр и разные крупы.

Все это он докладывал, небрежно загибая пальцы с видом большого дельца.

— А где деньги брали? — спросил я.

— Пока в долг верят, только вот окрторг деньги требует,— ответил он.

Пономаренко выложил фактуры, накладные, заявки с резолюциями и сказал:

— Если желаете, можно пройти в склад, все это под крепким замком.

— Как же вам все-таки без денег дали? — спросил главный бухгалтер Щеглов.

— Знакомство...

— По лагерю? — поинтересовался я.

— Да, они тоже сюда перебазировались. Одного кореша встретил, вместе на Баме сидели, а теперь он власть, в ООСе¹ делами ворочает. Для них это капля в море, а для меня победа на моем узком фронте.

— Неужели таком уж узком? — удивился я.

— По сравнению с ними — да. Они вагонами, эшелонами ворочают, а я так, по мелочи, — вздохнул он.

Я распорядился, чтобы главный бухгалтер проверил наличие продуктов на складе и оплатил их. Я боялся слишком ретивого Пономаренко: ведь уже само получение продовольствия без денег было делом необычным. Нет ли здесь подвоха?.. Недавно конюх, прося не выдавать его, рассказал о махинациях начальника базы с сеном. Правда, в бухгалтерии расход сена и остаток сходились с заготовками, но, по сведениям почти достоверным, Пономаренко «сплавил» частным лицам через райпотребсоюз четыре стога... Однако проверка отчетности требовала длительного разбирательства, а мы спешили с выездом в Салехард, да к тому же свидетелей не было, а конюх, узнав, что он тоже поедет в Салехард, от своих слов отказался. Эта история с сеном еще больше настояжила нас.

Два дня мы знакомились с городом и обсуждали, как пробраться дальше на свой участок, который начинался от реки Надым и простирался до реки Таз. До реки Надым от Салехарда триста шестьдесят километров, а до реки Таз восемьсот шестьдесят. Посредине участка протекает еще река Пур, которая, как и река Таз, впадает в Тазовскую губу.

Сотрудники нашей экспедиции прибывали из Томска и Иркутска каждый день, и в Салехарде собралось уже более пятидесяти инженеров, техников и хозяйственников. Нужно было на что-то решаться, а зима, несмотря на март, становилась еще злее. Мне казалось, что покрыть расстояние в восемьсот километров большого труда не представит — ведь мы видели, как олени обгоняют автомашину. Но мои иллюзии вскоре были развеяны. В окружке партии нас подробно ознакомили с дорогами: в нужном нам направлении ни одной ворги нет, а есть только на север, в сторону Обской губы, и на юг — в верховья реки Надым, что нам никак не подходило. Вторым препятствием был недостаток нарт и упряжи. Чтобы поднять нашу экспедицию со всеми людьми, снаряжением и продовольствием, требовалось триста нарт и более тысячи голов оленей. «Олени есть, — сказали нам в окружке. — А чтобы сделать нарты и упряжь, потребуется не менее двух месяцев». И это нас тоже никак не устраивало: к тому времени мы должны были, по приказу министра, уже начать изыскания. А когда опытные и бывалые в тундре люди сказали, что без дорог по целине олени с нагруженными нартами пройдут в день не более десяти—пятнадцати километров, а потом, после нескольких дней такого пути, им нужен длительный отдых, — мы, по правде сказать, совсем скисли.

— Можно на тракторах добраться, — предложил Рогожин.

Стали считать скорость трактора по глубокому снегу, расход горючего, грузоподъемность саней, которые еще нужно делать. В итоге получилось, что тракторы в лучшем случае могут увезти только горючее для себя на время пути, а если поломаются, то останутся навечно в тундре.

Чтобы окончательно решить вопрос о выборе транспорта, нужно было самим иметь хоть какое-то представление о тундре и оленях. Это и натолкнуло нас на мысль сделать вылазку из Салехарда в сторону

¹ Отдел общего снабжения.

фактории Надым, не ставя себе цели доехать до самой фактории. Намеченный маршрут совпадал с направлением, по которому нам предстояло двигаться всей экспедицией к далекой фактории Уренгой на реке Пур и к Красноселькупу на реке Таз, и такая рекогносцировка должна была чему-то нас научить.

Подрядив две упряжки оленей, мы с Рогожиным выехали рано утром. Вначале мы должны были ехать вверх по реке Полуи, по которой проходила ворга, а затем, когда река и ворга будут не попутными, проехать по тундре без всякой дороги прямо на восток.

Пять оленей, запряженных в каждую нарту, бежали легко. От самого города по реке Полуи была расчищена ледовая дорога. Во многих местах она совпадала с направлением ворги, и мы ехали по ней. Чтобы не вылететь из нарт, мне пришлось крепко держаться за поклажу, привязанную тонкой веревкой. Ноги свисали, бороздили дорогу, и я вначале держал их вытянутыми горизонтально, но потом, устав, пристроил кое-как на нижний полоз. Езда на нартах показалась мне неудобной и утомительной: сидишь вроде как на кочке и еще все время боишься вылететь в снег. Но пожилой ненец Герасим сидел совершенно свободно, положив левую ногу вперед, хотя и работал — управлял оленями при помощи хорея и единственной длинной вожжи, привязанной к головному оленю.

Ледовый путь расчистили совсем недавно строители железной дороги. Вскоре нас стали обгонять их грузовики с лесом, углем, ящиками, мешками и многим другим. В открытых грузовиках везли заключенных. Они сидели на дне кузовов, плотно прижавшись друг к другу, сливаясь в общую серую массу бушлатов и шапок из серого сукна, похожих на шлемы. У кабин стояли охранники, одетые в тулупы, с автоматами на плечах.

С наступлением дня, несмотря на ярко светившее солнце, подул холодный ветер, понесло поземку.

Проехав километров пятнадцать от города, мы увидели на правом высоком берегу Полуи строящийся лагерь: стояли вышки для часовых, обносились колючей проволокой зона, внутри поставлены были большие палатки, похожие на бараки. Заключенные вереницей шли туда от ледовой дороги, таща ящики, доски, бревна, мешки. Они, как муравьи, по узкой тропинке, проложенной в глубоком снегу, поднимались в гору, входили в ворота, сбрасывали тяжелую ношу и возвращались к реке за новой. В зоне работали люди, устраивая свое новое жилище на необбетованной земле. Проехав лагерь, мы остановились, чтобы дать оленям отдых.

— Вот и обживают тундру... — сказал Рогожин.

Ненцы, с опаской показывая друг другу на большой лагерь, переговаривались между собой.

— Наверно, там совсем плохой народ? — спросил меня сын Герасима.

— Всякий есть, — уклонился я.

Мне было тяжело смотреть на этих людей, копошившихся среди сугробов снега, окруженных колючей проволокой, мерзнувших в тундре.

— Кто, по-вашему, они? — спросил я Рогожина.

— Думаю, работяги, — вздохнул он. — Видите, как стараются. Кто не вырос в труде, того никаким принуждением на такой труд не поднимешь.

Мы поехали дальше. Олени, отдохнув, бежали быстро, закинув на спину рога. От их копыт летел снег, засыпая лицо. Автоколонну вскоре догнали. Головная машина парила — мороз прихватил радиатор. Шоферы преградили нам путь.

— Продай оленя на мясо,— крикнул Герасиму здоровенный парень.
— Не терпит,— решительно возразил Герасим.
— Эх, и шашлычок был бы,— сокрушался шофер.
— Продай,— поддержали его другие шоферы.— Муки, сахару дадим, бери сколько увезешь,— уговаривали они.— Вот смотри, полные машины ящиков и мешков. Выбирай, что нравится.

Герасим растерялся и с опаской поглядывал на окруживших нас шоферов. Потом высоко поднял хорей и, крикнув «не терпит!», с силой ударил им головного оленя. Олени шарахнулись, сбили парня в снег и, вырвавшись из окружения, помчались по дороге.

Мы с Рогожиным не обратили особого внимания на шоферов, так как чувствовалось, что в их приставании никакого злого умысла не было. Но на ненцев этот небольшой инцидент произвел большое впечатление:

— Какой плохой народ,— жаловался Герасим.— Думал совсем халмер¹ будет.

Через десять километров мы увидели еще один такой же лагерь. На дороге стояло много автомашин, а заключенные расчищали в стороне снег и таскали туда с дороги свое имущество.

Далеко не доезжая до них, Герасим круто свернул оленей с дороги в снег и поехал по целине.

— Зачем? — спросил я.

— Моя не терпит близко, надо шибко далеко ехать,— ответил он.

Олени шли тяжело, прыгали в глубоком снегу, от них повалил пар. Когда мы кое-как, с трудом выбрались на дорогу, они совсем выбились из сил. К обеду мы догнали головной отряд строителей, расчищавший ледяную дорогу. В отряде было три трактора. Два из них тащили тяжелые клинья, раздвигая снега, а третий вел сани, загруженные бочками с горючим, и вагончик-теплушку.

Не доехав метров сто, Герасим остановил оленей.

— Дальше не терпит,— твердо сказал он, соскакивая с нарт.

Мы с Рогожиным пошли пешком.

Тракторы стояли. У переднего лопнула гусеница. Заключенные — трактористы и механики, одетые в засаленные полушубки и валенки, с красными от ветра и снега глазами,— вытаскивали гусеницу. Они сквернословили и только изредка вставляли в свою ругань слова, относящиеся к делу. Прораб, оказавшийся вольнонаемным, пригласил нас в вагончик. Там стояла чугунная печка. В углу, закутавшись в полушубок, спал стрелок; второй стрелок чистил винтовку. Прораб нам рассказал:

— Движемся медленно, много поломок у тракторов, да и снег толщиной около метра, так что в среднем километров шесть в сутки продвигаемся. А в тундру выедем — и того меньше будем проходить.

После этого скупого рассказа он стряхнул с шапки тающий снег и закурил.

— Сколько же до Надыма будете двигаться? — спросил я.

— Месяца два, а может, и больше. Правда, начальство требует, чтобы за месяц, да вряд ли,— добавил прораб.— Разве что новую технику дадут, тогда быстрее пойдем... Начальство, оно спешит, ведь по нашему зимнику наметили завезти людей, материалы, продукты. Да разве мало что нужно для строительства железной дороги? Посчитайте: одной рабочей силы здесь сколько будет, а всем нужно жилье строить, всех чем-то кормить, да чем-то им и работать нужно. Каждая колонна будет жить, как на острове, среди тундры, и особенно те, что будут за сотни

¹ Смерть, гибель.

километров от Полуя. Раньше следующей зимы к ним ничего ведь не завезешь...

— А в тундре не заблудитесь? — поинтересовался Рогожин.

— Почему же? Нам Обская экспедиция дорогу покажет.

«Да,— подумал я,— трудновато и Обской экспедиции придется». Правда, они уже свои партии и отряды выбросили в тундру на маленьких самолетах ПО-2, но трудно не ошибиться им с выбором направления трассы. А ошибаться нельзя: ведь колонны расставят именно там, где они укажут. В случае ошибки им все равно не оправдаться — ни метелями, ни морозами, в которые пришлось работать, ни неизмеримо малыми сроками на разведку и обдумывание. Если потом найдут лучшие варианты, то ведь поселения, построенные сейчас, окажутся в стороне...

Прощаясь с прорабом, мы просили его прокладывать зимник, минуя воргу, оставляя ее для оленьего транспорта. Прораб обещал нашу просьбу исполнить.

— Метров пятьдесят—сто отступим. Хватит? — спросил он.

— Вполне,— ответил я, и мы с Рогожиным пошли к оленям.

Солнце склонялось уже к горизонту. Что делать? Нужно было или возвращаться, или подумать о ночлеге.

— Салехард олень не терпит, тундра чум каслать¹ надо,— прервал наши размышления Герасим.

Он распутал оленей и стал объезжать тракторы по снежной целине, а обогнув, выехал на воргу и погнался. Несмотря на усталость, олени шли ходко, словно чувствуя, что впереди безмолвие тундры — их родная стихия.

Проехав километров пять по ворге, Герасим повернул оленей налево от нее и погнался целиной. Вскоре мы попали в тундру, где снегу было еще больше, чем на Полуе. Олени, проваливаясь по брюхо, тащились медленно. Вскоре один олень из нашей упряжки упал и подниматься не захотел. Герасим отпряг его, и мы поехали дальше, оставив лежать оленя в снегу. Я волновался за него, но Герасим пояснил: отдохнет, сам придет. Минут через десять упал еще один олень у нас и два во второй упряжке. Ненцы бросили и этих оленей. Глядя на измученных животных, мы с Рогожиным слезли с нарт и, утопая в снегу, поплелись сзади. Было уже почти совсем темно, когда мы увидели на опушке чахлого леса три чума.

Мы еле передвигали ноги, а олени ложились, их с большим трудом поднимали ненцы и, ругаясь, тащили вперед. Только почуввав близость жилья, олени нашли в себе новые силы. У чумов залаяли собаки. Вышли оттуда люди, встречая нас. Вслед за нами в чум вползли собаки.

Пока ненцы разговаривали между собой, я внимательно рассмотрел незатейливую обстановку. Против двери была расставлена посуда, лежали продукты и всякая домашняя утварь. Весь «пол» чума, за исключением входной части, был застелен оленьими шкурами, на которых сидели дети и взрослые. Эти же шкуры служили и постелью. На натянутой через весь чум веревке сохли свежие шкуры и древесная стружка. У входа лежала оленья упряжь. Но центром чума был очаг. К нему были устремлены взоры всех — даже собаки не сводили глаз с огня и котла, из которого так вкусно пахло мясом. Дым от него хоть и уходил в верхнее отверстие, но оставалось его много, и он ел глаза.

Вначале на меня как-то угнетающе подействовала убогая обстановка чума, но тут же я подумал, что ведь каждая лишняя вещь будет обузой у вечно кочующих вместе с оленями жителей Севера. Чум не может

¹ Ехать (или перегонять оленей).

долго стоять на одном месте, и как только олени съедят вокруг него ягель, нужно переезжать.

Хозяин оказался родственником Герасима. Герасим ему что-то объяснял по-ненецки. Все другие ненцы качали головами, о чем-то сокрушаясь. Я догадался, что речь шла о встреченных нами людях, приехавших в их родную тундру: их боялись.

Мы сидели с Рогожиным в общем кругу с ненцами у очага, не мешая их разговору. Но вот хозяйка сняла котел, и разговоры стихли, собаки подались ближе. Хозяин дал нам с Рогожиным по большому куску мяса. Мы не знали, куда эти куски положить, и держали в руках, обжигая пальцы. Потом нам подали по охотничьему ножу и, не обращая на нас внимания, стали есть мясо сами. Они захватывали его зубами и у самых губ отрезали ножом куски. Они так быстро действовали ножом, что мне казалось, что вот-вот кто-нибудь из них обрежет себе губы. Но эти опасения были напрасны: они действовали так ловко и так быстро, что не успели мы съесть и половины, как они уже бросали объединенные кости собакам.

Кое-как справившись с необыкновенным ужином, я достал пачку папирос и стал угощать хозяев. Сразу несколько рук потянулось к коробке.

Я удивился, когда увидел, как мальчик лет восьми, взяв папиросу с ловкостью заправского курильщика, глубоко затянулся. Вначале я думал: он задохнется и бросит. Но он преспокойно курил наравне со взрослыми, и сидевшая с ним рядом мать, тоже курившая, замечаний ему не делала: ненцы начинали курить с детства. Хозяин, выкурив папироску, достал лист табака и, растерев его вместе с древесной стружкой, заложил за губу. Его примеру последовал и Герасим. Через минуту оба они стали сплевывать желтую табачную слюну в очаг.

После трудного пути хотелось спать. Видя наши сонные лица, хозяйка бросила нам две оленьих шкуры, на которых мы расстелили свои меховые мешки.

Утром я проснулся от завывания ветра. В чуме было холодно, в углу кто-то кашлял. Кутаясь в спальном мешке, я прислушался, как порывы ветра сотрясают ветхое жилье.

Рядом со мной что-то зашевелилось, я протянул руку: ее лизнули. Я погладил пригрешуюся у моего бока собаку и, встав, подбросил в очаг дров. Поднялся и Герасим.

— Шибко пурга, однако, будет,— сказал он, зябко поеживаясь в малице.

— Что же делать будем? — спросил я.

— Чуме сидеть будем, чай пить будем, мясо кушать будем, потом спать будем. Тундра пургу шибко плохо, пропадай можно, чуме совсем хорошо,— заключил он.

Когда стало светать, ненцы подогнали свое стадо оленей к чумам, на опушку леса, и стали таскать дрова. Разгулявшийся ветер дул со стороны леса — чумы были от ветра прикрыты.

Непрерывно валил снег. Его крутило, подхватывало воющим на разные голоса ветром, несло от леса в тундру, где в море снега бушевал хаос.

Когда можно будет ехать обратно?

Поняв на вчерашнем примере безнадёжность передвижения экспедиции на оленях, мы с Рогожиным отказались от поездки дальше к Надьму.

Мы ходили из угла в угол по чуму — вернее, по кругу, так как чум не имеет углов,— подсаживались к ненцам, расспрашивали их о крае, где скоро пройдет железная дорога. Ненцы качали головами, ахали и не

верили, что из Салехарда через тундру, где с трудом проходит олень, пройдут большие железные дома. Они не могли понять, что это такое — железная дорога, хотя Рогожин объяснял по нескольку раз, как устроено полотно, как перебрасываются мосты через реки и кладутся рельсы, по которым побегут поезда, и уверял, что до Енисея можно будет доехать за одни сутки.

— Есть дороги такие, есть,— поддержал Рогожина хозяин.— Я сам в кино видел, как люди в деревянных чумах ездят, а впереди железный чум с большой трубой и шибко свистит...

Утром взошло яркое солнце. Мы стали собираться в обратный путь. Нигде поблизости не было оленей. Ненцы внимательно всматривались в тундру, ища свое стадо, а мы сокрушались, что ехать не на чем. Но вот Герасим и хозяин чума что-то заметили и, крикнув собак, показали им направление. Собаки сорвались с места, помчались и вскоре потерялись из виду. Прошло немного времени, и послышался лай. Собаки гнали во всю мочь к чуму оленей, яростно набрасываясь на тех, что откалывались в сторону. Вскоре все стадо собралось около чумов, а собаки, расевшись полукругом, зорко охраняли их. Взяв аркан, Герасим с хозяином пошли ловить «олешек». Они искусно бросали на рога длинную тонкую веревку с петлей на конце, и вскоре упряжки были готовы к пути. Своих оленей Герасим оставил в стаде и взял свежих. Пришли сюда и брошенные нами по пути олени — им нужен был длительный отдых.

Мы выехали обратно в Салехард, имея уже какое-то представление о тундре и оленьем транспорте.

2

В Салехарде мы узнали, что из Игарки возвратился Петр Константинович Татаринов, начальник Объединенной северной экспедиции. Наша Надымская железнодорожная экспедиция, по приказу министра, входила в ее состав. На изысканиях железной дороги Салехард—Игарка уже начали работать две экспедиции — Обская (от Салехарда) и Енисейская (от Игарки на запад). А пятьсот километров среднего, самого недоступного участка отводились нам.

Татаринова я знал давно как очень опытного руководителя, прошедшего много изысканий железнодорожных линий на Дальнем Востоке, в Сибири и на Севере. Среди изыскателей и строителей железных дорог его знали если не все, то многие, и авторитет его был заслуженным. Мне хотелось поскорее посоветоваться с ним в надежде, что вопрос с переброской экспедиции решится как-то проще. Встав рано утром, я отправился к нему, но его еще не было. Он с начальником строительства Барабановым до глубокой ночи просидел в окружном партии, где с ними был и заместитель министра Чернышев.

— Ждите. Он сказал, что с утра обязательно будет у себя,— успокоила меня секретарша.— Кстати, он о вас спрашивал два раза.

Я сидел и ждал. В десять часов пришел подполковник Борисов — командир авиации Северной экспедиции, давнишний мой приятель по Дальнему Востоку. Он летал вместе с Татаринковым в Игарку и теперь пришел тоже к нему.

— Значит, «трали-вали», говоришь, у тебя? — спросил Борисов, когда я рассказал ему о своих трудностях с переездом.

— Да, вроде того,— согласился я.— Может, своими самолетами меня выручишь? — задал я ему, кажется, совсем безнадежный вопрос.

— Самолеты есть, а с аэродромами на трассе полный «тентель-вентель», — покачал головой командир. Он подошел к карте Севера и позвал меня.— Вот смотри: только и есть у нас аэродромы в Салехарде и в Игарке. А посредине — ничего. Есть еще вот зимняя площадка

в Халмер-Седе¹, но она много севернее, у самой Тазовской губы. Вот вся моя география.

— А мне вот надо сюда,— ткнул я пальцем в самую середину белого пятна, где маленьким кружочком была обозначена фактория Уренгой.

— Сюда не могу,— решительно сказал Борисов и добавил: — Еще нет таких летательных аппаратов, чтобы садиться и взлетать без площадки.

Но я уже ухватился за мысль добираться до Уренгоя на самолетах и с этой мыслью не хотел расставаться.

— А в Халмер-Седе перевезешь? — спросил я.

— Сказал перевезу — значит, перевезу,— подтвердил он.

— Тогда хорошо. Я полечу туда и возьму с собой еще человек десять,— твердо сказал я.

— А вообще-то зачем тебе туда лететь, когда тебе нужно в Уренгой? — подумав, спросил Борисов.— Уж не на подледный ли лов осетров в Тазовской губе решил переключиться?

Пока мы смотрели на карту, у меня неожиданно возник план: долететь на большом самолете с группой людей до Халмер-Седе, а оттуда добираться на оленях до Уренгоя. По карте между этими поселками была ворга, и там не шестьсот километров, как от Салехарда до Уренгоя, а только около трехсот. Но Борисову я сказал по-другому.

— А оттуда ты нас перевезешь в Уренгой на маленьких бипланах, они хорошо садятся на лыжах.

— Здорово же ты, трали-вали, придумал меня объехать!

— Почему объехать? — удивился я.

— А потому, что залетим мы туда, горючего на обратную дорогу в Халмер-Седе не хватит, и будем мы там загорать. Не подойдет!

— Да нет же,— возразил я.— Мы летное поле расчистим на реке Пур, и вы к нам летать будете, а стало быть, и горючее для ПО-2 привезете.

Я говорил уже с азартом, все больше веря сам в то, что только что придумал.

— И послушай, Василий Александрович,— убеждал я Борисова, направляя ему золотую звезду на груди.— Ведь если я не заберусь в Уренгой и не начну работать к первому мая, мне «трали-вали» по полной форме будет. А везти по тундре без дорог триста человек да пятьдесят тонн груза на такое расстояние, сам понимаешь, безрассудно. Люди могут замерзнуть, груз будет брошен в тундре, на этом вся затея и кончится.

Я почти убедил Борисова. На дворе снова пошла завывать метель, а мы продолжали обсуждать план заброски экспедиции в Уренгой.

— Слушай, с кем ты собираешься площадку расчищать? — подумав, спросил Борисов.

— А десять человек, что со мной будут, а жители города Уренгоя? — уверенно ответил я.

— А знаешь ли, что в твоём граде всего четыре домика? — спросил он.

— Не может быть? — удивился я.

— Точно. Четыре, и крохотные,— подтвердил он.— Мы вчера, когда летели с Татариновым из Игарки, специально снижались, чтобы посмотреть на твою столицу.

На этом нас прервал Татаринов.

— Что громкие речи держите друг перед другом? — сказал он, войдя.— Давно не виделись, приятели?

¹ Ныне село Тазовское.

Пожав нам руки, он сел за свой рабочий стол.

— Ну, когда в путь-дорогу? — спросил он меня.

— Да не знаю еще, какой дорогой ехать, — уклонился я.

— Как не знаете? Есть постановление Совета Министров, подписанное товарищем Сталиным. Вашей экспедиции оленеводческие совхозы и колхозы должны выделить для переезда и для работы тысячу голов оленей. Реализуйте это постановление и поезжайте.

Он достал из сейфа папку с особо важными документами и прочитал этот пункт.

— Не добраться нам на оленях, — твердо ответил я и рассказал о своих сомнениях в надежности оленьего транспорта, о бездорожье и обо всем том, с чем познакомился в городе и в тундре.

Мои объяснения озадачили его, но он все же настаивал.

— У страха глаза велики. Доедете! А мало тысячи оленей — дадим еще пятьсот за счет Обской.

— Дело не в счете, Петр Константинович, — стал я доказывать спокойно.

— А в чем же? — перебил он.

— А в том, что олени такого расстояния без дорог не пройдут.

— Тогда на тракторах поезжайте. Если нужно, и танки без оружейных башен можем достать!

Я показал сделанные Рогожиным расчеты, что тракторы на такое расстояние по тундре даже горючего для себя не провезут.

Эти доводы, кажется, совсем озадачили Татаринова. Он вышел из-за стола, распрямился во весь свой высокий рост, стал ходить по кабинету. Иногда он останавливался у окна, прислушивался к завыванию пурги и снова ходил, пощипывая коротенькие усики. Я смотрел на его седеющую голову и вспоминал Сталинград в феврале 1943 года. Тогда там тоже завывала метель, а мы в полуразрушенном деревянном домике праздновали победу и, кстати, отмечали пятидесятилетие Татаринова. Сейчас ему было уже пятьдесят шесть, но худощавая фигура и энергичное лицо с резкими морщинами скрадывали годы.

Походив, он остановился у карты и, не глядя на нас с Борисовым, спросил:

— Что же, до лета откладывать вашу заброску? — И, не дав мне ответить, продолжал рассуждать вслух: — Обская губа и Тазовская вскрыются в июле, и тогда вы можете плыть по ним до устьев рек Пур и Таз. Но эта отсрочка совсем не годится. Ведь первыми пароходами поедут туда строители железной дороги, и к их приезду должна быть трасса, а вы, выходит, приедете вместе с ними. Нет, не годится! — решительно отвергнул он свои же соображения. Он сурово посмотрел на меня и сказал: — В постановлении Совета Министров о строительстве железной дороги Салехард — Игарка указаны сроки начала и окончания строительства, и никому из нас не дано права эти сроки изменять. Вы меня поняли?

— Яснее ясного, — ответил я.

— Ну так вот, думайте, как это выполнить. — И уже немного мягче добавил: — На заседании Совета Министров я заверил, что мы с поставленными задачами справимся и будем достойными пионерами самой большой в мире заполярной магистрали.

Последние слова Петр Константинович сказал торжественно.

— У нас есть еще один план. Разрешите доложить? — спросил я и подробно рассказал, о чем мы только что говорили с Борисовым.

Татаринов дослушал внимательно.

— Сколько нужно будет снега расчистить на площадке в Уренгое, чтобы садились самолеты ЛИ-2?

Я вопросительно посмотрел на Борисова.

— Поле должно быть километр длиной, сто метров шириной. Ну и в глубину там снега, видимо, лежит на метр. Так что в сто тысяч кубов уложатся,— подсчитал летчик.

— Значит, по десять тысяч на брата,— зло заметил Татаринов.— Да еще сколько наметет, пока чистить будете. Ерунда! — рассердился он.— Подумайте до завтра.— И велел секретарю вызвать машину.

Ночью пурга немного утихла.

Утро мне ничего нового не принесло. Я всю ночь ворочался на топчане, прислушиваясь к завыванию ветра и думая, как уговорить Татаринова и Борисова забросить меня самолетом в Халмер-Седе.

Мне пришлось доказывать Татаринову, что в Уренгое я организую олений транспорт навстречу тому транспорту, который выйдет из Салехарда. Я заведомо врал, так как сам знал, что оленьего транспорта в Уренгое достать невозможно: мне еще накануне сказали в окружкоме партии, что поделка нарт и упряжки займет два-три месяца. Я только чутьем угадывал, что нужно быть на месте и там организовать все, что возможно. С горячностью я настаивал на своем, и Татаринов, внимательно слушая меня, в конце концов сдался, но только потому, что и сам он, несмотря на свой огромный опыт, ничего другого предложить не мог.

Выйдя из кабинета Татаринова, я сразу бросился к телефону и сообщил Борисову, что полет разрешен.

— Хорошо. Машины будут готовы завтра рано утром,— ответил Борисов.— А сейчас присылай свой народ аэродром чистить. Пусть тренируются.

Я собрал пятьдесят человек и пошел с ними на летное поле. Там уже тракторы разравнивали и укатывали снег. Нам оставалось только откопать занесенные пургой самолеты.

В день вылета я приехал на аэродром, когда было еще темно.

Колючий ветер гнал по летному полю поземку в сторону города, очертания которого были еле видны сквозь снежную пелену. Командир самолета ЛИ-2 Ганджумов — или, как его звали в отряде, Джамбул — посмотрел на пронесившиеся рваные облака, на метеосводку, принесенную радистом, и велел готовить самолет к вылету. Механик и моторист стали заводить моторы. Холодные, они вначале «чихали», выбрасывая клубы черного дыма, но, постепенно прогревшись, заработали ровно.

Вдесятером мы разместились в самолете на холодных скамейках и ящиках со снаряжением. Ганджумов вырулил машину на старт. Проверив моторы на больших оборотах, он отпустил тормоза, и самолет покатился по ровному полю, набирая скорость, навстречу ветру и метели. В окна было видно, как два ПО-2 выруливали со своих стоянок, чтобы лететь вслед за Ганджумовым.

Не отрываясь, я смотрел в окно — но там, кроме снега, ничего не было видно. Только иногда под крылом проплывали еле заметные понижения с чахой растительностью.

Потом снежная пустыня стала совсем ровной, самолет почти перестало бросать, и я понял, что мы летим над Обской губой. За губой раскинулась опять тундра, и через два часа полета Ганджумов посадил ЛИ-2 в Халмер-Седе. Выгрузив снаряжение и бочки с бензином для ПО-2, он улетел обратно в Салехард.

Ветер заметно усилился. Когда через полтора часа прилетели ПО-2, их сразу же пришлось привязывать тросами на стоянках, чтобы не опрокинуло.

Кое-как разместив сотрудников экспедиции и экипажи самолетов, я пошел в поселковый Совет. За столом, покрытым красной материей с

пятнами чернил, сидел пожилой ненец. Он курил трубку и не обратил на меня никакого внимания. На мое приветствие он ответил: «Ладно»,— и отвернулся.

— Мне нужно видеть председателя Совета,— обратился я к нему.

— Его уехал,— последовал лаконичный ответ.

— А когда будет? — допытывался я.

— Моя не знает.

Говоря о погоде и расспрашивая о дальнейшем пути следования экспедиции в Уренгой, я немного заинтересовал ненца. На вопрос, можно ли достать оленье упряжки, чтобы доехать до Уренгоя, он ответил:

— Нашем месте нет, а совхоз Самбург шибко много есть. Наш олень совсем плохой, ездить не терпит,— добавил ненец. Потом он достал из кармана малицы горсть табака и, заложив за нижнюю губу, отвернулся от меня, уставившись в замерзшее окно.

Видя, что ненец явно тяготится моим присутствием, я вышел и направился в дом, где разместились сотрудники экспедиции. В доме было настолько холодно, что снег на валенках не таял. Летчик Миша Волохович растапливал печку. Дрова из собранного плавника были сырые и не горели. Миша толкал в печку старую резину, подливал отработанное масло. В комнате было дымно и противно пахло жженой резиной.

Разогрели кое-как и съели консервы, не снимая с себя меховых костюмов. Стало теплее. Летчики заставили выпить разведенного спирта и радистку Марину, единственную девушку в нашей группе, впервые попавшую на изыскания, да еще в Заполярье.

В первый раз она и на самолете летела. Когда Марина еще только поднималась по лесенке в самолет — она чуть не дрожала от страха. А в воздухе, когда ЛИ-2 бросило вниз, Марина закричала: «Ой, падаем!» — и вцепилась мне в руку. Все засмеялись, а проходивший мимо бортмеханик, посмотрев на нее, ехидно улыбнулся. Я объяснил ей, что это воздушная яма и ничего тут страшного нет. От обиды и стыда у Марины на глазах выступили слезы, и она, закусив губы, уткнулась в окно.

Постепенно страх проходил, Марина стала рассказывать мне о доме, о тех, кто остался в Сибири, в Иркутске, о родных. Вспомнила, как плакали мама и бабушка, не отпуская ее одну в такой далекий путь, и только папа принял ее сторону и убедил их, что она уже не маленькая, ей двадцать лет и пора быть самостоятельным человеком.

— Когда тронулся поезд,— рассказывала Марина,— я видела, как заплакала мама, а отец ее успокаивал. Я тоже заплакала. Но подумать только! Мой дед еще ездил в Салехард-Обдорск на собаках, а теперь мы летим на самолете! Вот прилетим, сразу напишу своим,— сказала она.

Но как ни храбрилась Марина, она с облегчением вздохнула после того, как самолет уже приземлился, и честно сказала, что, когда машина снижалась, ноги у нее совсем отнимались от страха. Пока Миша растапливал в комнате печку, она ходила из угла в угол, стараясь согреться, потом пошла натягивать антенну. Мне сразу понравилась эта девушка с веселыми, насмешливыми глазами. Но, конечно, я тогда не думал, что Марина будет моей женой и матерью моих детей. Ей было двадцать, а мне тридцать три.

Ночью пурга стихла. Утро было морозное, воздух чистый и прозрачный. Насколько хватал глаз, были видны равнина тундры и Тазовская губа, покрытые белым снегом. Они казались округлыми и терялись за снежным горизонтом. Волохович вел самолет по прямому курсу через тундру, на совхоз Самбург. Рогожин и я сидели согнувшись в тесной

кабине. Через сорок минут показались очертания берегов Пура, а вскоре и поселок. Самолет, снизившись, сделал несколько кругов. Из домиков выбегали люди, они сустились, махали руками. Летчик, приглушив мотор, обернулся к нам и крикнул:

— Где будем садиться?

— Пробуй на реке,— ответил я.

Сделав над рекой еще два круга, Волохович выбрал ровную площадку и посадил самолет.

Из поселка на берег бежали люди и, обгоняя их, неслись с лаем собаки. Погружаясь по пояс в снег, мы с трудом выбрались на берег. Ненцы разогнали собак и радостно встретили нас. Все они были одеты в меховые малицы и унты, расшитые цветными узорами. На некоторых поверх малиц были надеты еще и «гуси», тоже сшитые из оленьих шкур, только мехом наружу.

Они обступили нас, и каждый старался первым приветствовать гостей. Говорили они по-русски плохо, сильно растягивая слова. Шумный говор стих, когда подошел пожилой невысокий человек, одетый в новую малицу, и отрекомендовался на чистом русском языке:

— Николай Иванович Вануйта. Директор оленеводческого совхоза.

Я назвал себя и познакомил Вануйту с остальными товарищами.

В это время детвора оттерла Волоховича в сторону. Громко смеясь, ребяташки выпрашивали у Миши папирос и чтобы он дал им шлем и очки, пока старый ненец с широким морщинистым лицом и слезящимися глазами не крикнул на ребят по-ненецки — тогда те отступили от летчика.

— Долго мы пробудем здесь? — спросил Миша, выбравшись из окружения.

— Да часа два.

— Тогда я пойду мотор чехлом закрою, а то застынет, не заведем.

Николай Иванович крикнул:

— Как управитесь — прошу ко мне на обед.

Толпа ненцев пошла за Волоховичем и Рогожиным к самолету. Они окружили его плотным кольцом. Одни с опаской трогали крылья, стропы и хвостовое оперение. Другие стояли на почтительном расстоянии, громко говорили, смеялись. Несмотря на сильный мороз, никто не думал уходить.

— К вам раньше прилетали самолеты? — спросил я идущего рядом Вануйту.

— Прилетал один лет пять назад. На воду садился, да только многие жители не видели его, они с оленями в тундре были.

В домике Вануйты было тепло. Его жена, дородная, еще молодая женщина с ярко-голубыми глазами, возилась в кухне.

Познакомив меня с женой, Вануйта вышел в сени и вернулся с куском оленьего мяса и большим осетром. В тепле они сразу покрылись снежной дымкой. Вануйта снял с себя пыжиковую малицу, покрытую сверху синим сукном, и остался в свитере и меховых унтах. Я подивился его крепкой, широкоплечей фигуре. Совершенно белая шея Вануйты резко отличалась от обветренного до цвета темной бронзы лица с черными пятнами на не раз обмороженных щеках. Я подумал, что этот человек, видимо, все время находится в тундре, а дома редкий гость и нам просто посчастливилось увидеть его. Я с первого взгляда проникся уважением к Вануйте.

Пока я глядел и думал, Николай Иванович снял со стены охотничий нож и стал строгать оленину тонкими ломтиками.

— Сейчас я угощу вас нашей северной закуской,— сказал он.

Я посмотрел на хозяина, потом перевел взгляд на грудку сырого мяса,

ничего не понял и ничего не сказал. Искусно работая ножом, Вануйта настрогал и осетрины. Затем, сложив строганину в две миски, он вынес все в сени. Когда мясо и рыба были убраны, жена нарезала хлеба, поставила на стол горчицу, соль, перец, налила в блюдечко уксус и положила вилки. В это время вошли Волохович и Рогожин. Раздевшись, они потирали замерзшие руки.

— Вот сейчас и погреемся,— сказал Николай Иванович, разводя спирт водой.

«Не маловато ли воды добавляет директор?» — подумал я.

Вануйта, как будто угадав мою мысль, сказал:

— У нас на Севере слабее семидесяти градусов не пьют. Вот по рюмочке выпьем, покушаем, а потом и о делах поговорим.

Он вышел в сени и вернулся, неся миски со строганиной, густо посолив ее. Мы с опаской посматривали на необычную закуску и чувствовали себя неловко. Поняв наше смущение, Вануйта подбодрил:

— Раз уж приехали на Север — ешьте строганину. Вам еще не раз придется ее отведать в тундре, и даже без соли.

Довод был веский.

— Давайте сначала осетринки, она легче пойдет,— угошал хозяин.

Рогожин первый поддел вилкой небольшой кусок осетрины, густо помазал горчицей и, обмакнув в уксус, проглотил, не жуя.

Вскоре мы освоились с закуской. Выпив по второй рюмке, стали жевать.

После строганины хозяйка подала большой чугунок с тушеными куропатками. Съев по птице и запив сытный обед крепким чаем, мы попросили разрешения перейти к деловому разговору. По просьбе Рогожина, Вануйта подробно рассказал о тундре, реках, охоте и оленях. Оленеводство для него было, видимо, самым любимым делом, и он с увлечением говорил о совхозных стадах, о пастухах и пастбищах.

На волновавший нас вопрос он ответил:

— Из Салехарда в Уренгой перевозить на оленях триста человек да еще груз — и не думайте.— Потом, помолчав, сказал: — Я, конечно, экспедиции помогу. В совхозе больше десяти тысяч оленей. Но гробить оленей я не буду.

— Ну, а чем же вы тогда нам поможете, если, как вы говорите, из Салехарда до Уренгоя оленям не дойти? — спросил я.

— Помогу всем, что под силу оленям.

Я решил использовать случай и попросил у директора десять оленьих упряжек с нартами для перевозки людей и имущества от Самбурга до Уренгоя.

— Десять, говоришь? Столько, пожалуй, найдем.— И, хитро прищурившись, сказал: — Только за это вы мне перевезете пушнину в Халмер-Седе.

— Ну что же, хорошо,— согласился я.

Прикинув наличие бензина в Халмер-Седе, Волохович подтвердил, что может перевезти оттуда оставшихся людей и имущество самолетами в Самбург, а обратными рейсами в Халмер-Седе — пушнину. На этом и порешили. Я повеселел. Поблагодарив хозяев за гостеприимство, мы направились к самолету. Минут через двадцать самолет загрузили пушминой, и он, с трудом оторвавшись от рыхлого снега, поднялся в воздух, взяв курс на Халмер-Седе.

Через два часа Волохович вернулся в паре с Юркиным. Доставив на двух самолетах четырех сотрудников с вещами и забрав пушнину, самолеты ушли обратно на аэродром с ночевкой.

Два дня гостили мы у директора совхоза, поедая горы строганины. На третий день загрузили девять нарт, посадили на каждую по одному

человеку, и олений транспорт двинулся в путь одновременно с отлетающими самолетами: впереди было полтора часа полета до Уренгоя и четверо суток пути на оленях, если не будет пурги.

Я не отрываясь смотрел на реку, вдоль которой шел самолет. Чем дальше на юг, тем гуще и выше рос лес в ее долине. Русло было прямое, но часто разделялось на рукава. На островах и по берегам рос хвойный лес, а дальше, за поймой, простиралась белая тундра.

— А вот и Уренгой,— показал я летевшему со мной мотористу на домики, из которых вился дымок. Покружившись, самолет сел на реку у крутого берега. Неожиданный наш прилет поднял на ноги все малочисленное население фактории.

«Ну и город!» — подумал я, окинув взглядом четыре домика без заборов и пристроек. Домишки стояли на высоком яру, обдуваемые всеми ветрами.

— Кто у вас здесь начальник? — поздоровавшись, обратился я к высокому, тощему, одноглазому мужику.

Зябко кутаясь в старый, заплатанный полушубок, мужик почесал затылок и спросил в свою очередь:

— Смотри по какой части.

— А разве их здесь много? — удивился я.

— Пятеро,— отозвался он.— И каждый по своей линии.

— Ну, а самый старший кто? — допытывался я.

— Все одинаковые. Никто никому не подчиняется,— уже нехотя отозвался одноглазый.

— Тогда будем знакомиться.— И я назвал себя.

Он потряс мне руку, давая ее вниз, и отрекомендовался:

— Огурцов Данила Васильевич. Заведующий рыбоприемным пунктом.

Второй мужчина, низенький, толстый, с одутловатым лицом и заплавленными глазами, тоже русский, но одетый, как ненец, в малицу, назвался Ниязовым, заведующим факторией. Он познакомил меня с женой — худенькой, бледной женщиной с плаксивым лицом. Третий — здоровенный парень лет двадцати пяти — оказался заведующим метеостанцией; четвертый — низкорослый, невзрачный мужчина — представителем лесхоза; пятый — инвалид на одной ноге — был бухгалтером оленеводческого колхоза. Все они отрекомендовались с достоинством. Здесь же были их жены и дети. Единственным взрослым работающим жителем фактории, не числившимся начальником, была уборщица.

Решив, что заведующий факторией все же старший, я обратился к нему с вопросом, где можно устроиться с жильем.

— Только в заезжей,— ответил тот.

Заезжей оказалась небольшая комната с железной печкой посредине. В углу стояли грязный стол с многочисленными зарубками и замысловатыми знаками, вырезанными ножом, и две покосившихся табуретки. Стены и потолок грязные, прокопченные. В окна и в двери дуло, и по комнате гулял ветер.

— Кто у вас тут жил? — возмущаясь грязью и неприглядным видом комнаты, спросил я.

— Когда ненцы приезжают в правление колхоза или за продуктами, а когда и русские из райцентра, из Тарко-Сале,— невозмутимо ответил Ниязов.

— А на чем же они спят? — вмешалась в разговор Марина.

Ниязов недовольно посмотрел на девушку и пробурчал:

— На полу.

На него все посмотрели с недоумением. Как бы оправдываясь, заведующий факторией добавил:

— А что им, варшавские кровати подавать, что ли?

— Варшавские не варшавские, а простые койки с постелями поставить не мешало бы.

— У меня не гостиница,— отрезал Ниязов.

— Ну, а как же спать на голом холодном полу? — не успокаивалась Марина.

— А как они спят в снегу по несколько суток, когда пурга захватит в тундре? — огрызнулся Ниязов и заторопился домой, боясь новых вопросов.— Ольга! Затопи печку! — крикнул он уборщице, выйдя на улицу.

Когда за ним захлопнулась дверь, я дал волю раздражению.

— Не обращайтесь внимания,— посоветовала Марина,— лучше примемся за дело.

Она познакомилась с Ольгой, и та согласилась ей помочь навести порядок. Мужчины тоже взялись за работу. Отправив двух мотористов вмораживать в лед чурки, чтобы привязать к ним самолеты, Волохович взял ящик и пошел к Ниязову за известью. Я отправился доставать плотничий инструмент для починки окон и двери, а Юркина командировали за водой. К вечеру комнату нельзя было узнать.

Когда совсем стемнело и все уселись за стол, наслаждаясь чистотой и теплом, на дворе заскрипели нарты и послышалась ненецкая речь. В следующую минуту открылись двери и в комнату вошли два ненца, запорошенные снегом.

— Здорово,— немного смущаясь и растягивая слога, приветствовал нас пожилой высокий ненец.

— Здорово. здорово,— ответили мы.

Из-за спины высокого выглядывал низкорослый ненец, пристально разглядывая сидевших за столом. Оба топтались у порога, не решаясь пройти вперед. Я и Волохович вышли из-за стола, приглашая их раздеваться и садиться за стол.

— Ночевать можно будет? — нерешительно спросил низкий хромой ненец.

— Конечно, конечно,— ответили все.

— Тогда нарта пойдем убирать, олень пускать.

Они ушли, переговариваясь между собой.

Когда кончили ужинать, я встал из-за стола и, одевшись, вышел на улицу. В темноте возились у нарт ненцы, перевязывая поклажу. Рядом стояли, понуриив головы, уже распряженные олени. На небе сполохами играло северное сияние. «Эх,— подумал я,— надо бы Марину позвать, она ведь еще не видела».

Но вспомнив, что ее нужно устроить куда-то на квартиру, я пошел на первый огонек, светившийся в окне. Зайдя на высокое крыльцо, постучал.

— Входите,— раздался мужской голос.

Я вошел в темную кухню. Хозяином дома оказался одноглазый. Он пригласил меня в комнату, где хозяйка с дочерью, девушкой лет восемнадцати, занимались рукоделием.

— Это моя старуха,— познакомил меня заведующий рыбоприемным пунктом с женой.

— Васса Андреевна,— поправила хозяйка, протягивая руку мне и зло косясь на хозяина.

— Да какая же она старуха? — удивился я, пожимая ее мягкую, теплую руку.

— Что стоишь как пень? Дай гостю табуретку,— сердито велела хозяйка мужу.

— Да вы не беспокойтесь, Васса Андреевна, я ненадолго, по небольшому делу.

— Завез меня в эту дыру, старый козел, и раньше времени в старухи записал,— выговаривала она мужу, кокетливо поправляя волосы.

Глядя на смутившегося хозяина, я чувствовал себя неловко, а хозяйка наморщила носик, поправила белую блузку на груди, послунила палец, пригладила брови, из-под которых смотрели бойкие, веселые глаза, и повернулась ко мне.

— Какие могут быть дела ночью? — уже ласково пропела она.— Лучше я вас чайком угощу. Ты, Данила, нацеди бражки-то да что-нибудь закусить приготовь.

Эти распоряжения она отдавала, усаживаясь на сундук против меня.

— Вы не беспокойтесь, Васса Андреевна, я ненадолго,— снова возразил я.

Хозяйка пропустила мимо ушей мои слова и стала расспрашивать: зачем мы прилетели, долго ли пробудем, много ли будет народу. Я ответил на вопросы любопытной хозяйки и не знал, как приступить к делу.

Удовлетворив свое любопытство, она сама спросила:

— А какие у вас дела к нам? Может, у Данилы хотите рыбы взять? Так не берите, одна дрянь, в рот не полезет.

— Нет, я хотел просить вас девушку принять на квартиру,— объяснил я цель своего посещения.

— Да вы что? — изумилась хозяйка. Помолчав немного, она ответила: — Нет, у нас негде.

— Тогда, может, посоветуете, где? — попросил я.

— Везде тесно. Вон, может, Данила знает,— обратилась она к вошедшему со жбаном бражки мужу.

Я решил во что бы то ни стало уговорить хозяйку, обещая хорошую плату, привезти дров и многое другое. Васса Андреевна мялась, выставляя все новые и новые условия.

— Девушку поселишь,— рассуждала она,— ведь к ней парни ходить будут, а у меня дочь на выданье, подумают еще, что к ней, сплетни пойдут, до жениха дойдет, он в Тарко-Сале сейчас.

— Да нет, она у нас скромная,— успокаивал я хозяйку.

— Уже не знаю, что и делать. Как Данила решит.

Но я понимал, что хозяин в этом доме мало что значит.

— Негде у нас жить,— отказал молчавший все время хозяин.

Словно этого и ждала Васса Андреевна.

— Как это негде? — набросилась она на мужа.— Что же, по-твоему, девушке среди мужиков жить, в ненецкой? Пушай вон с Веркой на одной кровати спят,— решила она твердо.

— А мне-то что? Пусть,— отмахнулся хозяин.

Я заторопился:

— А бражку, а чай? — остановила меня хозяйка, беря за локоть.

— Сейчас придем,— крикнул я с порога.

Забрав вещи Марины, я и Юркин пошли проводить ее.

Марина познакомилась с хозяевами, с их дочерью, миловидной белокурой девушкой, и как-то сразу сделалась своей в этой небольшой семье.

Все сели за стол.

— С прибытием вас,— предложила Васса Андреевна, поднимая полный стакан бражки.

Закусили холодными куропатками. Хозяин налил по второй. Вера что-то шептала Марине на ухо, и та удивлялась, поглядывала на меня и как бы хотела что-то сказать. По второй выпили за новоселье Марины. У меня зашумело в голове.

— Что-то крепка больно? — спросил Вася раскрасневшуюся хозяйку.

— Северная она, табачком подправлена,— не без гордости похвалилась она.

Юркин все время посматривал на сидевшую с ним рядом Веру и старался с ней заговорить.

— Что ты цыганские зенки-то пялишь на дочь? — накинулась на него хозяйка. — Не про тебя припасена! — строго предупредила она летчика.

Вера засмушалась и только сказала:

— Ну, мама...

Юркин отвернулся и стал разговаривать с Данилой Васильевичем.

Хозяйка успокоилась. Потом пили чай, подробно знакомились друг с другом.

— Вы не думайте, что мой Данила дурак, — говорила подвыпившая Васса Андреевна. — У него самая трудная должность. На этой должности перед ним пятерых посадили, а он уже шестой год работает — и хоть бы что. И ничего не делает, и не садят, а те день и ночь работали и садились. Вот как уметь надо.

Я попросил рассказать подробнее.

— Да тут никакой хитрости нет, — объяснил Данила Васильевич. — Они до меня заготовят, бывало, рыбы целые вороха. Всех ненцев замучают — в Пуре рыбу ловить. План, стало быть, выполняют. А бочек нет, куда солить, да и рыба-то одни щуки да язи с подъязками, на засолку не идут. Тогда они, бывало, свалят ее в цементную яму, засолят солью, и лежит она до самой навигации. А навигация, сами знаете какая. Один пароходошко придет к нам в июле или в августе, и все. Рыбу когда возьмут, а когда и нет. Капитаны ругаются, от вонючей рыбы носы воротят, а там еще, в губе, на лихтера ее не берут. В общем, если какую и доvezут тухлую до Салехарда, и ту выбрасывают. Да и кому она нужна, такая невидаль, соленая щука и язи мелкие, когда в губе осетров ловят? Ну, и нашего брата, заготовителей, за такую рыбу да за убытки садят. Я когда приехал, — рассказывал Данила Васильевич, — сразу решил не садиться в тюрьму и не стал эту рыбу проклятую заготовливать. Председатель колхоза довольный, людей от оленей отрывать не надо. В Салехарде тоже довольны — ни убытков, ни тухлой рыбы. Ну, а справку в район даю, что план колхозом по сдаче рыбы выполнен. Справочку ту подошьют, отrapортуют еще выше, а с меня никто ничего не спрашивает, даже хвалят и премию дают. Так вот и живу потихоньку. Заготовлю килограммов сто, кто хочет — пусть на месте покупает, останется — выброшу, не велик убыток, не тонны.

— Скучно без дела-то? — спросил я.

— Пошто без дела? Я еще на одной работе числюсь, водомерщиком на метеостанции. Воду меряю на Пуре два раза в день. Тоже зарплата, отдай пятьсот, не валяются, — похвалился он. — Да лошадь у меня при рыбопункте, а жена конюхом числится — только ведь я за лошадью хожу. А потом — сами поживете, увидите — сидеть не усидеть, охота больно богатая. Весной и осенью утки, гуси, зимой куропатки, глухари, дичи невпроворот.

— Однако поздно, — сказал я. — Спасибо за хлеб-соль, пора и отдыхать.

Я встал и стал прощаться.

— Ты своего цыгана-то забирай, — попросила хозяйка.

Вася нехотя встал, сердито посмотрел на хозяйку, подмигнул Вере, как бы говоря: «Ничего, еще увидимся», — и пошел вслед за мной.

Я зажег лампу и, одевшись, стал растапливать железную печку. Славший со мной рядом на полу Миша проснулся, когда я громыхнул дверцей. Он привстал, сощурив заспанные глаза на ярко горевшую

лампу, но в комнате было холодно, и, поживаясь, он опять нырнул в теплый мешок. На полу заворочались все обитатели ненецкой.

— Ладно, полежите, пока нагреется комната,— тихо сказал я, надевая гимнастерку.

Изо рта у меня валил пар. Весело потрескивали дрова в печке, в комнате становилось теплее, и все снова уснуло.

Мне не спалось. С чего начать трудовой день на новом месте — я не знал. От «северной» бражки с табаком болела голова.

На дворе еще было совсем темно. Лежавшие около нартов олени, испугавшись меня, вскопили на ноги. Взяв ведра, я пошел на реку к проруби. Сбившись в темноте с узкой тропинки, я заметил, что снег под ногами хрустит слабее, чем вчера, а на небе не видно звезд. «Значит, погода портится»,— решил я. Пробив ломом образовавшуюся за ночь ледяную корку в проруби, я зачерпнул воды вместе со льдом и пошел обратно. На фактории зло залаяли собаки и за кем-то погнались. Не успел я подняться на берег, как мимо меня с берега на лед, делая большие прыжки, пробежал песец. Собаки, добежав до обрыва и увидев меня, остановились. Они повизгивали, не решаясь — бежать ли им дальше или вернуться. Я позвал их обратно в поселок, и они медленно и нехотя поплелись к своим дворам.

В комнате по-прежнему все спали. Налив воды в кастрюли и поставив их на раскалившуюся докрасна печку, я велел всем вставать. Небольшая комната стала сразу тесной.

Постели сваливали в один угол. Обувались, сидя на полу.

Неторопливо поднялись ненцы, спавшие не раздеваясь в малицах на оленьих шкурах, и сразу вышли на улицу. Вслед за ними вышли мы с Мишей. Летчик поливал мне на спину и шею холодную воду, я, фыркая, кряхтел, растирая лицо и грудь. Стоявший рядом ненец Пугана удивленно наблюдал за нами. Он смеялся, когда у меня захватило дух, и вскрикивал, поживаясь, когда Миша снова лил мне на спину холодную, со снегом воду.

— Снимай малицу,— предложил Миша ненцу.

— Моя не терпит,— испугался Пугана и попытался к нартам.

— Тогда умывайся, я полью тебе,— настаивал Миша.

— Не терпит,— снова отказался ненец.

— А неумытому ходить терпит? — удивился Миша.

— Это терпит, терпит,— подтвердил ненец.

Позавтракав кашей с консервами, я и Волохович пошли доставать лыжи, а мотористы с Мариной — устанавливать радиостанцию.

Было уже совсем светло, когда мы с Волоховичем на охотничьих лыжах, подбитых оленьими шкурами, легко скатились с высокого берега на реку. Миша ткнул палку в снег недалеко от берега.

— Метр десять,— сказал он о глубине снега, рассматривая зарубки на палке.

«Многовато»,— подумал я.

Отошли дальше от берега.

— Десятью сантиметрами,— сообщил пилот о новом измерении.

На середине реки снегу оказалось семьдесят—восемьдесят сантиметров, но под снегом были торосы. Мы ходили по Пуру, выбирая место для большого летного поля, где меньше снегу и лед ровнее. Наконец такое место было найдено ниже поселка.

Взяв с собой Юркина и прихватив топоры, мы пошли на противоположный берег, где виднелся лес. Срубили несколько небольших елок, чтобы обставить ими контур.

Оба летчика не верили в эту затею; столько снега лопатами не расчистишь, пусть даже будет сто человек. Возможно, в другой обстановке

они и посмеялись бы над моей фантазией. Но здесь, когда помощи ждать было неоткуда и их самолеты стояли «на приколе» без горючего, они стали вместе со мной рубить елки и таскать их за километр с берега на «аэродром», проваливаясь в глубоком снегу.

— Вот и начало,— сказал я, когда одна сторона площадки длиной с километр была обставлена по прямой.

Мы сидели на снятых лыжах, отдыхая после пяти часов работы. Широкая снежная гладь Пура четко окаймлялась невысокими берегами, заросшими черным лесом. Русло было прямое и подходы к площадке для взлета и посадки самолетов хорошие.

Как расчистить поле — я и сам еще не знал, но знал, что расчистить нужно, иначе все кончится очень плохо не только для меня, но и для Татарина, Борисова и всего коллектива, который сидит в Салехарде.

После обеда опять таскали елки. К вечеру подул с запада ветер, пошел снег.

Заканчивая обставлять вторую полосу, я спросил Мишу:

— При какой глубине снега может сесть ЛИ-2 на колесах?

— Сантиметров двадцать—тридцать,— ответил пилот,— если снег рыхлый.

Я помолчал. Снегу было почти на метр, и ясно было, что на него ни один большой самолет не сядет.

Ветер усиливался с каждой минутой, понесло поземку. Встав на лыжи, мы пошли в поселок.

Третьи сутки завывала метель. Я выходил из дому в надежде увидеть прояснение, но порывистый ветер налетал с новой силой, и в десяти метрах ничего не было видно.

Летчики забивали «козла». Мне было тоскливо слушать вьюгу и без дела шагать из угла в угол, и я волновался за людей, выехавших с Рогожиным из Самбурга на нартах. Хоть бы кончилась пурга!

Неожиданно открылась дверь и вбежала Марина. Она похлопала по валенкам и куртке растрепавшимся голиком, стряхнула с шапки снег, вытерла мокрое лицо и подала мне свернутую в трубку бумажку.

Я прочитал: «Как дела? Татаринов».

Беспокоится начальство... Действительно, вроде аферы получилось. Забрался сюда и сию да людей мучаю.

— Отвечать на телеграмму будете? — спросила Марина.— А то у меня скоро связь с Салехардом.

Я пристально посмотрел на радистку. Что она, смеется надо мной или всерьез думает, что я готов о чем-то рапортовать? Но Марина смотрела на меня сочувственно.

Я взял лист бумаги и написал: «Место расчистки летного поля нашли, оконтурили елками, сделали лопаты. Олений транспорт Самбурга задержался пути из-за погоды. Окончании пурги начнем расчищать летное поле».

Я перечитал написанное, передал Марине.

— Через час передам,— сказала она и, надев шапку, направилась к двери. С порога она окинула взглядом неубранную, прокуренную комнату и выговорила летчикам: — Порядочек поддерживать надо, «козлятники», а то грязью обростете.

Она хлопнула дверь, успев впустить к нам немного ветра со снегом.

Метель стихла так же неожиданно, как и налетела. Снежные тучи уносило на восток, и в их разрывы проглядывало солнце. После пурги его лучи казались еще ярче и, отражаясь на белом снегу, слепили глаза.

К вечеру приехали на двух нартах ненцы Пугана и Пяк. Бросив упряжки, они пошли в магазин фактории за продуктами.

Я подошел к оленям, стоявшим в глубоком снегу, и только сейчас обратил внимание на их большие, выпуклые бархатные глаза. Они были грустные, словно в их глубине отражалась угрюмая тундра. «Вот,— подумал я,— эти животные дают жителям Севера все, что необходимо, чтобы жить. На оленях ездят, питаются их мясом, из их шкур шьют одежду, делают чумы, из рогов готовят лекарство. Даже когда пурга застигнет человека в тундре, он ложится в снег с оленем, чтобы согреться у его теплого тела... Да, здесь, на Севере, эти кроткие и несильные животные выручают человека во всякой беде...»

И вдруг я подумал: «А может, они и нам помогут построить летное поле?»

У меня почему-то сразу стало теплее на душе. Не отходя, я все смотрел и смотрел на оленей, как будто ища у них поддержки. Они стояли на месте, переминаясь с ноги на ногу. Рыхлый глубокий снег оседал под их топчущимися ногами и вскоре стал твердым. У меня мелькнула мысль: олени утопнут нам снег на летном поле, а там будет видно, что делать!..

Обрадовавшись, я пошел искать приехавших ненцев. На ходу я соображал: нужно пятьсот, нет — тысячу оленей, тогда четыре тысячи ног будут топтать снег на ста тысячах квадратных метров. И будут топтать до тех пор, пока он не будет настолько плотным, чтобы выдержать самолет.

Я зашел в магазин, когда Ниязов только что раскупорил бутылку и передал ее ненцам. Взяв ее, Пугана приготовился пить из горлышка.

— Зачем же так? — остановил я его. — Выпить можно и дома, там и закуска есть.

— Они без закуски чистый пьют, — вмешался Ниязов.

— А вы и рады, — зло оборвал я его.

Растерявшийся Пугана держал бутылку, не зная, пить или подождать. Я решительно взял ее и заткнул пробкой.

Придя в ненецкую, я велел летчикам готовить обед и, усадив ненцев за стол, спросил:

— Где поблизости оленья стада пасется?

— Мы одно пасем — колхозное, да еще одно Самбурга сюда будет каслать, однако завтра будет, — ответил Пугана.

— Сколько в вашем стаде оленей? — снова спросил я.

Пугана посмотрел на Пяка и, помедлив, ответил:

— Девятьсот есть, однако. Может, маленько больше.

Пяк в подтверждение закивал головой.

— Топтать снег оленями надо, — начал объяснять я, — чтобы он твердый был, тогда самолеты большие прилетят... — И я подробно рассказал, что придумал.

— Э, твой шибко хитрый, здорово придумал, — восхитился Пугана, поняв объяснение.

— Вот давайте вашими оленями и топтать будем, — стал я уговаривать ненцев.

— Топтать можно, только правление колхоза спрашивать надо, без правления топтать не терпит, — объяснил Пяк.

— А где председатель? Как его найти? — спросил я.

— Его другим стадом каслает, а может, его район Тарко-Сале уехал, — соображал вслух Пугана.

— А сами разве вы решить не можете? Ведь колхоз деньги хорошие получит, за каждого оленя в день экспедиция по рублю платить будет, а это как день — тысяча рублей колхозу, — убеждал я.

— Деньги хорошо, самолет летать будет тоже хорошо. А ругать будут совсем нехорошо,— отказывались ненцы.

— За что же ругать будут? Разве оленям нехорошо будет, если они по снегу побегают? — настаивал я.

— Почто нехорошо? — соглашались пастухи.— Олень бегать терпит.

— Тогда пригоняйте стадо, и завтра начнем топтать.

Ненцы молчали.

— Вот у меня бумага есть: оказывать нам помощь.— И я достал письмо окружного исполнительного комитета.

Пяк повертел бумагу, пристально посмотрел на печать и передал Пугане. Тот в свою очередь подержал ее вверх ногами и попросил читать.

Я начал было читать, но Пугана остановил меня:

— Пусть его читает,— показал он на Волоховича, как бы не доверяя мне.

Миша прочитал.

— Булгатера зови,— распорядился Пяк.— Он член правления, да я член правления, заседать будем.

Юркин побежал за бухгалтером. Вскоре он вернулся и сообщил: бухгалтер болен, но если что нужно, говорит, пусть приходят к нему.

Бухгалтер лежал на кровати, рядом стоял деревянный протез, в комнате было неуютно, по печке и стенам ползали тараканы. У больного было опухшее лицо, пахло перегаром.

— Немного простыл, с перчиком выпил,— оправдывался он.

Я снова рассказал о летном поле и просил оленей.

Бухгалтер заговорил с ненцами на их языке, и я ничего не понимал.

Еще раз читали письмо окрисполкома, потом бухгалтер спросил:

— А деньги как, наличными заплатите или через банк?

— Можно так и так, как колхозу удобнее,— ответил я.

— Лучше наличными,— решил бухгалтер.— У нас нет денег, а пастухам нужны продукты, да и сам я без зарплаты сижу.

«Заседание» прошло быстро, и, наскоро пожевав сырой оленины, ненцы отправились к своим чумам.

— Завтра рано каслать сюда будем,— сказал на прощание Пяк.

Ночь я плохо спал, ворочался, выходил на улицу проверять, не будет ли пурги. Ранним утром мы с Волоховичем, попив чаю, пошли на площадку, а оттуда снова в поселок — встречать оленей. Я не находил себе места: ведь от этого дня многое зависело.

На бледном северном небе не было ни одного облачка, солнце бросало яркие лучи на искрящийся снег. Я и мои товарищи стояли на высоком обрывистом берегу Пура и смотрели то на лес, откуда должно показаться стадо оленей, то вниз по реке, надеясь увидеть девять нарт, выехавших из Самбурга. Но кругом было тихо.

— Может, не приедут? — засомневался Миша.

— Не может быть,— возразил Юркин,— в тундре не обманывают.

И как бы в подтверждение его слов в лесу послышались колокольчики, потом лай собак, и на опушку выехали нарты. Вслед за нартами, сбивая друг друга в снег, плотной стеной шли олени.

— Ух, сколько их! — удивилась Марина.

А олени все шли и шли, вытягиваясь из леса.

— Куда каслать? — крикнул Пяк, ехавший на передних нартах.

— Давай прямо на реку,— ответил я и прыгнул к нему на нарты.

Оленья упряжка подхватила, понесла с крутого берега. Не отставая, за нею бежало все стадо.

Маленькие собачки-«пастухи» тявкали, хватили за ноги отбившихся оленей, загоняя их на площадку, где остановились нарты.

На задних нартах подъехали летчики и Марина.

Ненцы закурили трубки и стали советоваться, как лучше гонять оленей по площадке. Первым поехал на нарте Пугана. Он кричал на свою упряжку, подгоняя увязавших в снегу оленей хореем, и подал команду собакам. Поняв своего хозяина, затаивали собачонки. Утопая в снегу, все олени запрыгали, Пяк подгонял их сзади, и тысячеголовое стадо с лесом ветвистых рогов двинулось широким фронтом, убыстряя бег.

Прогнав оленей два раза вдоль всей площадки, остановились. Олени тяжело дышали, пар облаком расстилался над стадом.

— Как медведь топчет,— показывая на меня, проваливающегося в снег, смеялся Пугана. И мне было весело: я уже снова верил в задуманное дело.

Отдохнув, ненцы встали на лыжи и дали знак собакам. Стадо заволновалось и вновь побежало по площадке. Снег оседал. Но олени прировнились прыгать друг другу вслед, оставляя глубокие рывтины. Видя это, оленеводы развернули стадо поперек площадки и быстро погнали его. Сзади с яростью налетали собаки, кусая за ноги отстающих. Оленям уже не было времени рассматривать, куда ступать, и, спасаясь от собак, наседая друг на друга, они смешали бугры и рывтины.

К вечеру оленей угнали в тундру на пастбище.

Мы с летчиками осматривали площадку. Почти половина ее была утоптана, и там, где еще утром олени и люди тонули по пояс, было ровное, плотное снежное поле.

Еще два дня гоняли оленей, и они сделали свое дело. Оставалось только заровнять мелкие рывтины.

— Ну как, Миша, есть надежда на прием ЛИ-2?—спросил я летчика, когда мы выбирались на крутой берег.

— Я должен еще раз измерить плотность снега, тогда решим,— уклонился пилот.

Мы остановились над обрывом, глядя на ровное поле, испещренное следами оленьих копыт. Оно было нашей надеждой на жизнь и работу в этом северном крае.

— Смотрите, что это там движется? — показал рукой вниз по Пуру Юркин.

Действительно, едва заметные черточки передвигались там одна за другой. Вот они скрылись за далеким островом и вскоре вновь показались на снежной равнине.

— Наши едут!— закричал Юркин.

Не утерпев, мы побежали встречать дальних путников на реке. Лица у прибывших забронзовели, у многих обморожены были носы и щеки, но все были бодрыми, в приподнятом настроении, далекий путь от Самбурга до Уренгоя остался позади.

— Что так долго ехали? — спросил я Рогожина.

— Три дня от пурги в чумах спасались да день оленей пасли, а в это время нарты чинили,— оправдывался инженер.— Да и ехали ведь не налегке,— добавил он.

К вечеру установили привезенную палатку с железной печкой, сделали койки из жердей. Заезжая опустела.

Я перебрался в палатку, а Юркина и Волоховича взял к себе на квартиру Ниязов.

4

— Вот это кедр так кедр!

Утоптав снег вокруг, мы стали пилить. Вначале пила шла легко, но ближе к середине ствола тянуть было так тяжело, что пришлось опиленное подрубить. Пилили долго, подрезая дерево со всех сторон. Наконец кедр качнулся, надломился и полетел с крутого берега в снег на реку,

ломаю сучья. Обчистив ствол и стпилив вершину, мы пошли в поселок за оленями, чтобы перевезти ствол на летное поле.

Ненцы запрягли в пять нарт самых крупных оленей и поехали вместе с нами к кедру. Привязав ствол ко всем нартам, я крикнул: «Трогай!» Олени дернули нестройно, и ствол, пошевельнувшись, остался на месте.

— Давайте дружнее,— сказал Рогожин ненцам.

Все пять упряжек приготовились, ненцы подняли хорей.

— Пошел! — скомандовал Александр Петрович.

Упряжки дернули одновременно, и тяжелое бревно заскользило по снегу. Выехав на летное поле, ствол развернули, привязав упряжки нарт к нему поперек, через равные промежутки. Напрягая силы, олени тащили бревно поперек площадки, сбивая бугорки, оставшиеся от копыт...

— Давайте усилим груз,— предложил Миша.

На бревно уселись шесть человек и подпрягли еще две нарты. К вечеру поле было укатано.

Волохович проверял плотность снега. Он вдавливал металлический стержень в снег, не отводя глаз от показания прибора. Я ходил вслед за ним, измеряя глубину. На середине поля было двадцать—тридцать сантиметров, а к краям больше. Я волновался, что скажет пилот.

— На пределе получается,— крикнул Миша.

— Что это значит — на пределе?

— А то, что принимать можно, да только с риском.

— Не может быть? — неуверенно возразил я.

Мы оба молчали. Я еще раз прошелся по полю, пробуя плотность снега.

— Подождем до утра,— сказал пилот.— Может, ночью морозец ударит, тогда снег крепче будет.

Я ничего не ответил и пошел в поселок. У входа в палатку стряхнул снег и, раздевшись, умылся снегом.

В палатку собрались все строители «аэродрома». Настрогали мороженных сивов, наварили оленьего мяса, спирт разлили по кружкам.

Мне хотелось встряхнуться: последнее время я мало спал, много работал. А результатов все не было. «С риском можно,— зло думал я, вспоминая слова пилота.— А кому нужен этот риск? Самолет разбить, людей искалечить, еще этого не хватало».

— Ну что ж, выпьем за скорый прилет самолетов,— поднял я кружку.

На закуску подали вареных глухарей, убитых накануне Пуганой.

Ненцы хвалили крепкий напиток и через пять минут уже шумели, курили трубки, спорили.

Повеселел и я. «В конце концов уберем же мы снег! — подумал я.— Теперь, когда он плотный и по объему стало его втрое меньше, нетрудно будет справиться».

Сидевший со мной Пугана хлопал меня по плечу и возмущался:

— Как ваша без начальника работает? Где ваш арка¹ начальник?

— Ну, я начальник.

— Ты? — удивился ненец, глядя на меня во все глаза.— Это я по-вашему дурак, да? Не вижу? Какой ты начальник, сам дерево пили, снег топчи, воду таскай, печку топи,— рассуждал он.— Начальник только пиши, ругайся, спирт пей... Ниязов вот начальник, болгартер тоже маленько начальник, а ты...— Пугана махнул рукой.

Я от души смеялся. Мне стало совсем весело. Пили еще за ненцев, за отсутствующих друзей, за северное сияние. Волохович требовал выпить за поднебесную высь.

Пугана махал руками, порываясь выйти из-за стола.

¹ Старший.

— Пойду Ниязовым драться,— шумел он.— Зачем обман делал, пушнину дешево принимал?

Я удержал его.

Юркин спорил с Волоховичем.

— А я говорю: можно принимать,— доказывал Вася.— Пусть только больше хвост загрузят и не с полной нагрузкой летят.

— А если скапотирует? — возразил Волохович.

— Не на такие площадки садились и то не бились,— доказывал Вася.

— Ну, хватит спорить,— остановил я.— Завтра снова за дело.

Все вышли на свежий воздух. Я пошел провожать пилотов.

— Вроде теплее стало? — спросил Миша.

Снег под ногами действительно не скрипел.

«Может, и правда вместо мороза оттепель будет?» — подумал я.

— Ну да черт с ним! — вслух выругался я.— Хватит думать, от дум мороза не будет.

Проводив летчиков, я побрел обратно к палатке, но в темноте споткнулся о лежавшего на тропе человека. Заглянув в лицо валявшемуся, я узнал оленевода Айвоседу. Он лежал в малице, засунув руки в рукава. Разбудить его было невозможно: он лишь бессвязно ворчал, стараясь удобнее улечься в мягком снегу.

В десяти метрах от Айвоседы я увидел второго ненца, тоже спавшего в снегу. Хмель у меня как рукой сняло, и я быстро зашагал по тропе, чтобы взять людей и перетащить ненцев в палатку. Не прошел я и двадцати шагов, как наткнулся на валявшегося в снегу Пяка. Я уже не шел, а бежал. Но в палатке никого не было. «Наверное, добавляют у бухгалтера», — подумал я и решил ненцев таскать один.

Подойдя к Пяку, я хотел взвалить его на плечи, но тот, явно недовольный, что его тревожат, сопротивлялся. Покачиваясь, ко мне подошел Пугана.

— Ну-ка помоги,— попросил я.

Пугана засмеялся:

— Куда таскать, зачем таскать, пусть его спит куропашкином чуме, его так спать терпит.

На мои уговоры Пугана только махнул рукой. Он ответил: «Их терпит, терпит», — и зашагал к фактории.

С рассветом мы с Волоховичем были уже на летном поле, измеряли плотность снега.

С каждым новым измерением Волохович мрачнел.

«Но если не рискнуть,— подумал я,— значит, работа экспедиции будет сорвана, а население останется без продовольствия».

Я понимал, что настаивать перед Волоховичем на приеме ЛИ-2 — значит толкать его на возможные неприятности. Ведь он и так был на «особом учете», и я знал его печальную историю.

Еще в 1940 году, на финском фронте, Волохович в одном из воздушных боев под Выборгом, спасая товарищей, врезался на своем истребителе в самую гущу врагов и сбил один самолет. Но потом на него бросились сразу три истребителя и подожгли его. Когда Волохович убедился, что дотянуть до своей линии невозможно, он выпрыгнул из горящего самолета. Скрываясь в густом лесу и прислушиваясь к далекой канонаде на юге, он осторожно пробирался к линии фронта и был уже недалеко от цели, когда его взяли в плен. Летчик не успел опомниться, как на его плечи прыгнул с дерева здоровенный финн, сбил его с ног, придавил к земле, и тут же подбежали еще двое.

Через двенадцать дней был заключен мир с Финляндией, и Волохович вернулся на родину. Потом долго проверяли его показания, и хотя они

подтвердились, его все же из авиации уволили. Обвинение было одно: почему он, имея совсем легкие ожоги, живым сдался в плен?

Семь лет тосковал Волохович по любимому делу, много писал, ходил с просьбами по начальству, и наконец ему разрешили летать, но только на самолетах малого радиуса действия и вдали от границ. После всего этого мог ли я сейчас рисковать его репутацией?

Но ведь мы вчера получили сообщение из центра, что запасов продовольствия на факториях хватит всего на два месяца, а до навигации оставалось еще месяцев пять; теперь все рассчитывают, что продовольствие будет заброшено из Салехарда в Уренгой самолетами...

«Ну и натрепался я с аэродромом», — мысленно ругал я себя, не сводя глаз с Волоховича и его прибора.

— Не везет нам, Миша, морозец-то слабоват, — сказал я вслух, чтобы хоть как-то прервать мрачное молчание.

— Да, если бы покрепче ударил, лучше было бы. Но я все же решил принимать, — твердо заявил пилот.

— Что же, ты рисковать решил?

— А что же еще делать?

— Может, бросить эту затею? Риск большой?

— Да как сказать... Пока ЛИ-2 будет бежать по полю с большой скоростью, снег выдержит. А когда скорость спадет, возможно, что самолет провалится, накренится вперед. Винты может погнуть.

Мы молча пошли на радиостанцию. Каждый думал о своем.

Я был рад: прилетит самолет — и все сомнения вроде останутся позади. Но тут же я поймал себя на слове «вроде»...

— Летит, летит! — кричала Марина, сбегая с крутого берега на лед.

Она махала клочком бумажки и так торопилась, что, оступившись с узкой тропы, полетела в снег. Вытащив Марину из снега, мы увидели радиограмму: «Борта самолета, Уренгой Волоховичу. Летим с посадкой, подготовьте знаки, прибудем около четырнадцати, сильный встречный. Борисов».

Волохович посмотрел на часы.

— Минут через пятьдесят будут здесь.

Мы пошли выкладывать знак «Т» и поправлять елки, хотя поле было хорошо видно среди снежных валов.

С площадки никто не уходил, смотрели на запад, каждый надеялся увидеть самолет первым.

— Вот он, — показал Рогожин.

Действительно, в чистом небе появилась черточка. Вскоре донесся и гул моторов.

Снизившись, самолет прошел над площадкой, развернулся, выпустил шасси. Все волновались. Вот самолет, еле коснувшись снега колесами, немного подпрыгнул и покатился на трех точках. «Кажется, все в порядке», — подумал я. Но он резко остановился и накренился вперед, приподняв хвост.

Мы побежали к самолету. Открылась железная дверца, и, опустив лестницу, стали выходить летчики.

Третьим стремительно сошел командир корабля Ганджумов. Он подбежал к нам и, сорвав с себя шапку, с силой ударил ее об землю.

— Вы что? Угробить машину хотели? Разве это площадка? — кричал он.

Борисов прервал его крик.

— Хватит шуметь, Джамбул, — сказал он спокойно.

— Не хватит! Я летать сюда больше не буду, — не унимался пилот.

— Подожди кричать, говорю, дай сфотографирую.

Он открыл ФЭД и направил объектив на Джамбула.

— Стой, шапку надену,— засуетился Ганджумов.

— Не надо, так интереснее,— щелкнул затвором Борисов и сказал:— Это будет пятая фотография на тему «Джамбул во гневе» или «Джамбул опять без шапки».

Ганджумов уже смеялся, вытряхивая из шапки снег, который успели насыпать в нее летчики.

— Ну вот. Чего шумел? Себе же хуже сделал,— шутил Борисов.— Знал, куда летел? Знал. Самолет цел? Цел. Горючее, лопаты, фанеру, продукты привезли? Привезли. Так чего же ты...

— Ладно, хватит,— перебил его Джамбул,— пожрать надо.

— Стоит ли еще тебя кормить, трали-вали, такого шумливого!

— Что же, я с голодным брюхом буду здесь загорать? Ведь теперь не взлететь.

Действительно, самолет провалился в снег и о взлете нечего было думать.

Волохович был рад — ему привезли четыре бочки авиабензина и масло. Они с Васей катили бочки к границе площадки. Борисов подтвердил, что в Салехарде на нашу площадку возлагают большие надежды, завезут сюда продовольствие для факторий и передовой отряд строителей, человек триста.

— Так что нам, летчикам, работенки хватит, если будет площадка,— сказал он.

Я посмотрел на него вопросительно, не понимая.

— Снег до льда придется убрать,— сказал он,— иначе полетов не будет.

Мне стала понятна горячность Ганджумова. Теперь, когда снег плотный и толщиной всего тридцать сантиметров вместо метра, а у нас есть инструменты, есть горючее для ПО-2 да прибавилось еще шесть человек экипажа ЛИ-2, мы с этой работой управимся.

Мне удалось выторговать у Борисова уменьшение площадки. До льда решили расчищать полосу — в длину восемьсот метров и в ширину пятьдесят. Садиться на такую дорожку, конечно, будет трудно, но остальная часть площадки создаст дополнительную безопасность.

В палатку пришли, когда Васса Андреевна уже запускала пельмени в кипящую воду. Она теперь работала у нас поварихой и сегодня, по случаю прилета, принарядилась. Встречая гостей, она поминутно оправляла свои пышные волосы, выбивавшиеся из-под шелковой косынки, не сводила глаз с Борисова, с его пяти рядов орденских колодок и золотой звезды. На Волоховича она уже не обращала внимания.

— Вам как? С бульончиком или с маслом? — спрашивала она Борисова, заглядывая ему в глаза.

Борисов любезно пошутил:

— Из ваших рук все вкусно.

Васса Андреевна расцвела.

После обеда пошли расчищать площадку. К привезенным большим листам фанеры привязали веревки — теперь есть на чем транспортировать снег! Расчистку начали от ЛИ-2, разрезая снег на равные пласты до квадратного метра. Эти плотные пласты клали на фанеру и везли за пределы площадки. Работа подвигалась быстро, к вечеру прошли полосу шестьдесят метров длиной и шириной двадцать.

А утром подул южный ветер, и Борисов решил лететь. Он объяснил, что нужно воспользоваться встречным ветром, который помогает взлету, и что даже шестидесяти метров ему достаточно, чтобы, набрав скорость, выскочить на утоптанное оленями поле, самолет там не провалится.

Мы удерживать его не стали.

Взрели моторы, самолет побежал и, оторвавшись, стал набирать высоту. Сделав над Уренгоем круг, помахав нам крыльями, ЛИ-2 улетел в Салехард. Нам же предстояло еще убрать и вывезти более десяти тысяч кубометров плотного снега — по тысяче кубометров на человека.

После короткого совета мы решили: Пяка послать в тундру за ненцами, мне с Волоховичем лететь в районный центр Тарко-Сале, а Рогожину возглавить расчистку площадки. За уборку снега решили платить рубль с квадратного метра. Рогожин растолковывал Пяку стоимость уборки снега. Пяк понимал плохо. Рогожин повторял:

— Вот смотри, так шаг и так шаг, это метр, один рубль будет.

— А если вот так? — И ненец положил хорей в длину и хорей в ширину.

Рогожин измерил рулеткой и ответил:

— Это пятнадцать рублей.

— Теперь моя понял. Так хорей и так хорей — пятнадцать рублей.

Наши, однако, поедут. — И, сев на нарты, Пяк погнал оленей вверх по Пуру.

Борисов привез приказ по авиации МВД: «Всем самолетам без радиостанций летать на Севере только в паре». Как ни жаль было бензина, но мне пришлось лететь одному на двух самолетах. Однако я надеялся, что из Тарко-Сале я привезу людей.

Тарко-Сале расположен на слиянии двух рек — Пяку-Пур и Айвоседа-Пур (ниже течет река Пур). Мы летели на высоте не более километра. Погода была ясная, и можно было видеть всю местность. По берегам рос густой и довольно высокий лес, преимущественно лиственница и береза. Местами попадались темные пятна кедрача. Сразу от поймы начиналась безлесная тундра. В Пур впадали большие и малые речки. Хотя самих речек под снегом не было видно, но по лесу можно было угадать их направление и даже знать, что это — река или небольшой ручеек: реки тянулись далеко и широкая полоса окаймляющего их леса терялась за снежным горизонтом тундры, а маленькие речки и ручьи имели меньше растительности, и там, где заканчивался росший по ним лес, видны были их истоки. Получалось сложное разветвление, словно огромный прут с длинными толстыми и короткими тонкими ветвями. Глядя на карту-миллионку, я легко определял местность. Вот за левым крылом самолета осталась река Хадыр, а далеко справа был уже виден Ямсовей, — и все это я узнавал только по лесу. Потом пролетели над мелкими протоками, и снова был виден лес, далеко уходящий в тундру, рассекая снежную пустыню. Чем выше по Пуру, тем лес становился гуще и выше; подлетая к Тарко-Сале, я увидел южнее поселка огромный лесной массив.

Волохович посадил самолет на реку, следом за ним сел и Юркин. Жители поселка нас встретили так же радушно, как и в Самбурге и в Уренгое. Поселок был небольшой — всего три-четыре короткие улицы да еще отдельные дома, разбросанные в беспорядке. В домах побольше размещались районные учреждения. Я шел и читал вывески: баня, почта, заготпушнина, магазины, чайная... Встретившиеся нам прохожие были русские. Ненцев не было видно.

В райкоме меня принял первый секретарь Василий Иванович Розанов. Я подробно стал рассказывать ему о задачах экспедиции и о строительстве железной дороги, но он вскоре меня прервал и попросил об этом рассказать широкому кругу работников района. Потом он кому-то позвонил и просил собрать всех через час.

Встав из-за стола, он прошелся по большому кабинету с ковровой дорожкой, подошел к карте района, в который уместилось бы много обла-

стей, окружающих Москву, и хотел начать какой-то разговор, но потом, видимо, изменив свое решение, повернулся ко мне.

— Идемте ко мне обедать, вы ведь с дороги.

Я поблагодарил и согласился.

Дома он познакомил меня с миловидной белокурой женой, учительницей, которая только что пришла из школы. По обстановке их маленькой квартиры нетрудно было догадаться, что живут они здесь вдвоем и недолго.

— Давно из Салехарда? — спросила она меня.

— Больше десяти дней.

— Смотрите, как быстро! А мы ехали летом по губе, потом по Пуру больше месяца. В губе нас так качало да еще чуть на мель не выбросило — до сих пор забыть не могу! А потом этот пароходик с баржей на Пуре... Кажется, целая вечность прошла. Я миллионы комаров накормила, пока дотащились до Тарко-Сале. То на мели сидели, то сутками дрова грузили, то машина поломалась. Говорят, пароход этот здесь с самой революции, и все один.

— Верно, — поддержал жену Василий Иванович. — В прошлом году он один рейс от губы вверх сделал, а когда пошел вниз, поломался окончательно, и вот весь район остался на голодном пайке. Так что наша жизнь здесь целиком зависит от этого пароходика.

— Ну, теперь у вас железная дорога пройдет, — не без гордости сказал я, — легче будет.

— Нам бы не железную дорогу, а два-три хороших парохода да площадки для самолетов, — помечтал Василий Иванович. — Вы ведь правильно решили, что без авиации вам здесь ничего не сделать. А то я, секретарь райкома, ничего по существу о том, что происходит в районе, не знаю. В один конец триста километров, в другой — пятьсот, в третий — и того больше. Хочется везде побывать, а вот попробуй! Верить на слово? Да ведь сколько обмана, очковтирательства и жулья по факториям развелось, словно купцы сидят там, а не заведующие. Много, много таких, что едут сюда на Север карманы набить и смыться, — зло закончил он.

Я вспомнил Ниязова.

— Летимте в Уренгой, — предложил я, — а там вас летчики повозят по оленьим стадам, с пастухами поговорите, они вам всю правду расскажут.

Василий Иванович что-то соображал, а потом ответил:

— Предложение хорошее, но у нас через три дня назначен пленум райкома. Вот если бы вы прислали за мной самолет дней через десять, было бы очень хорошо.

Я обещал.

Пельмени были из оленины. Однако Вера Ивановна была, видимо, большая мастерица: они получились не хуже настоящих сибирских.

— Как мне хотелось бы побывать в Салехарде, поговорить в окроне о нашей школе, — посмотрела Вера Ивановна на мужа. — Мне кажется, мы не так учим ненецких детей, и их неуспеваемость зависит не столько от них, сколько от нас.

— Напиши письмо, — неуверенно посоветовал Василий Иванович.

— А ответ когда получу? В августе, с первым пароходом?

— Да ведь теперь мы можем отправлять почту через них, — кивнул он на меня.

Мне, правда, неловко было брать на себя обязательства — ведь площадки еще нет, — но и отказать в таком деле было бы нехорошо, и я сказал:

— Не только почту, но и людей по неотложным делам можем перевозить, а Веру Ивановну в первую очередь, раз уж решается дело о детях,— пообещал я.

— Вот так-то! — обрадовалась она.

Поблагодарив Веру Ивановну за обед, мы пошли в райком. К моей информации собравшиеся отнеслись с интересом, но их больше всего интересовало, скоро ли наладится авиасвязь с Салехардом. Как я понял, все руководители района считали постройку железной дороги чем-то маловероятным, а вот авиация для них была вопросом сегодняшнего дня: с нами послали в Уренгой трех молодых работников, чтобы они, помимо своих служебных дел, помогали нам на площадке. Сразу после пленума должен был приехать на оленях и председатель того колхоза, что базируется на Уренгой.

Когда все разошлись, мы еще час просидели с Василием Ивановичем. Он рассказал мне о населении района, о том, как нужно держаться с немцами, чтобы они чувствовали, что их уважают. Нашу беседу прервал работник торгодела — он принес справки, куда сколько нужно завезти продовольствия. Запечатав их в конверт, Василий Иванович попросил передать пакет в окружном с первым же самолетом.

Летчики были в гостях у начальника районного управления МВД, как мне сказал встретившийся милиционер, очевидно всегда осведомленный о том, где находится и что делает его начальство. Было пять часов вечера. До захода солнца оставалось еще около двух часов, и я думал сегодня же улететь в Уренгой, если успеют собраться отлетавшие с нами работники района. Но я сразу забыл об этом думать, когда увидел Мишу и Васю в гостях. Они сидели за столом красные, под изрядным хмельком. Хозяин, старший лейтенант Тимошенко, с которым мы познакомились в райкоме, меня ждал. Хотя мы и не уславливались, но он понимал, что без пилотов я никуда не денусь и все равно приду. Я не подал виду, что мне не понравилась его затея, но решил Мишу и Васю увести ночевать в какое-нибудь другое место.

— За ваши успехи,— поднял большую стопку Тимошенко.

Чокнулись, выпили, закусив соленым муксуном.

— Не захромать бы? Надо по второй,— предложил хозяин.

Чтобы не портить отношений с местной властью, пришлось выпить и по второй.

— Когда я был командиром роты,— сказал Тимошенко,— я воевал под Сталинградом. Эх, и время же было горячее... Выпьем еще по одной перед шашлыком,— предложил он.

Я хотел передернуть, но Тимошенко обиделся и предложил, обратиться прямо ко мне:

— За знакомство.— Переведя дух, он продолжал: — Когда я командовал батальоном и вел в атаку своих орлов, фрицы драпали без оглядки. А я командовал: «Орлы, за мной, бей, колі супостатов»...

Он эффектно жестикулировал. Ясно было, что после четвертой стопки он будет командовать полком. Но он переменял разговор и стал просить нас:

— Увезите моих осужденных на самолетах в Салехард. Замучили, окаянные. Тюрьмы нет, жратвы не напасусь, а делать им нечего. Какие сортиры были, все вычистили, дрыхнут да жрут целыми днями, аж распухли.

— За что сидят? — спросил я.

— Да так, все мелочь. Растратчики больше да пропойцы. Хоть бы настоящие были, а то так, ерунда.

— Я могу их взять в экспедицию,— предложил я.

— А если сбегут?

— Никуда не денутся из тундры,— заметил я,— а все ж пользу приносить будут.

— Это надо обмозговать и начальство запросить,— решил он.— А расписочку вы мне на них дадите?

— Конечно, дам. Им у нас будет хорошо, и никуда они не уйдут,— заверил я.

— Ладно, только начальство все же запрошу.

Четвертая стопка показалась мне совсем крепкой, у меня закружилась голова, а хозяин сказал:

— Когда я ходил в штыковую атаку, фашистов вот так кидал через себя! Полк, за мной!

Когда мы уходили, хозяин уже посылал армады бомбардировщиков на Берлин, но в штыковую атаку по-прежнему ходил сам.

Переночевав в доме приезжих, мы рано утром вылетели в Уренгой.

Рогожин с людьми расчищали площадку.

К вечеру приехали ненцы на трех нартах, посланных Пуганой, и на другой день нас работало уже больше двадцати человек. Ненцы возили снег на нартах, мы таскали на фанере. Каждый имел свой участок, чтобы к вечеру можно было замерить, кто сколько сделал.

Я работал с Пономаренко и Мариной. Пономаренко разрезал лопатой снег на равные куски, мы с Мариной наваливали, а потом везли за пределы площадки. Марина отрывалась только на несколько минут в сеансы связи и снова принималась за снег.

Придя в середине дня с радиостанции, она пошла посмотреть, как работают ненцы, и вернулась чем-то расстроенная.

— Что с вами? — спросил я ее.

— Там ребеночек голенький на холоду лежит,— чуть не плача, сказала она и потащила меня за собой.

На снегу стояла корзинка, прикрытая крышкой. Из нее доносился детский плач.

Марина приподняла крышку. В корзинке, обшитой снаружи и внутри оленьим мехом, лежал без пеленок и одеяльца, на одной древесной стружке, голый грудной мальчик. Он плакал, заливаясь горькими слезами.

К нам уже шла женщина — видимо, мать ребенка. Со слезами на глазах Марина стала ей выговаривать, а та улыбалась и только отвечала:

— Его терпит, терпит, нас всегда так.

Она подошла к ребенку, перевернула под ним стружку и снова хлопнула корзинку, оставив ее стоять на снегу.

— Идемте,— позвал я Марину.— Слышали — говорит, так надо.

Может, это было и неверно, но я подумал: они закаляются со дня рождения — ведь жизнь у них впереди суровая, в холодной безлюдной тундре.

Поздно вечером, когда появилась Полярная звезда, мы кончили работу и замерили, кто сколько сделал. Рогожин рулеткой обмерял участки, где работали ненцы.

— Не терпит,— запротестовал пожилой ненец.— Зачем обман делаешь?

Рогожин, ничего не поняв, стал внимательнее рассматривать цифры на рулетке. Ненцы волновались, а пожилой ненец отстранил рулетку и подал Рогожину хорей.

— Этим меряй. Так хорей и так хорей пятнадцать рублей, нам Пугана говорил.

Рогожин стал мерить хореем.

Он записывал в книжку все участки, а когда закончил, тот же ненец сказал мне:

— Деньги давай.

— Может, потом сразу рассчитаемся, когда закончим расчистку?

— Не терпит, — твердо повторил он.

— Хорошо, хорошо, — успокоил я, и мы пошли рассчитывать.

Рогожин составлял ведомость, а я платил. Заработок оказался хороший, в среднем получали по шестьдесят—семьдесят рублей — правда, работали много. Одна семья на двух нартах заработала более двухсот рублей. Ненцы были довольны.

На другой день в пять часов утра они явились уже на площадку, и было их уже в два раза больше, чем вчера. Пришел с ними и Пугана.

Двое ненцев были без нарт. Они подошли к нам и спросили:

— Пешком таскать можно?

Я понял, что у них нет ни нарт, ни оленей и снег они решались таскать прямо так, в руках.

— Можно, — согласился я, но дал им лист фанеры с веревкой.

Рогожин отмерил хореем участок.

Ледовое поле быстро увеличивалось, и когда вечером закончили работать, то увидели, что дней через пять можно принимать самолеты.

Погода нам благоприятствовала: ночью держались морозы ниже тридцати, а днем ярко светило солнце и температура повышалась до минус двадцати, а главное — давно не было пурги.

Второго апреля ледовое поле было готово, и Волохович дал согласие на прием тяжелых самолетов. По краям площадки были высокие снежные валы, и заносов мы уже не боялись.

Волохович и Юркин завели самолеты, чтобы покатать ненцев. Первыми решили посадить в самолет Пяка, Пугану и их жен. Женщины лететь отказались и спрятались за спины мужчин. С Пяком сел Рогожин, с Пуганой должен был лететь я.

Пугана не без гордости прошелся перед своими родичами, посмотрел на свою жену и полез по крылу самолета в кабину. Самолет побежал по площадке и легко оторвался. Вначале Пугана смело смотрел в стекло. Но когда земля стала опускаться все ниже и ниже под нами, он отвернулся от окна, а потом его голова стала клониться к коленям.

— Смотри, Уренгой! — старался подбодрить я ненца.

— Аха, Уренгой, Уренгой, — помахал он рукой, не поднимая головы.

Сделав круг — другой, Миша пошел на посадку. Лишь когда самолет остановился, Пугана выпрямился и приобрел ту же гордую осанку, что была у него, когда он садился.

Его радостно встречали жена и все ненцы, а он горделиво прошел к своей упряжке и, прыгнув на нарту, погнал по площадке. Олени неслись со скоростью ветра, а Пугана, скинув с головы капюшон малицы, еще подгонял их. Его длинные волосы трепал встречный ветер. Сделав два круга, он остановил тяжело дышавших оленей.

— Шибко хорошо, — сказал он. — Сегодня наша праздник будет.

Ненцев катали на самолетах до самого вечера, а потом был настоящий праздник. Пономаренко собрал остатки нашего продовольствия, а чего не хватало — взял взаймы на фактории.

Васса Андреевна, Марина и еще две женщины с утра готовили обед. Накрыты были все столы в палатках и в «ненецкой». Детям раздали весь наш запас шоколада, конфет и печенья. «Белка шапка» выдал по-немногу спирта.

Когда стемнело и сполохи северного сияния чудесными переливами

озарили небо до самого зенита, ненцы, обнявшись, встали в большой круг. Здесь были мужчины, женщины и дети. Они мерно раскачивались и тихо пели на один и тот же однообразный мотив.

— Как называется песня? — спросила Марина Айвоседу.

— Никак не называется, — ответил он.

— А что же вы поете? — допытывалась она.

— Разное.

— А все же? — не унималась девушка.

— Моя пел, самолет летает, олень хорошо тундра ехать, потом про пучу¹.

— Маленько спирту надо, арка начальник, — попросил Пугана и добавил: — Петь хорошо будут.

Пономаренко пошел на фабрику просить взаймы — у нас ни спирту, ни денег уже не было.

Пугана открыл бутылку и вошел в круг. Глотнув из горлышка и закусив куском снега, он передал бутылку соседу по кругу, а тот, сделав то же самое, передал бутылку своему соседу. Она обошла круг и вернулась к Пугане пустая. А монотонная песня в такт качавшегося круга не прекращалась. Только когда стало меркнуть северное сияние, все разошлись по палаткам и домам.

Первый самолет Кошевого сделал посадку в десять утра и, разгрузившись, ушел на Салехард. Через час прилетел Джамбул с двадцатью сотрудниками экспедиции, потом еще и еще садились и взлетали самолеты. С площадки не успевали вывозить на нартах грузы.

Вырастал палаточный городок. Палатки были большие — больше любого дома на фактории. Для них расчищали снег и прорывали между ними в снегу траншеи. В одной палатке устроили столовую, в другой штаб экспедиции, остальные оборудовали под жилье. Маленький Уренгой быстро завоевал авторитет, и к нему из тундры присоединялись все новые ворги. А самолеты все летали и летали, привозя людей, продовольствие для жителей, снаряжение для экспедиции и грузы для лагеря заключенных. Из Уренгоя были отправлены меха и залежавшаяся почта.

Хотя морозы еще не уступали и ветры иногда приносили снежные заряды и тогда завывала пурга, но апрель даже здесь, в Заполярье, все же был предвестником весны. Ярче светило солнце, дни становились длиннее, и южные ветры порой доносили едва ощутимые весенние запахи.

Стаями летали куропатки, оставив свои снежные зимние жилища; в кедровом лесу появилось много глухарей. Выбрав свободное время, мы с Рогожиным, встав на лыжи, пошли на противоположный берег Пура, где, по рассказам Данилы Васильевича, выше по реке, километрах в трех, водится много глухарей. Мы уговаривали Данилу Васильевича пойти с нами, но он был занят своими тремя должностями и, кроме того, готовился к весенней охоте: делал деревянные чучела уток и искусно красил их в расцветку разных утиных пород. На полках уже стояли готовые чучела: кряква, широконосик, гоголь, нырок, чирок и серуха. Дав нам свою собаку по кличке Моряк, Данила Васильевич сказал:

— Я свое весной возьму. Да моя Васса не больно-то и любит глухарей. Утей да гусей подавай на третью перину.

Мы поняли, что Данила Васильевич готовится к большому промыслу, и не стали ему мешать. Моряк был довольно старый кобель, да к тому же слабый наст плохо держал его, и пес местами проваливался по брюхо. Он далеко не отбегал и кружил метрах в ста от нас.

¹ Жена.

Я спугнул одну капалуху с ветвистого кедра, когда перебирался через глубокий овражек. Моряк побежал было за ней, но вскоре провалился в снег и вернулся ко мне с высунутым языком.

Я позвал Рогожина, и мы осторожно пошли вместе в самую гущу кедрача. Впереди залаял Моряк.

— Есть, кажется,— шепнул Рогожин.

Мы пошли еще осторожнее и вскоре увидели пса. Он лаял, задрал голову на высокий кедр, подбегал к стволу и прыгал, словно хотел взобраться на дерево.

Мы пристально смотрели, но сквозь густую хвою ветвистого кедра ничего не могли увидеть. Моряк подбежал к нам и снова стремительно бросился к тому же кедру. Мы решили обойти дерево с двух сторон. Не успели мы ступить по нескольку шагов, как из гущи соседнего кедра сорвался огромный черный глухарь и стремительно полетел, сбивая на лету ветки. У меня перехватило дыхание, но мне ничего не оставалось делать, как посмотреть вслед могучей птице. Стрелять было поздно — глухарь быстро скрылся за макушками деревьев. Значит, Моряк фальшивит, решил я, и нам нужно быть осмотрительнее.

Шли дальше; Моряк снова залаял.

Подойдя ближе к нему, мы осторожно и внимательно стали осматривать все деревья. Почему-то мы смотрели оба на самый верх, как вдруг услышали тихий звук «цок-цок-цок»... Глухарка сидела на втором суку от земли, за стволом.

Рогожин заметил первый и вскинул ружье. Я тоже последовал за ним, чтобы стрелять, на случай, если он промажет. Раздался выстрел, и эхо покатилося по лесу. Капалуха камнем упала к ногам собаки. Моряк кинулся к ней и стал давить ей голову, но подоспевший Рогожин забрал свой трофей. Птица была хотя и тощая после зимы, но большая, килограмма два.

Когда, пробежав через небольшой бугорок, Моряк снова залаял, мы долго смотрели и наконец обнаружили на вершине лиственницы рыжую белку. Как Моряк ни лаял и ни злился, мы стрелять не стали и пошли левее, в темный кедровый лес. Спугнув еще одну капалуху, Моряк нашел большого глухаря. Теперь первым увидел я и, как мы условились, первым и выстрелил. Глухарь сорвался с ветки и полетел, но полет его был неуверенный, и вскоре он стал клониться влево, а затем пошел на снижение. Огромный, черный, с красными веками и синим отливом перьев у головы, глухарь весом около шести килограммов был моим первым трофеем на Севере. Спугнув еще двух капалух и одного глухаря, мы решили возвращаться домой. Выйдя к протоке, берега которой поросли кустарником и лозой, мы спугнули большую стаю белых куропаток. Моряк погнался за ними и потерялся в лесу. Мы осторожно пошли дальше вдоль протоки, всматриваясь в яркий снег. Вскоре мы заметили на белом снегу новую большую стаю. Местность была почти открытая, низкий кустарник не мог нас скрыть от сотен зорких глаз, и мы решили обойти куропаток с двух сторон. «Только бы не помешала собака», — думал я, заходя со стороны леса. Так оно и вышло: пес кинулся к ним. По меньшей мере сотня птиц поднялась со снега и полетела в разные стороны. Я успел выстрелить два раза и одну сбил. Рогожин стрелял в самую гущу налетающих на него птиц и дулетом сбил трех.

Охота была удачная, что и говорить, — и мы решили идти в Уренгой, спустившись на русло реки, где проходила ворга.

Поднявшись на крутой берег, мы остановились посмотреть, как прилетевший из Салехарда самолет будет делать посадку. Но самолет уже сел, подрулил к стоянке, а нам все еще не хотелось уходить.

По ворге, по которой мы только что шли, стремительно бежала упряжка оленей. Путник их не погонял, но казалось, они сами знали, что нужно спешить, и, словно пушинку, вынесли в гору нарту с человеком и небольшой поклажей. Доехав до нас, нарты остановились. Не успел я подумать, кто из ненцев мог приехать, как к нам подошла девушка, одетая в малицу и унты, с обветренным до бронзы лицом.

— Самолет в Салехард полетит? — обратилась она к нам и откинула капюшон, обнажив толстые русые косы.

Мы ничего ей не ответили, с удивлением глядя на эту северную амазонку. Светло-русые волосы ее оттеняли бронзовое лицо.

— Здравствуйте, я Рогожин, — неуверенно отозвался Александр Петрович, не ответив на ее вопрос.

— Нина Петровна Орлова, — твердо сказала она, пожав Рогожину руку. Поздоровалась и со мной.

— Я о самолете спрашивала. Я врач, — повторила Нина Петровна. — У меня — тяжелобольной, подозреваю прободение язвы желудка. Больного и меня нужно как можно быстрее доставить в Салехард.

— А где больной?

— В пяти километрах отсюда в чуме лежит, — показала она рукой на юг.

— Везите скорее, а я задержу самолет.

— Помочь вам? — неуверенно спросил Рогожин, глядя то на нее, то на меня.

— Было бы неплохо, — согласилась она, — а то в чуме одни женщины и те плачут.

— Хорошо, — кивнул я, снимая с Рогожина рюкзак и принимая от него ружье.

Нина Петровна развернула оленей и, посадив позади себя Рогожина, погнала упряжку. Минут через сорок они возвратились на двух нартах с больным и его женой. Самолет уже стоял на старте и, как только ненца внесли, поднялся в воздух. Рогожин стоял, не спуская глаз с удалявшегося ЛИ-2. Уже затих звук моторов, а он все стоял и смотрел.

— Ты что же, с первого взгляда влюбился? — пошутил я.

— Ничего не знаю, не спрашивай...

Мне стало как-то жаль его. Спрашивать я больше не стал, а предложил пойти к Вассе Андреевне и попросить ее приготовить глухарей и куропаток на ужин.

Васса Андреевна, глядя на птицу, недовольно повела плечами.

— Что, не нравятся? — спросил я.

— Больно они тощие, а вот этот, — потрогала она ногой лежавшего вместе с другими птицами глухаря, — совсем сухой, вроде моего Данилы, одни кости да жилы.

— Ну, ладно, мы сами зажарим или Марину попросим, — вышел из себя Рогожин и стал складывать дичь в рюкзак.

— Это что же вы надумали? — ухватила она его за рукав.

— Раз не хотите, пойдем в палатки.

— Это я сначала не хотела, а сейчас вспомнила, что докторша может вечером вернуться из Салехарда.

— Какая? — спросил Рогожин, выпуская из рук рюкзак.

— Да та, что сегодня улетела. Она Даниле сказала у самолета: «Как сдам больного в больницу — сразу вернусь». У нее тут и олени остались, — пояснила Васса Андреевна.

— Давайте отереблю дичь, — засуетился Рогожин.

Весь день Александр Петрович следил за радиограммами, узнавая, какие самолеты и когда будут из Салехарда.

— Вот если с Кошевым не прилетит, — сказала Марина, — значит,

ждите завтра, Александр Петрович. Кошевой заночует у нас, обратно не успеет.

Рогожин пошел на площадку встречать самолет, а мы с Мариной — к Вассе Андреевне.

Данила Васильевич сидел на табуретке босой.

— С праздником, Данила Васильевич? — спросил я хозяина.

— Праздник и есть, а она шумит, — показал Данила Васильевич на жену.

— На тебя не шуметь надо, а кочергой тебя огреть. Говорила: подожди до вечера, со всеми и выпил бы... Пойди дров наколи посуше, видишь — не горят, — крикнула она мужу.

— Я чо, босой пойду, валенки-то мои спрятала. — И как бы в подтверждение он почесал голой пяткой другую ногу.

— Обувайся да штаны подтяни, люди ведь пришли, — кинула она ему валенки и добавила: — Смотри, не забреди еще...

Данила Васильевич всунул босые ноги в валенки, потер единственный глаз и, пошатываясь, пошел на улицу.

— Рогожин плохо отеребил глухаря. Где он есть? Я бы его заставила дотеребить все пушинки, — успокоившись, показала нам глухаря Васса Андреевна.

— Нину Петровну встречает, — выдала Рогожина Марина.

— Она бабенка ничего. Только ей, как мне, не везет — попался муж пропойца. Правда, она с ним быстро покончила, а я мучаюсь, — вздохнула она.

Чтобы уйти от этого разговора, я вышел вслед за Данилой, помочь ему с дровами.

Когда ужин был почти готов, послышался шум моторов, и я поспешил на площадку. В дверце самолета показалась Нина Петровна, Рогожин решительно шагнул вперед и подал ей руку. Они пошли к фактории, не замечая меня. Я не спеша пошел вслед за ними.

Нине Петровне было лет тридцать, она была хороша собой и стройна, только ходила немного вразвалку, видимо, от частой и длительной езды на оленях. Эта хрупкая на вид женщина одна ездила по тундре от чума к чуму, ночевала в ветхих жилищах ненцев, а иногда и в снегу, когда застигнет пурга.

Она окончила в 1940 году медицинский институт в Томске, и сразу же ее направили на Крайний Север. Она протестовала, говорила, что сюда надо хорошего врача, ведь здесь все нужно решать самой, нужно иметь практический опыт. Но ее, конечно, не стали слушать, выдали документы на проезд в Ямало-Ненецкий национальный округ и сказали: «Не поедете — лишим диплома».

И вот она поехала вниз по Оби. Почти месяц смотрела с палубы парохода на угрюмые берега. Кое-где на берегу попадались деревеньки, а потом снова тянулись леса, болота; на пристанях реяли миллиарды комаров. В эти долгие дни она чувствовала, что все осталось позади, и вычеркнула себя из жизни на те два года, которые должна была пробыть на Севере... «Пройдут эти два года, — думала она, — вернусь в Томск, получу хорошего руководителя...»

В Салехарде ее документы просмотрел заведующий окрздравотделом. Написал резолюцию: «В Красноселькупский район», и она снова поехала. Сначала на пароходе по Обской, потом по Тазовской губе, а дальше на барже, которую тянул вверх по реке Таз буксир. Осенью она оказалась уже в Красноселькупе. Там Нину Петровну встретили радушно, в первый же день она попала к начальству. Заведующий районным отделом пожал ей руку и сказал:

— Вот хорошо, молодежь будет двигать вперед культуру в тундре, лечить людей и просвещать коренное население.

Она ему сказала:

— Чтобы что-то двигать и лечить, нужен опыт, а у меня его нет.

— Ничего, ничего,— успокоил он.— Поработаете самостоятельно, быстрее опыт приобретете.

Нина Петровна стала объяснять, что она еще плохой врач и толку от нее будет мало, но он закричал:

— Что, трудностей испугались? Зачем тогда учились? Зачем государственные деньги на вас тратили, товарищ Орлова?

Она замолчала. Он подвел ее к карте и, ткнув пальцем в то место, где было написано «Фактория Ратта», сказал:

— Поедете сюда. Это наш самый отсталый и отдаленный участок, там еще не организован медпункт, и вам будет над чем поработать и о чем подумать.

И вот она снова поплыла на той же барже еще выше по Тазу, прожив в Красноселькупе всего два дня. Ей дали с собой медикаменты, марлю, вату, инструменты. Она даже толком не знала, что везет, так торопилась на пароход, который, разгрузившись, спешил дальше, чтобы дойти до цели, не вмерзнув по дороге в лед. К концу пути река стала совсем узкой, в темных лесах по обоим берегам. Просветы были только над головой да по течению реки. Нигде ни признаков жилья, ни живой души. Стаи уток, гусей и лебедей летели на юг, спасаясь от полярной зимы.

Вот так она оказалась на Севере.

На фактории Ратта она прожила вместо двух шесть лет. Через два положенных года ее не отпустили, а еще через три года она вышла там замуж без любви, но за порядочного, как она думала, человека. Он стал пить, во хмелю был буен, пытался бить ее. Через год она сбежала в Красноселькуп и потребовала перевода: она проработала шесть лет и закон был на ее стороне. После длительной переписки с Салехардом она согласилась поехать сюда, в Пуровский район.

За столом Рогожин сидел рядом с Ниной Петровной и не сводил с нее глаз.

— Чего на докторшу уставился? — выпалила наконец Васса Андреевна.

— Нравится,— спокойно ответил Рогожин.

— А нравится, так и женился бы, ведь одного с ней поля ягода, тоже разведенный,— отрезала Васса Андреевна громко, но не зло.

Все засмеялись, а я подумал: «Вот это сваха! Рогожину бы и через год не сказать Нине Петровне, что сказала Васса Андреевна».

Нина Петровна смутилась, а Рогожин ответил серьезно:

— Если Нина Петровна согласна, хоть сейчас.

Та ничего не ответила, только махнула рукой и еще больше покраснела.

— Больно прыток,— вступилась за нее Васса Андреевна.— Может, ты еще не стоишь ее. Сейчас все обещаешь, а потом, знаю вашего брата, наденешь хомут и станешь командовать.

— Что-то на вас хомута не видно,— огрызнулся Александр Петрович.

— Меня в пример не бери, я бойкая...

Чтобы переменить разговор, я стал хвалить вкусно приготовленную дичь.

— Скажете еще! — возразила Васса Андреевна.— Подождите, Данила уток набьет, вот это дичь будет.

Все было съедено, и мы вышли из-за стола, чтобы пройтись по воздуху. Я шел с Мариной.

Двадцатого апреля я получил первое письмо от отца из Камня на Оби.

Отец писал: «У матери глаукома, страшно болят глаза и голова. Это, видно, все оттого, что она много плакала после гибели на фронте дорогих наших сыновей, Коли и Володи. Да и ты давно дома не был. Все где-то по белому свету мотаешься. И кому только нужна там железная дорога? У нас здесь, в Алтайском крае, и то дорог нет. Летом хоть еще пароходы ходят, а сейчас, зимой, одна беда — за двести километров к железной дороге ездить надо. Летом тоже люди мучаются, за сто и больше километров хлеб к пристаням возят. А дороги какие? Ухабины да колдобины — горе, а не дороги, сколько зерна просыпят, пока везут, а которые машины и не доходят, днями и неделями сидят по колдобинам. Вы там в снегу пурхаетесь, видно, вам делать нечего, с жиру беситесь. А здесь хлеб, люди».

Я задумался над письмом отца, и мне вспомнились картины детства. Густая высокая пшеница — кажется, нет ей ни конца, ни края. Только небольшие околки берез, как одинокие островки, служат маяками в этом безбрежном море. Между живой изгородью стеблей извивается тележная дорога. Медленно плетется по ней старый мерин Семянька, единственная лошадь деда Фомы, на которой он пашет свою пашню. Я лежу на скрипучей, немазаной телеге, на пахучей траве и смотрю в голубое, безоблачное небо. Тихо кругом, только стрекочут кузнечики да иногда перепел просвистит.

— Но-о! Чтоб ты подох... — обругнет дед Семяньку и ударит его хворостиной.

Семянька махнет хвостом и, протрусив шагов десять, опять зашагает, склоня еще ниже голову.

— Но, чтоб ты подох, на царя работал, а на меня не хочешь, — обозлится дед и снова ударит хворостиной мерина.

Семянька побежит шибче и дальше.

— Дедушка, зачем ты на него такими словами ругаешься? — спросил как-то я. — Хлестнул бы разок хворостиной, и ладно, а то и вправду умрет еще Семянька, тогда на ком мы будем поле пахать?

— Он к этому с малых лет приученный, — объяснил дед. — Вот смотри. — И дед ударил Семяньку так же, как и раньше, но без ругани.

Мерин только махнул хвостом и не побежал.

— А чем у меня длиннее ругань, тем он дольше бежит, — пояснил дед и тут же заругался: — Но-о! Чтоб ты подох — на царя работал, а на меня и советскую власть никак не хочешь!

Семянька побежал крупной рысью. Видимо, понял, что хозяин сердится сильно.

Мостов через ручьи не было, а Семянька, бывало, ступать в воду не хотел...

Видно, и сейчас там такие же дороги, только по ним спустя много лет не Семяньки плегутся, а идут, застревая и ломаясь, грузовики, комбайны и тракторы.

Эта мысль вернула меня к письму отца. Очнувшись от воспоминаний, я невольно посмотрел на сугробы снега вокруг палатки. Да, там скоро сев начнется, а здесь только в конце июня растают эти сугробы. А еще через два-три месяца пурга наметет новые.

Потом я подумал: «Может, стар стал отец, не понимает большого размаха освоения Севера?.. А что даст это освоение?» — невольно поймал я себя на мысли.

— О чем задумались, уважаемый коллега? — спросил меня главный инженер экспедиции Мальков, только что прилетевший в Уренгой.

— Да так, ничего. Вот письмо от отца получил.

— А что, неприятности какие-нибудь дома? — поинтересовался он.

— Да нет, старик пишет, зря мы тут в снегу пурхаемся, лучше бы в Алтайский край к ним ехали дороги строить.

Мальков удивленно посмотрел на меня.

— О чем же тут думать, уважаемый коллега? — пожал он плечами.

Мне не хотелось с ним откровенничать, я мало его знал, да к тому же я и сам еще не понимал, почему так сильно задела меня слова отца: «здесь хлеб, люди, а вы там в снегу пурхаетесь...» Давая разговорю другое направление, я спросил:

— Прикинули в Томске, сколько будет стоить строительство одного километра?

— Как же, как же, уважаемый, расчеты я привез. Вот распакую канцелярию, покажу, — ответил он, как мне показалось, несколько суетливо.

— А так, на память, хотя бы примерно, не помните? — спросил я.

— У нас два варианта подсчета. Вернее, считали две группы инженеров. У одной получилось около четырех миллионов километр, у другой — шесть. Думаю, что и те и другие преувеличили стоимость, — ответил Мальков.

— А мне кажется, и шести миллионов мало, чтобы построить здесь километр дороги, — возразил я.

— На чем же вы основываетесь, коллега?

— На опыте, — ответил я.

— А именно? — настаивал главный инженер.

— Вы ехали по железной дороге от Чума до Лабытнанги через Полярный Урал? — спросил я, хотя сам знал, что он там ехал.

— Да.

— Так вот, на ее строительство уже затрачено по четыре миллиона на километр. А для того, чтобы она была настоящей железной дорогой, по которой могут нормально ходить поезда, нужно вложить еще половину того, что затрачено.

— Ну, а при чем же тут наша линия? — словно не понимая, вновь пожал плечами Мальков.

— А при том, Лазарь Тимофеевич, — ответил я, — что здесь из-за отдаленности района от жилых мест и от путей сообщения трассу будет еще труднее осваивать.

Мальков не стал возражать, а только сказал:

— Мне кажется, уважаемый коллега, предварительные подсчеты стоимости не имеют значения. Ведь в постановлении правительства, подписанном самим товарищем Сталиным, сказано, чтобы строили ее по фактическим затратам. Главное — построить дорогу в срок, а сколько она будет стоить, пять или десять миллиардов рублей, нам все равно. Правильно, Александр Петрович? — обратился он к Рогожину, подошедшему к нам.

— Я слышал только конец разговора, — ответил Рогожин. — То, что вы сейчас сказали насчет миллиардов. Думаю, вы не правы.

— Почему же? — удивился Мальков.

— Да потому, что если вам все равно, то рабоче-крестьянской копеечке это не все равно, — грубовато ответил Рогожин.

— Не понимаю, коллега, — пожал плечами главный инженер.

— Странно. Впрочем, вам это, пожалуй, и простительно, вы с начала войны за Уралом и не видели развалин сел и городов.

— Ну и что же, ведь их восстанавливают, — возразил Мальков.

— Только не по фактическим затратам,— вспыхнул Рогожин.— Вы и сами по-другому думали бы, если бы ваш дом немцы разрушили, а вы жили бы в землянке или в продуваемом бараке да на коровах землю пахали.

— Значит, уважаемый коллега, вы считаете, что дорогу эту не нужно строить? — спросил Мальков.

— Не мне решать такие вопросы,— уклонился Рогожин.

— Тогда в чем же дело? — приставал главный инженер.

Рогожин не выдержал:

— А в том, что, пока наши города, села и дороги в промышленных и сельскохозяйственных районах не восстановлены, бросать сейчас в тундру миллиарды рублей — не слишком ли большая роскошь?

— Они окупятся,— возразил Мальков.

— Там, в обжитых районах, где, кстати сказать, тоже много нетронутых богатств лежит на земле и под землей, они окупятся быстрее. А здесь? Через сто лет, не раньше,— махнул рукой Рогожин.

— Ну, это уж вы хватили, коллега.

— Могу сбросить половину, но не больше, а это ни вас, ни меня и никого не устраивает. Так ведь, Лазарь Тимофеевич? — посмотрел Рогожин в лицо главному инженеру.

— Отчасти я с вами согласен. Освоение района действительно будет длиться, может быть, и десятки лет. Но мы не должны жить сегодняшним днем,— рассуждал Мальков.— Нельзя терять перспективу.

— Правильно,— согласился Рогожин.— Только перспектива перспективе рознь. Здесь она слишком далекая.

— Значит, вы все же против строительства этой дороги? — не унимался главный инженер.

— Не против — ведь строить ее мы будем по личному заданию Сталина. И, конечно, эту дорогу построят, не считаясь с тем, сколько и каких будет затрат. И каждый из нас исполнит свой долг — я не хуже других. Но мне кажется, для освоения Севера достаточно пока водных и воздушных путей сообщения. Есть Обь, Енисей, Лена и много судоходных притоков к ним, Северный морской путь. А уж потом, когда в Заполярье произойдут большие экономические перемены и увеличится население, легче и дешевле будет строить железную дорогу. И вообще, прежде чем начинать строить такую дорогу, нужны глубокие экономические исследования. Как говорится, «семь раз отмерь, один раз отрежь».

— Однако, коллега, я вас понимаю не точно,— настаивал Мальков.— Может, вы считаете, что товарищ Сталин не прав?

— Эх вы куда хватили, Лазарь Тимофеевич! — вмешался я в спор, возмущенный явным желанием Малькова вырвать у Рогожина неосторожное слово.— Нам всем понятно, что в современных условиях постоянно действующая сухопутная дорога, дублирующая Великий морской северный путь, очень нужна. Почему же вы так спрашиваете?

— Да я это так, между прочим,— снова перешел на любезный и суетливый тон главный инженер.

— Такими «между прочим» не шутят,— оборвал я его.— И если хотите продолжать технические споры, то лучше всего предварительные расчеты стоимости строительства дороги проверьте сами и дайте о них свое заключение. Я все же их пошлю Татарину, а там с ними что хотят пусть и делают. Сейчас идите, устраивайтесь с жильем. Видимо, придется пока пожить в палатке.

— Ну что, чуть не поцапались? — сказал я Рогожину, выпроводив главного инженера.

— Да ну его,— отмахнулся Рогожин.— Зря вы согласились взять его сюда, толку от него ни на грош, только воду мутить будет.

— Моего согласия никто не спрашивал,— пояснил я.

Действительно, мне показали лишь в Салехарде приказ министра, где в перечень назначенных был вписан и Мальков.

Малькова я не знал, если не считать одной встречи на совещании в Братске, где их экспедиция прокладывала трассу для железной дороги от Тайшета до Усть-Кута на Лене. Я попросил Рогожина рассказать, что он знал о нем.

— Лазарь раньше был мужик ничего,— сказал Александр Петрович,— учился на рабфаке, потом окончил Томский институт инженеров путей сообщения. Правда, сдирал конспекты, курсовые работы. А экзаменовали тогда бригадами, он больше активно поддакивал, и ему вместе со всеми ставили зачеты. Почему он потом быстро продвинулся по службе — не знаю. Может быть, потому, что тогда много стало свободных должностей. А может, оттого, что хорошо усвоил куриную философию на насесте — клюй ближнего, марай нижнего, а сам лезь вверх. В Мамыре около Братска, где мы с ним вместе работали, его жена торговала на базаре сахаром, конфетами, селедкой. Пайки у нас по карточкам там были хорошие, а местному сельскому населению в магазинах почти ничего не давали. Вот его жена и решила воспользоваться этим. Правда, он сам был как будто в стороне. Но вообще не совсем чистоплотный человек.

— Тогда нечего с ним пускаться в споры. А о нашей Заполярной железной магистрали вообще говорить подобным образом нельзя,— наставлял я Рогожина и добавил: — Татаринцов был на заседании Совета Министров еще в конце тысяча девятьсот сорок седьмого года, Сталин там сказал: «Русский народ давно мечтал иметь надежный выход в Ледовитый океан из Оби». Вот тогда-то и решили строить порт в Обской губе, а к нему вести и железную дорогу через Полярный Урал. Ведь Великий северный морской путь не может обеспечить круглогодичного сообщения... Позднее, когда убедились, что порт в губе построить невозможно из-за отсутствия в ней глубокой гавани, перенесли его в Игарку, куда заходят с ледоколами океанские пароходы. Вот почему мы здесь.

— Я это все понимаю,— проворчал Рогожин.— И неужели же мне не хочется быть участником строительства, равного Каракумскому каналу и другим великим стройкам? Но вести железную дорогу не только до Игарки, а еще дальше на восток, к Якутску и Магадану, по совершенно необжитым местам с суровым полярным климатом...

— А раз понимаете, то и говорить не о чем,— строго сказал я.— Нужно выполнять решение правительства.

Хотя мне и не хотелось говорить так резко, но ведь надо было образумить не в меру пылкого друга.

— Дорога все равно будет построена,— продолжал я,— и наша задача заключается в том, чтобы она обошлась государству как можно дешевле. А от нас в этом вопросе зависит многое.

6

К середине апреля были укомплектованы все шесть партий экспедиции, и они одна за другой отправлялись в тундру. Рабочих нам прислали. Их комендант, капитан Власов, был довольно тихий человек, угнетенный чрезмерным нитьем. Его помощник, старшина Данилов — молодой, рослый, здоровенный блондин — по существу исполнял все обязанности коменданта.

В каждой партии было по сорок постоянных рабочих и по десять ненцев, каюров и пастухов, по сто — сто пятьдесят оленей. В Уренгое остались штаб экспедиции, центральная база и бригада рабочих в двадцать человек для строительства домов и землянок к зиме.

Последние дни я с начальниками партий делал рекогносцировочный облет местности, выбирая направление трассы с воздуха.

Рогожин выпросил самый отдаленный участок на подходе к реке Таз.

В организации оленьего транспорта нам охотно помогал Николай Иванович Вануйта. Его совхоз выделил экспедиции четыреста оленей и семьдесят нарт для трех партий.

Остальные три партии обеспечили оленями совхоз Тарко-Сале и колхоз в Уренгое.

Николай Иванович сам руководил отправкой оленьих аргишей, распределяя по партиям каюров, пастухов, комплектуя оленьи упряжки.

Волохович с Юркиным с утра до позднего вечера возили на самолетах людей и грузы, выбирая посадочные площадки на озерах или на руслах рек.

С восходом солнца и до темноты Уренгой жил деятельной жизнью. Без конца садилась и взлетали самолеты. Подходили оленьи аргиши и груженные уходили в тундру.

Для штаба экспедиции оборудовали большую палатку. Здесь разместились бухгалтерия, камеральная группа, отдел кадров; два отгороженных фанерой «кабинета» были устроены для меня и Малькова. Вначале, когда земля только оттаивала, в палатке было грязно, а когда она подсохла, с пола стали подниматься столбы пыли. Застелить пол жердями не было времени, а досок у нас еще не было.

Перед выездом в тундру состоялось партийное собрание, на котором была оформлена наша партийная организация. После недолгого обсуждения выбрали партбюро.

Словом, жизнь налаживалась, люди знали свои задачи, и к празднику Первого мая все было готово, чтобы встретить его достойно вместе со всеми жителями Севера и Большой земли.

Я спешил закончить отчет о проделанной работе, но меня очень часто отрывали.

Сейчас вошел инспектор по кадрам Шевелев и спросил:

— Что будем делать с инженером Метелкиным?

— А что такое? — оторвался я от писанины.

— Да вот, не хочет с Рогожиным ехать, — пояснил Шевелев.

— А какая причина?

— Говорит: трудно там, не справится.

— Пошлите его ко мне через часок, — попросил я.

Метелкин пришел ровно через час, когда я закончил писать отчет (или, как мы его называли, «конъюнктурный обзор») о деятельности экспедиции, в котором освещались все вопросы, начиная с производства, описания края, климата, природных условий — всего, что пришлось видеть интересного и полезного для перспективы строительства дороги, — кончая бытовыми условиями экспедиции. Обзор решили иллюстрировать фотографиями.

Такие отчеты отнимали много времени, но они были полезны. Их читали многие руководители в Москве и получали довольно полное и живое представление о том районе, где мы находимся.

— В чем дело, товарищ Метелкин? — спросил я вошедшего инженера.

— У меня нет никакого дела к вам,— ответил он небрежно, стараясь, как я подумал, скрыть неловкость своего положения.

— Но ведь вы не хотите ехать с партией Рогожина, куда вас назначили? — сдержанно сказал я.

— Это верно,— согласился он.

— Почему?

— Там трудно будет, и туда нужны передовые товарищи. А какой я передовой? Мне больше подходит в штабе экспедиции сидеть, в камеральной группе,— пояснил он.

Я ничего не понимал. Передо мной стоял здоровенный молодой парень, недавно окончивший институт, и отказывался работать на трудном участке. Все это никак не вязалось с тем подъемом, которым, несомненно, был захвачен наш коллектив, не исключая Рогожина и меня, независимо от наших сомнений в экономической эффективности работы.

— А почему бы вам не попробовать быть передовым?

— А что это мне даст? — спросил он и сам же ответил: — Кроме усталости, ничего. Зарплата та же, питание здесь лучше будет.

«Откровенный разговор»,— подумал я и спросил:

— Может, обратно в Томск поедете? Там уже тепло, скоро черемуха зацветет. Здесь еще зима, а лето придет — комар поднимется.

— В Томск мне ехать невыгодно, я аванс большой получил, а здесь тройные оклады,— рассудил Метелкин без тени смущения.

— Ну, вот что,— рассердился я наконец.— Вы поедете с Рогожиным — да, кстати, возьмет ли он еще теперь вас? — или сегодня же убирайтесь отсюда. Нам непередовые не нужны... Вот и Александр Петрович,— поклонился я вошедшему Рогожину, одетому уже по-дорожному: в меховых унтах, в ватных брюках, меховой куртке и новой пыжиковой шапке (подарок Вануйты).

— В чем дело? — спросил он, не глядя на Метелкина.

— Ехать с вами Метелкин отказывается,— пояснил я.

— А мне таких... и не надо,— отрезал Рогожин.

Метелкин покраснел, но тут же, овладев собой, сказал:

— Вот и хорошо, он меня кстати и не берет. Мне можно идти?

— Куда?

— К Малькову, он обещал меня взять в камеральную группу.

— Нет. Мы еще подумаем, куда вас девать,— жестко сказал я.— Но отсюда во всяком случае можете уйти.

Метелкин вышел.

— Не нужен он мне,— вскипел Александр Петрович,— я лучше сам за такого инженера отработаю.

— А с чего у вас началось? — спросил я.

— С пустяка. Я сказал ему, что надо помочь ребятам и каюрам подтащить вещи к нартам, а он заявил: «Это не обязанность инженера». Тогда я разъяснил, что на изысканиях, да еще в Заполярье, трудно распределять мелкие обязанности, и повторил свое распоряжение уже в форме приказания. Ведь вы знаете, мы торопились с отправкой первого аргиша...

— И дальше что?

— Чихал, говорит, я на ваши приказы... Да не нужен он нам в партии!

Не успел Рогожин договорить, как вошел главный инженер.

— Я слышал через фанерную стенку ваш разговор,— начал он.

— Ну и что? — угрюмо спросил Рогожин.

— Минуточку, минуточку, уважаемые, сейчас объясню. У Метелкина

в Томске есть отец, он там кто-то... В общем, начальство просило победить его.

— А разве мы на смерть его посылаем? — рассердился я и добавил:— Пить ему Александр Петрович много не даст, а если нужно, и курить отучит. Ведь в лучшую партию посылаем. Не понимаю,— махнул я рукой.

— Лучше не связываться,— тихо и вкрадчиво посоветовал Мальков.— Давайте его мне в камеральную группу. Будет работать, там тоже люди нужны.

— Да в конце концов берите, если вам так хочется,— решил я и подумал: «Защитить себя хочет с этой стороны наш главный инженер, видно, уж очень не уверен». Это было с моей стороны не очень умно: кто мог тогда «с этой точки зрения» быть уверенным?

— Вот и хорошо, договорились,— сказал, уходя, вполне довольный главный инженер.

— Значит, сегодня летишь, Александр Петрович? — спросил я Рогожина.

— Волохович обещал через час забросить нас с Петровым в верховье Варка-Сыль-Кы, в то место, куда в нее впадает речка Катараль.

— Если придется быть близко от Мангазеи, взгляни, что от города осталось,— попросил я.

Первыми об обширном крае, населенном «самоядь» и богатом «мягкой рухлядь» (пушнина), проведали поморы и русские промышленники еще в XIV веке. Они ходили на своих легких судах-кочах через Югорский Шар и Байдарскую губу к полуострову Ямал, проникали в Обскую губу и оттуда в Тазовскую губу или Мангазейское море. Сюда их тянули пушные богатства и торговля среди разрозненных туземных племен.

Впрочем, есть предположение, что новгородцы побывали там еще в 1032 году. Нельзя установить, верно это или нет. Но можно сказать с уверенностью, что в течение XIV—XVI веков число предприимчивых русских людей, посещавших северное Зауралье, возросло настолько, что появились уже основанные мореплавателями-купцами городки. Княжеский и царский дворы в Москве умели ценить драгоценные меха, идущие с Севера; интересовались ими и иностранные купцы. Но московское правительство долгое время удовлетворялось тем, что получало меха из Архангельска и Вологды, мало что зная о крае, лежащем между Обью и Енисеем.

Так было до конца XVI века.

В 1598 году царь Федор Иоаннович отправил в низовья Оби и Енисея Федора Дьякова «с товарищами» для «проведывания» этих стран и для обложения тамошних жителей ясаком. К этому же времени относятся первые надежные сведения о Мангазее: неизвестно только, называлась ли так вся местность или какой-либо из городков. Возвратившись, Дьяков сообщил, что торговые люди русских городов еще до царского повеления наложили руку на Мангазейскую и Енисейскую «самоядь» и ясак собирают давно, но в свою пользу, а говорят, что берут для государя. Возмущенная этим Москва направила туда в 1600 году экспедицию из Тобольска на кочах и коломенках во главе с князем Мироном Шуховским и войском в двести человек, снабдив отряд достаточным боевым и продовольственным припасом. В Обской губе суда разбило штормом, и экспедиция, высадившись на берег, вынуждена была зимовать. Прикочевавшие зимой к их стоянке «самоеды» (то есть ненцы) с оленями пред-

ложили перевезти груз ближе к реке Тазу; войско шло на лыжах. В пути на русский отряд напали, по-видимому, какие-то другие ненецкие роды и разгромили его. Где случилось это — неизвестно; некоторые историки предполагают, что разгром был учинен по наущению русских торговых людей, не желавших попасть под контроль московских приказов. Предполагают также, что остатки экспедиции все же добрались до места, на реку Таз.

В 1601 году новая экспедиция из Тобольска и Березова — триста человек с пищальями, запасами пороха, ядер и свинца — вышла водой на реку Таз. «Путь туда был труден и прискорбен и зело страшен от ветров». В двухстах километрах от устья был заложен город; название «Мангазея» стали относить к нему.

В 1625 году Мангазея была уже обнесена стеной в полторы сажени высотой, с пятью башнями высотой от трех до четырех сажень. На башнях были установлены пищали с запасом ядер. Внутри города находились две церкви, воеводский двор, съезжая изба, гостинный двор, торговые бани, амбары, лавки, тюрьма и хаты местного населения и гарнизона. В Мангазее ежегодно устраивалась ярмарка, после которой торговые и промышленные люди возвращались на Русь.

Основание на Дальнем Севере русского города имело целью не только подчинить центральной власти купцов, воспрепятствовать беспешинной торговле, но и предотвратить возможность захвата торговли пушнинами на Севере англичанами и голландцами. Город этот должен был также стать опорой дальнейшего освоения северо-востока. От Мангазеи русские казаки в 1610 году дошли до устья Енисея, проникли на реку Пясино и в 1632 году на Лене основали Якутский острог — нынешний город Якутск.

Но через сорок пять лет существование города Мангазеи прекратилось. С 1641 до 1644 года в Мангазее не пришло ни одной кочи с хлебом, все они были разбиты бурями в Обской губе, и в городе «настал великий голод». К довершению несчастья, в 1643 году он почти весь сгорел. Оставшиеся жители и мангазейский воевода переселились в Новую Мангазею или Туруханск (нынешний город Туруханск стоит в другом месте, в устье Нижней Тунгуски, где когда-то мангазейцы построили село Монастырское). Причина быстрого падения Мангазеи лежит в неудачном положении города относительно установившихся внутренних транспортных путей и в истощении пушных богатств края.

Так закончил свое существование самый древний город России за Полярным кругом.

Название города историки объясняют по-разному. Некоторые считают, что оно происходит от слова «магазин», то есть склад для пушнины и для русских привозных товаров, которыми торговали с племенами, живущими по рекам Пур и Таз. Другие утверждают, что по этим рекам и Енисею кочевало несколько родов «самояди», называемых Макасе — или, в русском произношении, Мангазея. Однако документы подтверждают, что, кроме родов Макасе, в ясачных книгах Мангазейского уезда встречается слово Мангазея, как наименование рода, к которому в 1629 году было причислено пятьдесят ясачных людей.

Но не так важно это, как то, что Крайний Север был известен русским гораздо раньше, чем средняя или южная часть этого края. Снаряжаемыми из Мангазеи группами уже в 1632 году были обследованы огромные пространства на восток. К этому времени русские люди уже прошли до устья Лены и до Нижней Тунгуски. Но историческая и экономическая роль Мангазеи, при всем ее блеске, была слишком кратковре-

менной. Мангазейская пушнина пополнила казну русских царей, помогла созданию на берегу Белого моря слоя богатых и зажиточных крестьянских и купеческих семей,— но на этом экономическое значение Мангазеи исчерпалось. Для дальнейшего открытия и освоения Западной Сибири путь на Мангазею послужил лишь временно; выйдя к верховьям Оби, к Енисею и Лене, русские землепроходцы и «промышленники» забросили мангазейский северный путь.

Мангазея давным-давно сошла с географических карт в той части Сибири, которая триста лет назад славилась своими неисчерпаемыми, как думали, богатствами. Не только до Октябрьской революции, но и в годы первых пятилеток, вызвавших неслыханную по масштабам и результатам исследовательскую деятельность в труднодоступных краях нашей родины, в этом отношении ничего не изменилось. Енисей с каждым годом раскрывал свои прежде неведомые богатства, а Таз и Пур, как в старину, оставались окруженными никому не ведомыми землями.

После моего упоминания о Мангазее мы с Рогожиным долго молчали, каждый думая о своем, а вернее, об одном, хотя, может быть, и каждый по-своему. Сколько мужества, труда было затрачено тогда, сколько принесено жертв! И вот через сотни лет здесь снова требуются жертвы, труд и мужество. Что это даст нашему народу?

Уренгой с каждым днем пустел. Уходили олени, уезжали и улетали люди на трассу. Улетел и Рогожин в верховье Варка-Сыль-Кы. Осталось отправить в тундру одну лишь партию Хмелькова.

Дел в Уренгое теперь было мало, и я решил поехать вместе с этой партией до ее участка, а потом дальше, в партию Моргунова, которая уже находилась в верховьях реки Ево-Яха.

Выехать решили ранним утром, чтобы добраться до места и установить в этот же день палатки. С вечера мы загрузили нарты, а пастухи подогнали оленей с дальних пастбищ поближе к фактории.

Поднялись все с рассветом, но ненцы долго ловили и запрягали оленей, а потом долго пили чай, и мы отправились, когда над лесом уже поднялось яркое солнце.

Аргиш из тридцати нарт вытянулся через всю реку Пур, направляясь на левый берег. За рекой ехали поймой, поросшей лиственницей и березой. Но пойма вскоре кончилась, и мы попали в голую тундру, сверкающую белизной снега.

Мороз пощипывал щеки, хотя был конец апреля и ярко светило солнце.

Мы с Пяком ехали на легкой нарте, запряженной пятью крупными, сытыми оленями. Впереди нас шла тяжело нагруженная нарта. Ее тащили два оленя, привязанные веревками за шею к нарте, идущей впереди с таким же грузом и тоже с двумя оленями,— а те были привязаны уже к легкой нарте с четырьмя оленями, управляемыми каюром. Так весь длинный обоз был разделен на звенья: легкая нарта с каюром, а за ней по две или по три грузовых нарты. Если олень грузовой нарты оступался или опаздывал бежать вслед за передним, веревка натягивалась и передняя нарта тащила его за шею. Чтобы освободиться от душащей веревки, оплошавший олень, выбиваясь из сил, старался догнать идущую впереди нарту, словно зная, что, если у него не хватит сил и он упадет, его бросят одного в снежной пустыне — таков закон тундры. Я наблюдал за бежавшими впереди оленями. Вот оступился в глубокий снег олень справа и натянулась веревка, таща его за шею. Вот другой олень не заметил, как передние перешли с шага на бег и веревка неумолимо потащила его. Он захрипел и прыгнул вперед, на-

тягивая постромки, догоняя идущую впереди нарту, пристраиваясь к бегу всего аргиша.

Проехав километров десять по тундре, аргиш остановился. Мы сидели и ждали, когда же передние нарты двинутся в путь: но там уже собрались люди, и нам ничего не оставалось делать, как подъехать к ним.

— Что случилось? — спросил я Айвоседу, развязывавшего нарты, на которых был уложен чум.

— Пуча рожать будет, — ответил он.

Не прошло и десяти минут, как среди снега стоял чум. В него повели жену Айвоседы.

Повариха партии Евгения Петровна, пожилая дородная женщина, сосланная на Север еще до войны, взяла на себя обязанности акушерки. Она велела нагреть воды и пошла вслед за роженицей. Айвоседа достал из нарт несколько чурок дров и, набив котел снегом, все отнес в чум.

Нам делать было нечего. Хмельков достал карту сомнительной точности, и мы стали сравнивать ее с местностью. Но никаких ориентиров, конечно, не было — на юг и запад до самого горизонта была равнина, покрытая белым снегом. От ярких лучей солнца она искрилась, до боли слепя глаза. Только на севере виднелась узкая полоса леса, по которой легко было догадаться, что там течет река Ево-Яха. Мы сидели и смотрели на однообразную панораму полярной земли.

Но вот из чума вышла старая ненка и, подойдя к Хмелькову, сказала:

— Тяжело рожает, спирт надо.

Хмельков кивнул завхозу, и тот достал фляжку со спиртом.

— Лей, — подставила кружку ненка.

Завхоз, немного налив, стал завинчивать фляжку.

— Лей еще, шибко тяжело рожает, — потребовала ненка, протягивая кружку.

Когда спирту налили полкружки, она сказала: «Хватит», — и пошла в чум.

— Молодец Евгения Петровна, по всем правилам медицины орудует, — похвалил завхоз повариху, побалтывая у уха фляжкой и проверяя на слух остаток ценной влаги.

А минут через пятнадцать после того, как ненка унесла спирт, из чума донесся детский крик — на свет появился еще один житель тундры.

Стоявший в нетерпеливом ожидании Айвоседа от радости ударил по снегу хореом и побежал к чуму. Он постоял у порога минуту и, не решаясь войти, вернулся к нам.

— Давай фляжку, — попросил он у завхоза, — оленя дам.

Завхоз посмотрел на ненца, потряс фляжкой еще раз около уха и поморщился, но, поняв наши знаки, протянул ее отцу новорожденного.

— А оленя сыну побереги, — добавил завхоз.

— Может, дочка, а не сын, откуда твоя знает?

— По голосу слышно, басом кричит, — пошутил завхоз.

И как бы в подтверждение его слов вышедшая из чума Евгения Петровна, подойдя к Айвоседе, сказала:

— С сынком вас.

Айвоседа совсем засиял.

— Ну как, Евгения Петровна, спиртик-то пригодился для медицины? — подмигнул поварихе завхоз.

— Какая там медицина! Напоили роженицу, чтобы быстрее разродилась, — вот и вся медицина.

И она рассказала, что роды были действительно тяжелые и ненки

заставили роженицу выпить полкружки спирту. Дослушав Евгению Петровну, Айвоседа глотнул дважды и передал фляжку Пяку. Фляжка обошла всех ненцев.

А через час мы уже ехали дальше, увозя с собой маленького хозяина тундры, который никогда не будет знать, в каком он месте родился, так как кругом была равнина неповторимой белизны, а стоявший недавно на ней чум, в котором он родился, уже лежал на нартах.

В середине дня партия Хмелькова со всеми оленями и нартами свернула на север, к руслу реки Ево-Яха, а мы с Пяком, оставив воргу, поехали напрямик дальше на запад, в партию Моргунова.

Тихо бегут олени по скованному ночным заморозком насту. Пяк уверенно направляет их, ориентируясь по еле заметным признакам. Он заранее объезжает участки бугристой тундры и те места, где слабый наст. Мы едем то по озеру, то по еле заметным гривкам или пологим северным склонам долин. Озера легко угадываются по невысоким обрывистым берегам, травяные болота по совершенно плоским участкам, где из-под снега торчат редкие стебельки желтой осоки. Снег сливается на горизонте с серым северным небом, и глазу не на чем остановиться. Только наши олени, нарты и мы сами плывем на запад в безбрежном океане, оставляя за собой отпечатки оленьих копыт и следы нарт. Я подолгу сижу с закрытыми глазами. В них словно попал песок, они слезятся, и мне кажется, если я буду и дальше смотреть на эти сверкающие миллиарды снежинок, то ослепну. Пяк еще утром надел самодельные очки. Вместо стекол в них были деревянные полукруглые пластинки с узкими горизонтальными щелями.

Мы сидим и молчим. Но вот, проезжая по озеру, Пяк резко остановил оленей.

— Там олень ушел,— показал он хореем на север.

Я посмотрел в указанном направлении, но, кроме белых бугров — гидролоколитов,— ничего не увидел.

— Вот смотри,— показал он на снег рядом с нартами.

— Это волки бежали? — спросил я, увидя следы на снегу.

— Их оленя погнали туда.— И он снова махнул хореем в том же направлении. Но следов оленя я нигде не увидел.

— Его так оленя гоняет! — И, вскочив на нарты, ненец погнал упряжку по волчьим следам.

Поднявшись с озера на берег, мы увидели и следы оленя. Пяк погнал упряжку изо всех сил, а следы все дальше и дальше уводили нас в сторону. Теперь видно было, что олень иногда проваливался, но снова выскакивал на наст и уходил от погони. Наши олени стали уставать, от них повалил пар, и я предложил Пяку прекратить погоню. Но он, не оборачиваясь, ответил:

— Скоро его халмер будет.

И действительно, преследуемый олень все чаще и чаще проваливался в снег, оставляя на острой корке наста отпечатки шерсти и крови.

— Его шибко ноги ранил, совсем халмер будет,— пояснил каюр, показывая на пятна крови.

Обогнув огромный гидролоколит, мы увидели волков, сгрудившихся вокруг оленя, видимо еще живого, так как волки то отскакивали, то снова набрасывались на жертву. Пяк остановил наших испугавшихся оленей и, схватив карабин, стал стрелять в волков. Я последовал его примеру. Волки, не желая расставаться с добычей, не убегали. Но вот один из них пополз на брюхе в сторону, еле волоча ноги. Тогда, поняв опасность, волки кинулись в разные стороны. Наши олени удира-

лись и не хотели идти дальше, и только когда звери были совсем далеко, мы подъехали к растерзанному животному. Я пристрелил смертельно раненного волка, а Пяк стал снимать с оленя шкуру и разделявать мясо. У оленя было перегрызено горло и вырвано мясо на задних ногах. Опоздай мы еще минут на пять — от него, кроме рогов и костей, ничего бы не осталось. Погрузив на нарты шкуру и часть мяса, не поврежденного волками, мы зарыли все остатки поглубже в снег и поехали по своему маршруту дальше на запад.

Уставшие олени бежали тише, часто шли шагом. Наст за день ослаб и во многих местах не выдерживал их веса.

Добравшись до узкой долины, по которой, должно быть, летом протекал небольшой ручей, мы увидели на самом ее дне редкий чахлый лесок.

— Олень не терпит, чай надо пить, — решительно заявил Пяк, останавливая упряжку.

Я разгреб снег, а Пяк развел костер и повесил над ним котелок. Когда снег растаял, ненец бросил в воду несколько кусков мяса, а я добавил соли.

Олени стояли, понутив головы, потом легли. Мне было жаль животных, ведь они до конца пути будут голодными — пастбища здесь не было, да и на поиски под снегом ягеля нужно много времени.

Закусив сочным мясом, мы еще долго сидели у костра. Потом снова поехали на запад.

К вечеру мы уже увидели на горизонте полосу леса. Но неожиданно навстречу нам стали надвигаться черные тучи. Быстро темнело. Олени еле плелись и часто останавливались — Пяк был хорошим каюром и жалел их. Посреди тундры нас окутала тьма, и мы словно растворились в чернилах. Уже не видно было оленей, и только тяжелые вздохи их да поскрипывание полозьев среди абсолютной тишины напоминали, что они рядом и мы куда-то едем.

Мне было непонятно, как Пяк ориентируется без дороги, без ветра, в кромешной тьме.

— Может, переночуем? А то заблудимся, — предложил я ему.

— Терпит, терпит, скоро палатки будут, — успокоил он.

Ехали еще час. Мне не раз казалось, что мы движемся назад, а то куда-то в сторону.

— Дым пахнет, — сказал каюр.

Я стал усиленно тянуть носом, но дыма не почувствовал.

Ехали еще долго, и вдруг до нас донесся лай, а потом я увидел вылетающие из трубы искры. Нарты круто покатались под гору и остановились.

Было уже полночь, в лагере давно все спали, но собаки неистовым лаем разбудили людей и в одной палатке появился свет, проникая через полотно. Вышедший из палатки человек мелькнул в полосе света и снова исчез в темноте. Только по голосу я узнал, что это был начальник партии Моргунов. Ноги мои от непривычки к долгой езде затекли, и я, кое-как разминаясь, доковылял до палатки.

После темноты даже керосиновая лампа слепила глаза, утомленные за день сверканием снегов.

— Не ждали? — спросил я Моргунова.

— Почему же? Мы начальству всегда рады, — возразил он. — Сейчас накормим. Устали, наверно.

Кроме Ивана Ивановича, в палатке спали еще двое, и, как мы ни старались говорить потише, они проснулись. Первым вылез из спального мешка старший инженер партии Лавров. Недавно в Уренгое он отпраздновал свое пятидесятилетие, но его силе и выносливости зави-

довала молодежь. Это был железный человек. Даже его лицо с резкими чертами, загорелое и обветренное, казалось отлитым из бронзы. Лавров крепко пожал мне руку и подбросил в потухшую железную печку сухих дров; сам он, видно, не замечал холода, хотя был в одной рубашке. Третьим в палатке был радист Чертков, недавно списанный с торгового судна; он упросил взять его в экспедицию и заслать как можно дальше, где нет водки и других соблазнов.

— Почему так задержались? — спросил Лавров, раскуривая трубку.

— Да вот оленя Пяк догонял.— И я рассказал историю с волками.

— Это, наверное, наш олень, мы его три дня назад в тундре бросили, он ложился и не мог идти,— пояснил Моргунов.

— Может, и ваш,— согласился я.— Завтра оленеводы по шкуре узнают. А Пяк им все расскажет.

Спать легли, постелив на пол брезент и оленьи шкуры, когда уже начало светать. У меня болели глаза, и я долго еще ворочался, вспоминая события длинного дня.

— С чего же нам начать? — спросил меня утром Лавров.

— Начинайте обстраиваться,— посоветовал я ему и Моргунову.— Если есть подходящий лес, стройте дом, склад, баню.

— А как же с трассой? Ведь с первого мая, по приказу, нужно начинать изыскания,— забеспокоились они.

— Что же вы в таком снегу будете мучиться? — посмотрел я на них.

— Да, снегу много, еще не таял,— подтвердил Лавров.

— Лыж хватит? — повернулся я к завхозу.

— У всех по одной паре, четыре уже сломаны,— ответил он.

После короткого обсуждения решили в первую очередь заняться строительством,— а чтобы застраховать себя от неприятностей за неисполнение приказа, Лавров в это время проложит километров пять хода со съемкой местности по долине реки Ево-Яха.

Мы еще раньше все пришли к единодушному мнению, что трассу для железной дороги на таком огромном пространстве можно правильно проложить, только имея хорошие карты. Таких карт не было. Имевшаяся у нас миллионка была неточная, с белыми пятнами, на ней даже реки были показаны пунктиром. Еще в Салехарде мы считали самым разумным сделать съемку местности с самолетов и из отдельных снимков составить фотосхемы всей местности, чтобы легче было выбрать направление железной дороги. Но съемку делать было бесполезно: ведь нужно знать, где болота, озера и участки бугристой тундры, а сейчас все было покрыто снегом.

— Пойдемте посмотрим долину Ево-Яхи,— предложил я.

Встав на лыжи, Лавров, Моргунов и я отправились вверх по долине. Моргунов, к моему удивлению, ходить на лыжах не умел, и ему пришлось скоро вернуться в лагерь. Дальше мы шли вдвоем с Лавровым. Я старался меньше смотреть на снег, а иногда надевал деревянные очки, сделанные для меня Пяком.

До истоков реки было километров сорок; конечно, за день мы не успели бы туда идти и вернуться. Поэтому решили пройти хотя бы половину расстояния.

Русло шириной в пятнадцать—двадцать метров было извилистым. По берегам рос кустарник в рост человека. На пойме встречалась низкорослая лиственница, чахлые карликовые березки. Во многих местах река поворачивала в тундру, и там берега были еще круче и выше, вода их подмывала, по складкам снега угадывалось сползание грунта. Встречались следы песцов, зайцев, а куропатки своими мохнатыми лапками буквально испещрили весь снег; видимо, они слетались в этот лесной уголок с огромного пространства, мы то и дело поднимали их стаи.

Пройдя километров десять, мы увидели в двухстах метрах от леса трех диких оленей. Они старательно разгребали копытами снег, лакомясь ягелем. Олени были крупнее и стройнее домашних и так ловко работали передними ногами, что снег далеко летел от них. Мы стояли не двигаясь, скрываясь за стволами лиственниц. Но стоило нам выйти на открытое место, как они насторожились и, закинув рога на спину, стремглав понеслись в открытую тундру.

Куропатки здесь были совсем не пуганые, они улетали только тогда, когда мы подходили к ним на тридцать—сорок метров.

Осмотрев долину и наметив места, где примерно пройдет трасса железной дороги, мы к вечеру возвратились домой.

Прожив еще день в партии, чтобы отдохнули олени, мы с Пяком в ночь на 30 апреля выехали обратно в Уренгой. Я теперь был уверен, что Пяк в темноте не заблудится, а ехать ночью по крепкому насту лучше, чем днем, когда припекает солнце.

Убрав по-праздничному палатки и накрыв большой стол, мы отпраздновали Первое мая. Весна все еще не приходила. Только в начале июня резко потеплело.

Но какая в Заполярье капризная весна! Накануне ярко светило солнце, было тепло. Вода в реке продолжала прибывать и нам пришлось вытащить самолеты со льда в поселок. Появились забереги. Днем летели стаи уток, гусей, прилетели лебеди, над рекой стоял шумный гомон птиц, но к вечеру они неожиданно повернули обратно на юг. А ночью хватил мороз, заливы и забереги покрылись ледком. Не успевшие отлететь на юг-пернатые металась вдоль реки, ища открытую воду, и летели в тундру на озера, надеясь найти там пристанище.

Но вот через день солнце вновь стало припекать и снова появилась полая вода на реке и в заливах. Теперь уже днем и ночью летели с юга птицы — лебеди и гуси повыше, утки бреющим полетом над водой. И каких только пород нет в этих полчищах! Летели чирки, черледи, вострохвостки, шилохвосты, пеструшки, крахали, широконоски, гоголи, нырки, сиязи, серухи. С пронзительным криком летели гагары.словно со всего света слетались сюда несметные стаи уток разнообразных цветов и оттенков. Они вернулись с юга на свою полярную родину, чтобы вывести здесь потомство и осенью вместе с ним улететь на юг.

Данила Васильевич уже вторые сутки сидел в скрадке, у залива, расставив на воду своих крашенных уток. Оттуда часто доносились выстрелы. Мы с Волоховичем тоже пошли вверх по реке, чтобы поохотиться. Даниле Васильевичу мы решили не мешать и остановились у ближайшего залива, где по берегам была старая трава и куда часто садились стаи. Нам везло. Одни птицы садились на поую воду залива отдохнуть, другие подплывали к траве подкормиться, чтобы потом лететь дальше к самым северным широтам. Мы старались стрелять из своих укрытий так, чтобы убитые утки падали на берег или на мелкое место. Я подстрелил уже с десятков уток, а они, несмотря на поздний час, все летели и летели. Солнце давно висело над самым горизонтом и, словно нехотя, спускалось за него, продолжая освещать землю бледным светом.

Мы уже собирались уходить, как в поблекшем небе показалась небольшая стая лебедей. Развернувшись над нами, они, перекликаясь между собой, стали снижаться к заливу, где был скрадок Данилы Васильевича. Сделав несколько кругов, они опустились у самого скрадка, и в это время ударили один за другим два выстрела и летевшая в самой середине стаи птица стала падать. Она пыталась еще бороться, но рана, видимо, была смертельной, и, еще раз взмахнув крыльями, она камнем упала к шалашу Данилы Васильевича. Вся стая взмыла вверх и поле-

тела прочь. Только один лебедь, отбившись от стаи, кружился над тем местом, где упала, видимо, его подруга. Мы уже дошли до фактории, а над рекой среди тишины бледной весенней полярной ночи все еще раздавались его призывы. Мне было не по себе, я был зол на Огурцова: ведь уток и гусей было так много, что стрелять лебедей было хуже озорства.

На берегу нас встретила Марина, видимо давно следившая за нашей охотой, мы пошли к ней. Васса Андреевна еще не спала, и нам удалось уговорить ее приготовить ужин.

Пока теребили уток, пришел и Данила Васильевич, волоча два мешка, набитых птицей. Но Васса Андреевна встретила его не так, как встречают удачливого охотника.

— Зачем убил? — процедила она сквозь зубы.

— Чего убил? — пробурчал муж.

— Лебеда, говорю, зачем убил, — повернулась она к нему.

— Сам на мушку налетел, вот и пальнул, — оправдывался Данила Васильевич.

— И подумать только! — Васса Андреевна хлопнула себя по бедрам. — Ведь уток, и то бьет только сидячих, из скрадка, а тут на тебе, влет лебеда убил. Накажет тебя бог, ирода, отнимет у тебя последний глаз.

— Ладно, боле не буду, — пробурчал Данила Васильевич.

— Неси, куда хочешь, и чтоб твоей ноги в доме не было. Иди в свой скрадок, — заключила Васса Андреевна и отвернулась от мужа.

— Я ведь думал, лебяжий пух лучше, — заикнулся было он.

— Замолчи! — топнула она ногой.

Данила Васильевич потихонечку, боком продвинулся к столу и стал торопливо есть. Видно, очень уж был голоден, если не обращал внимания на грозные взгляды жены. Допивая чай, он поспешно сказал дочери:

— Верка, положи в котомку шанег, пойду в скрадок, а то утренний перелет прозеваю.

Он быстро собрался и, не говоря больше ни слова, ушел.

Чтобы не повторялось таких печальных случаев и в экспедиции, я тут же написал радиogramму всем партиям, категорически запретив охоту на лебедей.

Через два дня я оборудовал свою палатку, чтобы переселить в нее Марину. Но, узнав о нашей свадьбе, пришел заведующий метеостанции и предложил мне занять маленький ветхий домик, стоявший на окраине фактории, у берега залива. В нем помещалась радиостанция, а сейчас ему удалось договориться с бухгалтером колхоза перевести ее в правление. Я был рад этому предложению, и мы с Волоховичем и Ольгой навели в доме порядок.

Началась наша жизнь в этом маленьком, ветхом домике. Вещей у нас почти не было: у Марины два платья и костюм, а у меня одна рабочая одежда. Ни обстановки, ни домашнего уюта.

Марина села на жесткий топчан, покрытый спальным мешком, и засмеялась.

На Пуре был ледоход. Огромные ледовые поля медленно двигались на север, то и дело создавая заторы. Льдины толщиной в метр лезли на берега, становились на дыбы, с грохотом ломались.

А вода все прибывала. Она переполнила озера и болота вокруг фактории, и мы жили на островке. Уже много дней нас не посещала ни одна оленья упряжка. Только по радио поддерживалась связь с Салехардом и изыскательскими партиями. По радио мы узнали, что в Надым все же

успели до распутицы пройти тракторы, а за ними и колонна автомашин. Теперь тракторы корчевали в Надыме лес, ровняли землю.

Нужно было приниматься за дело и нам. Долго раздумывать не пришлось. Единственным удобным для посадки самолетов было место рядом с факторией, а дальше, к тундре, начиналось болото.

Фактория стояла на высокой прибрежной песчаной гряде, вытянувшейся вдоль реки метров на триста и достаточно широкой. Гряда обрывалась с одной стороны заливом, а с другой — глубоким оврагом. Когда земля немного оттаяла, мы начали жечь и корчевать вагами пни, а потом засыпали все неровности землей, утрамбовывали ее гонкими слоями. На площадке до глубокой ночи раздавался веселый говор и смех. Расходились по домам и палаткам, лишь когда солнце касалось горизонта, зная, что наступила полночь. Пятнадцать дней метр за метром ровняли мы площадку; здесь, на Севере, где земля сплошь покрыта дикой тундрой или угрюмым лесом, она казалась нам уголком цивилизованного мира. И вот наконец, когда у всех уже сплошь покрылись мозолями ладони, а спины не разгибались, Волохович первого июля взлетел на ПО-2, увозя двух больных рабочих. Вечером он вернулся с почтой для всего обширного района и для нас. С этого дня самолеты стали летать в партии, сбрасывая им прямо к палаткам недостающее продовольствие, снаряжение и почту.

До 20 июля еще удерживалась прохладная погода, но вот в лесу растаяли последние островки снега — и наступило полярное лето. На деревьях набухали почки, пробивались листья, зеленела трава, появились цветы.

В ночь на 20 июля все жители фактории не сомкнули глаз. К вечеру стал накрапывать теплый дождик. Раз-другой блеснула молния, и гроза, прогрохотав над тундрой за рекой, перекинулась дальше к северу, прорезая там черные тучи огненными стрелами, словно извещая, что и в Заполярье наступила летняя пора. Была удивительная тишина. Ни один лепесток не шелохнется на деревьях, словно все живое, удивляясь, замерло в этот первый летний вечер.

Мы сидели с Мариной, наслаждаясь тишиной теплой белой ночи. Но вот около уха пропел комар, за ним другой, и вскоре нам пришлось от них спастись в домике. Однако комары и здесь не давали покоя. Ложась, я плотно закрыл дверь и окно, но они пробирались в щели. С каждой минутой комариный зуд нарастал и вскоре превратился в сплошное гудение. О сне нечего было и думать. Я выскочил из-под одеяла и, кое-как одевшись, развел дымокур. Комната наполнилась дымом, комары опустились к самому полу, но не улетали. Марина, задохнувшись в дыму, сквозь слезы просила убрать костер подальше. Когда дым рассеялся, комаров стало еще больше. Крупные и рыжие, они с яростью набрасывались на нас. Не выдержав их натиска, Марина побежала к костру. Мы стояли в клубах дыма и хлестали себя ветками. У всех домов и палаток, как у нас, один за другим поднимались столбы дыма. Но вдруг, несмотря на болезненные укусы, нам почему-то стало смешно, и, спасаясь от злых насекомых, мы побежали к дому Вассы Андреевны. Там тоже горел костер. Васса Андреевна, закутанная в одеяло, хлестала себя по голым ногам веником, Данила Васильевич у костра мазал дегтем лошадь; бедное животное мотало головой, било хвостом и лезло в клубы дыма.

— Говорила тебе: не сегодня-завтра навалются они, распроклятые! — сонным голосом выговаривала Васса Андреевна. — Так нет, только и знаешь, что бегать с ружьем, мучься с тобой теперь.

Данила Васильевич был уже в накомарнике и плаще, даже на руки надел рукавицы, перевязав их бечевкой вместе с рукавами плаща. На

нем сидело столько комаров, что вся его одежда казалась коричневого цвета. Кончив мазать мерина, он полез на чердак и, достав оттуда пологи, пошел в дом.

— Комаров-то стряхни с себя,— крикнула ему Васса Андреевна,— а то полон дом натащишь!

Я взял веник и стал сметать с Данилы Васильевича комаров. Веник сразу стал грязным. Мы повесили над кроватями пологи и, выгнав из-под них комаров, позвали женщин. Васса Андреевна уговорила Марину переночевать с Верой под пологом, а мы с Данилой Васильевичем пошли к костру. Он снова принялся мазать мерина дегтем, а я подложил дров и, чтобы было больше дыму, навалил сверху мусор.

После этой ночи я понял, почему ненцы на все лето угоняют оленей к самым северным широтам, где холоднее и постоянно гуляет ветер. Олени с трудом переносят такое множество гнуса, болеют, а многие, не выдержав мучений, гибнут.

Только здесь, у Полярного круга, можно понять, какой это страшный бич для всего живого. По сравнению с этими комарами дальневосточная мошка не страшна.

Пасмурная погода с теплыми дождями и грозами неожиданно сменилась жарким летом. Даже комары днем куда-то прятались. В один из таких жарких дней Марина заметила плывущую вниз по Пуру к фактории лодку. И как же мы удивились, когда встретили доктора Нину Петровну! Все были рады ей, а Марина так и бросилась в ее объятия. Оказалось, что она уже давно плывет из районного центра Тарко-Сале и по дороге посетила много чумов. Одета она была по-дорожному — в черные шаровары и куртку из замши. На голове был накомарник с волосистой сеткой, а на ногах — унты из гладкой кожи.

Пока мы с Волоховичем вытаскивали лодку, Нина Петровна растирала ноги, затекшие от долгого и неудобного сидения в маленьком суденышке. Белая шея Нины Петровны, резко отличавшаяся от бронзового, загорелого лица, была покрыта множеством мелких ранок от комариных укусов.

Здесь же, на берегу, Нина Петровна попросила меня организовать завтра медицинский осмотр для всех работников экспедиции.

— А сегодня я займусь местным населением,— добавила она, поднимаясь на крутой берег.

Мы с Волоховичем забрали из лодки ее нехитрый врачебный скарб с медикаментами и отнесли в наш домик.

Вода в Пуре убывала, обнажая огромные песчаные косы. На одной из них, выше фактории, Волохович выбрал место для посадки больших самолетов. Песок там был настолько плотный и ровный, что летчикам оставалось только выложить посадочные знаки. Самолеты теперь прилетали из Игарки и Салехарда, делали съемку местности и доставляли нам из фотолабораторий снимки и фотосхемы, которых мы с нетерпением ждали. С утра до ночи Болотов, Мальков и я сидели над снимками, изучая через стереоскопы местность, расшифровывая фотосхемы. Площади ягелевой тундры на них выглядели более светлыми, бугристая тундра темнее, а озера и реки совсем черными. Мы научились читать эти фотосхемы так же легко, как любую карту.

Выбирая направление железной дороги на огромном пространстве, мы старались проложить ее по долинам рек и ягелевой тундре, где местность не изрыта буграми пучения; судя по неоднократным исследованиям Болотова, грунт в таких местах почти всегда был песчаный.

На фотосхемах, составленных из отдельных снимков, километр за

километром ложилась проектируемая железная дорога. После тщательного исследования каждого снимка они вместе с фотосхемами отправлялись в партии, куда их сбрасывали с самолетов. Получив такие материалы, наши изыскатели легко ориентировались на местности, прокладывая трассу. По этим же материалам наметили места строительства мостов через реки Надым и Пур, разместили станции и разъезды. Неясным оставался только мостовой переход через реку Таз, который должна была выбирать соседняя Енисейская экспедиция. По условиям местности их участка ее руководители наметили строительство моста ниже устья реки Кыпа-Кы. По условиям же нашего участка трассу следовало прокладывать по правому берегу реки Варка-Сыль-Кы, на чем настаивал в радиogramмах и Рогожин. Если будет принят вариант Енисейской экспедиции, то Рогожину нужно будет прокладывать трассу к Тазу по совершенно голой равнине, усеянной болотами, озерами и бугристой тундрой, где совершенно нет леса и нет даже земли, пригодной для отсыпки насыпи.

Но Мальков стоял за вариант Енисейской экспедиции. Он брал линейку, делал вычисления, складывал цифры...

— Уважаемые товарищи,— (мы понемногу отучили его говорить «коллеги»),— ведь он короче варианта по Варка-Сыль-Кы на целых пять километров,— доказывал он.— А это в будущем даст большую экономию. Ведь каждый поезд будет проходить быстрее.

— А как и чем плотно дороги будем отсыпать, об этом вы подумали? — возражал ему Болотов.— Вы видите, что делается на снимках? Одни болота да бугры пучения. А на них песочку не найдете.

— Вы там еще не были,— отмахивался Мальков.

— Я по фотоснимкам вижу. Был бы песок, так был бы и ягель или хоть какая-нибудь растительность, а здесь одна чернота,— ткнул главный геолог в фотосхему.

— Уважаемый товарищ! Не будьте так уверены. А в крайнем случае, если песка нет, людей хватит, чтобы любым грунтом отсыпать насыпь носилками.

— Да пойми же ты наконец! — вспыхнул геолог.— Такая земля, как там, наполовину смешана с водой и на носилках держаться не будет.

— На такой случай ведра есть, ими землю и с водой можно таскать,— невозмутимо возразил главный инженер.

— Вас бы заставить таскать, не то бы вы запели,— обозлился Евгений Петрович и отвернулся от Малькова.

— Вы, Лазарь Тимофеевич, не учитываете еще одного очень важного обстоятельства,— вмешался я с возможным и, кажется, удавшимся мне спокойствием.— Ведь на железной дороге поселятся люди. Им, конечно, в лесу и у речки лучше будет, чем в тундре, где зимой метели, а летом не просыхает земля.

— Ну что же, с этим я отчасти согласен,— сказал он.

— А почему только отчасти? — вновь вмешался главный геолог.

— А потому, что наш героический советский народ нельзя запугать ни тундрами, ни метелями,— срезал его Мальков.

— Верно,— остановил я Болотова, готового снова вскипеть.— Но если бы вас, Лазарь Тимофеевич, назначить начальником станции вот сюда, где вы наметили станцию... Согласились бы вы прожить там хоть годика два? — посмотрел я на него.

— Не понимаю, при чем тут я? — пожал он плечами.

— Да так, к слову пришлось. А вообще, как говорит Татаринов, не мешает иногда ставить себя в положение тех людей, которые будут строить или эксплуатировать дороги по нашим проектам.

Мы помолчали.

Мне неприятно было разговаривать с главным инженером, и я не мог понять, кто он и чего хочет...

Но мне хотелось прийти к единодушному мнению, чтобы легче было отстаивать вариант по долине реки Варка-Сыль-Кы.

Мальков походил вокруг стола и как-то нехотя сказал:

— Если в инженерном деле считаться со всеми, то лучше не быть инженером.

— С чем же инженер должен считаться? — посмотрел я строго на него.

— Только с цифрами, — совсем мрачно заявил он.

— Эх, Лазарь, Лазарь, не то мелешь... — вздохнул Болотов. — Надо бы тебе годок-другой на строительстве поработать, да и на эксплуатации не мешало бы побывать, тогда бы другой из тебя проектировщик вышел.

Малькова мы так и не убедили. А на другой день нас вызвал Татариннов на реку Таз, куда должен был прилететь и он сам. Там, как у нас на Пуре, был организован Борисовым аэродром на песчаной косе, и мы вылетели втроем на двух самолетах.

Рогожину я еще накануне дал радиограмму, чтобы он спустился на лодке в устье реки Варка-Сыль-Кы.

Мы с Болотовым летели на самолете Волоховича, Мальков летел с Юркиным. По дороге сбросили почту в партии Абрамовича и Амельячина. Волохович низко кружился над их палатками, но многих я не мог узнать — так люди обросли бородами.

Рядом с белыми палатками у дымокуров стояли и лежали олени. Обе партии расположились у небольших речек, вблизи оленьих пастбищ — ягелевой тундры.

Пролетев над плоским и незаметным водоразделом рек Пур и Таз, сплошь усеянным озерами, мы попали в бассейн реки Варка-Сыль-Кы. Вначале соединились два небольших ручейка, потом притоки один за другим с обеих сторон стали впадать в них, образовав довольно широкую речку.

А вот и палатки Рогожина. Волохович снова снизился и пошел бредущим полетом метрах в пятидесяти от земли. Сбросив почту и убедившись, что Рогожина в лагере нет, Волохович помахал крыльями и пошел дальше, вниз по реке. Варка-Сыль-Кы здесь была извилиста, со множеством староречий и заливов, сливавшихся с озерами.

Не долетая километров двадцать до устья, мы увидели лодочку, на которой плыли двое. В одном из них я узнал Рогожина. Волохович снова снизился и стал кружиться, а я в это время написал записку Рогожину, чтобы он спешил и обязательно к вечеру был на реке Таз. Замотав записку вместе с письмом Нины Петровны в тряпку, я привязал кусок бинта с грузом и, рассчитав, бросил Рогожину. Пока мы делали круг, Рогожин был уже на берегу и держал в руках послание. А через пятнадцать минут мы были на Тазу.

Вскоре прилетели Татариннов и Борисов, а с ними и наши соседи — руководители Енисейской экспедиции. Еще через час я обнимал Рогожина. Собрались все в кабине самолета ЛИ-2, куда меньше залетали комары.

— Знаете, зачем я вас собрал сюда? — начал Татариннов, когда мы расселись на железных скамейках, тянувшихся вдоль всего фюзеляжа.

Мы догадывались, но молчали.

— Пора решать вопрос с переходом реки Таз, — помедлив, сказал он. — Лихтеры и баржи, нагруженные паровозами, вагонами, рельсами, шпалами, заключенными и всем их скарбом, уже прошли губу и идут вверх по Тазу. Нам нужно сегодня же сказать строителям, где им выгру-

жаться, а выгружаться они должны там, где будет строиться мост. Я знаю, что мнения у вас разошлись. Одни за северный вариант,— посмотрел он на наших соседей,— другие за южный,— кивнул он в нашу сторону.

Завязались оживленные споры. Енисейская экспедиция отстаивала северный вариант, видимо, плохо зная наш участок по этому направлению. У них действительно при подходе с востока от реки Турухан к Тазу по северному варианту условия были несколько лучше, чем по южному. Но на нашем участке, с запада, эти варианты резко отличались друг от друга, и железную дорогу можно было строить только по южному. Мы с Болотовым твердо стояли на своем.

Мальков сидел рядом с работниками Енисейской экспедиции и о чем-то с ними шептался.

— Продаст,— толкнул меня в бок Болотов, показывая глазами на нашего главного инженера.

— Пусть попробует, сам в лужу сядет,— тихо ответил я.

Но Мальков действительно не выдержал и высказал свои соображения в пользу северного варианта, подкрепляя их опять цифрами будущей экономии при эксплуатации. Пока долго и витиевато говорил Мальков, Татарин морщил брови, но молчал. Молчали и мы с Болотовым, хотя злились сильно.

Когда закончил говорить Мальков, Татарин его спросил:

— А вы эту экономию что, в руках держали?

— Не понимаю, Петр Константинович,— пожал он плечами.

— Пора понимать дело по существу, а не пустыми цифрами себе и нам голову забивать,— резко ответил Татарин и добавил: — Заладили: поезда, поезда. Да пока они здесь пойдут, нам не по одному пуду соли придется съесть. И вы все должны представлять себе всю сложность задачи, и в первую очередь сложность освоения этого сурового края, а затем и строительства дороги. Прокладываемая вами трасса должна проходить по таким местам, где что-то хоть чуть-чуть напоминает живую природу. А жизнь в этих краях теплится только на берегах рек... Давайте послушаем Рогожина. Он уже исходил здесь всю местность и проплыл по реке. Прошу, товарищ Рогожин,— обратился он к Александру Петровичу.

— На мой взгляд, для строительства дороги,— сказал Рогожин,— очень важными условиями являются наличие на месте строительных материалов, путей сообщения. И условия жизни людей в этом суровом крае. Вариант строительства железной дороги по Варка-Сыль-Кы, безусловно, лучше северного. В долине этой реки есть хороший песок для отсыпки полотна, есть даже гравий для балласта и бетонных работ — это отложения конечной морены. Есть лес для постройки рабочих поселков, для столбов линии связи, а о дровах и говорить нечего — хватит на многие годы. По реке Варка-Сыль-Кы пройдут катера с баржами, это обеспечит перевозку людей, оборудования и всего необходимого для строительства. Я промерял глубины. А на северном варианте,— продолжал Рогожин,— голая тундра, много озер, болот, бугров пучения. Даже на оленях там летом трудно пробираться.

Татарин, довольный ответом, кивнул Рогожину. Тот сел.

— Так как все высказались,— поднялся Татарин,— то давайте решать. За южным вариантом,— сказал он,— явное преимущество. Северный вариант попросту освоить невозможно, он сам себя исключает. Ведь если и перебросить туда людей пешим порядком, их все равно кормить надо, товарищ Мальков,— посмотрел Татарин в сторону главного инженера и продолжал: — Дрова нужны, поселки из чего-то строить надо. А вот Рогожин говорит, что туда и олени не проберутся. Северный

вариант прямее, но это еще ничего не значит. По этой дороге хорошо если три-четыре пары поездов в сутки ходить будут, так что о выгоде при эксплуатации можно и не говорить. А вот о людях следует подумать. Путьцы ведь не железные, и горстке людей ох как трудно будет бороться с северной стихией. Представьте себе пургу, заносы, а кругом голая тундра. Будут ваши поезда стоять, товарищ Мальков. Вот вам и вся экономия...

Татаринов помолчал, а потом решительно сказал:

— Примем южный вариант.

Никто больше не возражал. Здесь же была составлена радиограмма и передана строителям в Игарку, а через десять минут навстречу каравану вниз по реке вылетел Волохович с письмом Татаринова — следовать на разгрузку выше устья Варка-Сыль-Кы.

Надев накомарники и завязав рукава, мы с Рогожиным и Болотовым вышли к реке.

— Ну как, скучаешь? — спросил я Рогожина, когда Болотов отошел от нас попить воды.

— Очень, — кивнул Александр Петрович.

— Хочешь полететь в Уренгой?

Рогожин, не веря своим ушам, даже остановился.

— А разве это возможно?

— Конечно, — подтвердил я. — Заберешь там в камеральной группе оставшиеся фотоснимки, загрузишь самолет продуктами, каких у вас не хватает, и завтра обратно сюда. А отсюда в партию на катере вместе поплывем — я надеюсь уговорить Татаринова взять у строителей катер. Да и им самим не мешает проехать вверх по реке на рекогносцировку с таким лоцманом, как ты.

На том мы и порешили.

Вернувшись к самолету, я сказал Татаринovu, что необходимо послать Рогожина в Уренгой.

— Пусть летит. Да и Малькову здесь делать нечего, — решил он. Пока заводили мотор, я написал Марине письмо.

Несмотря на поздний час, солнце еще светило, и мы пошли с Татаринovым к Борисову, ловившему с летчиками рыбу. Они устроились на крутом берегу, разведя там дымокур. Бортмеханик и радист копали червей.

— Во какой сорвался, трали-вали, — показал Борисов, разведя руки.

— Может, такой, тентель-вентель? — показал я ему палец.

— Джамбул, подтверди, — попросил он подошедшего командира корабля.

— Мощь, а не рыба, — поддакнул Джамбул.

Радист делал нам знаки, но я не понимал в чем дело. Потом он крикнул: «Джамбул, тащи!» Пилот схватил удилище и потянул. Удилищегнулось, и вскоре над водой повисла бутылка. Борисов в это время щелкнул фотоаппаратом. Джамбул вначале рассердился, но, когда узнал, что в бутылке спирт, улыбнулся. Поплавок Борисова резко скрылся под водой, и он вытянул большого муксуна. Не выдержал соблазна и Татаринov — он взял удочку Ганджумова и одного за другим вытащил двух крупных подъязков. Здесь же на берегу сварили уху и провели вечер.

Утром с Кошевым на ЛИ-2 прилетел начальник строительства восточного плеча железной дороги, он же начальник Енисейского лагеря — Антонов.

Это был полный, огромного роста человек. Сотрудники строительства потихоньку называли его «восемь пудов номенклатурного мяса». Густой бас, которому Антонов всегда старался придать нотки строгости,

нередко приводил в трепет окружающих его людей. Да это было и не удивительно, так как люди эти были или заключенные, или бывшие заключенные, оставшиеся работать на стройках в отдаленных местах. Оставались они потому, что либо им не давали разрешения жить там, где они хотели, либо они сами уже свыклись с лагерной жизнью, где их ценили не только как специалистов, но и как людей, хорошо знающих лагерные порядки; когда такие строительства начинались, в первые же месяцы заключенные строили для них и для семей, которыми они обзаводились, дома с удобными квартирами.

Антонов упорно и быстро продвигался по служебной лестнице от начальника охраны до начальника крупного строительства и лагеря. Его карьере не мешало четырехклассное образование. Главными его достоинствами были беспрекословное повиновение вышестоящим работникам МВД и строгое соблюдение лагерного режима.

Строг и груб был голос Антонова, заставлявший повиноваться бесправных людей — сотни лучших специалистов страны, тянувших лагерную лямку и руководящих строительством.

— Ну, как тут инженерия решила? — пробурчал Антонов, небрежно поправляя плотно облегающий его круглую фигуру широкий ремень, словно подчеркивая этим, что его внешность важнее каких-то вариантов трассы. Он стяхнул с погона соринки и, убедившись, что начищенные до блеска сапоги в порядке, важно прошелся вдоль самолета.

От такого обращения нас покорило, и Татаринов, не зависящий от Антонова, холодно ответил:

— Как решили, я уже поставил вас в известность. Переход через Таз будет здесь.

— Знаю, читал, — нахмурился Антонов. — Сейчас караван подойдет, я его с воздуха видел, — сказал он в пространство. — Будем пургу разгонять, — добавил он загадочно.

Прилетевшая с ним «свита» подобострастно ела его глазами, очевидно догадываясь, какую пургу решил их начальник разгонять летом.

— В два дня нужно разогнать пургу, иначе лихтера обсохнут на год, — повторил он. Гордясь своим остроумием, он уставился глазами в начальника транспортного отдела строительства — кругленького, лысого, невысокого ростом майора.

— Слушаюсь, товарищ начальник, — козырнул, совсем как наш Пономаренко, майор, поправляя пенсне на мясистом носу.

— Капитан! — крикнул Антонов отошедшему начальнику строительного отделения.

— Слушаю, товарищ начальник, — подбежал капитан Седов.

— Как вода в реке?

— Убывает, товарищ начальник.

— А какой это берег реки?

— Правый, товарищ начальник, — быстро отвечал Седов.

— Ага, правый, говоришь, — задумался о чем-то Антонов. Потом, что-то сообразив, он вытянул руку в сторону противоположного берега и глубокомысленно заключил: — Значит, тот будет левый.

— Так точно, товарищ начальник, тот будет левый, — подтвердил Седов.

Нам было противно смотреть и слушать, как рисуется перед своими подчиненными самодур Антонов. Мы с Татариновым и Борисовым пошли от них вдоль берега. Отходя, я еще слышал, как Антонов распекал майора.

— Почему эшелоны в Красноярск с эсками не пришли? — грубо басил он.

— Эшелоны, товарищ начальник, видимо, в пути задержались,— оправдывался майор.

— Не имели права задерживаться! — наседал Антонов.— Я суда для них зафрахтовал, чтобы везти эска в Игарку и в Ермаково, а вы спите.

— Не могу знать, товарищ начальник.

— Давно я тебе оттяжку не делал, забаловался...

Голос Антонова еще долго долетал до нас. Но вот из-за поворота реки показались небольшой буксир с баржей, а следом за ними — один за другим — три морских лихтера. Их металлические громады возвышались над низкими берегами реки, а она уже не казалась такой широкой и пустынной. Такие большие суда впервые вошли в эту реку. Они рисковали сесть на мель. Но для строительства дороги страна отдавала сюда все — иногда, может быть, из самых скудных резервов,— и, конечно, с такими мелочами никто не считался. На судах было тихо. Они шли точно по следу буксира, капитан которого, видимо, хорошо знал фарватер.

Когда можно было прочитать на буксире его название «Воркута», с него бросили якорь и дали сигнал лихтерам делать то же самое. Мы пошли обратно.

Подплыли к косе лодки с капитанами судов, начальниками колонн, командирами ВОХР, оперуполномоченными, инженерами и другим начальством. Они подходили к Антонову, козыряли, рапортовали. Когда собрались все, Антонов повторил:

— Приказываю в три дня пургу разогнать...

А майор тут же разъяснил смысл слов своего начальника:

— Сейчас же начинайте разгрузку.

Оперуполномоченные и командиры ВОХР пошли осматривать места для зон и размечать оцепление.

Между прибывшими инженерами начался деловой разговор, в котором Антонов и его свита участия не принимали; решали, как разгружать электростанцию, тракторы, паровозы, вагоны, рельсы и другое тяжелое оборудование.

Антонов потребовал себе лимонада и легкой закуски. Персональный повар его — бывший заключенный, сопровождавший Антонова всюду,— мигом принес из самолета свежие помидоры, огурцы, лук, редиску, шпроты и две бутылки, расставив все на походном столике.

«Откуда овощи? Из каких теплиц? Здесь, на Севере, в июле свежие овощи!» — подумал я, и, верно, не один я.

Антонов закусывал, остальные обсуждали порядок разгрузки, чертили на бумаге схемы причалов.

Только когда заговорили о выгрузке паровозов, он оторвался от еды и сказал:

— Поручите это дело прорабу Селиванову, у него голова еще варит.

Привезли с лихтера и Селиванова. Он был прорабом первой колонны, а до этого отсидел десять лет, после чего был оставлен на Севере на неопределенный срок и теперь работал как вольнонаемный. Селиванову еще не было пятидесяти, но заключение отложило на нем неизгладимые отпечатки. У него не было зубов, он шепелявил. По испитому лицу с глубокими морщинами нетрудно было догадаться, что он много пережил. Его взгляд говорил о давно сломленном, но еще живом духе.

— Чтобы разгружать паровозы, надо прочные причалы строить,— подтвердил Селиванов уже высказанное Татариновым мнение.— А для этого,— продолжал он,— нужно ряжи рубить и опускать на дно реки.— Он немного подумал и добавил: — Плохо, что камня нет, ну да ряжи можно и песком загрузить.

С его мнением согласились.

— Пущай каждая колонна себе причалы строит,— вмешался Антонов, и с ним согласились, хотя этот вопрос уже и решили раньше. Для одного лихтера, где стояли паровозы, нужен был особенно прочный причал.

— На каждого ээка по бревну — вот вам сразу больше тыщи,— соображал вслух Антонов и, повернувшись к Селиванову, спросил: — Тыщи бревен хватит?

— Пожалуй, хватит,— ответил прораб,— но все будет зависеть от глубины реки у берега.

— Действуйте, разгоняйте пургу,— приказал Антонов и добавил: — Всех придурков и слабосилку на работу, чтобы ни одного филона не было! Кто будет филонить — на триста грамм без баланды.

Три катера непрерывно курсировали между судами и берегом, перевоза заключенных на необетованную землю. Каждая колонна выгружалась на отведенный ей клочок земли. Охранники с автоматами и овчарками окружили небольшие площадки у реки, расставив там таблички с надписями: «Зона».

Заключенные ходили с катеров. Здесь же, у трапов, охранники вели им счет, обыскивали их с ног до головы. Дальше они шли попарно в круг, где по команде садились. Земля с ее вечной мерзлотой покрывалась серыми бушлатами, над которыми роем кружились комары.

Когда счет и обыск заключенных были закончены, начальники колонн объявили приказ Антонова, в котором были обещаны поощрения за быструю разгрузку судов.

Первая премия на бригаду: пол-литра спирту и пять пачек махорки, вторая — четыре пачки махорки. За каждый паровоз, выгруженный без поломок,— пол-литра спирту и три пачки махорки. По толпам прошел гул не то одобрения, не то насмешки, а конвой уже кричал: «Разберись по пяти!» Подошли прорабы, десятники, и заключенные в оцеплении двинулись к лесу.

Вдоль всего берега валили лес, зачищали и тащили к реке бревна, а там рубили ряжи. И заключенные и конвойные проклинали комаров, разводили костры, ругались от нестерпимой боли и зуда. А десятники кричали: «Давай, давай!»

Антонов и часть его свиты улетели в Игарку, улетел и Татаринов. Нам с Рогожиным и Слободским, начальником партии соседней экспедиции, Татаринов приказал уточнить место перехода через реку Таз, помочь строителям промерять реку в месте причалов и составить для них планы. Слободский, кроме этого, должен был срочно проложить трассу от причалов на коренной берег Таза для вывоза прибывших пароходов, вагонов и рельсов.

Ни днем, ни ночью не прекращались работы в лесу и на берегу. Только на пять-шесть часов бригады уводили по очереди на отдых в палатки, поставленные «слабосилкой». Люди валились на сколоченные из жердей нары, закутывали головы в бушлаты и, провалявшись несколько часов, заслыша подъем, снова шли в лес. В перерывы на обед, когда раздавали пайки и баланду, люди выстраивались в очередь у походных кухонь, а потом, закрывшись от комаров бушлатами, склоняли головы над мисками.

Дальше от реки, на высоком берегу, «слабосилка» строила каптерки, зону, «кондей» и устанавливала палатки, похожие на бараки с вагонами внутри.

На четвертые сутки все три лихтера подошли к причалам. Заключенные буквально облепили суда. Они несли на берег мешки, ящики, выводили лошадей. Скрипели ворота, лебедки, люди надрывались у ваг из целых бревен, и тяжелые машины спускались на ряжи. Их тащили

дальше на расчищенные площадки берега. В этой работе, граничащей с самопожертвованием, люди ежеминутно шли на отчаянный риск.

Селиванов с бригадами плотников соорудил на ряжах подмости из бревен и шпал, проложив по ним рельсы с борта лихтера на берег. Осторожно спускали паровозы по рельсам, придерживая лебедками и воротами.

Сам Селиванов двое суток не уходил с причала. Последний паровоз чудом не слетел в реку: под ним треснуло бревно в подмостях, он покачнулся, — но «братва», поддержавшая его расчалками, вовремя уперлась, и паровоз проскочил роковое место. Если б не это, не миновать бы Селиванову нового «срока».

Когда разгрузка подходила к концу, Антонов снова прилетел на Таз. Он приказал раздать обещанную премию и велел растопить один паровоз.

— Но ведь дороги нет, куда же он пойдет? — пытался удержать его начальник отделения.

— Пушай хоть посвистит, это нужно для мобилизации людей, — подтвердил свое распоряжение начальник строительства.

Вода в реке быстро убывала, и как только закончили разгрузку, лихтеры отвалили от причалов. Они стали разворачиваться вниз по реке и давать прощальные сигналы. В ответ им с суши просвистел паровоз. Заключенные все были на берегу, махали руками или угрюмо смотрели вслед им, уходящим на Большую землю.

Я еще раз окинул взглядом заросший густым лесом берег и подумал: «Хорошо еще, что мы отстояли свой вариант трассы. Ох, как трудно было бы им там, в голой тундре...»

— Когда поплывем вверх по Варка-Сыль-Кы? — спросил Рогожин.

— Чем раньше, тем лучше, — ответил я.

Хотелось уехать как можно скорее, чтобы не видеть лагерных порядков. Но на катер собрались только к обеду; от строителей пришли прораб Селиванов и пять работников связи, которым нужно было познакомиться с участком Рогожина.

Небольшой «Ярославец» легко скользил вниз по Тазу, и через десять минут мы были в устье Варка-Сыль-Кы. В эту реку никогда не заходили моторные лодки. Стаи уток, гагар и лебедей поднимались с воды, но улетать не хотели, а тут же прятались у берегов в траву или подолгу бежали впереди катера. Рогожин показывал рулевому, где плыть, чтобы не попасть в глухие протоки и заливы.

Связисты попросили причалить к берегу. Селиванов пошел с ними в лес, а моторист и Рогожин стали разводять костер. Я решил попытаться наловить к обеду рыбы и, отойдя к заливу, закинул две удочки. По беспрерывным всплескам было видно, что рыбы в реке много. Клевали окуни, караси, и вытаскивал я их одного за другим. Вскоре вернулся Селиванов. Он достал из своего рюкзака самодельный большой крючок, привязанный к толстой бечевке, и, надев на него пойманного мною карася, забросил в реку. Не прошло и пяти минут, как натянулась бечевка. Селиванов потащил. Но тащил не он, рыба тащила его в реку. Я подбежал к нему и ухватился тоже за бечевку. Рыбина рвалась, и нам приходилось быть начеку. Но вот, видимо, измотавшись, она стала сдаваться. Мы подтащили к берегу щуку, похожую на крокодила, с огромной пастью, черной спиной и злыми глазами.

Сварив уху из карасей и окуней, мы двинулись в путь, решив пообедать на ходу в катере, так как на берегу от комаров не было никакого спасения.

В партию приплыли, когда стало темнеть. На берегу стояли белые палатки, дымились потухающие костры. Причалили рядом с двумя лод-

ками, в одной из них — она была наполовину затоплена — плавало много живых карасей.

Лагерь расположен был в довольно густом лесу. На ветвистых кедрах построили из жердей подобие нар. Оттуда доносились голоса.

— Что это? — поднял я голову, обращаясь к старшему инженеру партии Асмадулину.

— У нас называют их плацкартными местами, — засмеялся он и пояснил: — Вверху меньше комаров, вот люди и пристроились там спать. «Упадут», — подумал я.

Но Асмадулин добавил:

— Единственное неудобство: приходится привязываться к стволу. А комаров действительно в лесу было еще больше. Люди ходили в накомарниках и в плотной одежде.

Несмотря на поздний час, вся партия собралась на берегу. Даже обитатели «плацкартных купе» спустились на землю. Мужчины выгружали продукты, привезенные Рогожиным из Уренгоя, а две девушки — техники Лиза и Валя, — выловив плавающих в лодке карасей, пошли готовить ужин.

Достаточно было побыть несколько минут в партии, чтобы можно было безошибочно сказать, что это одна дружная семья.

Встретив нас радушно, они, не сговариваясь, занялись устройством нашего ночлега. Одни устанавливали палатку, другие тащили из леса жерди и хвою для нар, третьи разводили дымокуры и костер.

Селиванов внимательно следил за всем происходящим.

Я спросил его:

— Нравится?

Подумав, он ответил, что труд свободных людей не сравнишь с трудом заключенных.

— Разумеется, — подтвердил я.

— Кроме того, — добавил он, — когда я работал еще в Люберцах до тридцати седьмого года, где были свободные рабочие и хорошо зарабатывали, мы строили намного дешевле, чем на строительстве с заключенными.

— Почему же? — удивился я. — Ведь содержание заключенных обходится дешево.

— Это так только кажется, — возразил он. — Ведь заключенных нужно хоть как-то кормить, обувать, одевать и их нужно стеречь, и стеречь хорошо, строить зоны с вышками для часовых, кондеи, да и содержание охраны дорого обходится. А потом оперче, кавече, петече и прочие «че», которых, кроме лагеря, нигде нет... В общем, штат большой. Дрова, воду им возят, полы моют, бани топят опять-таки заключенные. Да мало ли что еще нужно для живых людей?.. А сколько на колоннах и лагпунктах всяких дневальных, поваров, кухонной прислуги, водовозов, дровоколов, бухгалтеров, плотников, учетчиков и прочих «придурков», как их называют в лагере! Так что, если в среднем взять, на каждого работника приходится полторы прислуги. А главное, охрана не может обеспечить фронт работы: то механизмы нельзя применять, а то десятникам и прорабам, тоже заключенным, просто из-за разводов, проверок и прочей кутерьмы некогда подумать об организации труда...

Селиванов хотел, видимо, еще что-то сказать, но лишь махнул рукой.

Не прошло и получаса, как поставили палатку с нарами, а мы уже сидели за столом, куда на двух шипящих сковородках девушки подали жареных карасей.

Утром связисты с Асмадулиным поплыли дальше, вверх по реке: от

истоков ее они должны пройти по тундре километров тридцать до водораздела, и раньше чем через три дня не вернуться.

Мы с Рогожиным и Селивановым пошли на трассу, которую партия прокладывала по долине реки. Как и во всем этом обширном крае, лес рос только тут, а дальше раскинулась тундра. Но в долине было достаточно деревьев для постройки столбовой линии, лагпунктов, и даже можно было набрать немного леса для шпал.

Вскоре трасса оборвалась, и мы подошли к передовому отряду изыскателей. Рабочие прорубали просеку. Инженер Ларионов с теодолитом вешил линию. Лиза и трое рабочих разбивали пикетаж, записывая в журнал ситуацию местности. Валя еще вчера догнала их с нивелировкой и сейчас помогала рабочим Лизы мерить стальной лентой. Как везде, люди здесь страдали от комаров. Рубщикам было жарко, но они вынуждены были оставаться в накомарниках и в плотной одежде, сквозь которую на спинах выступал пот.

Подошли геологи с ручным буровым комплектом и лопатами.

— Как с песком? — спросил я инженера Панова.

— Песок есть по всей пойме, для насыпи хорош будет. А вот там посмотрите, что делается, — потащил он нас к опушке леса.

Пройдя метров сто, мы вышли к тундре, усеянной озерами и буграми пучения.

— Вон там, у горизонта, проходит вариант Малькова. Не хотите ли туда пройти? — сказал он зло и весело, видимо имея в виду отвергнутое вариант главного инженера.

— Идемте, — согласился я.

— Да нет, не стоит, — стал он сам же отговаривать нас. — Я ведь туда пытался пробраться, еле ноги унес. Вот только до этого места и дошел, — показал он пальцем на фотосхеме.

Но мы все же решили пройти, сколько будет возможно, в сторону отвергнутого варианта, чтобы в случае чего легче было защищаться. Ведь Мальков не успокоится и еще напишет на нас жалобу.

Прыгали с кочки на кочку. Но как осторожно ни прыгай, все равно где-нибудь сорвешься. Так и мы за полчаса ходьбы, покрыв расстояние не более километра, много раз срывались с зыбких кочек, проваливаясь между ними в ржавую жижу болота. Одежда, обувь, лица — все было в грязи.

Я посоветовал Селиванову и Попову вернуться, дальше мы пошли вдвоем с Рогожиным.

Пройдя еще метров пятьсот, мы вышли к большому озеру, округлому, как блюдце. Сели отдохнуть на высоком торфяном бугре. Впереди была плоская тундра с редкими гидролоколитами, возвышавшимися над ней, как египетские пирамиды в песчаной пустыне. Высота одного из них достигала многоэтажного дома, и он мог служить хорошим ориентиром.

Обходя озеро, Рогожин подвернул ногу и, застонав от боли, сел. Мне удалось вправить вывих, но боль не проходила — пришлось возвращаться. Рогожин, держась за мои плечи, скакал на одной ноге, часто садился, и теперь мы уже не прыгали с кочки на кочку, а брели между ними, утопая по колено в грязи.

До лагеря добрались поздно вечером. Александру Петровичу пришлось сделать теплую ванну и компресс. Хотя он и бодрился, было ясно, что он несколько дней не сможет ходить. На другой день я велел радисту связаться с Уренгоем и попросить на радиостанцию врача.

Голос Нины Петровны, еле слышный в наушниках, был взволнованным. Но когда она узнала, что у Рогожина только повреждена нога,

она успокоилась и дала советы, как лечить. Александр Петрович слушал ее голос, и с его лица не сходила улыбка.

В последующие два дня Селиванов плавал по реке на лодке, выбирая место для лагпункта. Мы с Рогожиным проектировали трассу линии связи, чтобы тут же передать чертежи строителям.

Для ускорения работ Рогожин начал перебрасывать часть своего лагеря вниз по реке на лодках и на оленях: в первую очередь увезли запасы муки, консервов, крупу и буровое оборудование; натянув палатку в новом месте и сложив в нее все, люди вернулись в лагерь. Когда на другой день они приехали снова, то нашли все разрушенным: медведь разорвал все мешки, поел печенье. К этому времени вернулся Асмадулин со связистами, и, так как нам нужно было отправляться на Таз, я пообещал Рогожину заехать на место погрома и составить акт о случившемся.

Надо сказать, что медведь учинил погром со знанием дела: вокруг разорванной палатки земля было сплошь покрыта белым слоем муки, растерзанные мешки были разбросаны по кустам, ящики из-под печенья разнесены в щепки, и от печенья остались одни огрызки. Только с консервными банками косолапый не мог ничего поделать. Он, видимо, их мял, бросал, крушил, но содержимого попробовать ему не удалось. Составив с хозяйственником партии акт, мы поехали дальше вниз по реке и прибыли на Таз в назначенное время. Джамбул ждал меня, и только я поднялся в самолет, как ЛИ-2 взлетел и взял курс на Игарку.

Лента реки среди зеленых прибрежных лесов терялась в дымке. Чем ближе к водоразделу Таза с Енисеем, тем больше было озер, окруженных болотами. Трудно даже определить, чего здесь больше — земли или воды. Но вот за широким, совершенно плоским и пустым водоразделом стала появляться чахлая растительность с низкорослыми деревьями по берегам рек.

— Турухан,— показал Ганджумов на узкую, извилистую полосу воды.

В том месте, где река резко меняет направление с южного на восточное, на правом берегу приютился одинокий поселок Янов Стан — десяток в беспорядке разбросанных по тундре крохотных домиков, без изгородей и пристроек, унылое поселение людей. Судя по карте, на сотни километров вокруг него нет больше никакого жилья, кроме кочевых чумов.

Но что такое? Еще не скрылся Янов Стан, как на левом берегу Турухана показалась высокая четырехугольная изгородь с вышками по углам. Внутри изгороди, охватившей большую территорию, стояли палатки и свежие срубы барачков. Люди копошились около них, устраивая свое новое жилище. Через единственные ворота с пристроенной к ним проходной будкой они цепочкой тащили с реки свежестроганные бревна.

— Обживаются ээки,— кивнул Ганджумов на лагерь заключенных.

Все это быстро проплыло под крылом, а через десять километров появился еще один такой же пункт, а за ним, с таким же небольшим промежутком, еще...

Турухан словно ожил. Буксиры и катера тянули баржи вверх по реке к строящимся лагпунктам.

Перед Енисеем река Турухан снова резко повернула на юг, а мы продолжали лететь на восток, вдоль трассы будущей дороги. Она обозначалась такими же зонами с колючей проволокой и дымом костров. Ближе к Енисею стали попадаться и черточки насыпей: здесь начали уже строить.

— А вот и Енисей!

Его широкая водная гладь, окаймленная высокими пустынными берегами, оборвала плоское пространство тундры Западно-Сибирской низменности. На огромных островах — озера и заливы; а по ту сторону реки, на востоке, виднелись складки гор, покрытые зеленым лесом.

На левом берегу стоял маленький поселок Ермаково, а рядом, чуть повыше, — огромный лагерь со множеством зон, складов, палаточных городков и еще не достроенных бараков. У берега, вплотную друг к другу, жались пароходы, баржи. Тысячи людей сновали по трапам и берегу, копошились на баржах. Мы видели, как бегут автомашины, ползут тракторы, дымятся паровозы, вытаскивая от берега по причальной ветке вагоны.

Отсюда все это двинется на запад, навстречу тем, что высадились на Тазу, и на помощь тем, которые обживают тундру на Турухане.

От Ермакова летим вдоль Енисея на север. Минут через пятнадцать показалась Игарка — одноэтажный деревянный город со штабелями леса по берегам великой реки.

Штаб Объединенной северной экспедиции по приказу министра месяц назад был переброшен самолетами из Салехарда в Игарку и разместился на восточной окраине города. Я поспешил к Татаринovu, который оказался у себя.

— Ну, как дела? — спросил он, протягивая мне руку.

— Вроде все хорошо. Партии работают с подъемом, прошли уже больше половины трассы, — начал я докладывать.

— «Вроде», говоришь... А план не выполняете, — перебил он.

— Как же так? — возразил я. — На всех участках работы идут точно по утвержденному вами графику и отставаний нет.

Татаринov велел секретарю позвать начальника плановой группы Нечаева.

Ожидая плановика, я рассмотрел просторный кабинет. На стенах висели карты и панорамы Севера, эскизы паромов, которые будут перевозить железнодорожные составы через Обь и Енисей. От большого рабочего стола под прямым углом тянулся длинный ряд столов, покрытых зеленым сукном, вдоль которых стояли полированные стулья. На полу лежал посредине большой ковер, а по бокам в длину всего кабинета тянулись нарядные ковровые дорожки.

— Как у Надымской экспедиции с выполнением плана? — спросил Татаринov плановика.

— Не выполняют, Петр Константинович, — ответил плановик, разворачивая ведомость, испещренную цифрами.

— А вот он возражает, — кивнул на меня начальник.

— Сейчас доложу.

Нечаев стал называть цифры, водя пальцем по ведомости:

— Было запланировано, если взять в целом второй квартал, четыре миллиона рублей, а они израсходовали меньше трех. Так что план выполнили всего на шестьдесят два процента.

— Но это ведь хорошо! — обрадовался я, не понимая еще, в чем дело. — И работу выполнили, и деньги сэкономили.

— Ничего хорошего тут нет, — решительно заявил плановик. — Сколько запланировано главком, столько и тратьте, а еще лучше истратить немного больше... для перевыполнения плана, — уже менее уверенно заключил он и, как бы оправдываясь, добавил: — Ведь мы же по фактическим затратам работаем.

Снова «фактические затраты»! Я наконец понял всю нелепость такого планирования и, подумав, спросил:

— А на третий квартал нельзя этот план уменьшить?

— Нет,— решительно возразил Нечаев.— Даже на четвертый нельзя. План утвержден на весь год.

— Ну, так вот, пока что ваша экспедиция по выполнению плана на последнем месте, хотя вы и работали по графику,— заключил Татаринов.— Подтянуться надо...— как-то неопределенно и нетвердо, непривычным для себя тоном приказал он.

Я промолчал и подумал, что «подтягиваться» все равно не будем.

Согласовав место расположения деповской станции Пур, я попрощался с Татариновым и вышел в приемную.

— Борисов вас разыскивал,— сказала мне секретарша.— Позвоните ему на аэродром.

— А, трали-вали, князь Уренгойский,— услышал я веселый голос друга.

— Привет, дружище. Отправь меня домой,— попросил я его.

— Сегодня полетов больше не будет, отбой! — прокричал он.

Мы условились вечером сходить в клуб.

Борисов чистил пуговицы кителя, я утюжил выдавший виды костюм.

— Говорят, знаменитость будет выступать на концерте,— сказал он.

— Из заключенных? — спросил я.

— Да,— подтвердил он.

У меня отпала охота идти в клуб, и я предложил провести вечер дома.

— Ты что? Такой случай упустить? И так ведь как медведь живешь,— посмотрел он серьезно.

Пришлось уступить. Шли по улице, засыпанной толстым слоем опилок, с деревянными тротуарами по бокам. Игарка стоит на вечной мерзлоте, и от непролазной грязи город спасают опилки, которых деревообделочный комбинат выбрасывает целые горы.

Миновав комбинат, расположенный тоже в восточной части города, со штабелями леса и досок, которых хватило бы на строительство не одного города, мы увидели протоку, забитую кошелюми и бесконечными плотами леса.

Лес был всюду — и в воде, и на берегах, и на огромной территории комбината. Чуть пониже стояли океанские корабли разных стран. К ним подвозили на баржах тес, доски, бревна. Два корабля стояли у причалов.

— Этот из Дании,— показал Борисов на корабль водоизмещением не менее десяти тысяч тонн.— А вот тот из Англии, а за ним голландец.

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— Разве выпелов не видишь? — показал он на флаги кораблей.— Да и на комбинате сейчас аврал. Весь город мобилизован на погрузку судов, чтобы золото за простой не платить. Сегодня должны вот этот загрузить, а завтра за англичанина возьмутся. Вон к нему уже на рейд тес возят,— пояснял он.

У деревянного двухэтажного клуба толпился народ. «Билеты все проданы» — увидели мы табличку на окне кассы.

Только я подумал, что можно вернуться домой, как Борисов подмигнул мне и скрылся за входной дверью. Не прошло и пяти минут, как он вернулся с двумя билетами первого ряда.

— По блату? — поинтересовался я.

— Конечно,— засмеялся он.

Подожли грузовики, крытые брезентом. Первыми из них выскочили охранники с винтовками. За ними вылезли артисты с музыкальными инструментами, с какими-то тюками и чемоданами.

Сопровождаемые охранниками, они пошли в клуб с черного хода.

Проводив их взглядом, мы тоже пошли и сели на свои места. Публики было уже много, но первые ряды пустовали.

После второго звонка стали занимать и их. Приходили мужчины, в большинстве офицеры внутренних войск, с дамами в парадных платьях.

— Видал, трали-вали, что делается? — шепнул Борисов, показывая глазами на расфранченную публику.— В Москве таких не увидишь.

Прозвенел третий звонок, но занавес был неподвижен.

В задних рядах волновались, хлопали, просили начинать концерт. Передние ряды соблюдали спокойствие.

Только когда в широком проходе появилась полная дама в длинном платье из черного бархата со сверкающей брошью на высокой груди, публика в передних рядах заволновалась и словно по команде повернулась к проходу. Дама шла, не обращая ни на кого внимания, придерживая на плече палантин из чернубурой лисы. Следом за ней шел Антонов в военном парадном мундире.

В передних рядах мужчины вставали, приветствуя чету Антоновых. Антонов, удостоив немногих легким кивком головы, прошел с женой в единственную ложу у сцены.

Как только они сели, занавес поднялся.

Конферансье, уже немолодой мужчина, густо напудренный, с подведенными бровями, объявил программу концерта. Он с подъемом, повысив голос, объявил о предстоящем выступлении на концерте знаменитости. Рассказав две-три смешные, но давно избитые истории, он объявил:

— Первый номер: русская пляска!

На сцену вихрем влетели до десятка пар в костюмах балетных деревенских парней и девушек. Девушки были сильно размалеваны. Но даже сквозь густой грим на их лицах были заметны бледность и усталость. Плясали пары старательно и слаженно, лихо оттопывали ногами, склоняли друг к другу головы, а затем подбрасывали их так, что спустившиеся на лоб волосы вихрем перекидывались на затылок.

После пляски молодой артист спел арию Ленского. Потом была показана сцена из оперетты «Свадьба в Малиновке». Публика смеялась, бурно аплодируя.

Наконец выступила знаменитость.

Конферансье не перечислял ее артистических достоинств, но публика и так знала, что это бывшая заслуженная артистка, с успехом выступавшая в эстрадных концертах. Когда она вышла на сцену с высоко поднятой головой, придерживая рукой длинный шлейф прекрасного платья, в зале наступила абсолютная тишина.

Под аккомпанемент рояля она спела два цыганских романса и, поклонившись, вышла.

Гром аплодисментов и громовой бас Антонова заставили ее выйти снова.

— «Костер»! «Бродягу»! — кричала публика.

Артистка поклонилась и кивком головы пригласила подругу сесть за рояль. Она так же прекрасно исполнила «Костер» и «Бродягу», после чего ушла со сцены и, несмотря на крики и аплодисменты, больше не выходила.

Было уже поздно, когда мы с Борисовым вернулись на его квартиру, а утром я с попутным самолетом, летевшим в Салехард, возвратился домой.

В Уренгое по-прежнему стояли наши утлые жилища — палатки, а между тем зима была уже не за горами. Времени до наступления холодов оставалось совсем мало.

Ниже от нас по реке заключенные строили в своей зоне бараки, а за зоной — дома для охраны и начальства. Буксир притащил туда из губы баржи с «рабсилой», строительными материалами и продовольствием. Привезли также тракторы и автомашины. У нас ничего этого не было — даже гвоздей.

Разгрузившись, пароход потащил караван снова в губу к лихтерам. Хоть Пур по ширине и не меньше Таза, но мелководный. Лихтеры не смогли войти даже в его устье, и теперь строители вынуждены были все перегружать с них на баржи прямо на рейде.

Мы с Болотовым сидели в штабной палатке и гадали, как построить за два месяца жилье, чтобы разместить триста человек. От домов мы, правда, сразу же отказались и решили строить полужемлянки — это намного проще, да в них зимой и теплее. Но даже для полужемлянок нужен лес, нужны доски, тес, стекло, гвозди и многое другое.

Я позвал Аладына и Пономаренко, чтобы посоветоваться с ними.

— Материала достану сколько угодно, — не задумываясь, ответил Пономаренко.

— Что, опять в лагпункте корешей встретил? — улыбнулся Болотов.

— Хоть не корешей, но народ сюда прибыл на красотулечку, с ними можно дела делать. И в ЧОС¹ и в ЧТС² разбитные ребята, — хвалил Пономаренко. — Они мне обещали все, даже автомашину могут достать, только в разобранном виде и без кузова. Но кузов мы можем и сами сделать. А этого барахла — гвоздей, стекла, толя, цемента и всего, что нам нужно, вот так могу достать. — И Пономаренко провел ладонью по горлу.

— Хорошо, — согласился я. — Выписывайте заявки, и вместе пройдем к начальнику лагпункта.

— Зачем заявки? — возразил начальник базы. — Я так, без заявок, бесплатно все получу.

Мы недоумевали, а он горячился, словно у него отнимали последний кусок хлеба.

— Мне так, за пол-литра, все отпустят. Они столько потопили в губе при перегрузке в шторм, что наша заявка для них чепуха.

Он убеждал нас, прикладывая руки к груди, суетился, надеясь отстоять план своей «операции».

— Официально невозможно будет получить, — доказывал он. — Начальство закуражится, тогда все пропало.

— Ладно, хватит, — прервал я его. — Деньги у нас есть, мы даже план не выполняем из-за того, что меньше тратим, чем намечено, а вы еще хотите сэкономить.

Через день мы получили все, что нам требовалось. Даже автомашину лагпункт нам выделил и катер «Ярославец» дал сроком на два месяца. Все это мы оплатили через банк, чем повысили цифру, по которой плановики судят о выполнении нашего плана.

А Пономаренко все же раздобыл «слева» циркулярную пилу, но пообещал мне ее вернуть, как только закончит распиловку леса на доски. Он сам соорудил для нее раму, а вместо двигателя приспособил автомашину.

Циркулярная пила была установлена на раме как обычно, а автомашину установили строго по направлению приводного ремня и по его длине. Кузов машины приподняли на кюлочки, чтобы задние колеса могли свободно вращаться, не задевая земли. После этого автомашину хорошо закрепили и на заднее колесо надели приводной ремень. Шофер,

¹ Часть общего снабжения.

² Часть технического снабжения.

заведя мотор и включив скорость, увеличивал или уменьшал подачу газа в зависимости от нагрузки пилы.

Лес заготавливали вверх по реке, на берегу глухого залива, где росла хорошая лиственница. Оттуда сплавляли его небольшими плотами к фактории.

У нас не было плотников, и пришлось пойти еще на одно упрощение — строить здания в забирку. В строительстве таких зданий не требуется квалификации — нужно только владеть топором и иметь смекалку. По контуру здания через каждые четыре—шесть метров вкапывались столбы, в которых предварительно вырубались пазы шириной около десяти сантиметров и глубиной около пяти сантиметров. В угловых столбах такие пазы вырубались под девяносто градусов друг к другу, а в стеновых — с противоположных сторон. У заранее отесанных бревен запиливались конусы и обрубались так, чтобы толщина оставшихся прямоугольников соответствовала размерам пазов на столбах. Такие бревна укладывались между столбами с прокладкой мха.

На самом верху стен делалась обвязка из длинных бревен, скреплявшая между собой столбы. Это была, пожалуй, самая трудная задача, так как в обвязке приходилось делать углубления для столбов, верх которых обделывался в виде толстых штырей.

Марина выбрала место для нашего домика на берегу Пура, недалеко от дома Вассы Андреевны. К Малькову, Болотову и ко многим другим сотрудникам прилетели жены, и они решили строиться рядом с нами.

Одну за другой вокруг фактории начали строить до двадцати полужемлянок. Опять до ночи горели дымокуры, пахло горелой хвоей.

Каждый вечер после работы я тесал бревна, ставил столбы с пазами и в них закладывал одно за другим бревна. Марина не покидала меня. Она подносила мох, раскладывала его на бревна, поправляла дымокур. Только поздней ночью мы возвращались уставшие в свой старый домик.

8

К середине августа строительство столбовой линии шло уже по всей трассе. Было приказано к зиме соединить Салехард с Ермаковым, чтобы все лагпункты на протяжении более тысячи километров имели телефонную связь.

К августу все наши партии построили в тундре временные площадки для самолетов ПО-2. Наши летчики садились на этих площадках длиной всего сто пятьдесят — двести метров. Авиацией решили пользоваться и строители. В Уренгой прилетело еще три самолета, и теперь все пять ПО-2 с утра до ночи возили людей, проволоку, изоляторы. Отряды строителей были разбросаны по всей тундре. От их костров вдоль всей трассы начались пожары — горели подсохшие за лето торф и мох, горела ягельная тундра. На сотни километров с запада на восток стлалась полоса дыма.

Нам с Болотовым приходилось каждый день бывать то в одной, то в другой партии.

Теперь рядом с партиями размещались заключенные с охранниками и прорабами. Они шли по пятам изыскателей, перетаскивая на пять—десять километров по тундре техническое имущество. Жили они в наспех построенных шалашах из веток и мха. Комары разъедали их тела, от болотной жижи не просыхала одежда. Охранники уже не ходили за ними, а только вечером вели им счет. Для столбов местами совсем не было леса, и тогда заключенные уходили очень далеко и возвращались через два-три дня, таща тяжелую ношу; но их было много, они спешили, чтобы до холодов вернуться на свои лагпункты, и каждый отряд продви-

гался в день по километру и больше. Появились первые могилы в бесплодной полярной земле. Их рыли в вечной мерзлоте неглубокими и засыпали, положив человека в чем был, без гроба.

Зима была близка. С севера потянулись стаи уток, гусей, лебедей. А вслед за ними надвинулись снежные тучи. Не успевшие улететь птицы прятались в прибрежной траве. Но зима здесь наступает не сразу, через день началась оттепель, и перепуганное племя крылатых снова зашепило на юг.

Мы уже заканчивали строительство своего поселка и были готовы принять на зиму весь состав экспедиции. Пономаренко, руководивший строительной группой, ежедневно не без гордости докладывал: «Столовую откроем завтра», «Вечером будет электричество во всем поселке». А на следующий день он сообщил: «Вечером будет кино, можно крутить хоть три картины».

К этому времени мы с Мариной переселились в новый дом. Там была крохотная кухня, столовая и спальня.

К нам из главка должна была прибыть комиссия. Пономаренко готовился встретить ее с шиком. В столовой стряпались пельмени. Теревили уток, куропаток, готовили печенье. Не в меру пылкого хозяйственника приходилось сдерживать.

Мне приказали встретить комиссию в Надыме — на границе участка нашей экспедиции.

Встречать комиссию мы вылетели с Волоховичем рано утром. Час летели над долиной Ево-Яхи, потом над водоразделом с Надымом. Под крылом проплывала голая тундра. Я смотрел на места, где не раз бывал летом. Здесь было все знакомо, вплоть до каждого озера и гидролоколита. Мерно стучал мотор самолета. Обозревая хмурый горизонт, я лениво думал: что нового нам скажут москвичи?

Но вдруг самолет затрясло, мотор застучал, и вслед за этим все стихло. Я почувствовал неладное и посмотрел на летчика. Миша повернулся ко мне. Его лицо было встревоженным, но он нашел в себе мужество даже пошутить:

— Спускайте лестницу, винт лопнул.

Винт вращался на малых оборотах, и я ничего не мог понять. Но как только летчик дал газу, самолет снова затрясло так, будто он вот-вот разлетится на части. Волохович опять выключил мотор.

До Надыма оставалось еще больше ста километров. Казалось, уже нет никакого спасения. Я был уверен, что в этих буграх мы разобьемся насмерть или искалечимся. Я подумал о Марине.

Тем временем самолет продолжал планировать, и непривычная тишина действовала угнетающе. Чтобы не поддаться страху, я стал наблюдать за летчиком. Он мельком взглянул на карту и, видимо, на что-то решившись, стал добавлять газу. Самолет снова затрясло, но летчик убавил обороты, и трясти стало меньше. Мы постепенно приближались к земле.

— В случае чего садись на болото, все мягче будет,— посоветовал я Мише.

Он обернулся, но ничего не ответил, чуть добавил на короткое время газу и продолжал планировать левее нашего маршрута. А бугристая тундра медленно проплывала под нами и словно притягивала нас к себе. Вот уже можно было хорошо различить каждый бугор и еще не замерзшую воду во впадинах. Самолет затрясло сильнее. Я увидел узкую полосу воды.

— Хетта! — закричал Миша.

Мы были совсем низко над землей. Миша тянул свой ПО-2 к реке. Вот она уже совсем близко, видны маленькие песчаные косы. «Только бы не

зацепить за деревья»,— успел подумать я. Мы пронеслись над самыми их вершинами, а за ними начиналась уже песчаная коса, и самолет плюхнулся на нее.

Кажется, я еще никогда в жизни не был так счастлив.

Произошла, на взгляд профана, пустячная авария: один конец деревянного винта как-то расщепился по склейке, и кусочек его, длиной всего сантиметров пятнадцать, отлетел. Но этого было довольно, чтобы винт был уже непригоден. Только благодаря вот этой маленькой песчаной косе мы остались целы и невредимы.

Прошла радость, забывался страх, и мы стали думать о том, как добраться до Надыма. Нас найдут, но какой будет переполох! Ведь Марина уже следит по радио за Надымом, ожидая сообщения о нашем прилете. Пройдет еще час-другой — и всем будет ясно, что с нами что-то стряслось.

Мы достали НЗ и, открыв банку консервов, поели. Миша, прошагав косу, сказал: «Маловато»,— и задумался.

Подул холодный ветер вдоль реки.

Затянувшись папироской, летчик сказал:

— Надо лететь.

С этими словами он достал инструмент, кусочек дерева, клей, гвозди и стал чинить винт. Вырезав деревянную пластинку, он приклеил ее вместо оторвавшегося куска. Затем распрямил консервную банку, обернул ею весь конец винта и тщательно прибил мелкими гвоздями. Долго ровнял и зашлифовывал, потом полез в кабину и велел мне заводить винт.

— Контакт! — крикнул летчик.

Мотор завелся. Винт работал нормально, самолет не трясло.

— Порядок! — крикнул он и, подогнав самолет на самый конец косы, развернул его против ветра.

Лететь, конечно, было опасно — особенно взлетать,— но мы решились на это, так как другого выхода у нас не было: на такую косу вряд ли кто рискнет садиться, чтобы снять нас с нее.

Самолет встрепенулся и побежал с места, набирая скорость. Вот и конец косы. Встречный ветер подхватил легкую машину, и она повисла в воздухе, тарахтя мотором.

Мы решили не рисковать и лететь только вдоль Хетты, где были песчаные косы, чтобы в случае чего можно было опять сесть.

Хетга впадает в реку Надым выше фактории, до которой мы, сделав небольшой круг, благополучно добрались.

Комиссия главка была уже там. Сопровождал ее Татарин.

Председатель комиссии, высокий, пучеглазый и лысый инженер-полковник Черенков, усомнился в правдивости рассказа о наших приключениях, посчитал все за сказку и даже выразил недовольство моим опозданием. Мы не стали оправдываться, хотя нам довольно было бы показать отремонтированный «подручными материалами» винт.

До самого вечера комиссия рассматривала проект моста через реку Надым и подходы к нему железнодорожной трассы. Мост проектировала Обская экспедиция, а от него на восток начинался участок нашей Надымской экспедиции, где работала партия Александра Васильевича Соколова. Он был тоже здесь, и мы свои решения отстаивали вдвоем.

Когда поздно вечером закончилось совещание, мы вышли с Татаринным на свежий воздух.

Шел снег, подмораживало.

— Ну, держись! — сказал невесело Татарин.

— А что? — удивился я.

— Что-то они настроены против тебя и Рогожина. Особенно Черенков.

— Чем же мы разгневали начальство? — невольно усмехнулся я: в памяти слишком живы были морозы, поездки на нартах, бессонные ночи в тундре.

— Не знаю, письма какие-то есть, — неопределенно сказал он и добавил: — Рогожин там женится-переженится, а ты ему потворствуешь...

— Во-первых, он еще не женится, об этом даже еще и не условился. А во-вторых, почему бы ему и не жениться? Ведь он с прежней женой уже три года не живет.

— Развестись ему сперва надо, — нехотя, как-то даже смущенно пробурчал Татаринов.

— Легко сказать развестись, когда он ездит с места на место, — вступился я, — а для развода надо не меньше полугода сидеть вблизи народных и городских судов.

— Ну вот, пусть и оправдывается перед ними, перед судьями...

— Оправдываться ему пока не перед кем и не в чём. И объяснений он комиссии дать не может, его в Уренгое нет, — сказал я. — Он еще на трассе и прибудет только к празднику.

— Придется вызвать.

— Разве сплетни дороже работы?

— Иногда надо считаться с ними, — вздохнул Татаринов.

Я понял, что Татаринов встревожен за нас, и решил пока не возражать, а только спросил:

— Сплетни из Уренгоя?

— Кажется, да.

— Тогда понятно. Это Метелкин, бездельник. Рогожин его весной пробрал и назвал его тем, что он есть на самом деле.

— В общем, есть указание разобраться с Рогожиным, — заключил мой начальник.

— Тем более, — зло добавил я, — что папаша Метелкина в соответственных местах работает.

Татаринов промолчал. Поколебавшись и подумав, он все-таки спросил меня:

— Скажи, а это верно, что твоя супруга дочь белого генерала?

Я совсем опешил и не знал, что ответить, но потом спросил Татаринова:

— Человек, родившийся в девятьсот первом году, мог быть белым генералом?

— Да нет, шестнадцати лет для такой персоны, пожалуй, маловато! — рассмеялся он.

Мы пошли на край фактории. Я ждал, какими еще новостями меня порадует начальник. Но Татаринов молчал. Тогда я сам попросил его рассказать, чего нам ждать от комиссии.

— Волоховича там снова разбирали... Но это, пожалуй, к вам не относится, больше к Борису.

— А что случилось с Волоховичем? — встревожился я.

— Есть приказ Волоховича, как бывшего военнопленного, уволить из авиации вовсе.

После пережитого тяжелого дня этих новостей мне было достаточно. Я только подумал: «Как же трудно будет против них бороться. Никто даже слушать не станет, как нам было тяжело осваивать сотни километров полярной земли. Будут трясти Рогожина, который сквозь пургу привез из Самбурга первых людей в Уренгой. Не поинтересуются тем, что сам он попросил для себя самый отдаленный, тяжелый участок. И как защитишь Волоховича, который, рискуя своей жизнью, решил принять ЛИ-2 и тем самым обеспечил начало работ экспедиции в срок?.. — Лежа на топчане, я продолжал думать: — Да, комиссия сей-

час увидит вместо ненецкой заезжей и палаток в снегу поселок с электрическим светом... И подумают: как здесь все просто и хорошо на Севере! Не работа, а удовольствие...»

Утром мы все вылетели в Уренгой.

Черенков, сидя на кресле второго пилота, приказал Борисову лететь точно по трассе. Я стоял сзади него и показывал, где она проходит. Летели на высоте двухсот метров. С севера дул ветер, над нами проносились черные рваные тучи. ЛИ-2 сильно бросало.

Здесь, как и у Таза, на всем протяжении стояли телеграфные столбы и после прохода отрядов связистов было много следов пожара. Борисов легко ориентировался по столбам и гари. Мне оставалось только рассказывать полковнику о тундре, об озерах, о болотах и о вечной мерзлоте. Когда самолет достиг реки Ево-Яхи с узкой полоской леса в ее долине, стало видно и просеку трассы. Долетев до Пура и покрутившись над местом, где будет строиться мост, Борисов посадил самолет против Уренгоя на песчаную косу.

Пономаренко, встречая гостей, шепнул мне:

— Все подготовлено...

Я пригласил Татаринова и Борисова к себе. Геологи пошли к Болотову, других тоже пригласили знакомые сотрудники. Черенкову, конечно, подготовили особое помещение, но он не захотел быть один. Татаринов незаметно толкнул меня, и, поняв его намек, я пригласил к себе и Черенкова.

Марина — гостеприимная хозяйка и, не зная, кого принимает, подала на стол закуску и пельмени. Черенков иногда искоса поглядывал то на нее, словно старался распознать, действительно ли она дочь царского генерала, то на семейную фотографию Марины, на которой были она с братом и ее мать с отцом.

Выпили спирту, закусили. Марина предложила выпить и за наше новоселье.

Черенков, узнав на фотографии Марину, попросил рассказать, кто там еще изображен.

— Это папа, это мама, а это брат, моряк тихоокеанского флота, — ответила она.

Полковник похвалил фотографию, молодежавого отца и, фыркнув про себя, попросил налить еще.

Татаринов пощипал коротенькие усики и, усмехаясь, кивнул мне.

— Ни о каких делах сегодня не будем говорить, а то хозяйка заскучает, — властно распорядился полковник. — А почему у вас фамилия литовская? — спросил он, однако, Марину, хотя и это как будто было отчасти делом.

— Да это еще от прадеда, которого в восемьсот шестьдесят третьем году сослали под Иркутск, — не подозревая причины любопытства полковника, ответила она.

— Понятно... — протянул он и, видимо, уже совсем успокоившись насчет родословной Марины, развеселился.

Поговорив еще о пустяках, поднялись было расходиться. Но Марина предложила гостям остаться у нас, и все согласилось с охотой. Полковник и Татаринов принялись за чай, а мы с Борисовым пошли к Пономаренко, чтобы взять у него койки и постели.

— Понимаешь, тентель-вентель, что получается? — вздохнул Борисов, когда мы вышли из дому. — Капитан из отдела кадров привез с собой приказ об отчислении Волоховича.

— И неужели мы не сможем его отстоять? — напустился я на друга.

— Капитан говорит: нет. Придется мужику, видно, расстаться со штурвалом.

— А почему нам не вступить за него? — настаивал я. — Характеристику напишем. Ведь он так много сделал здесь, на Севере!

— Чихали там на характеристику. Ее и читать не будут. Есть установка. Только Волоховичу хуже сделаем. Скажут: сумел втереться в доверие. Понял?

Мне Волохович и раньше был очень дорог. А ведь вчера он спас мне жизнь! В моей голове никак не укладывалось, как можно вдруг, ни с того ни с сего надругаться над человеком, да еще над каким...

На другой день кадровик из главка, капитан войск внутренней охраны, вызвал нас с Борисовым и вручил в присутствии полковника два приказа. Первый — уволить Волоховича, второй — уволить Марину. Я, видимо, очень уж недружелюбно посмотрел на полковника, потому что он, словно что-то вспомнив, взял приказ об увольнении Марины и, повертев его в руках, сказал капитану:

— Ее увольнять нет оснований. До окончательной проверки переведем на другую работу.

Капитан пожал плечами и грубо заявил:

— Я категорически возражаю.

— Хорошо, возражайте. Это я беру на себя и перед главком сам отчитаюсь.

— А какие есть основания отстранять ее от работы радистки даже на время? — спросил я полковника.

— Заявление есть, нужно проверить. Формальность... — успокаивал он меня.

— Проверку она еще весной прошла, — твердо заявил инспектор по кадрам экспедиции Шевелев.

— Это ничего не значит, — возразил капитан.

Этой дерзости подчиненного полковник Черенков уже не мог стерпеть. Он вскипел, глаза у него стали совсем круглые и бесцветные. Спрятав приказ о Марине к себе в папку, он заявил:

— Никакого приказа вообще не будет.

Капитан промолчал.

— А в отношении Волоховича сделать ничего не могу, — сказал Черенков мне. — Это не от меня зависит.

После этого он сейчас же приказал собрать совещание по техническим вопросам. Все-таки он был инженером и, видимо, тяготился подобными делами.

Три дня рассматривали мы направление трассы, перевернули сотни фотосхем, тысячи снимков, выслушали всех вызванных начальников партий и геологов, пересмотрели сотни полевых журналов. Все пятнадцать членов комиссии работали добросовестно с утра до вечера. В результате направление трассы было утверждено и работа экспедиции признана хорошей.

О Рогожине никто вопроса не поднимал — видимо, подействовала моя жалоба секретарю райкома партии, который случайно, проездом, оказался в Уренгое. Он, правда, тут же улетел в Салехард, но успел поговорить с полковником. Мы с Борисовым просили его походатайствовать и за Волоховича. Но он сказал, что вряд ли сможет что-либо сделать, хотя и сожалел о случившемся.

Пятнадцатого октября ударил настоящий мороз. По реке пошла шуга, катер и лодки пришлось вытащить на берег. А вечером этого же дня состоялось заключительное заседание комиссии. Все так устали от речей и споров, что заседание закончилось неожиданно быстро.

— Показал бы нам свою невесту, — приставал Борисов к Рогожину, когда мы возвращались из штаба.

— Я сам посмотрел бы, с весны не видел,— отшутился Александр Петрович.

— А говорят, вы на одной перине спите.

— И строганину медицинским спиртом запиваем,— добавил Рогожин.

— Вот-вот, в этом роде,— поддакнул Борисов.— Ты только смотри, держи ухо востро. А то знаешь, как за тебя Татаринов сцепился с капитаном? Я думал: пришло трали-вали отделу кадров...

— Не все кадровики плохие,— уже серьезно сказал Рогожин.— Одни с коллективом живут, каждого человека знают, а другие всю работу свою на доносах и анонимках строят. Начитается иной кадровик таких писем, и взъярится его душа, и в такую он злость войдет, что готов растерзать человека. А отчего это? Неумные люди воображают, что если им известно что-то тайное, как они умнее и лучше всех. Может, поэтому и стараются при всяком случае раздувать свое кадило. Только вот какой свягыне они кадят? Один такой мне заявил, что он больше, чем писатель, инженер человеческих душ: какую захочет, такую душу и построят. Я ему чуть в рожу не дал.

Комиссия теперь уже не смотрела на нас с подозрением и разрешила даже выдать к празднику премии. Мальков и Метелкин хоть и продолжали шептаться с капитаном, но вели себя не так вызывающе, как в первый день приезда комиссии. Коллектив от них отвернулся.

Утром хватил мороз до тридцати градусов. По реке шла сплошная шуга, смерзаясь в льдины.

С нашей площадки, из поселка, самолеты ПО-2 перевозили членов комиссии на косу, где стоял ЛИ-2. Вскоре заработали его моторы, и, взлетев, он взял курс на Игарку.

Волохович собирался завтра лететь в Салехард попутным самолетом. Мы решили устроить ему хорошие проводы.

Его любили все — взрослые и дети. С ним многие летали над этой угрюмой землей, всегда веря в его талант летчика и в его мужество. Жаль было расставаться с ним, обидно было за него. А он еще успокаивал нас:

— Ничего, буду на заводе работать, руки есть, не пропаду. Вот только жить теперь, наверно, разрешат в любом городе — минус шестьдесят городов.

— Эх, не тебе бы это терпеть,— вздохнул Вася, обнимая товарища.

— Помалкивай, а то опять напишут,— сказал громко Рогожин, оставившись на Метелкина, который решил прийти на проводы без приглашения.

— Ну и хрен с ними,— махнул рукой Болотов.

Разошлись поздно ночью. Утром проводили Мишу в Салехард, а всех начальников партий на их участки, чтобы готовить эвакуацию партий в Уренгой.

После ледостава первыми прибыли в Уренгой на оленях ближние партии Хмелькова и Абрамовича. За ними — партии Амелянчина и Моргунова. В Уренгое стало тесно. Посреди поселка стояло два десятка чумов, а вокруг них с полсотни нарт. Русская речь смешалась с ненецкой, всюду слышались крики и смех людей, непрерывный лай и грызня собак.

Ненцы спешили получить расчет и осаждали Пономаренко. Он должен был снабдить их продовольствием и всем необходимым на зиму, как было предусмотрено договором Ненцы торопились на охоту за пушным зверем или в свои олени стада. «Белка шапка!» — слышалось

тысячи раз в день, и Пономаренко крутился с утра до ночи. В помощь ему и кладовщику Аладьин дал Пугону — самого грамотного ненца. Но, кроме помощи, нужно было еще и присматривать за нашим бойким хозяйственником...

Первого ноября мороз дошел до сорока, а партии Соколова и Рогожина были еще в пути. Можно было бы послать за ними самолеты, но новые летчики не знали местности и опасались садиться на мелкий и еще рыхлый снег. Как я жалел, что нет Волоховича! Он в паре с Васей давно перевез бы всех в Уренгой, нашел бы площадки на замерзших озерах или в других местах.

Я послал Васю на рекогносцировку, чтобы узнать, где движутся партии. Холодный мотор долго не заводился, мерзло масло. Днем стало немного теплее, и ПО-2 поднялся в воздух. Вася слетал на восток, потом на запад и, вернувшись, сообщил:

— Соколов уже в долине Ево-Яхи, а Рогожин еще не перевалил водораздел от Таза к Пуру. Обе партии держатся телеграфной линии.

К вечеру температура поднялась и пошел снег, ночью начался ветер, а утром на Уренгой налетел вихрь страшной силы. Он с шумом пронесся над домами-полуземлянками и чумами. Все содрогалось. Тучи снега поднялись вверх и закружились, словно небо стало темным омутом. Мы с Мариной прислушивались и ждали.

И вот все затрещало, завывало. Я хотел выйти на улицу, но меня тут же закидало снегом. Ветер сбивал с ног. Кругом было только одно беснующееся белое и холодное месиво. Это не было похоже ни на снежные метели русской степи, ни на сибирские бураны. Ветер и снег как будто решили свести последние счеы с землей.

Двое суток хозяйничала пурга. Но вот красная черточка на термометре поползла вниз, и пурга унеслась вслед за рваными тучами.

Люди рыли проходы в снегу, откапывая жильё и занесенные дрова.

Днем в штаб с радиостанции прибежала взволнованная Марина: тяжело заболел Рогожин. В радиограмме было указано место, где находилась его партия. Я вызвал нового командира звена Тамбовцева и рассказал ему о несчастье.

— А кто нам обеспечит там площадку для посадки? — неуверенно спросил пилот.

— Надо самим выбрать, поблизости от их чумов. Они после пурги еще не двигались, — пояснил я и, усвоив опыт Волоховича, добавил: — Там озер много, все они хорошо замерзли. А может, присмотрите с воздуха другое место, сейчас ведь везде снег и на лыжах можно сесть.

— Попытаемся, — ответил Тамбовцев.

Но сесть он не рискнул, и Рогожина повезли в Уренгой на нартах.

Вася полетел в Тарко-Сале за Ниной Петровной, с ней должен был прибыть и фельдшер, чтобы постоянно остаться у нас в поселке. Мы выделили им одну землянку под медицинский пункт, поставив там кровать для больного Рогожина. Но Нина Петровна не полетела прямо к нам, она уговорила пилота слетать с ней навстречу Рогожину и посадить его с нарт на самолет. Вася стал было сопротивляться, но Нина Петровна резко сказала ему: «Я врач и могу требовать. Везти тяжелобольного на нартах — преступление!» Вася завел снова мотор, и через два часа они вернулись с Рогожиным.

Больной еще бодрился. К вечеру ему стало хуже.

— Как дела? — спросил я Нину Петровну.

— Смотреть да смотреть за ним нужно, — ответила она и смотрела за ним днем и ночью.

Мы с Мариной полагали ей, чем могли. Когда ее одолевал сон и она дремала, уронив голову на стол, мы следили за больным. Но через

десять минут Нина Петровна испуганно вскакивала, кидалась к кровати, торопливо ища пульсирующую жилку на руке больного, ставила ему термометр. Ртутный столбик взлетал вверх: до предела человеческой жизни оставалось всего несколько черточек...

Иногда изо рта Рогожина вырывались бессвязные звуки.

— Что ты говоришь? — негромко спрашивала Нина Петровна.

Больной не отвечал. Только на четвертый день мы впервые услышали:

— Пить...

Нина Петровна налила воды. Больной выпил немного и вздохнул глубоко, с таким облегчением, будто ради этого глубокого вдоха и шла борьба между жизнью и смертью все последние дни.

Рогожин стал быстро поправляться. Через десять дней он был уже на ногах. А еще через неделю они с Ниной Петровной сидели в нашем доме, не спуская друг с друга глаз. Потом Нина Петровна уехала на нартах в Тарко-Сале, чтобы сдать свои дела, а Рогожин подогнал камералку, чтобы получить отпуск. Через месяц они встретились в Салехарде и вместе уехали на юг.

9

— Ну и термометр, хоть выбрось! — ворчал Аладьин, рассматривая ртутный столбик.

— Чем недоволен, помощник? — Я взглянул через его плечо на термометр.

— Да вот третий день как свернулась ртуть. Так и не определишь, какой мороз.

— А разве тебе пятидесяти пяти мало? — показал я на нижнюю черточку.

— А может, шестьдесят?..

Небо было ясное, как нержавеющей сталь, но дышать было трудно. В легкие словно врывались потоки льдинок.

За сотни шагов был слышен малейший шорох. Казалось, что для звуков больше нет расстояний, они могли бы смешаться в один хоровод. Но кругом было тихо. Люди сидели по домам, даже собаки не лаяли и, свернувшись, дрожали в своих конурах. Только, как пересохший пергамент, хрустел снег.

Зима торжествовала. Солнце показывалось на два-три часа и, проплыв над горизонтом, скрывалось.

— Что нового? — спросил я однажды Марину, войдя на радиостанцию.

— Телеграмма из Москвы, — подала она бланк с текстом.

«Обязываю главного инженера строительства Цвелодуба, начальника Северной экспедиции Татарина, — стал я читать, — а также руководящих инженерно-технических работников строительства и Северной экспедиции проехать в январе по всей трассе железной дороги от Игарки до Салехарда и на месте наметить мероприятия по строительству дороги в зимних условиях. Начальникам экспедиций Енисейской, Надымской и Обской обеспечить передвижение группы оленьим транспортом и лично сопровождать по своим участкам. О поездке представить подробный отчет. Исполнение доложить. Начальник главка Гвоздев».

— Вот это задал задачу генерал! — покачал я головой. — Шутка сказать, пройти путь в полторы тысячи километров целиной, без дороги, по глубокому снегу, по всей полярной земле!

«Фантазия», — подумал я и отложил телеграмму.

Но через три дня Марина приняла еще одну телеграмму из Игарки.

«Исполнение распоряжения товарища Гвоздева через десять дней

предлагаем быть на Тазу. Сообщите, когда там будете сами тридцатью оленьими упряжками. Татаринов».

Сжавшаяся в термометре ртуть не поднималась, температура была ниже пятидесяти пяти по Цельсию. По-прежнему было тихо, над домами и землянками ни на минуту не опускались столбы дыма. Они свечой поднимались вверх и, растворившись в морозной дымке, не оставляли следа. Даже ненцы теперь редко появлялись на фактории. Они сидели в чумах и ожидали, когда потеплеет.

Но дело с поездкой принимало крутой оборот. Мне не хотелось подводить Татаринова, и в то же время я не верил, чтобы он в такой мороз рискнул ехать.

В середине дня пришел Пяк, приехавший из тундры за продуктами. Я рассказал ему о предполагаемой поездке на Таз, но он твердо сказал:

— Не терпит, всем халмер будет.

— Кому халмер? — словно не поняв, попросил я разъяснить.

— Людям халмер, оленям халмер, всем халмер,— сердито подтвердил он.

Я стал уговаривать его поехать на Таз.

— Моя тоже халмер не хочет. А твоя разве хочет? — посмотрел он на меня.

— Также не хочет,— улыбнулся я.

— Тогда пиши: не терпит.— С этими словами он направился к выходу. У порога он еще остановился и, хитро прищуря глаз, сказал: — Москва такой мороз нет, там всегда терпит.

Довольный своей остротой, он, засмеявшись, вышел на улицу. Через открытую дверь влетело морозное облако, разбегаясь по полу.

Я тут же написал телеграмму в Москву Гвоздеву и в Игарку Татаринovu, что отправляться в такой далекий путь на оленях при шестидесятиградусном морозе безрассудно. Еще через два дня я получил из Москвы нахлобучку, а от Татаринова сообщение, что они уже выехали из Ермакова на автомашинах в Янов Стан. Нам ничего не оставалось делать, как готовиться в дорогу.

Пономаренко предложил построить на нартах кибитки и в них поставить маленькие железные печки. Хотя это было смешно и неизвестно было, как эти кибитки проедут по тундре, но пришлось согласиться. А мороз совсем расвишел.

Аладин перечислял морозы, называя их. «Рождественские прошли, сейчас крещенские, а впереди еще сретенские будут»,— говорил он.

Татаринов с Цвелодубом и со всей свитой хоть и добрались с приключениями до Янова Стана, но, как сообщила нам Марина, узнавшая это от радиста Татаринова, дальше двигаться не собирались. Автомобильную дорогу дальше Янова Стана заключенные еще не расчистили. До Таза им предстояло проехать на оленях по тундре еще сто пятьдесят километров, а это займет по меньшей мере две недели, если вообще они доберутся туда живыми...

Мне сшили необыкновенную по размерам доху из оленьих шкур и меховые чулки (которые я не раз примерял) с собачьими унтами, и я был готов окунуться в холодную пустыню, чтобы выполнить нелепый приказ высокого начальства.

Ежедневно я узнавал от Марины, что делается в Янове Стане и когда оттуда выедут,— хотя и знал, что никуда они не поедут, да и мне ехать было не на чем: ненцы по-прежнему отказывались отправляться в далекий путь.

Марина узнала, что Татаринов шлет через Игарку телеграммы в Москву министру об отмене поездки. Охотно делившийся с ней новостями радист передавал, что они жарят шашлыки из оленины.

Кибитка моя стояла на нартах. Приехавшие в Уренгой ненцы, глядя на нее, смеялись.

— Все равно халмер будет, — говорили они. — Куропашкин чум, и то не поможет. Такой мороз надо с пучей в чуме лежать.

Ненцы уже успели обморозить щеки, носы, подбородки. Мороз был такой свирепый, что стоило побыть на улице десять минут, как незаметно прихватывало лицо.

Наконец Марина приняла приказ заместителя министра, отменяющий эту никому не понятную поездку.

Чего хотел добиться генерал Гвоздев, бросая нас надолго в объятия полярного холода? Может, хотел доказать, что на Севере, где строится эта дорога, не так сурова зима? А может, наоборот, начитавшись Джека Лондона, хотел сделать из нас «покорителей белого безмолвия»? Но мы уже были покорителями — в пределах разумного...

Маленький Уренгой окружала белая безмолвная тундра. Даже в самом поселке ничто не нарушало тишины, нависшей над полярной землей; только в лесу иногда трещали деревья, раздираемые холодом, да падали с них комья снега.

Когда на небе начинали мерцать звезды, огромные стрелы и полотнища северного сияния заслоняли их, трепеща и перемещаясь по небосводу желтыми, пурпурными и зелеными переливами. Временами оно затухало, но потом с новой силой и в еще более ярких красках взвивалось от горизонта до зенита, прорезая холодный небосвод.

10

Пришла весна. За зиму мы успели закончить все камеральные работы и проверить правильность проложенной нами трассы. Оказалось, что на отдельных, наиболее трудных участках бугристой тундры можно найти новые, лучшие варианты. Найти их нам помогли летние работы. В изысканиях железных дорог это обычная история: чем больше вариантов, тем легче и экономичнее можно будет построить дорогу.

Изменения в трассе были продиктованы в некоторых местах наличием пригодного грунта для отсыпки насыпей. Мы теперь хорошо знали тундру. Геологи еще летом обследовали огромные ее пространства и могли сказать строителям, откуда брать грунт. Они страшно обрадовались, найдя в долине Ево-Яхи гравийно-песчаный материал, годный для балласта. Эти совсем редкостные в тех местах отложения, оставленные мощными потоками талых ледниковых вод, позволяли намного удешевить строительство дороги.

Надо сказать, что здесь, у Полярного круга, где вся земля скована вечной мерзлотой, в руслах рек мерзлота отсутствует, а на левом берегу реки Надым были встречены даже песчаные дюны — такие же, как в знойной пустыне: высота дюн нередко достигала пятнадцати метров и более. И не удивительно, что рядом с безжизненной, угрюмой тундрой в долине рек живет роскошный кедровый лес.

Итак, второе лето в Заполярье мы встречали уже старожилками, зная о тундре почти все, что должны знать изыскатели. Партии заранее были оснащены, в тундре уже давно стояли изыскательские домики и склады, в которых хранилось заранее завезенное продовольствие. У нас не было спешки, как в первую весну: весь наш пятисоткилометровый участок строители разделили на два плеча — от Надыма до Уренгоя должно было строить Обское управление, а от Уренгоя до Таза — Енисейское. Оба управления вели пока работы за пределами участка нашей экспедиции, и мы могли спокойно заниматься изысканиями. Единственно, что нас беспокоило, это вода в тундре для снабжения паровозов и поселков:

озера и речки здесь зимой промерзают до дна, и задача водоснабжения была нелегкой. Оставалась одна надежда на скважины; мы готовились к глубокому бурению в вечной мерзлоте и в руслах речек, имея смутные надежды на подрусловые потоки.

Читать подробное описание наших работ во втором году было бы мало интересно — это походило бы на технический отчет. Скажу только, что работали мы с неменьшим подъемом, чем в первое лето. У меня, Рогожина (который еще до распутицы вернулся в Уренгой, оставив Нину Петровну в Томске учиться на курсах повышения квалификации), да и у всех окрепла вера в надобность дороги. Самый размах строительства укреплял эту веру. На западном и на восточном участках дороги оба строительные управления должны были в 1950 году проложить сорок километров железной дороги, а это для Заполярья очень много. Страна посылала экскаваторы, автомашины, строительные материалы и много другого. Правда, когда мы читали газеты и журналы, слушали радио о великих стройках на юге страны, нам иногда было обидно, что про нашу не менее величественную стройку никто не пишет; но мы понимали, что, возможно, писать о ней еще рано или что писать и говорить о ней в условиях начавшейся «холодной войны» вообще не стоит. Мы были уверены, что делаем для страны и народа ценное, доброе дело. У всех в памяти были походы «Седова», «Красина», «Челюскина», слава пролагателей Великого Северного морского пути, соединяющего европейский и азиатский Север нашей страны, делающий доступным Северный Ледовитый океан с его предполагаемыми природными богатствами. Но, при любом героизме и мастерстве мореплавателей, Северный морской путь не может быть круглогодично непрерывным; мы же своим трудом дадим то, чего нельзя получить от ледового моря... Так думали все — или почти все.

Благодаря столбовой линии связи у нас в штабе стоял селектор, и мы всегда знали, что происходит на строительстве. Передавались сводки выполненных работ за день, выработки экскаваторов, продвижение укладки, открытие движения по новым мостам и многое другое. Зимой, когда затихали работы, мы иногда слушали селекторные совещания, проводимые Антоновым. Начинал он их почти всегда поздно ночью. В это время на линии других разговоров уже не велось и слышимость была хорошая. Антонов любил именно по селектору — чтобы слышала вся линия от Ермаково до Уренгоя — делать «оттяжки» своим большим и маленьким подчиненным. Его разнос слушали одновременно сотни руководителей. Он часто повышал голос, перебивал оправдывающихся, требуя повиновения. В конце совещания он произносил примерно такие речи:

«Сколько раз я говорил вам держать нос по ветру — и тогда вы будете все видеть вокруг себя. Нужно не замыкаться в своей скорлупе, а думать и обсуждать назревшие моменты. Надо вовремя преодолевать трудности, иначе они засосут вас в первом же болоте. Вы часто толчетесь на месте, не раскидываете умом, не мобилизуете своих подчиненных на выполнение задач сегодняшнего дня. Мои ежедневные установки остаются как глас вопиющего в пустыне. Товарищи, нужно действовать энергично, не щадя своих сил и возможностей. Я надеюсь...» и прочее.

Конец речи он произносил торжественно и выключал селектор.

Еще зимой, побывав в Ермаково, я познакомился с распорядком рабочего дня Енисейского управления строительством. Начинался он, как везде, в девять утра, но заканчивался, когда начинались новые сутки. Сам Антонов, правда, имел вполне нормальный по продолжительности рабочий день, только растянутый с утра до утра. Днем он долго обедал, а вечером с шести до девяти спал. После отдыха он появлялся в управле-

нии свежесбрившим и до глубокой ночи «разгонял пургу»: вызывал в свой кабинет усталых работников управления, проводил долгие и бесполезные заседания. Частые вечерние совещания для него были насущной потребностью, а для окружающих тратой времени, так как все вопросы с линией разрешались работниками управления еще днем, без него.

Но, как ни плохо руководил строительством Антонов, аппарат управления работал: в нем было много хороших специалистов и организаторов производства, коммунистов,— и строительство велось успешно, как только возможно было в тех труднейших условиях.

Еще зимой, когда солнце начало подниматься выше над горизонтом и ртутный столбик не опускался ниже сорока, люди выходили на трассу дороги расчищать снег, долбить крепкую, как бетон, мерзлую землю, забивать сваи для мостов, пропаривая мерзлоту паровой иглой. В тундре раздавались взрывы аммонала, гудки первых паровозов и рокот сотен машин. И хотя пурга безжалостно издевалась над трудом тысяч людей, вновь и вновь заноса все снегом, рельсовый путь, хоть и медленно, продвигался и от Оби и от Енисея.

Летом руководство строительством было реорганизовано. Северное управление переехало из Игарки в Ермаково и непосредственно возглавило строительство восточного плеча дороги. Антонов и часть его управленческих работников получили новые назначения в других областях страны. Позднее в Ермаково переехала и экспедиция Татарина, оставив в Игарке подразделение для изысканий железной дороги до Норильска.

Окончив свои изыскания в 1951 году, переехала в Ермаково и наша Надымская экспедиция; ей поручено было проектирование мостов, земляного полотна, жилых поселков, станций, депо, вокзалов, причалов, паромных переправ через Обь и Енисей и других сооружений сложного железнодорожного хозяйства. Все проекты Татарин утверждал на месте без санкции Москвы. Ему, как крупному специалисту, были даны большие полномочия. Все проектирование велось в тесной увязке со строителями, учитывалось наличие у них строительных материалов. Строители часто просили упростить проектные решения, иногда требовали и перекладки трассы с более крутыми закруглениями дороги, в обход трудоемких работ. Все наши разногласия обычно решались на самой трассе, куда нас часто посылал Татарин, заставляя на месте производства работ оценивать реальное качество проектов. И надо сказать, что это было правильно: ведь проектирование в столь сложных условиях Заполярья похоже на странствование по нехоженным тропам.

Татарин требовал от нас экономичных решений. Продольный профиль дороги тщательно «вылизывался», с тем чтобы не допустить ни сантиметра излишней высоты насыпи или глубины выемки. Татарин и прежде нам говорил:

— Когда проектируете, думайте, что вам самим придется строить и эксплуатировать дорогу. А еще лучше — постарайтесь вообразить, что на эти насыпи вам самим придется тачки с грунтом катать. И тогда вы не только тысячи кубометров сэкономите, а за каждой сотней с карандашом гоняться будете.

На строительстве заполярной дороги было много своеобразного. Приходилось бороться за сохранение вечной мерзлоты. Под низкими насыпями, для сохранения ее, укладывался слой мха. В выемках грунт выбирали на метр глубже, после чего укладывали слой мха и снова засыпали его землей.

Селиванов имел большой опыт в строительстве дорог на Севере, и я старался от него узнать как можно больше. «Главное,— говорил он,—

нужно сохранить вечную мерзлоту, иначе в первое же лето все расплывется, развалится». И действительно, стоило содрать с земли мох, как летом грунт превращался в жижу.

Нужно было уметь правильно прорывать даже водоотводные каналы, иначе вода, протекающая по ним, могла бы причинить много зла. В этом мы убедились на опыте Ермаково. Там, на склоне лога, построили городок, а выше городка вырыли водоотводную канаву; городок со всеми постройками сполз вниз. Дальше всех строений сползла баня — на сто метров от того места, где она стояла.

Все усложнялось еще тем, что мерзлота у Полярного круга имеет температуру всего один-два градуса ниже нуля. Малейшие изменения в тепловом режиме — и мерзлота с такой невысокой отрицательной температурой может быстро разрушить возлагаемые на нее надежды. Таков уж Север с его особенностями и капризами...

В конце мая мы с Селивановым приехали в Ермаково: он — «выколачивать ресурсы», я — на проектирование. И как я был рад, что не приехал неделей позднее! 29 мая на Енисее начался ледоход, и я не опоздал увидеть эту величественную картину.

Трехкилометровое русло реки вздулось, затопив острова и пойму. Вода продолжала прибывать, и, не выдержав ее напора, полутораметровый лед треснул. Казалось, все воды юга устремились сюда, к Полярному кругу.

Ледовые поля со следами дорог, прорубей, черными пятнами нефти и угля становились на дыбы и с грохотом рушились, разлетаясь на куски. Горы льда лезли на крутой берег, словно ища там спасения от неминуемой гибели.

Вся тридцатиметровая толща воды была забита льдом, ему не хватало места в широком Енисее. Лед вспахивал берега и на глубине тридцати пяти метров, как простую ниточку, перервал лежавший на дне толстый кабель. Связь с Игаркой прекратилась. А над рекой стоял грохот, и Енисей, разрывая заторы, убыстрял свой бег, чтобы преодолеть последнюю дистанцию и свободно вздохнуть на просторах холодного океана. Вслед за льдом с разноголосым гомоном летели стаи пернатых на свою полярную родину.

Пик паводка, достигнув своей предельной высоты — двадцати пяти метров над меженью горизонтом, пополз вниз. Вода стала так же быстро убывать, как прибывала. А чуть не вплотную за последними льдинами вниз по реке спешили теплоходы и буксиры с караванами барж. Многие из них приставали к ермаковскому берегу для разгрузки. Через неделю другую берег покрылся штабелями кирпича, ящиков, мешков; ни днем, ни ночью не прекращалась разгрузка. Привозили новые экскаваторы, думпкары, паровозы, рельсы, шпалы, цемент, железо, автомашины.

Строительство еще с прошлого года начало механизировать трудоемкие работы. И Селиванов, довольный такой установкой, постоянно подерживаемый главным инженером строительства Цвелодубом, «выколачивал» все, что мог, для своего головного участка. От него, как от зайчливой мухи, хотели отделаться в отделе технического снабжения. Но это было не так-то просто: Селиванов действовал настойчиво, не боясь, что ему, бывшему ээку, могут припомнить прошлое. У него на участке было уложено десять километров рельсового пути по «зеленым отметкам», без насыпей и выемок; пока земля еще не оттаяла, нужно было успеть развезти по ним десятки тысяч кубометров грунта из карьеров и поднять путь на насыпь — иначе он утонет в тундре. А для этого нужны были экскаваторы, думпкары и автосамосвалы, которые только что прибыли из Красноярска.

Получив нужное оборудование и перегрузив его на железнодорожные платформы и на мелкие баржи прямо с пароходов, мы выехали в устье Турухана, где пришвартовалось много плотов с ангарским лесом; отсюда этот лес шел вверх по Турухану. Даже камень приходилось привозить издалека — его не было на всей тысячекилометровой трассе.

В августе Татаринов, уезжая надолго в Москву, оставил меня своим заместителем. Перед отъездом он знакомил меня со всей большой линией.

Перелетев с ним из Ермаково в Салехард, мы на другой день пошли к главному инженеру строительства Жогину, чтобы договориться об осмотре готового участка дороги.

— Лучше поедем сразу до Надыма испытывать мост, а на обратном пути дорогу осмотрим, — советовал Жогин.

— А почему бы нам по пути к Надыму не осмотреть дорогу, а доехав до моста, осмотреть и его? — возразил Татаринов.

— Почему? — повторил Жогин и, помедлив, сказал: — Начальник управления уже послал рапорт в Москву об открытии движения по мосту, и теперь не только на день, а и на час откладывать его приемку нельзя.

— Зря торопитесь, — пробурчал Татаринов. — Там наверняка еще куча недоделок.

— Я не хочу идти на осложнения с начальником, — нервно сказал Жогин и уже спокойнее добавил: — Сами понимаете...

Татаринов неопределенно махнул рукой и совсем хмуро спросил:

— С пассажирским поездом поедем?

— Нет, нам начальник управления свой салон-вагон дает и приказал провести по зеленой улице, — не без гордости пояснил Жогин.

Слушая это краткое пререкание, я старался понять Жогина, с которым теперь придется все время иметь дело. Его непрерывно вызывали к телефонам, к селектору. Он отвечал, записывал в тетрадь, делал пометки в календаре и в то же время успевал бросать нам реплики, не теряя нити разговора. На его лбу часто появлялись глубокие морщины; он ерошил редкие седые волосы, сдерживая раздражение.

— Ну, раз мы обо всем договорились, то попрошу вас к двенадцати быть на вокзале, — сказал он и, пройдя по мягкому ковру к сейфу, сложил в него чертежи. — Провизией не запасайтесь, в салон-вагоне все есть и с вами едет отличный повар.

Выйдя из управления, мы с Татариновым пошли сразу на станцию, решив по пути к вокзалу осмотреть недавно построенное депо и станционный поселок.

— Богато живут, — кивнул Татаринов на два больших коттеджа за высокими заборами.

— Подходяще, — подтвердил я, разглядывая красивые двухэтажные здания.

— Вот этот — начальника управления, а тот — его заместителя, — пояснил Татаринов.

За восточной окраиной Салехарда, с небольшим разрывом от города, раскинулся станционный поселок, а за ним была серая тундра.

Мы подошли к паровозному депо, рядом с которым строился колесно-токарный цех. Жогин нам сегодня заявил, что под его основание не могут забить сваи, и обвинял изыскателей в том, что они неверно определили геологическое строение грунтов.

К нам подошел прораб и стал объяснять:

— Мы вот и котлован для облегчения вырыли, думали — лучше сваи пойдут, а они все равно не лезут...

На дне котлована, утопая по колено в грязи, заключенные перетаскивали паровую иглу. Молот копра обрушивался на сваю, под которой, по словам прораба, мерзлота уже оттаяла. Но свая только вздрагивала, трещала и действительно не погружалась.

По просьбе Татарина, прораб сбежал в конторку и принес геологический разрез. На чертеже был показан суглинок с прослойками песка и линзами льда. Немного подумав, Татарин сказал:

— Видимо, здесь повторяется знакомая нам история. После пропаривания иглой грунт снова быстро замораживается. Советую вам пропаривать мерзлоту лучше и забивать сваи сразу, не медля ни минуты.

До отъезда у нас оставалось еще время, и Татарин попросил сделать опыт при нем. Установили паровую иглу на новом месте. Она, легко погружаясь, оттаивала мерзлоту. Пропарив хорошо грунт, на ее место передвинули копер и установили сваю.

— Теперь пробуйте забивать, — сказал Татарин. — Должна пойти.

Свая действительно легко погружалась под каждым ударом молота.

— Ну, вот и все, — кивнул довольный Татарин, когда свая вошла в грунт до нужной отметки. — Теперь ее снова скует вечная мерзлота, временно отступившая под напором горячего пара, и останется она там навеки.

Я окинул взглядом большой поселок. Сколько же тысяч забито здесь свай, чтобы не развалились здания!

Время было уже ехать, мы пошли на вокзал.

На путях стоял паровоз с салон-вагоном. Комиссия была вся в сборе, и через несколько минут мы поехали на восток, к Надыму.

Я не отходил от окна и следил за поворотами реки Полуй. Вскоре показалась зона с вышками и бараками, которую я видел еще зимой в 1949 году, проезжая по Полую на оленях. Бараки почернели, вышка покосилась. Видно, обитатели лагеря, построив свой участок, давно перебрались куда-нибудь за Надым, чтобы на новом месте отсыпать насыпи, строить мосты, укладывать рельсы. Больше трех лет прошло с тех пор, когда сюда в пургу холодной зимой пришли эти люди. Их трудом проложена дорога, по которой мы едем.

Паровоз тащил наш единственный вагон довольно быстро, останавливаясь только для набора воды. Мы ехали действительно по «зеленой улице», обгоняя на станциях «вертушки» с балластом и поезда со строительными материалами. Встречных поездов, кроме порожняка, не было ни одного. Вozить по этой дороге из тундры было нечего и некого...

Когда солнце стало склоняться к горизонту, мы спустились в широкую долину, и тундру сменил хвойный лес, смешанный с березняком. За плавным поворотом показался красивый поселок. Невысокие свежерубленные дома с заборами и штакетниками прятались в кедровом лесу и березовых рощах. Здесь шло строительство деповской станции и большого железнодорожного поселка. Паровоз замедлил ход, позволяя нам любоваться новыми строениями.

Но вот паровоз остановился у моста через реку Надым.

Нас встретили прорабы и начальник работ строительного отделения.

— Отлично, — сказал Жогин, когда они вошли в вагон. — Сейчас же и начнем испытание моста.

— Может, отложим на завтра? — возразил Татарин. — Надо ведь все узлы просмотреть, пролетные строения проверить.

— Еще долго будет светло, успеем и сегодня, — настаивал Жогин. — Надо использовать светлую полярную ночь.

— Для рапорта? — съязвил Татарин.

Детально проверить мост времени в тот день, конечно, не было. Вагон отцепили, комиссия проехала по мосту туда и обратно на паровозе.

Временный мост длиной в полкилометра был деревянный, на сваях, и так низко сидел над водой, что ясно было: в первую же весну, если не разобрать пролеты, он будет снесен водой. Он также был явно заужен, отчего вода под ним текла быстро, размывая на дне песок, подмывая сваи.

— Вот видите? — обратился Татаринов к Жогину. — Зря торопились! Даже береговые сваи не укрепили, того и гляди обрушатся.

— Ничего, доделаем, — успокоил его Жогин и, повернувшись к начальнику работ, приказал: — Завтра же поставьте по сотне людей на оба берега и начинайте укреплять.

— Есть, товарищ начальник, — вытянувшись в струнку, ответил тот.

— Чем крепить-то будете? Где камень возьмете? — усомнился Татаринов.

— С Полярного Урала везут, — невозмутимо ответил Жогин.

— Это когда-то еще будет, одна переправа камня через Обь сколько времени займет, — тут же нащупал фальшь Татаринов.

Я уже давно изучил лагерные порядки и не удивлялся им. На все приказы подчиненные всегда, не моргнув глазом, отвечают: «Есть, будет сделано», если даже и начальник и подчиненный заведомо знают, что выполнить приказание невозможно. Так и здесь: Жогин приказывал укреплять берега завтра, заведомо зная сам, что камень привезут только через неделю. А начальник работ выпалил свое привычное «есть», зная, что с него все равно не спросят, а если и взыщут, то только так, для порядка.

Что перед ним разыгрывают комедию, Татаринов, конечно, понимал, но отказаться от участия в испытании моста не решался. Ведь ему тоже приказали «свыше», и будет ли он возражать, или промолчит — все равно по мосту ездить будут, даже с риском.

Понятно, почему в таких условиях испытание моста прошло легко и быстро: комиссия проехала по нему на паровозе туда и обратно — этим все и закончилось. Долго ли он простоит, трудно было сказать, но сейчас по нему уже пошел другой паровоз, «овечка», таща на ту сторону реки десяток платформ с рельсами и шпалами. Жогин тут же составил телеграмму Самохвалову об открытии движения за Надым и, подписав ее сам, подал Татаринову.

Татаринов, усмехнувшись, пощипал коротенькие усики и сказал:

— Ну, да ладно, подпишу. Только следите, чтобы сваи не унесло. Вон уже метра три песка у берега намыло.

На другой день мы поехали за Надым, где отсыпалась насыпь на пойме реки. Работающие катили по деревянным трапам тачки на высокую насыпь. Они медленно двигались один за другим, низко опустив головы, напрягая все силы. Свалив грунт на насыпи, каждый получал какую-то бирку от учетчика и, засунув ее в карман, спускался по другому трапу вниз. На самой насыпи другие рабочие разравнивали грунт и уплотняли его деревянными трамбовками. В стороне, у дымокуров, сидели стрелки. Словом, обычная картина...

— Гражданин начальник! — обратился к прорабу пожилой заключенный. — Подъем положе надо бы сделать, а то последние жилы надорвем.

— Невелика беда, — равнодушно оборвал его прораб и зашагал дальше.

За поймой началась болотистая местность; там тоже возили грунт на насыпь тачками по трапам, но уже издалека.

Мы прошли километров десять, и всюду было одно и то же — сверх меры тяжелый и малопроизводительный труд тысяч людей.

Сколько же этого труда уже затрачено было на постройку дороги! Ведь рельсовый путь пересек реку Надым, протянувшись от Салехарда почти на четыреста километров. Лагпункты были заброшены далеко на восток, до верховьев реки Хетты. Оставалась до Уренгоя еще долина реки Ево-Яхи, где строительство не началось.

На обратном пути к Салехарду, осуществляя авторский надзор, мы, изыскатели и проектировщики, осматривали дорогу.

Бросались в глаза овраги, образовавшиеся вдоль полотна: вода размывала грунт везде, где она хоть немного скапливалась, а крепить каналы и кюветы было нечем — не было ни камня, ни дерна.

Вечная мерзлота, оттаивая, превращала насыщенный льдом пылеватый грунт в жижу. Оседали насыпи, оплывали откосы выемок. Рельсовый путь засасывало в грязь вместе со шпалами.

Много мостов было деревянных, построенных небрежно, опоры их изнашивались; деревянные трубы просели под насыпями.

Все неполадки мы записывали, назначали сроки исправления, а прорабы и начальники работ говорили привычное «есть», сами не зная, когда они это смогут исправить и смогут ли вообще исправить когда-нибудь.

Проводив Татаринова в Москву, я вернулся в Ермаково. Когда-то это был крохотный поселок; с постройкой дороги он стал уже настоящим городом с населением в пятнадцать тысяч человек. На южной его окраине выросли большая станция и депо.

В ноябре в помощь экспедиции передали проектно-конструкторское бюро Восточного управления строительства дороги. В нем работали заключенные инженеры и бывшие заключенные, оставленные на Севере. В большинстве они были хорошими специалистами, а перевод на работу в экспедицию воодушевлял их, отдаляя от лагеря.

После долгих переписок и уговоров мне удалось добиться перевода в это проектно-конструкторское бюро Селиванова, и он согласился его возглавить.

Селиванов внес много нового в проектирование сооружений на вечной мерзлоте.

В это время на строительстве немало возились с сооружением электростанции в Ермаково. Проект предусматривал продуваемое подполье, чтобы зимой грунт под зданием сильнее промерзал и за лето не успевал оттаять. Но прораб, строивший здание ТЭЦ, ошибся: он занизил полы на метр, и высокого продуваемого подполья не получилось: к тому же локомотивы электростанции давали много тепла и создавалась угроза оттаивания грунта под зданием, — а это значило бы, что оно неминуемо разрушится. Селиванов разработал проект принудительной вентиляции, и здание было спасено.

В весенний ледоход на Енисее льдины оборвали лежавший на дне кабель связи. Нужно было решать, как вновь проложить кабель, чтобы в будущем не повторилось обрыва. Селиванов доказал, что льдины не глубоко пропахивают дно Енисея и достаточно кабель заглубить в дно на метр, чтобы он был в безопасности. Эту работу выполнили водолазы зимой...

Однако такие находчивые исправления не могли переменить дело в самом существенном: все время поступали с линии тревожные сигналы о более или менее серьезных авариях, а вблизи Игарки один мост развалился совсем и фермы упали в реку. Повсюду деформировалось полотно дороги, и крепить его было нечем; камень был далеко, по ту сто-

рону Енисея, а паромной переправы через него еще не было. Строительство причалов само требовало много леса, камня, главное же — нужно было соорудить сложные дамбы, защищающие от грозного ледохода. Уже год, как по Северному морскому пути пришли паромы в Салехард и в Игарку, оборудованные сложной техникой для перевозки железнодорожных составов. Но они бездействовали и были только местом, куда приходили экскурсии — посмотреть красивые корабли.

После отъезда Цвелодуба на другую стройку строительство дороги пошло нецелеустремленно, разбросанно. Укладка пути велась одновременно на многих участках. От Енисея на запад рельсы пролегли за Янов Стан. Между Игаркой и Ермаково путь укладывали сразу на трех участках и из-за нехватки рельсов, шпал и неготовности полотна часто останавливались. Рельсовый путь тянули и от Таза на восток к Янову Стану. Материалов, техники и денег требовалось все больше и больше, а страна, совсем недавно пережившая войну, еще не могла так много давать, тем более что одновременно разворачивались гигантские стройки на Волге и в Средней Азии. Возможно также, что где-то в планирующих органах понимали нерентабельность нашей дороги, и это сказалось на ее финансировании и техническом снабжении: начиная с 1951 года объем капиталовложений стал сокращаться. Мы уже не были так уверены, как год назад, не только в скором окончании постройки дороги, но и в ее надобности. Работать стало невыносимо тоскливо.

Я получал часто письма от Рогожина, а Марина от Нины Петровны. Они работали на Дальнем Востоке, мы им завидовали и жалели, что их нет с нами, а они писали, что скучают по Северу.

Надвигалась зима — последняя зима моего пребывания в Заполярье. В сентябре Марина уволилась и уехала к родным в Иркутск, где были и наши дети.

Оставшись один, я все чаще вспоминал первую зиму в Заполярье. Тогда все было интересно, ново, необычно. У нас был энтузиазм, нас увлекала самая трудность нашей задачи. Сейчас даже самые рьяные оптимисты приуныли. Томила не только замедленность работы и очевидная ее бесплановость — становилась все более невыносимой долгая жизнь среди раскинувшихся на сотни километров лагерей.

С наступлением сильных морозов работы на трассе прекратились совсем; люди мерзли в бараках. В эти холодные ночи я почти не спал и лежал с открытыми глазами, особенно под утро. И я был рад, когда получил к весне новое назначение — точно по меридиану на юг, в Саяны.

Вскоре после смерти Сталина строительство заполярной дороги, фактически замиравшее с каждым месяцем, прекратилось совсем. В тундре остались рельсы, поселки, паровозы, вагоны.

Я часто смотрю на карту тех мест. Неужели прав был мой отец, горько насмехаясь над нами, что мы, мол, четыре года «пурхались в снегу»? Неужели все это делалось зря?

Первоначальная постройка железной дороги Салехард—Игарка связана была с предполагавшимся строительством в Игарке головного порта Северного морского пути. Железную дорогу намечалось продолжить до Норильска (то есть довести ее общее протяжение до 1700 километров) и дать этому центру цветной металлургии на Севере круглогодичную, а не только сезонную транспортную связь. Однако, как показывает в своем исследовании большой знаток этого вопроса С. В. Славин, «...принципиально неправильно создавать исходный головной порт Северного морского пути в таком пункте с коротким сроком навигации, как Игарка; сама идея создания специального головного порта Север-

ного морского пути является порочной»¹, ибо незамерзающий порт Мурманск или действующий восемь-девять месяцев в год Архангельск могут без огромных дополнительных затрат справиться с отправкой по морю грузов для Арктики. Анализируя грузооборот порта в Дудинке, С. В. Славин приходит к мысли, что основная часть грузов могла бы доставляться из Сибири. «...в перспективе удельный вес доставляемых в Норильск грузов из Европейской части СССР будет снижаться, так как предстоит огромный рост народного хозяйства Сибири...» Представляющие большую ценность грузы, отправляемые из северного промышленного района, не вызовут потребности в массовых грузопотоках. Словом, из достаточно обоснованных расчетов ясно, что при существующих условиях перевозки по железной дороге Салехард—Игарка будут обходиться почти втрое дороже, чем перевозки из Европейской части СССР до Красноярска и далее водой по Енисею, или морские перевозки из Мурманска, Архангельска, Ленинграда, балтийских портов.

Выводы С. В. Славина: «Даже заглянув вперед, лет на двадцать — двадцать пять, вряд ли можно предусмотреть возобновление строительства железной дороги Салехард—Игарка, если не будет произведено неожиданных (для современного уровня знаний) открытий ценных ископаемых в районе между Обью и Енисеем вблизи трассы железной дороги, которые экономически целесообразно будет использовать в народном хозяйстве».

Это написано три года тому назад. Сейчас на пространстве между Обью и Енисеем обнаружены огромные запасы газа и нефти. Дает ли это уверенность, что «мертвая дорога» оживет? Во всяком случае, рассказывая о богатейших залежах нефти, открытых недавно в недрах тюменской земли, — в приполярной тайге и гундре, — первый секретарь Тюменского промышленного обкома КПСС А. Протазанов снова вспомнил о забытой дороге. «Видимо, пришло время снова взяться за строительство железной дороги Салехард—Игарка», — написал он недавно в «Правде». Далекie и почти безлюдные земли зауральского Севера оказались сказочно богатыми. Их освоение уже началось, и темпы этого освоения будут стремительно увеличиваться от года к году.

¹ С. В. Славин. Промышленное и транспортное освоение Севера СССР. Экономиздат. М. 1961, стр. 203—209.



МАМАДУ ЛАМИН СИССЭ

★

ВОТ ЭТО ВСЁ, МОЙ СЫН, И ЕСТЬ МАЛИ!

Спокойные округлости холмов
и тонущие в зелени долины,
леса, где зреют манго и папайи,
чья мякоть слаще спелых ананасов,
разливы тихих и глубоких рек
на затканых хлопчатником равнинах,
где благодатный ил разводит тинных
в богатство превращает человек;
и влажных рисовых полей просторы,
и сорго, и маис на пышных нивах,
колеблемых плодотворящим ветром;
и сотни рук, усердных, терпеливых,
что, выполняя труд свой незаметный,
земли неисчерпаемое лоно
посевами насытить помогли,—
вот это всё, мой сын, и есть Мали!

Могучий бык, взрывающий копытом
сухую землю со свирепым ревом,
в сраженье с львами кинуться готовый,
чьи ноздри раздуваются сердито,
почуяв след, где хищники прошли;
и терпеливый сын пустынь — верблюдов,
изведавший тягчайшие дороги,
и ослик, чьи выносливые ноги
по горным тропам путников ведут;
капризная коза на ножках тонких,
баран, насторожённый, круторогий,
идуший впереди, когда отары
от пастбища далеко забрели,—
вот это всё, мой сын, и есть Мали!

И величавая волна Джолибы¹,
свидетеля событий и веков,
чей нежный плеск зовет нас в полдень жаркий
к тенистым берегам, чья песнь живая
звучит в сердцах суровых рыбаков;
и детище высоких гор — Бани,
посланец Берега Слоновой Кости;
и цепь озер, кишаших крупной рыбой,
где сонный сом усищами поводит,

¹ Дж о л и б а — африканское название Нигера.

где за линиями гонятся плеяды
 вертявых щук, и плещутся вдали
 веселые серебряные карпы,
 как символы речного плодородья,
 которым так рыбацье сердце радо,—
 вот это всё, мой сын, и есть Мали!

А бурный, неумный Сенегал —
 страны энергетический родник,
 по мощности великим рекам равный...
 Когда народ наш, некогда бесправный,
 к источникам богатств своих приник,
 он стал хозяином судьбы своей могучим.
 Мы не позволим смертоносным тучам
 посевы наши сжечь в огне войны:
 пусть станет сказочный расцвет страны
 всей борющейся Африки победой!
 И золото и соль дают нам недра,
 но наш народ на подвиги готов,
 чтобы природы колдовские чары
 трудом своим разрушить мы смогли,
 чтоб нефть ключом забила из земли
 среди таинственных песков Сахары.
 Вот это всё, мой сын, и есть Мали!

Наш Томбукту — прекрасные врата
 пустынь и севера, окутанные тайной,
 чья роскошь, древняя культура, красота
 живут в преданьях Африки бескрайной;
 Сегу — столица Бамбара, владенье
 племен-воителей, что в битвах полегли,—
 вот это всё, мой сын, и есть Мали!

Старик пастух, в свой плащ «кассá» одетый,
 вооруженный посохом, что летом
 на склонах с песнею пасет стада;
 рыбак усердный, что в своем баркасе
 следит, как, чешую рыб сверкая,
 вокруг безмолвно плещется вода;
 гребец усталый, что к речным порогам
 ведет свою груженую пирогу,
 порою отдыхая на мели;
 и ювелир внимательный, чьи руки
 волшебника на чашах льют узоры
 из золота и серебра; кузнец —
 спокойный, коренастый, повелитель
 металла и огня, с которым он
 как бы играет в дымном шалаше;
 и славный ткач, и весельчак-сапожник,
 поющий от утра и до утра,
 кроя или растягивая кожи;
 и скульптор, что удар наносит меткий
 резцом на деревянной статуэтке,—
 рабочие, ремесленники, люди,
 что в трудной, неподатливой работе
 и смысл и наслаждение нашли,—
 вот это всё, мой сын, и есть Мали!

А струны мелодичные гитары,
 что услаждали предков наших слух
 и чьи еще не ослабели чары
 для нынешних времен; а гордый дух,
 рождавшийся в сердцах под звук тамтама
 в далеких африканских деревнях,
 а дикие звучания джамбэ¹,
 вселявшие тревогу или страх
 в пришельцев; а влюбленный рокот флейты
 у скромной хижины по вечерам,
 что о любви повествовала чьей-то;
 а тремоло старинной нашей «коры»,
 а танцы бурные и нежные племен —
 сонраев, мавров, сомоно, догонов,
 которые от древних к нам дошли, —
 вот это всё, мой сын, и есть Мали!

Вгляни на наши гордые знамена,
 колеблемые ветром: их цвета —
 как символы страдания угнетенных,
 борьбы за то, чтобы сбылась мечта
 сопротивленья злобному закону,
 что был когда-то здесь провозглашен
 пришельцами из чуждых стран; знамена,
 что над свободной Африкой взлетели
 на крыльях радостных; черты страны
 в цвета их, как узоры, вплетены:
 в них наша кровь, и золото, и зелень
 тропических лесов родной земли...
 А это всё, мой сын, и есть Мали!

Народ, не знающий ни зла, ни мести,
 стремящийся к любви и к дружбе наций,
 готовый мужественно, стойко драться
 за идеал свободы, братства, чести,
 готовый руку каждому подать, —
 народ, несущий в сердце благодать
 великой чистоты и непреклонной
 отваги Африки раскрепощенной,
 что унаследовал вполне терпенье
 и благородство, и простую веру,
 которой обладали наши деды —
 воители, вожди и короли,
 чьи имена, чья гордость и печаль
 занесены в священные скрижали
 истории, которые стяжали
 венец бессмертной славы и зажгли
 в веках огонь немеркнувший былого,
 творцами песен воплощенный в слово, —
 такой народ, мой сын, и есть Мали!

Перевела с французского Т. Сикорская.

¹ Джамбэ — род барабана, гремящего, когда его грызут.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ВИКТОР ПАНОВ

★

ПО СУХОНЕ И ДВИНЕ

Первые попутчики

Мы настигали плывущие бревна, баржи с песком, с коровами и овцами на палубах, осторожно обходили пузатые посудины, наполненные бензином, и старались не задеть плавучие ограждения, сколоченные из бревен, которые петлями отгораживали устья полусонных речек, забитые приплавленным лесом. Чем ниже склонялось солнце, тем прозрачнее становился воздух и зеленее казались невысокие берега, почти сплошь покрытые хвойным лесом. На поворотах реки бревна стучались о наши борта — порой с пушечным грохотом. Местами судоходная часть Сухоны так близко подвигалась к берегу, что на палубу доносился разговор в деревне, ворчанье трактора, таскавшего бревно или занятого на пахоте.

Слепой гармонист в добротном костюме и узорчатых башмаках сел на ящик с почтовыми посылками и, растягивая цветные меха, негромко запел: «В глубокой теснине Дарьяла, где роется Терек во мгле, старинная башня стояла...»

Юноша матрос, безусый практикант из речного училища, вежливо уговаривал нас не толпиться около гармониста: пароход сильно кренится! Он повел слепого на самый нос, усадил на ящик, и мы ушли за гармонью, отчего судно начало носом касаться дна мелкой Сухоны. Гармонь увели на корму — осел зад пароходика, гребным винтом прихватывало песок. Повели музыканта в трюм — пассажиры хлынули в трюм.

Это был не тот слепой музыкант, которому раньше в шапку бросали деньги. Не мальчик водил его, а ехала с ним красивая женщина. И женщину и музыканта многие называли по имени-отчеству, здоровались, радуясь встрече. Тихо было в трюме, когда гармонист, подняв лицо, вспоминал военные дни: «Бьется в тесной печурке огонь...» Он, в общем-то, устал, понятно. Красивая женщина давно уже сердилась, потому что перед музыкантом стоял чайник с заваркой, лежали ломтики хлеба, покрытые пластинками сыра и колбасы.

Из трюма я вернулся на палубу. Белыми башнями сверкали громадные цистерны с бензином, в рядок усевшиеся по высокому берегу, и старенькая церковь за ними казалась малюткой. Склады бревен высились, как утесы. Большой трактор-бульдозер сталкивал бревна с обрыва, и падали они в воду то разом помногу, то в одиночку; то медленно, то быстро; то глухо стукаясь друг о друга, то с поспешностью обреченных — ныряя торцами в глубину. Плавучий кран аккуратно брал с воды коротые и укладывал в баржу. Стальная лебедка откуда-то из леса подтаскивала бревна к берегу.

Вертолет протрещал над нами. Важно проплыла железная баржа, на которой одну половину палубы занимали моторы, а вторую — массивные цепи, лежавшие холмами, и металлические тросы. Над рекой, над запанью — столбы, а на столбах под тарелками — лампочки с огнем.

Стемнело...

В одной каюте со мной из Вологды ехали супруги с двумя девочками лет восьми и десяти. Лобастые, румяные, с очень светлыми толстыми косичками, девочки то степенно рассуждали между собой, занимаясь куклами, то вдруг ссорились из-за пустяка. Мать, полная, белесая, тоже с румянцем во всю щеку, нехотя ворчала на детей, а отец сердился, часто повторяя: «Да сидите вы ладом, баловницы! Хватит вам вертеться. Кому я сказал?» Говорило все семейство по-северному, прищипывая.

В каюте яблочный аромат — видно, яблоками полны два чемодана, две корзины, сплетенные из сосновой дранки, яблоками занят и берестяной кузовок, похой на высокий пенёк.

Хозяину семейства Василию Васильевичу лет тридцать шесть — семь. Голова, лохмат, маленькие темные глаза, большой свисающий нос.

— На Кубань в отпуск ездили, — сказал он.

— Как там поживают на Кубани? — спросил я.

— А всяко. — Василий Васильевич поглядывал на девочек, евших кубанские яблоки. — У кого житье, а у кого и житьишко. Там народу уйма, а у нас не знаешь, кого дояркой поставить.

Я подумал: «Председатель или зоотехник, а она какой-нибудь плановик, располнела от сидения за столом...»

Старшая девочка — Надя — тоном взрослой неторопливо сказала:

— У тети Даши с прошлого лета сухие фрукты пылятся. Куры пшеницу клюют. Чуть не каждый день белый хлеб пекет. Пирожки из своей муки и со своим изюмом. Сладко угощение. — И улынулась мне. — Я вчера в Вологде окопала на ветру, а там сроду не озябнешь.

— Ой, да уж не сроду! — ответила Оля. — Если бы там не зябли, тетя Даша не запасалась бы на зиму соломой и разными дудками — печьку топить. Какая уж это жизнь, когда дров нет. Солому в печьку толкают заместо дров, — и звонко засмеялась, — сторгит, и ни жару, ни пылу, а мы палим сухие березовые полешки. Ой, ой...

Надя, сердито нажимая на «о», возразила:

— Давай-ко не ойкай, если не допонимаешь. Не больно велика.

— А чего я не понимаю? Двери низкие. Мама стукнулась головой о притолоку, полу нет в избе — по земле ходят, а у нас пол покрашен...

В детский разговор вступили взрослые: отец поддерживал рассуждения младшей дочери, мать — старшей. Отец и Оля и мысли не допускали о жизни на юге, а мать и Надюша сочувственно вспоминали тетю Дашу, которая ни за какие блага не соглашалась вернуться на Север.

Василий Васильевич внушительно сказал:

— У наших денег больше: сто двадцать, сто пятьдесят в месяц хоть в лесу, хоть на сплаве, а там этого нет. Чисто все тотемские бабки с пенсиями. Днем с огнем не найдешь домовницу к детишкам — дорог человек! — а на Кубани мало старух с пенсиями.

Жена слабо возразила:

— Там винцо пьют, как воду. Два стакачика выпила — и ноги не поволоку.

Девочки, вспоминая Кубань, начали ссориться, дергать друг друга за косички, и отец сердито крикнул на них:

— Да сидите вы наконец ладом! — а мне вежливо сказал: — Кубань хороша, и в Ростове весело, а те же ростовские приезжают к нам подработать на лесоповале, в лесу, деньгу подшибить за сезончик и мчатся к своей природе. Приезжий не держится. А чем бы не жизнь около Сухоны? Рыбка свежая под боком, тут же и дичь — хоть с воды, хоть боровая. Сиди давай на месте! — Он снял девочку со своих коленей. — А меня утомило кубанское солнце. Нагостился. Затосковал о хариусах. Добро идут на коньков.

— Что за коньки?

— Ну кобылки или кузнечики. Почему-то хариус особенно бросается на кузнечика. Из воды выскакивает хватать... Хариус из лососевых, родной брат пестря-

ка, форели. За Тотьмой по Сухоне — переборы, дно каменистое, а харнус любит такое место. — Василий Васильевич увлекся разговором о рыбалке. — Не сменяю вологодскую землю на юг!

Он долго рассуждал о вредителях сельскохозяйственных культур и леса, так долго, что я уснул с мыслями о каких-то гусеницах, обгрызающих сосновую хвою. Приснились пестрые бабочки и кубанские яблоки.

Утром в каюту брызнуло солнце. Девочки, радуясь лучам, побежали на палубу, мелькнули мимо нашего окна и вскоре вернулись в каюту.

— Папа, папа, петухи кричат!

— А пусть покричат.

Он дал девочкам попить из бутылки сладкую клюквенную воду, младшая жадно припала к горлышку, и он сказал ей по-отцовски строго:

— Оля, долго пьешь-то. Надюше оставь... Кубань, — снова обратился он ко мне, — распахала миллион гектаров трав. Пшенички до сорока центнеров с гектара... Глупость-то какая была — кубанскую землю под травы...

— А у вас тоже было много земли под травами, — сказал я.

— У нас не то. И земля другая, и травы нужны. Помаленьку возвращаемся к клеверам. Клевера восстанавливаем. Но, между прочим, в старину один Тотемский уезд, рассказывают, кормил хлебом Вологодскую губернию... Зря отказываемся от зерна. Шарахаемся в крайности. Закричали: животноводство! И точка. Рожь косят на сено. Мыслимо ли это? При нашей технике земле можно дать и торфу и навозу, и тогда нам своего хлеба на область хватит. А где хлеб, там и мясо, молоко...

Я подумал: «Председатель колхоза...»

Супруга дотронулась до руки Василия Васильевича и на миг закрыла глаза, будто бы крайне утомленная его рассуждениями.

— Сменил бы пластинку.

— А как ты ее сменишь? — Он всем корпусом подался в мою сторону, шею вытянул. — Посевы сократили. Поля зарастают ельником и кустарником. На пониженном месте вырубают хороший лес — начинается болото. Болото засевают с самолета. Да примутся ли тут елки и сосенки, когда немисливо разрослись осока и кукушкин лен. Сушить! — Он взмахнул руками. — Сушить и удобрять. И даже не потребуется привозных удобрений с заводов. Торф и навоз! — Он поднял морщинистые ладони, словно защищаясь от кого-то. — Навоз и торф — вся наша сила. До революции здесь скот держали мелкий, тощий, но помногу — для навоза. Мужик спал и во сне видел, сколько его скотинка даст навоза. Еще и тогда в книжках и даже в газетках писали о торфяной подстилке в хлевах, и теперь, через сто лет, мы об этом же твердим, а торфяной подстилки в большинстве хлевов нет еще.

— Ой! — супруга вздохнула. — Когда ты перестанешь про эту злочастную торфяную подстилку? — И обратилась ко мне: — Эта же песня была и в отпуску. Сцепится с кубанским председателем... А что беспокоиться-то? Вологодская область второй год держит переходящее знамя федерации по животноводству! Первыми планы выполняем, за два года на фермах прибавилось двенадцать тысяч коров — (Я подумал: «Она зоотехник»), — на каждую корову, на каждую по всей области, надои подняли на двести с лишним килограммов, а Василий Васильевич ворчит и ворчит. А что тут ворчать, если нет никакой беды и напасти...

Рассуждая о хозяйстве, мы с Василием Васильевичем ушли на палубу. На носу он сел за маленький столик лицом к пассажирам, посматривал на всех и на каждого, как будто еще кого-то не хватало перед открытием собрания. Был здесь и слепой музыкант, но без гармошки. Василий Васильевич спросил его:

— Товарищ Жужгин, а когда же к нам самодеятельность?

— Когда? — Слепой улыбнулся. — Еду на смотр самодеятельности. Со смотра, с обновленной программой — на два лесопункта, с лесопунктов — на запань, а с запани — к вам.

— Давайте, давайте. — Василий Васильевич карандашом постучал о столик. —

Товарищи пассажиры, попрошу минутку внимания. Дело в том, что неподалеку от здешних берегов находится село имени Бабушкина. Бабушкин занимался в петербургском кружке Владимира Ильича Ленина и посещал вечернюю воскресную школу, учился в ней у Надежды Константиновны Крупской...

«Вот те на! — мысленно воскликнул я. — Стопроцентная промашка: не председатель, не агроном, а скорее всего лектор или какой-нибудь непоседливый политпросвет...»

Василий Васильевич знал на память слова Владимира Ильича из некролога о Бабушкине. «Просмотрите первые 20 номеров «Искры», — сказал он ленинские слова, обращаясь к нам, — все эти корреспонденции из Шуи, Иваново-Вознесенска, Орехово-Зуева и др. мест центра России: почти все они проходили через руки Ивана Васильевича, старавшегося установить самую тесную связь между «Искрой» и рабочими. Иван Васильевич был самым усердным корреспондентом «Искры» и горячим ее сторонником... Народный герой.

Огнисто-рыжая тетка с портфелем спросила:

— Неужели он ваш был?

— Да тут всего-то километров двадцать пять до его села! Село Леденга, на речке Леденге. Сын леденгского солеvara. В селе этом — его мы теперь называем Бабушкино — еще в семнадцатом веке был соляной промысел богача Грудцына, по найму работало сотни полторы крестьян, да имелось восемь половничьих дворов.

— А что это за половничьи дворы? — многие разом спросили Василия Васильевича.

— А это мелкие, срочные арендаторы на чужой земле. Брался батрак с семьей на готовое хозяйство. В лучшем случае намолот, настриг, нагул делился пополам с хозяином, а в худшем — две трети в пользу хозяина, а одна треть половнику. Давнишние предки Бабушкиных будто бы из беглых казаков. Отец Ивана Васильевича — потомственный солевар, на промысле и здоровье сгубил. Мать с десятилетним Ваней уехала в Петербург, а там еще через десять лет молодой рабочий Бабушкин определился в ленинскую школу.

«Историк, — решил я окончательно, — преподаватель истории, из местных жителей...»

Василия Васильевича спрашивали и переспрашивали о Бабушкине, о героических поступках революционера, который, не зная ни одного иностранного языка, сумел уехать в Лондон к Ленину после бегства из тюрьмы...

Супруга Василия Васильевича с Олей и Надюшей подошла к рулевому узнать, точно ли по расписанию идет пароход. Рулевой сказал, что солнышко еще будет высоконочко, когда мы сойдем на берег в Тотьме, но вообще-то запоздаем часа на полтора: мешают обмелевшие перекаты и встречные плоты.

Ох, эти встречные плоты! Они хозяева на северных реках, и наш кораблик робкими гудками выпрашивал себе дорогу, жался к берегам, чтобы пропускать длинные плоты, прицепленные к буксирным силачам.

Старушка на палубе продавала из большой корзины свежую чернику, и сестренки скоро зачернили ягодами пухлые щеки, вздернутые носы, руки, да и мать их заснила свои чуть подкрашенные губы. Василия Васильевича поблизости не оказалось, и я перед скорым расставанием не постеснялся спросить его жену о профессии мужа. Она склонилась ко мне и негромко, с горькой радостью сказала:

— Партийный организатор по-теперешнему, а раньше работник райкома партии... Район наш большой — из двух сделали... И Вася по бездорожью километров за сто куда-нибудь, до крайности исперетомится, а там еще по домам ходит со своими лекциями. Сперва — беседа, потом ответы на вопросы, а после доярок начнет уговаривать не бегать с фермы, а они все равно просят в город... В одной деревеньке поговорит, а его в другую зовут, и топает мой Васенька по кустам и кочкам... Это ведь не Кубань, а болота и леса. И на коне, и на лодке, а зимой на лыжах. Прихватит и темного, и в кустах перепугается, и со вчерашнего не поспит. Известны они, райкомовцы в лесной стороне... А я — бухгалтер.

Тем временем девочки опять заспорили о том же: где лучше — на Севере или на Кубани.

Оля вызывающе показала язык сестре.

— А папа и не собирается уезжать. Папа сказал тете Даше: один январь не променяю на весь год в Кубани. Там природы нет.

— Не ври-ко давай! — живо ответила Надюша. — Природа везде есть.

— Нет, не везде! Природа — это лес, трава зеленая, рыба в реке... А там одна степь с пылью, песок в рот залетает.

Мать цыкнула на девочек, и они затихли на какую-то минуту, а затем, обнявшись, вразвалку пошли по палубе. Оля воскликнула:

— А вот и грибочки! Ай, какие миленькие... Смотри, Надюшка, твоей Кубани такие грибочки и не приснятся.

Из корзин, стоявших вдоль борта, выглядывали темно-бурые шляпки белых грибов, оранжевые осиновики с прилипшей хвоей, торчали длинные ножки опрокинутых березовиков, красовались пятнистые моховики, еще не успевшие стряхнуть с себя лесной сор. В старом берестяном кузовке горкой возвышались беловатые сухие грузди, похожие на воронки. Корзина рыжиков! Красные рыжики вместе с мохом и редко среди них — светлые шляпки волнух, шерстисто-мохнатых по краям.

Девочки глубоко вдыхали грибной запах, поглядывая еще на корзины с лесными и болотными ягодами. Надя сказала сестре:

— Я тоже не собираюсь реветь о Кубани...

На крутом берегу показалась Тотьма — белые церкви, дома под высокими деревьями, пароходики у пристани.

Василия Васильевича встретил речник в кителе и ведомственном твердом картузе с кокардой. Речник, делая короткие, энергичные жесты, что-то рассказывал Василию Васильевичу, а тот хмурился, покусывая губы.

— Что случилось? — спросил я.

— Да особенного-то ничего не случилось, — ответил Василий Васильевич. — Две доярки из колхоза уехали.

— А вам-то что волноваться?

— А как же? Кому же тогда волноваться? Махнули прямо с фермы. — Он посмотрел на ручные часы. — Подожду пароходик снизу.

— А имеете вы право задержать людей? — спросил я.

— Задержать — не имею, а убедить — могу.

Семейство Василия Васильевича заняло комнату в плавучей гостинице, а мы с ним купили свежие газеты и уселись на пристани ждать пароходик снизу.

— Не понимаю, что еще людям надо. Под боком работа, клуб, кино. Доярки зарабатывают не меньше, скажем, учительниц...

— Может быть, женихов нет? — спросил я.

— Рядом лесозаготовки и сплав. Женихов немало, как на целине. Жаловались: без выходных! Нет телевизора. Мать честная! Да неуж нельзя добиться выходных? И телевизор вот-вот... Работа на ферме тяжелая, слов нет. Даша на Кубань уехала из доярок, а там снова попала в доярки. Мало у нас любви к родному краю. Навадились бегать с вологодской земли.

Приблизился пароход. Он подчалил к пристани, и по дощатому трапу затопали десятки ног, обутых в добротные башмаки. Василий Васильевич постоял среди встречающих, поговорил со знакомыми, с капитаном. Нет, не плыли на этом кораблике доярки, расставшиеся со своей деревенькой.

Супруга Василия Васильевича, собравшаяся с детьми в город, заворчала:

— Охота тебе здесь торчать? Ты еще в отпуске. Сходил бы к своим в город...

Девочки живо взяли отца за руки, и он уже поднимался с ними в гору, когда речник в кителе окликнул его:

— Вася! Вон «Плановик» приближается... Какие-то девчата...

Василий Васильевич скорехонько вернулся на пристань, и я стал рядом с ним. Женщины с «Плановика» замахали цветными платками. Я в ответ махал шляпой,

а Василий Васильевич и рук не вынул из карманов. За «Плановиком» бежала пустая баржа с грязными бортами, а за баржей тянулись по воде две рослые елки с неочищенными сучьями.

— Зачем этот зеленый хвост? — удивился я.

— А это для большей устойчивости... И след замечает за беглецами. — Он вздохнул.

С горы к нам подошли две рослые девушки с яблочным румянцем на белых щеках.

— Ах, вы здесь, оказывается! — Василий Васильевич пожимал руки девушкам. — А я все глаза проглядел.

— А мы с вами, Василий Васильевич, с горы громко поздоровались, а вы нас и не заметили. — сказала девушка постарше.

Они, как и наш баянист, приехали на смотр художественной самодеятельности. Прямо с фермы — на катер к знакомому парню! Парень с катера выступит с танцами, а они — с частушками.

— А домой когда? — с беспокойством спросил Василий Васильевич.

— А прямо из клуба на катер к парню, вернемся к утренней дойке... Эх, мне бы таким загаром похвастать...

— Ясно все, — весело сказал Василий Васильевич, не переставая улыбаться девушкам, а мне добавил: — С «Плановика» махали не нам. Напрасно погрешил на девчат.

Нюра из Тотьмы

Тотьмичи — мастера на своеобразные формы имен существительных: кольё вместо кóлья, листьё вместо лiсьтя, обручье, каменьё, медвежье... На плавучей гостинице вывеска: «Зав. номерам».

«Зав. номерам» лет сорок пять. Русая. Курчавая. По высокому лбу пролегли морщины. В молодости — безусловно красавица. До войны девушкой успела поработать в лесу, на сплаве, в Архангельске на бирже окоренного коротья, а в войну на одной из ивановских фабрик справлялась с делом на шести ткацких станках. Быть бы ей знатной ткачихой.

— Понесли меня черти домой. — Нюра усмехнулась. — О родителях соскучилась. Умные на побывку приезжают, а я насовсем явилась. Хоть грузчиком на пристани, да зато с родителями рядом. Дурость наша. Остался у меня в Иванове дружок. Сколько раз думалось: будь бы крыльё — улетела бы. Кольцё сохранила в память о дружке.

Выгружала из барж мешки со всяким добром, ящики, тюки, связки, волочила доски, бревна, таскала дрова. Тридцать лет ей уж было, когда во время выгрузки соли из баржи вдруг спросили, не пойдет ли она замуж. Замуж? Взяв ведро с солью, она с трапа крикнула: «Мои женихов война сгубила!» Да нет, оказывается, объявился жених. Капитан. Капитан судёнышка.

— По Сухоне на буксирном бегал.

— Здесь и живете с ним? — спросил я.

— Что вы! Разве я здесь жила бы? — Она примолкла, явно не желая рассказывать о себе.

А тут еще приезжие подали ей свои паспорта. Неторопливо записав приезжих, она собрала на стол, потому что чайник на электрической плитке уже бурлил.

За чаем мы рассуждали о городе. В пути от Вологды я уже успел с попутчиками поговорить о Тотьме, да и почитать книжку, прихваченную из Москвы. Тотьма? Чье слово? Ни у кого не находил я ответа. Большинство местных жителей уверено, что будто бы Петр Первый, отправившись с их пристани на Великий Устюг, махнув рукой, сказал о городе: «То тьма», то есть темный, безграмотный народ. Петр побывал грижды здесь, но каких-то двести шестьдесят лет тому назад, а пер-

вые упоминания о городе Тотье относятся к двенадцатому веку, в начале шестнадцатого его разрушили казанские татары.

Город расположен на высоком берегу Сухоны, при впадении в нее речки Песь-Еденьги; тотьмичи Песь-Еденьгу перекрестили в Песью-Деньгу — название укоренилось в литературе. И тут ссылки на царя. Шел будто бы Петр со своим слугой по мостику через речку, бранил слугу за расточительность (царь скуп был), слуга начал пересчитывать деньги и уронил монету в речку. Петр разгневался. Слуга с мостика бросился в речку искать монету, а царь сказал: «Пес с ней, песья деньга в песью речку и покатилась...»

— А я по-другому слышала, — сказала Нюра. — Купец продал Петру всякой рыбы на царский стол, и когда сдачу давал мелочью, то обманул. Ну, чего, дескать, неужели царь будет принародно медяшки пересчитывать? Тот принародно не пересчитал, а на мостике через речку и давай проверять. Тут и услышали от царя: «Купец пес, и деньги песьи!» Я и от ученых всячины всякой наслушалась. Ездят в Тотью архитекторы, историки и все больше останавливаются у нас на воде.

Я похвалил душистый чай, а Нюра — мягкую воду: на свете нет воды мягче сухонской!

— Я бы вам посоветовала сперва на старый посад к варнице — оттуда начинают. Где первые Строгановы жили. Утром с варницы — автобус за курортниками, садитесь у пристани. Там царь подошел к трубному колодцу, из которого солевары доставали бадьями рассол, сам опустил бадью в колодец, вытащил ее с рассолом и попросил заплатить ему за работу что положено...

Утром я уехал с курортниками в пригород — на чуть холмистое место, с которого в шестнадцатом веке тотьмичи переселились на берег Сухоны. И нынче здесь черпают бадьей рассол, но употребляется он для лечения простудных и других заболеваний. Главный лечебный дом — на зеленой горке с кустарником. От дома уходить не хочется, потому что вдалеке видишь пологие холмы, легкие увалы и деревеньки по ним, белые церкви в Тотье, церкви за белой стеной бывшего монастыря (теперь лесной техникум) и еще дальше — лес густо-синий. Древняя Русь.

Двести лет белой церкви, может быть, двести с лишним, а выглядит среди машин на совхозном дворе веселой молодухой. Не грузна, не осела. Ее стремление вверх, законченное вытянутым пятиглавием, начинается с того, что, во-первых — на холме поставлена, во-вторых — на подклетном этаже, в-третьих — множество оконных проемов как бы усиливает ее тягу к небесам. Она в высоту наверняка вдвое больше, чем в длину.

Заинтересовавшись этой церковью, я поехал смотреть и городские две, еще сохранившиеся. Тотемские церкви построены в одно время, после сгоревших деревянных, построены либо одним мастером, либо учениками его. Они все сильно вытянуты вверх, у них множество высоко расположенных больших окон. Заделанные в стены кирпичные столбики с незначительным выступом, похожие на пилястры, тоже подчеркивают легкость и высоту; той же цели служат и большие оконные проемы, перекрытые кирпичными перемычками.

Отличный кинотеатр получился в одной из таких церквей. Мрачноват, правда, зал ожидания с низкими сводами да с продавленными сиденьями диванов. Перед началом сеанса публика поднялась в кинозал по массивной лестнице; и тут я подумал, что во всех тотемских церквях есть такие лестницы на вторые, двухсветные, просторные этажи.

После кино дома за чаем Нюра вернулась к рассказу о своем капитане.

— Тебе тридцать, да ты не красавица, дак уж немолодой щеголек нашелся... А вы кушайте на здоровье. Бабу его за кражу муки из пекарни осудили на много лет. Вот мне, Пеструхе, и жених, — погладила при этом мясистые щеки, — веснушек много, а у нас веснушчатых Пеструхами зовут... Четверо детей у него, из них двое пригульные, женишок так и сказал: «пригульные», баба-де была у меня красавица. Ладно. Сидят на лавке Иван, Степан, Татьяна и Марья. Мал мала меньше, последняя-то совсем малешенька. А Иван со Степаном в школу собираются. Гляди-кось, Нюра, какое счастье тебе выпало... Кушайте на здоровье.

Позванивая ложечкой в стакане, хозяйка неторопливо рассказывала о своем коротком счастье. К свадьбе оделась она во все светлое; лентами украсили ее подруги-грузчицы; сидела за большим столом среди множества гостей из грузчиков и водников. Первый раз в жизни, если не считать столовые, ей подавали кушанье за кушаньем, кланялись; зато уж после хлопот навалилось: обмыть, обрядить детишек. Учебники, тетради, справки. Первый день в школу дети пошли с ней, она была и на первом родительском собрании. Выбрали в родительский комитет.

Раненько утром вставала. Пятерых, кроме себя, накорми, да двух в школу отправь, как родная мать, да еще как член родительского комитета — то есть чтобы дети твои в классе были примером для других малышей.

— Везла! Мы возить привычные. За мытьем да за шитьем еще и песенки попевала. Свой родился парень. Ноченьки бессонные. То девчоночка заболит, то Иван двойку принесет по письму. Но все бы это не тягота, если бы не был мой капитан. Соседи прозвали меня чемпионшей, двужильной. Да еще княгиней — это для смеха.

— Княгиней? Почему?

— А у нас заведено княгиней называть новобрачную после первой ночи, ну а я еще утром вырядилась в белые шелка. Я много зарабатывала, денег накопилось. В кино вы заметили, поди, как женки нонче разоделись? У меня сундук был с платьями, и пошли мои наряды в ход при замужестве. Кому делать нечего, тот и окрестил княгиней. Нашлись бабы: не трать свои денежки на чужих детей. А кому какое дело? Я их горбом нажила, я ими и распоряжаюсь. Ради чего я таскала на плечах мешки с сахаром? Восемьдесят килограммов. Стандарт. А как-то уволокла скат колес. Ей-богу. Сто семьдесят килограммов на плечи. Тут же, на барже, шутейно присудили звание чемпиона мира. Вот какой невестою пришла к капитану. На четырех детишек. Не пошатнулась. Ухом не повела. Пейте! Чаек-то уж поостыл. Пьяного капитана раздеваю и разуюваю, на полати волоку. Я ему и так и сяк: что-те за ум бы раньше бы взятыся, гляди-кось — опух от вина... А он что, пьяный? Едва тепленький. Я его на полати забрасывала через брус. Одной рукой — за ноги, другой — за волосё. Пушинка мой капитан. Денежки были, и детей я придела. Живем-поживаем. И домишко, и огородик, и коровенка. Иван и Степан посуду моют, коровник чистят, двор подметают. И свой у меня растет. Татьяну снарядила в школу. Скажи бы мне: вернись на пристань к девичьей жизни — не согласилась бы. А беда меня подстерегала. В один распрекрасный день привозят мне девочку. Бери! Чья? Откуда? Девочка — два с небольшим. Бери, княгиня, у тебя, сказывают, капиталишко. Капитан признает девочку. Из лагеря привезли. Мамкой придуривалась на самых на легких работах его благоверная. Капитан признал. Стало у меня уж пятеро. Свой растет. Беру девочку. А куда деться? Стало у меня шестеро. Княгиня-героиня. Ладно, коровушка по ведру молока давала. Живем. Капитанову зарплату водники лично мне выдают. Время не мешкает. У меня четверо — в школе. И общественность поддерживает со всех сторон. Заседаю в родительском комитете. И детишки мои в постановках выступают. Мальчонки крепенькие, как белые грибочки. Я спокойна и за вчера и за завтра. Человеку много ли надо? Вся орава называет меня мамой, ласкается ко мне. А капитан винцо пьет... И вдруг она из лагеря приходит. — У Нюры щеки покраснели, дрогнули руки, собиравшие на столе посуду. — Я только отправила ораву свою в школу да капитана на пристань. Отправила и в зеркальце посмотрелась: морщинки на лбу разгладила. Этой глубокой-то борозды у меня в те года не было. Поскоблила ступеньки крыльца и ушла коровушке сена дать. В октябре дело-то. Возвращаюсь от коровы, смотрю: чьи-то следы на сыром крыльце. И как будто кто-то ножиком ткнул мне в самое сердце. Одному счастье — как проливной дождь, а другой — росинки не дождетя с маковое зернышко... Та-ак. Захожу в дом, а она сидит в переднем углу. Оборвалось мое сердце. Лыбится. Бровастая, глазастая, зубы целехоньки. Брюхо набито, а она лыбится. И там нагуляла. Вот как. Добрая у нас власть. Жалостливая. Дадут за кражу муки тринадцать, а через четыре домой

отпустят. С брюхом. Ну, поздоровались. Еще одного пригульного несет баба. И что ты ей скажешь? Домой пришла, у нее тут детишек пятеро. Манечка моя смотрит на мать, как на чужую, но ведь это пока... Попили так же вот чайку, и баба ложится на мою с капитаном постель. Утомила, бает, в дороге. Собираются соседи. Жалуют и ее, жалуют и меня... Она утверждается в доме, кричит на капитана. А я — ревом реветь. Многие меня успокаивают, советы дают: не уступай, княгиня! Возьми свое, чемпионша! А я любила его, лешака окаянного, хоть и страшно пил наглопо-глупый. И к детишкам привязалась. Они у меня чистенькие. С четверками приходят. Да я же заседаю в родительском комитете! Бывало, идешь по улице, с тобой все родители здороваются, остановятся поговорить о школе. Ведь я же семь лет была на пристани грузчиком, и все-таки выпало на мою долю счастье. Каждому положено счастье. И вот — на тебе. Ошалела я, губы высохли, истрескались. Никакой не вижу в себе намеренности в будущем. Лезь в петлю с горя и стыда. И тут про меня вспомнили на пристани. Профсоюз засуетился. А весна подходит. Я человек не бросовой. Пристань отремонтирована и покрашена. Дают мне эту вот самую комнату с чуланчиком и ставят заведовать номерам. Бывалошна сила еще сохранилась — взялась я мыть, скоблить, стирать и заведовать. А капитан, слышь-ко, умер вскорости... Парню-то у меня четырнадцатый год. Парень-ёт вылитый в капитана. Лицом, но не характером. Строг. Шалостей ни боже мой не признает. И ее детки живы-здоровы, которые близко, как те забегают погостить. Иной раз и с гостинцем. Досугу-то ныне у всех мало, а особо — о пустом брэнчать.

— А она? — спросил я. — Что с ней?

— А она обратно втерлась в пекарню — где же прокормить бы ей такую ораву без пекарни... Обрато винцо попивала. И он ведь пьяный замерз. Поймали ее с мукой, да уж не судили... Он мужик-то смиренный был, олень, ему бы не такую. Дети в его пошли. Двое старших техникумы окончили, а третья учетчиком в лесу, четвертая куда-то уехала к тете, э пятый сперва у государства на харчах был, а недавно взял его большак. Одна-одинехонька пьяная старуха доживает век. Одичала. Увидимся — поговорим на улице. Чего нам теперь делить? А которая дочь ее учетчиком в лесу, та с подарками часто забегает ко мне. Татьяна Прохоровна. Видная из себя. Обличьем в мать. Замужем за технологом лесопункта. Иван после техникума помощником капитана ходит, а Степа во флоте. Иван-то и взял на руки последнего. Парни славные. — Нюра показывала множество фотографий. — Младшую тоже зовут от тетки. Зовут в лес. Нынче лес не тот, что раньше. Мы до войны пластались в лесу — вспомнить страшно, а ныне с накрашенными губками там разгуливают. Свалит — пила, поднимет — кран, увезет — мотовоз, лесовоз, а в речку транспортер сбросит. И то не каждую в лес заманишь. Сельпо платит по сорок копеек за килограмм клюквы, а ее с кочек вилами сдирают, как сено. Трое сходят — пятьдесят килограммов принесут, а если школьников прихватят, то и без малого воз ее выдерут с болота. Иному в месяц столько не заработать, сколько семья в день на клюкве добудет. Да и в резиновой обуви в болото, а не в лаптях... — Нюра вздохнула. — Убили мы свою молодость в тяжелые годы. Ныне человек за машину спрятался. Дожили до чего — нагибаться лень!

— Где же ваш родной сын?

— Михалко-то? — Нюра улыбулась. — А лето с Иваном бегал на пароходе, а вчера к Татьяне Прохоровне укатил за грибами да за малиной. Тоже собирается в водники. Родной ведь он им брат.

Утром в музее я увидел фотографию Нюры. Даже две фотографии. На одной Нюра среди лучших рабочих пристани, имеющих не по одной профессии, а на другой — среди водников, отличившихся в труде в послевоенные годы. Молодая, с кудрями, дородная в плечах, Нюра с достоинством посматривала на посетителей музея, затаив еле заметную смешинку.

В музеях Севера много птиц, зверей, рыб и, как во всех музеях страны, есть бороны, сохи, крестьянская изба с лучиной и прялкой, история края. В Тотем-

ском музее встретил я фотографию Потанина, родившегося на Иртыше немного повыше Павлодара. Знаменитый этнограф и путешественник по Азии, оказалось, в этих же местах отбывал ссылку после каторжных работ. Ссылку отбывали здесь и многие социал-демократы. Вот фотография Василия Андреевича Шелгунова — соратника Владимира Ильича Ленина по петербургскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса». Вот Луначарский.

И — наше время: шестнадцать Героев Советского Союза, генерал армии — всё тотемичи...

У фотографий столпились курортники, съехавшиеся в Тотьму из сел и городов Севера. Лесорубы и сплавщики, доярки и мастерицы выращивать лен. Внимательно слушают они Осипа Васильевича Кузьмина, который умело открывает перед ними свой край.

За тридцать лет Тотемский район дал стране пятнадцать миллионов кубометров леса.

— Ой-эй-эй... Вот это богатство! — изумилась крестьянка, приехавшая на курорт. — Сколько же здесь его, мать моя... Тридцать лет рубят... — Она взяла деревянный колоколец — колотушку с шариком. — Рокотня, что ли?

— Рокотня, рокотня...

Ах, какое же приятное слово! В «Слове о полку Игореве»: «Боян... своя вещиа пръсты на живая струны въскладше, они же сами княземъ славу рокотаху...»

В старину, бывало, повесит мужичок рокотню на шею своим коровам, лошадям, отпустит их в лес раненько утром, а днем выйдёт сам в ельник — прислушаться: его ли рокотня побрякивает, потому что у каждого хозяина рокотня со своим, особым звуком...

Осип Васильевич, старый хранитель музея, подзывая нас в угол, сказал:

— А здесь под стеклом лежал с цепочкой амулет Петра Первого, царь подарил его местному монастырю.

— Амулет? — грозовецкая женщина перёглянулась со своими соседками. — Что такое амулет?

Осип Васильевич пояснил:

— Ладанка с цепочкой...

— А-а... Яицько на цепочке! Нет?

— Талисман, — сказал я, и вдруг все засмеялись, потому что не поняли ни «амулета», ни «ладанки», ни «талисмана».

— Ну, в общем, была такая штучка на цепочке, — хранитель музея поднял рыжие растопыренные пальцы, — которая будто бы спасала царя от пуль во время боев, счастье приносила, и он подарил ее монастырю.

Здоровый парень, еще улыбавшийся, убежденно сказал:

— В такую глупость не мог Петр Первый верить. И где же эта ладанка?

— Украли, — Осип Васильевич замигал белесыми ресницами, сморщился, сдерживая не впервые нахлынувшие чувства, — мерзавцы какие-то.

Парень безмерно удивлен:

— Ладанку? Какой дурак позарился? Рокотню бы — хоть на корову повесишь, а ладанку — смешно... — И притих, перестал улыбаться, потому что строго посмотрели на него серые глаза хранителя музея, да и товарищи не поддакнули.

Тотьма красавица. Об этом писал еще Анатолий Васильевич Луначарский, отбывавший здесь ссылку. Могучие липы поднимаются выше церквей. А березы на пригорках? Какие же расчудесные березы шелковисто шумят в Тотьме! Длинные, тонкие ветви их, подхватываемые ветром, струятся по краям улиц, наполняя город шепотом листьев.

— Это что же такое-то, — удивлялась Нюра, провожая меня к пароходу, — погостят маленько и обязательно в Тотьму влюбятся. Забыла вам сказать: не царь придумал название городу! Чаевничали мы с профессором из Ленинграда, он и говорит мне: Тотьма — финское слово, город на широком конце реки. Правда ли, неправда ли — за что куплено, за то и продаю. А царева жена Евдокия Федоров-

на Лопухина жила здесь до пострижения в монастырь. У меня соседка была, тоже Евдокия Федоровна, — рядом с капитановым домиком. Будьте здоровы. А вы взяли да приехали бы отдохнуть на нашем курорте — всякой всячины послушали бы.

Перед Великим Устьюгом

Еще в Москве наслушался я рассказов о камне Лось и с нетерпением ждал встречи с ним. Петр Первый будто бы в одну из своих поездок по Сухоне в Архангельск заходил на этот камень, а в другую — обедал на нем. Синеватый камень Лось похож на громадное конское копыто, лежит он в воде близко от берега, сотни лет не мешает судам, но в наши дни кто-то пытался взорвать его.

Темно-синие камни валялись по берегам, выглядывали из воды. С удивлением узнаю, что каменная гряда протянулась до Тотьмы с Урала. Полной неожиданностью оказалось и дно Сухоны — плита попеременно с песчаными полосами, из которых чистейший песок выкачивали в баржи. Любопытное зрелище. Сильная плавучая машина — сосун — через большой рукав гонит в баржу воду, густо перемешанную с песком, песок в барже отстаивается, а вода выливается через ее борта.

Солнце клонилось к закату, когда мы прибыли в Нюксеницу, чтобы заночевать на пристани и утром отправиться в Устюг на другом судне.

На песчаном берегу, близ пристани, я познакомился с местным жителем лет пятидесяти. Никифор Прокопьевич не спеша смолил небольшую лодку, выдолбленную из ствола толстой осины. Долбушки, однодеревки готовятся теслом — топориком, острие которого совочком изогнуто. Сперва терпеливо из дерева вырубают и выскабливают всю древесину, как мясо, скажем, из дыни, затем бокам будущей лодки придается нужная форма после того, как их размягчат кипятком и разведут деревянными дугами, похожими на конские ребра.

— Стружок, — сказал о своей долбушке Никифор Прокопьевич.

Мне вспомнился древний струг — плоскодонное гребное судно для перевозки товаров; матросов на нем называли ярыжниками. Кроме того, были лоцман и детина. Детина — помощник лоцмана.

На Сухоне и Северной Двине слово «бурлаки» не прижилось, не многие знали его. Ярыжники волочили судно против течения, гребли, когда шло оно вниз, стаскивали с мелей, перегружали с него товар на ладьи. Село, скажем, небольшое судно на мель — ярыжники слезают с него в воду и приподнимают его на жерди, продетые под плоское дно, приподнимают и переносят с мелкого места. На крупное судно требовалось до трехсот ярыжников. В трудный промысел этот шли посадские, крестьяне из прибрежных волостей, люди, по разным причинам убежавшие с постоянного места жительства. Особенно опасной была их работа осенью, в холода, на мелкой воде, когда судно «ставало в заморозе» и приходилось таскать с него товары.

Городовые книги по Устюгу Великому, поручные записи, книги ямских отпусков с указанием расходов на транспорт рассказывают нам о найме ярыжников на суда «по вольной цене». Нанимаясь на судно, неграмотный ярыжник давал «поручную» записку, обязывался выполнять такую-то работу и слушаться нанимателя, а затем получал задаток, а при перевозке казенных грузов задаток давался не на руки ярыжников, а начальству, которое сопровождало судно.

Где остановилось судно, прихваченное льдом, до того пункта и рассчитывались с ярыжниками.

В Устюге сохранилась жалоба ямского старосты Пospела Алексеева на московского целовальника Михаила Борисова, который в семнадцатом веке вез из Архангельска «государеву узорочную казну» и на дощаник «для своя корысти» потребовал только тридцать четыре гребца вместо пятидесяти двух, полагавшихся по подорожной, а за остальных «взял себе деньги». За каждого из недобранных на дощаник восемнадцати ярыжников он присвоил себе по двадцати шести алтын и

четыре деньги. Измотанные непосильным трудом, яржники медленно волокли судно вверх по Северной Двине, и оно не дошло до Устюга, как предполагалось, а «стало в заморозе под Кудласом» (Котласом).

Это я рассказал хозяину осинового лодки Никифору Прокопьевичу Артамонову, чтобы поближе с ним познакомиться.

— Про семнадцатый век мы не слыхивали, — ответил он, не переставая смолить стружок, — а вплотную до революции на горушке жил купец Казаков. — Он указал черной кистью на высокий дом с резными балконами. — И парходишко был у него, и дощаники были почти что такие, я думаю, как и в семнадцатом веке. Я революцию школьником встретил и с купцами дело не водил, а отец мой на купцовом парходике бегал. И дед бегал по Сухоне на мелких судах. Прежде нанимались от Тотьмы до Бобровского яма и от Бобровского яма до Устюга. Пристань Бобровское — примерно на середине между Устюгом и Тотьмой.

К берегу приближалась лодка.

— Полковник с рыбалки возвращается.

— В самом деле полковник?

Никифор Прокопьевич поднял малярную кисть, роняя с нее тягучие струи смолы, сверкнувшие в лучах вечернего солнца.

— А что? Отслужил мужик в армии тридцать лет и вернулся домой полковником. Рыбачит. У меня, говорит, две сети: сеть рыбацья и сеть политического просвещения. Лектор сильный.

Рыжий полковник вытянул на берег тяжелую лодку и взял из нее весла.

— Что попало, Вавила Игнатьевич?

— А ничего, паря, не попало. — Вавила Игнатьевич поздоровался и со мной, спросив, откуда и куда еду, по каким надобностям, и, должно быть, сразу забыв мои ответы, вернулся к заветному, видимо, делу: — Дак ты, паря, сделаешь мне долбушку или не сделаешь?

Они оживленно заговорили об осине толщиной в три обхвата, ждущей в столетнем ельнике, который вот-вот начнут вырубать. Осина старая, дуплистая; Вавила Игнатьевич не раз уже стучал по ней обухом топора, и дупло сказалось. Никифор Прокопьевич на эти слова заметил:

— Чем больше выгнила ее середина, тем легче мне лодку выскоблить. Да ты и сам бы должен уметь. Вавила Игнатьевич, гвой покойный родитель из осины все на свете творил: коробья, лукошки, посуду да всякую всячину. Тебе лодку-то с набоями?

— С набоями, с набоями. А отцовское ремесло помню маленько: бил, паря, баклуши осенью.

Я рассмеялся, потому что в моем представлении бить баклуши означало бездельничать, а оказалось, «битье баклуш» — это заготовка на зиму осиновых чурок и болванок для поделки из них всякой всячины.

На осмоленную лодку, лежавшую кверху дном, легла тень и прикрыла ее почти зеркальный блеск. Потянулась тень к реке, к высокому берегу с елками и березами, которые нежились еще в лучах. Скоро кругом все начало темнеть, лишь река блестела. Мы поднялись в село к солнцу, к домам, к водонапорной башне. Вавила Игнатьевич сказал:

— Потеряли вкус к поделкам из осины, а какие бы славные вещицы можно мастерить. Всякую пустяковину из железа норовят отковать. Окончательно перевердись высокой руки столы, а в каждом бы райцентре здесь могли делать мебель не хуже финской... — И почти зашептал мне, чтобы и Никифор Прокопьевич не услышал: — Многие изленились донельзя. Честное слово! И говорить об этом немисливо при наших громадных достижениях, а налицо лень! — Он махнул рукой. — Нет ничего на свете позорнее лени. — Остановился, приподнял рыжие колючие брови. — Глянь на любую сторону: ягоды по лесам сплошняком на сотни километров, а где хоть один заводик соки выжимать из лесных ягод? Соки брусничные, черничные, клюквенные. Домишко бревенчатый срубить, а в домишке пресс поставить — тоже деревянный, с деревянным винтом. И все! Пей соки! —

Вавила Игнатьевич весело засмеялся, сморщив лицо с рыжеватой щетинкой. — Писал я об этом, говорил на партийной конференции. Даже в резолюцию не внесли.

У столовой толпился народ. С кружками пива сидели на бревнах, на досках, сложенных штабелюком, на тракторе двое возвышались, роняя с посуды пенные шапки. Ведрами несли пиво. Два цыгана, чокаясь, громко рассуждали о цементе, о рытье канавы. Белесый парень с веселыми глазами, вероятно смешавший пиво с водкой, говорил пожилой женщине:

— Мы не сей день запировали, мы вчера в лесу запировали.

— Иди домой. Иди, Ваня. Как тебе не стыдно шары наливать? И полочки нет, а ты успел нализаться.

Вавила Игнатьевич сказал мне:

— С утра пьют. А надо бы — соки ягодные. На той вон горушке поставить бы пресс, тут кабак раньше был. Здесь по Сухоне и Двине возили в дощаниках и каюках государеву питейную казну. Между прочим, по этой улице как раз и проходил в древности тракт между Великим Устюгом и Тотьмой.

— Вы, должно быть, любитель истории? — спросил я.

— Только по местному краю. У меня за плечами войны, строевая служба, а на историю я напал при розысках своих предков...

Я-то, собственно, шел в столовую, и мы остановились около ее крыльца. Вавила Игнатьевич, высокий, статный еще, строго посматривал на любителей пива. Он поманил к себе куражившегося Ванюху и внушительно сказал ему:

— Брось ломаться. Иди спать.

— Дядя Вавила, на хлеб и на соль я даю...

— Иди, говорю, спать. Чтобы я тебя здесь не видел.

Ванюха покорно поплелся домой следом за матерью, за ним еще пошли двое. Мужик в черной новой спецовке, какие выдаются мастеровым, потянул от нас к пиву Никифора Прокопьевича. Вавила Игнатьевич решительно зашагал в центр поселка, успев вручить мне записку к устюжскому родственнику — тоже любителю местной истории.

На пристани нас, собравшихся ночевать в плавучей гостинице, было с десяток. Старик со старухой, закончивший свой отпуск в деревне и возвращавшийся на службу в Норильск; молодой человек, приехавший из Москвы к родственникам на время отпуска — осенью поохотиться и порыбачить; девушка, после двух лет работы в сельской аптеке спешно уезжающая домой; две путешественницы, интересующиеся иконами и церквями; женщина с грудным ребенком. Старик расхваливал свой Норильск — там особой стужи не водится, продуктов полно. Аптекарь-девушка, затеявшая спор с московским парнем, клялась: не вернется она в эту глушь; отдала сполна два года, которые полагались с нее по закону, — и прощайте грибы, ягоды, елки и сосенки. Прощай Нюксенбург...

— Нюксенбург? — Искательницы икон, шурша шелковыми плащами, долго смеялись. — Ловко Нюксеницу перекрестили...

— А ты куда едешь-то? — спросил старик женщину, грудью кормившую ребенка.

— Ой, да не все ли равно, дедонько. В лес.

— А как там заработки?

— А пила хорошо идет, дак и заработки. А если моторчик забарахлил — останешься на подсосе, как теленочек.

— Отец-то есть? — Старик указал на дитя.

— С отцом конфликт. — И ушла в комнату матери и ребенка.

После бесконечного дня на пароходе я уснул сразу. Лег на спину, вытянулся — и как умер до утра. Кто-то сказал за окном:

— Думал — туманное утро, а смотри-но, вовремя пойдем.

Я быстро сел на постель: неужели утро? Да, кто-то уже взял билеты и пил чай.

— Ленё-и кипяточку... Недолго погостили в Нюксенбурге.

Не успело еще солнце по-настоящему заглянуть на реку, а наш пароходик уже отправился в путь. Тумана не было, но от реки поднимался густой пар, как будто вода кипела, да и бревна, вольно плывшие вниз, казались распаренными, горячими. Я оглянулся на просмоленный стружок и, конечно, вспомнил Никифора Прокопьевича, а затем на палубе поближе подошел к рулевой будке, чтобы разглядеть капитана. Да, конечно же, это был сын Никифора Прокопьевича! То же продолговатое лицо с большим носом, те же чуть вдавленные виски, луночка на подбородке. Заглядывая в штурвальную будку, я сказал:

— По отцу Никифорович, а звать как?

— Владимир Никифорович, — сказал он. — Заходите.

Он стоял у руля, а я взгромоздился на его высоченный стул. Начали деловой разговор.

От Михайловки до Устюга — молевой сплав: плывут бревна в фарватере — по судовому ходу; справа — красные вежи-палки, склоненные течением, слева — белые, в каждую белую — в ней, вероятно, расщелина — воткнуто несколько еловых веток. Плыдем между красными и белыми вежами, стучаясь о бревна.

— Топляк опасен, — сказал Владимир Никифорович, — затонет, одним концом упрется под камень, а другой выставит навстречу пароходу, бревно ведь это, а не палочка, и, главное, не видишь его в воде. Десятки судов об эти топляки ломают гребные колеса и винты. Беды много. Со временем, я думаю, откажутся от сплава вольницей, россосьпью.

Умело разойдясь при встрече с большими баржами, которые чуть не задели о наш борт, Владимир Никифорович сказал:

— Узкость. Мелко. Расхождения тяжелые. Грузовички командуют, а мы только просим дорожку. Водички мало. С первого июля ночные рейсы отменены. Тут недавно на перекате — дорога узкая — встретились наливной танкер и пароход. Танкер — обшивка толстая, нос острый. Броня. — Он поднял кулак. — И что же вы скажете? Танкер срезал на пароходке каптерку, холодильник, искалечил кормовую часть. Теснота.

Я завел разговор о Нюксенице — «Нюксенбурге», стараясь побольше развеять о полковнике и об отце капитана, но капитан сказал, что детство свое он запомнил в деревне, с отцом виделся редко.

Рассуждая со мной, Владимир Никифорович не снимал рук с колеса управления и постоянно смотрел на реку, усеянную бревнами.

— Дело у нас такое было. — Он улыбнулся, вспоминая, видимо, детство. — Отца постоянно тянуло к службе, к воде, а мать была мастерицей по выращиванию льна и не расставалась с колхозной бригадой. Я — у матери, в маленькой деревеньке. Школа, больница, магазин — все за рекой. До школы семь километров. В два конца — четырнадцать. Осенью и весной трудновато. Сегодня переберусь на лодке, а утром — лед стал. Он трещит, а ты скользишь по нему, как циркач. Или весной, в половодье: льдины идут, а ты на лодке маневрируешь. Иду как-то из школы, а лодки нет. Лавочник за товаром уехал. Мне скорее домой охота: мать в бригаде, а дома коровенка не поена, овечки меня ждут. Ходил в третий класс, умок-то еще зеленый: не терпится. А про героев уж начитался. Льдины что-то замешкались на месте, сгрудило их перед камнями. Я давай скакать с одной на другую. Маленько покачиваются, а молчат. Запошевеливаются — остановлюсь. Оглядеться, дорожку выбрать. Достигну, думаю, не я первый пробираюсь. Мне до своего берега близко было, когда льдины пошли. — Владимир Никифорович улыбнулся чуть заметно. — Закричал я, дело прошлое, а на берегу ни души. Понесло и понесло к середине реки. Эх ты, матка-свет. Льдины толкаются, колются, шипят, позванивают осколочками. А мою на месте еще закрутило. Кричал я. Немало нашего брата тонет из-за своей глупости. Сей год тяжелый — много тонут.

— Разве это зависит от года? Вы суеверны?

— Суеверен не суеверен, а в один год мало гонут, а в другой много. Тогда смертонышка взяла меня за горло. Камень спас. Стою вот за рулем и камней боюсь,

а тогда синий камень спас. Доехал на льдине до гряды камней, она разбилась, а я ухватился за шею камню. Обнял его и портфельчик держу в руках. На камне еще страшнее. Кругом река бушует, и от меня до смерти какие-то сантиметры. Доревелся, докричался — приехали на лодке.

— И не застудились вы?

— Ну как не застудился! И водкой поили, и растирали, и на печке под шубами грелся. Крепкий был пацаненок. В то же лето на лодке сено возил... В Устюге — врач Ратников. Советую познакомиться. Зимой в проруби с ним купались. В Устюге, в техникуме, я штурманское окончил, в Ленинграде заочно судомеханическое кончаю. А помощникам у меня по шестнадцать лет. Из профтехучилища. Ничего ребятам. Команда комсомольская. А вымпела нет. Дизеля капризные. У кого дизель из города Токмака — у того и вымпел, тонно-километры, пассажиро-километры, а у кого дизель из города Хабаровска — тот всю дорогу занимается ремонтом. Всю ноченьку мы провозились — лопнул валик привода центрифуги. Отец тоже приходил на подмогу... А разве мы без вымпела плавали б, если бы нормальный дизель?..

В рулевую будку пришел заспанный профтехшкольник. Он через бинокль посмотрел на реку, очистившуюся от белого тумана, на высокие песчанистые берега с прослойками известняка, на далекий лес, по-сказочному синий, положил бинокль и взялся за руль, сказав Владимиру Никифоровичу:

— Крепкого чайку попейте. Душистый заварен.

Я тоже спустился в нутро парохода, где стояли непокрытые столы между скамейками, какие ставятся в городских парках. Одни спали на них, подсунув под головы узелки, чемоданчики и укрывшись дождевиками; другие попивали чаек, разложив по столам хлеб, огурцы, масло, консервные банки. Две путешественницы в брюках, интересующиеся церквами и иконами, заглядывали попеременно то в маленький путеводитель, то в пухлую историческую книгу с черными корками. Мать, положив ребенка на скамейку, полупешотом рассказывала девушке-аптекару:

— Я сама-то из деревни Лужевица. Мне дальней родней приходится Герой Советского Союза Угловский Анатолий Ефимович. Он из Лужевицы. А могила его в Витебской области, Яновичский район, деревня Холудное. А мужик у меня с юга. Шофер на вывозке леса. А сама-то я сучки обрубая. На заработок обид нет. А еду-то я вовсе не в лес, а к маме. Дитенка оставить у мамы. На юг он поехал стариков попроведать, а не знаю, вернется или не вернется. Живать ли мне на юге? — Вдохнула. — Там фруктов страсть, а на заработки обижаются. Ну, я за деньгами не гонюсь. Лони осенью ездила на юг. Яблоки с яблонь дождем падают... А ты совсем?

— Совсем. И еще учительница уедет. Одиннадцать учеников: пять — первый класс, три — второй, два — третий, один — четвертый. К каждому классу надо особо готовиться, да еще и школой заведовать. — Аптекарьша заглянула в карманное зеркальце, вздохнула, накрашенные волосы и подровняв брови.

Пожилая гражданка, гревшая большие руки о железную кружку с кипятком, сказала женщине с ребенком:

— А я — лен теребить. От сплавной конторы. Сохраняют средний заработок. Не знаю, как сей год, а лони теребили, теребили, а снопки зимовать остались. Суслончики упали, скот головки объел. Ох, — вдохнула, — глаза бы мои не видели. Мы двенадцать гектар вытеребили... Какой лен хороший! С сотки по двадцать четыре копейки. Больше четырех соток не вытеребить. Нынче, сказывают, лен-то еще лучше. Сеют и губят, сеют и губят. — И так вдохнула, что на столе зашевелилась оберточная бумага. — А нам средний заработок от сплавконторы. Сто десять.

Часом позже чуть не все мы были на палубе в передней половине пароходика, потому что солнце припекало, сияли зеленые берега, и только картежники, резавшиеся в «дурака», оставались в «сараях». Мы расселись на скамейки, ящики, чемоданы и, рассуждая о всякой всячине, нежились под солнцем. Женщина, ехавшая

теребить лен, увидев капитана, вновь появившегося за рулем, громко обратилась к нему:

— Ты меня на наволоке высади! Лен теребят сразу за наволоком.

«Наволоком» гут называют мысок.

При мне это уже не первый случай — просят высадиться на берег в любом месте, чуть не у каждой деревни.

Владимир Никифорович повернув парходик против течения, легонько при-ткнулся к берегу; женщина спустилась по круто поставленному трапу и замахала нам. Девушка-аптекарь возмутилась:

— Неужели нельзя придумать машину лен дергать?.. Подкапывать бы его в крайнем случае какими-нибудь плугами...

— А что машина? — сказала мать с ребенком. — Мы вон сколько в лесу машинами сосенок вытоптали! Вот по какой-нибудь подвесной дорожке выволакивать бы бревна с лесосек, тогда бы и молодняк спасали.

Норильский старичок вдруг осердился:

— Да еще вашего брата бабье в лес по подвесной дороге забрасывать, а то как бы вы свои барские ножки о сучье не поцарапали. — И покраснел от злости, глазки засверкали под припухшими веками. — Работенка в лесу эти годы шалая-валяй. Мотовоз, лесовоз, подвесная, навесная, автобус, а мы на одиннадцатом номере до лесосек добирались. Вконец народ избаловали!

Старуха быстро вашипела в самое ухо мужа.

Старик затих, поднял воротник плаща, как будто холодно ему стало, и лишь у пристани Бобровское мы услышали от него:

— Ям Бобровский, сто тридцать девятая верста от города Тотьмы, до Устюга сто семнадцать остается. Отсюда до Устюга подряжались новые лоцмана и кормщики.

Старуха заворчала, и дед снова поднял воротник дождевика. Старуха сказала матери с ребенком:

— Скорее бы уж в Норильск. Находились по грибы и по ягоды. — И улыбку-лась. — По глупости дед скажет, что хочешь. Маленько глотнет — и вожжа под хвост. С самой коллективизации не живал здесь, а судить берется. — И махнула рукой на старика. — Не держать бы его в ежовых, дак спился бы, как самый последний ярыжка.

— Вот-вот Опоки увидим, — часом позже сказал дед искательницам икон и деревянных церквей. — Самый большой последний перебор, вода кипит, как в котле. Раньше камешков много выглядывало, а теперь, бают, повыловлены... Эвон деревня Порога. Мыс Носок.

Опоки? Село Опоки. Об этих Опоках, как и о камне Лось, всю дорогу нет-нет да и вспоминали пассажиры, едущие по Сухоне. Откуда у села такое название? Опоками называют обычно в литейных цехах рамы для формовочной земли. Старик сказал: местные жители опоками называют красящий камешок по берегам речек. И глина — опоки. Опоки — белый камень, который здесь сверкает на обрывах высоченных берегов у села и которым выстлано дно Сухоны. Давно уже сопровождали нас высокие алебастровые берега, причудливо раскрашенные известковыми суглинками; у села они возвышались гладкими стенами высотой метров сто, пожалуй.

— Сюда художников возим, — рассказывал мне капитан, — такой красоты. говорят, по всему Северу нет. Художники больше из Ленинграда. Ленинградцы любят Север.

Кажется, это не берега, а гладкие стены возвышаются справа и слева от воды, бурлящей на угловатых поворотах, стены их по линейкам словно выложены разноцветными плитами. Вон под хвойным лесом после почвы — розоватая полоса, вон — зеленая с примесью охры, кирпичной пыли; узкою лентой на добрых полкилометра тянется меловой известняк, строго по прямой, словно отрезанный от сероватой глины с черными пятнами, с прослойками ржавых пластин; полосы желтоватые, бурые, красно-бурые, полосы в пятнах различной раскраски, местами

будто пропитанные ярко-марганцевым раствором... И все это спрессовано тысячами.

Стружок с подвесным моторчиком птицей пролетел, едва касаясь воды, за ним — второй стружок, тоже с двумя рыбаками и сетью, положенной на носу.

— Легкость-то какая! — восхищенно сказал Владимир Никифорович. — А мой папая не хочет ставить мотор на стружок... По старинке — с одним веслом, а то, говорит, и рыбу и птицу распугаешь. — Он долго молчал, напряженно работая рулевым колесом, потому что, как я заметил, плыли мы по каменному корыту.

Старик, размахивая руками, рассказывал искательницам икон: прежде здесь никакое суденышко не могло подняться вверх без мужицкой помощи... Промысел был: суда перетаскивать через перебор.

— И я, пожалуй, согласен с отцом, — сказал Владимир Никифорович, — на охоту и на рыбалку — лучше без мотора. Вокруг Опок по лесам замечательная охота. Я здесь как-то двенадцать килограммов дичи принес. Глухари. Старика убил — перья на ногах, мозоли narосли. Картечью или нолевкой...

Мне хотелось побольше узнать о Вавиле Игнатьевиче, и капитан сказал:

— Беспокойный полковник. Сперва тихо жил, присматривался, слушал, высказывался осторожно, а потом местным начальникам стал говорить: «Вы не правы, товарищ Панкратов, и вы не правы, товарищ Власов». Пошел и пошел в открытое море: в магазине — комиссия, на пекарне — контроль, а при контроле воров трудно выгораживать. Заведующую детскими яслями — по шапке! Нашел какие-то незаконные отчисления со стоимости строительного песка, который здесь добывают. Рыбак и охотник тоже. Таких бы полковников нам три-четыре — помали бы многие барьеры.

Ждали встречу с Великим Устюгом. Оживились искательницы икон и церковей, ходившие по палубе в брюках и пестрых кофтах. Низкие, пологие берега открывали перед нами широкие дали, простор зеленый, усеянный маленькими деревенками, и путешественницы то и дело прикладывали к глазам бинокль: не Устюг ли начинается.

— Устюг мы сразу увидим, — сказал старичок. — Еще осталось в городе четырнадцать церквей. Главные-то все сохранились: Вознесение, Успенский собор, Троице-Гледенский монастырь...

День солнечный, и город перед нами сразу возник на высоком берегу: белые церкви, фабричные трубы, и наконец заметными стали парходики у пристани, баржи, землечерпалки, обозначился и сам берег по всему спуску, покрытый бетоном или асфальтом.

Великий Устюг

Зеленые дворы с поленницами распиленных дров и штабелями коротья, приплавленного рекой. Запах сырого, гниющего дерева. Дощатые мостки и полевые цветы. На главной улице — кирпичные дома, построенные еще в восемнадцатом веке, а на окраинах — двухэтажные, бревенчатые, с большими окнами.

В музее молодой человек, настроенный весело, приподняв книги с широкого подоконника, сказал о себе:

— И географ и краевед, историю тоже люблю, так что здесь у меня что-то вроде общественной нагрузки на добровольных началах. — При улыбке на его щеках появились ямочки. — А полковник тот приходится мне родственником. Вас что интересует в музее?

— Путешественники, — начал я.

— Ага. Понятно. Первопроходцы.

Небольшая стена тесно покрыта портретами и схемами дорог неутомимых первопроходцев, которые либо родились в Великом Устюге, либо в пригороде Устюга, либо поблизости от него (в Сольвычегодске). Едва ли еще какой-нибудь город за один век дал столько великих путешественников в дальние страны. Из Устюга отправился за счастьем в Сибирь Семен Дежнев, за восемьдесят лет до Беринга

проплывший через пролив, отделяющий Азию от Америки. Берингу не удалось проплыть весь пролив, а устюжанин Дежнев прошел по всей его длине.

К своим причисляют устюжане знаменитого «добытчика и прибыльщика» Ерофея Павловича Хабарова (город Хабаровск, железнодорожная станция Ерофей Павлович), родившегося в Сольвычегодске, устроившего на Дальнем Востоке соляные варницы и взявшегося засеивать тамошние плодородные земли.

— Первый целинник, — сказал Алексей Мартемьянович и улыбнулся. — Личность в высшей степени беспокойная. Пахал там, сеял, воевал, с губернатором ссорился, бедствия терпел, но все-таки после суда в Москве в сибирском приказе был реабилитирован, как мы теперь выражаемся, и пожалован «в боярские дети»... Мужичок попал в боярские дети.

Из Устюга первооткрыватель Камчатки — Атласов Владимир Васильевич (Володимер Отласов), «от скудости переселившийся в Сибирь».

Житель Великого Устюга Неводчиков открывал утесистые, пустынные Ближние острова Алеутского архипелага. На одном из них есть бухта имени Неводчикова.

Из Устюга замечательные землепроходцы — Бахов, Шилов, купец Шелагуров и многие другие, уходившие «в мире скитатца», искать плодородную землю в те годы в особенности, когда «солнцем и зноем хлеб выжгло» (1654—1655) или «дождев вовремя не было, а которой... хлеб зжат был, в копнах складен и после того были дожди великие и клади пробивало и хлеб изросл и згнил», «хлеб вызябл и оттого учинилась хлебу большой недород и в мире скудость большая».

— А водолея я бы вам посоветовала сфотографировать, многие из приезжих фотографируют.

«Водолей» — это герб Устюга Великого: благообразный мужичок, похожий на святого с иконы, сразу из двух кувшинов сливает воду вместе, как сливаются около города реки Сухона и Юг.

В музей вошли белесые молодые водники в темных кителях и остановились около нас. Алексей Мартемьянович, зарумянившись, поспешил:

— Мне передавали! Пойдемте, — уходя с речниками в другие комнаты, он кивнул мне на свои книги: — Поразвлекайтесь малость. Я скоро вернусь.

Я взял книгу с подоконника. Семнадцатый век. Подчеркнуты Шергины. Шергиных много упомянуто в писцовых и таможенных книгах. В 1677 году посадский человек Василий Афанасьевич Шергин послал «московитянину» Гавриле Романову «устюжского дела» погребец, окованный железными прутьями. Уж, я думаю, с особым замочком, чтобы утереть нос московским мастерам. Замки устюжских кузнецов славились на всю Русь. Замки амбарные, «отворные» (к воротам), «коробейные», «колодные», «нутряные», круглые, всячие, клинчатые, «с прутьем», «без прутья», замки со звоном, без звона. Наличие замков у амбаров, житниц, сараев специально оговаривалось даже в купчих, закладных кабалах. В том же 1677 году Василий и Федор Шергины отправили в Холмогоры двадцать пудов меди «в дело на котлы». Федор Шергин занимался винокурением, поставлял в год до тысячи ведер вина, алтын по десять за ведро. В алтыне три копейки. Ну, а третий Шергин, владелец лавки в Мыльном ряду, после пожара в мире скитался...

— Алексей Мартемьянович, ради чего отметили вы Шергиных? — спросил я, когда он вернулся ко мне, оставив моряков где-то в дальних комнатах.

— А ради того, что есть наш современник писатель Шергин, писатель интересный, с нашим северным языком. Родился он в Архангельске, а отец его в Архангельск выехал отсюда... Вот я и подчеркиваю всех Шергиных по устюжской земле, которые встречаются в прошлых веках...

— А сохранились ли на устюжской земле Дежневы и Хабаровы хоть где-нибудь? — спросил я.

— Хабаровых — сколько хотите, Дежневых — нет, а Хабаровы на водном транспорте, по селам и деревням...

В большой комнате много фотографий, цифр, щеток, волокон льна, тканей, рассказывающих об устюжских фабриках — щетино-щеточной, чесальной, пря-

дильной, ткацкой, бельно-отделочной. Нарядно одетая женщина, державшая за руку высокую девочку с красным бантом в белых волосах, близоруко склонялась к фотографиям, чуть не касаясь их носом, постоянно спрашивая девочку:

— А тут нег наших?

— Что-то не вижу, мама...

— А там вон не тетя Катя?

— Она, мамочка, она! Ой, да, в бригаде коммунистического труда.

— Гляди-кось! — удивилась мать. — Брови черные-пречерные, отродясь таких бровей у Кати не бывало. А вот Глафира, соловей-пташечка... И механик Артемий Шпынев льбится, как будто сладехоньное съел.

У другой стены басистый парень веско сказал:

— Щетинка — из моего цеха.

Девочка, кинувшись к дальней фотографии, воскликнула:

— Папка! Мама, читай скорее, про его что-то написано.

Мать, покрасневшая, дернула девочку за рукав.

— И в самом-то деле отец наш. Ну-ко, ты не засти. Кричать-то не надо, зачем кричишь?

Едва они вышли из комнаты, как я немедленно вернулся к фотографии, на которой нашли они главу своей семьи. Среди четырех мужчин, с удовольствием смотревших с фотографии, один был Хабаров. Да, да! Хабаров Е. П. Ну, может быть, не Ерофей Павлович, а, скажем, Евгений Петрович. Он что-то изобрел на фабрике и отличался редким трудолюбием. У него были усы, и мне даже показалось, что пошевелились они чуть, скрыв улыбку, а то и усмешку, обращенную ко мне.

Обрадованный встречей с Хабаровым, я читал подписи под фотографиями с других фабрик, с лучших пароходов, катеров, с судоремонтного завода. А вот и Шергин! Откинув голову назад, он строго смотрел на нас выпуклыми глазами. Двадцать лет преемственно проработал на фабрике... Молодая женщина с чесальной фабрики держала в одной руке куделю, похожую на расчесанную длинную косу, а другой подбоченилась, чуть выставив вперед сильный, круглый локоть, и свысока поглядывала на нас.

Шутя назвал я эту женщину Марфой-посадницей, а остальных на фотографии — потомками древних новгородцев. Алексей Мартемьянович, рассмеявшись, объяснил мне, что первые устюжане новгородцами не были, а были выходцами из Ростово-Суздальского княжества.

В большом зале рассказывалось о годах гражданской войны, иностранной интервенции на Севере. Дальше — Великая Отечественная война, двенадцать героев Советского Союза из Великоустюжского района. С крупных фотографий смотрели на нас молодые глаза солдат. Вот остановилась перед ними девушка, она поправила прическу, воротник своей кофточки, подтянула на ремешке ручные часы, как будто солдаты могли заметить какую-то неряшливость в ее внешности.

Алексей Мартемьянович шепнул мне:

— Самая младшая сестра одного из героев. Часто приходит.

Мы вернулись к окну с видом на Сухону. Пробежали пароходики, катера, медленно плыли баржи, проносились моторные лодки. На том берегу с песчаного пляжа медленно вошел в воду трактор и остановился. Алексей Мартемьянович сказал о тракторе, как о человеке:

— Моется. Запылился, грязью замазался и пришел мыться.

На главной улице города, тянущейся вдоль Сухоны, Алексей Мартемьянович показывал места, где были старинные базары, ряды со всевозможными товарами. Громкая речь и жесты моего спутника привлекали внимание прохожих.

— Кузнецы, серебряники, плотники, — говорил он, размахивая руками, — ведерники, кожевники, овчинники, швецы, мельники... Один шутя богател, а другой, чтобы выпутаться из беды, кабалы на себя давал двойные и тройные, а росты сулил понедельные...

— Какие же ряды были главными?

— Мясной и хлебный. В мясном бывало до тридцати с лишним лавок... А базар-то какой веселый: харчевники, масленники, квасники, кисельники, пряничники...

Шумно в очереди за яблоками. Продавщица в белых нарукавниках зычно спрашивала: «У кого меуконькие денежки? Подходи с меуконькими...» — «Не тоукайся! У меня большая денга... Агаша, сколько времени?» — «А половина вчерашнева...» — «А ты дай ему в дубово рыло!» — «Чем торгуют?» — «Девкима!» — «Да но-о?» — «А вот-те и «но»! В придачу по две новы пуховых подушеньки да по соболиному одеялу...» И веселый смех в шумной очереди. «Получайте сдачу!» — «А где двадцать-то копеек?» — «Вешай, за денгам дело не станет!» Остановилась женщина-почтальон с туго набитой сумкой. «На-ко, дам я тебе письмеце...» — «Почтальону — вне очереди!» — «Куда, молодец, едешь?» — «А в лес, на трактор, да хотел вот яблоками разжиться... Мало взять — ни то ни се, а много — не дадут. Не доезжают яблоки до лесу...»

По улице проходили грузовики, легковушки, мчались мотоциклы, редко проплывали запыленные автобусы. А вот скособочилась избушка, мало-мало не касаясь земли тесовым козырьком. Где-то я такую избушку видел, и видел недавно.

— У нас в музее, — подсказал Алексей Мартемьянович. — Недавно сфотографировали. Недолго стоять ей.

Мне почудились в этой избушке старинные полаты с могучим брусом, голбец между полатами и печью, широкие лавки у стен, рундук в сенках: а не зайти ли? Вдруг еще и древнюю икону встретишь! Устюжские мастера в Москве расписывали Успенский собор. На устюжской иконе «Спас» (1652 года) есть надпись: «А писал многогрешный и недостойный в человецах Усоляя Камского Федор Евтихеев сын Zubov». Был он жалованным иконописцем Оружейной палаты. Устюжские иконники проходили в Москве испытания, и против многих имен их главный мастер Симон Ушаков писал слово «добр»...

Встретила нас пригорюнившаяся женщина. Никакой старины в домике не было. В окошки, косо припадавшие к земле, заглядывали фиолетовые флоксы и до того зеленая трава, что в избушке с зеленым ковром на всю стену, с пестрыми половиками царило сказочное, изумрудное царство.

— Что случилось у вас? — спросил я.

— Не выдержал, — сказала пригорюнившаяся хозяйка, положив на стол оголенные руки. — Поехал в Ленинград, в химический, а там конкурс большой, а блата в Ленинграде нет. Академик был з Ленинграде родом из Великого Устюга, да умер недавно. Не выдержал и денег на дорогу просит. Сколько говорила негоднику: поезжай в Вологду, в Молочный, в Архангельск — тоже институты, дак нет — в Ленинград! В химический! — Ударила по столу ребром ладони. — Родную мати не послушал, а она его своима руками...

«Мати» вместо «мать»! Возри на мя... аки мати на младенца. Киев... мати градом русским. Седая старина и в окончании «има» вместо «ими»: двоима, троима...

— Силом взять его не в моей воле...

Я посматривал в окно на зеленую траву, на фиолетовые флоксы, мысленно рисуя перед собой парня, который скоро вернется из Ленинграда в эту избушку и пойдет работать сплавщиком, а затем, если он упрям, настойчив, снова поедет поступать в химический институт.

Поблизости от Великого Устюга соблазнительный водный простор — Сухона встречается с рекой Юг. Катерок наш летел, как синяя птица, ударяясь грудью о воду.

— Боны, боны, во всех сторонах боны, — сказал Алексей Мартемьянович.

Голландское слово «бон» (бревно) с давних пор у наших сплавщиков обозначает наплавные границы на реке или озере, сколоченные или связанные из трех-четырех бревен, соединенных между собой в торцах, чтобы сплести сетку запани или отгородить на воде от лесной стоянки протоки, отмели, камни, места, временно заливаемые весной или после сильных дождей. Боны лентами тянутся по рекам

Севера. По бонам ходят сплавщики с баграми. На бонах растет осока, тростник. В щели между сколоченными бревнами попадает песок, заносимый ветром, и попадают семечки разных трав, тоже либо заносимые ветром, либо сплавщиками на своих сапогах, облепленных грязью. И вот на реке по узким плотикам видишь цепочки озерного камыша, пушицы с густыми щетинками, белые цветы болотного вереска. По Сухоне и Двине нередко буксирные катера тащат за собой громадные кошело с лесом, по границам которых на бонах зеленеет трава, мелькают ромашки.

— А вон сплочные станки, — сказал Алексей Мартемьянович и попросил моториста подплыть ближе к запани. — С детства я работал на сплаве леса. Совсем недавно студентом в летние месяцы здесь хорошо подкреплялся.

Сперва мы увидели не сплавщиков, а рыбаков-любителей. На бонах рыбаки сидели так близко к воде, что могли свободно касаться ее руками. Удочки! На червя, на миногу, на хлеб ловят щук, язей, сорогу, окуньков, попадают стерлядки, лещи.

— И ночью сидят. — Алексей Мартемьянович мельком взглянул на меня: удивлен ли я? — Сверху электрический свет, а рыба стремится к свету...

Катер мягко прикоснулся к плавучей бревенчатой стенке, и мы с Алексеем Мартемьяновичем пошли по бону вдоль главного «коридора» сортировки леса. Мы как бы шли по тротуарчику шириной метров девять-восемь, по которой беспрерывно плыли бревна к станку; направо и налево встречались сортировочные «дворики», огороженные бонами. Дальше — ворота запани шириной метров десять, а то и двенадцать. Три плавучих мостика, и на каждом из них — рабочее с баграми. Отсюда и начинается первая сортировка бревен по породе, размерам.

Железный станок. Длина его тридцать шесть метров. Держится на воде: попечные двутавровые балки изогнутыми концами опираются на поплавок понтонов. Под балками на воде сплошной стеной подвигались бревна к переднему мосту, на котором в будке стоял оператор, нажимавший на кнопки и легонько двигавший рычажки. Это и был главный сплавщик, потому что по его приказу станок проволокой завязывал бревна в большие пучки. Сплавщик — в тапочках на босу ногу, в капроновой шляпе и безрукавке. Да и не сплавщик, а оператор, нажимающий на рычаги и кнопки.

— Чудо, — сказал я, припомнив давнишних сплавщиков в тяжелых сапогах с высокими голенищами.

У Алексея Мартемьяновича при улыбке возникли ямочки на щеках.

— В три смены до десяти тысяч кубометров сплотки одним станком, — сказал он, кивнув на бревна, сплошным настилом продвигавшиеся по воде к месту их завязки в пучок, — это примерно картина такая: тысяч сорок бревен округло. — И лоб наморщил, складывая в миллионы сплавляемые бревна.

Посмотрели мы на город с церквями, трубами и вспомнили Дежнева, Хабарова и других открывателей дальних стран — с этого поворота реки, отправляясь в путь, они по последнему разу оглядывались на Великий Устюг.

Капитанша

Два лося переплывали Северную Двину и увидели пароход, вдруг показавшийся из-за мыса. Один лось кинулся обратно к берегу, в кусты, а другой, растерявшись, стал огибать пароход и еще более перепугался потому, что, во-первых, матросы заулюлюкали, а во-вторых, за пароходом тащился длинный плот. Лось кинулся в широкое пространство между пароходом и плотом, не заметив два буксирных троса, наполовину провисших в воду, закидался туда-сюда между тросами и выскочил на плот, проваливаясь между бревен. Как бы плотно ни связывались пучки бревен, но между ними всегда есть водяные «окошки» — маины. В одну из таких маин лось и провалился. Пока отвязывали подвешенную лодку на пароходу,

да усаживались в нее, да подплывали к плоту, лось так избился о бревно, столько потерял сил, что уже не сопротивлялся, когда люди вытаскивали его из «окошка» за хвост, за рога. Это был крупный лось, и чуть не вся команда тащила его на мокрые, скользкие бревна.

— Ухлопался, — продолжала рассказ Акси́нья Климентьевна Ревякина, — брюхо испарал, с коленок содрал кожу. Не выволоки, дак ему бы не вылезти.

Акси́нья Климентьевна настолько высока, что, поглядывая на нее, я вспоминаю Петра Первого. Но у знаменитого царя, как известно, были маленькие руки, маленькая голова, лицо круглое, а у Акси́ньи Климентьевны лицо продолговатое, смуглое по-южному. Руки мужские. Басовитая.

Мы плыли на деревянном буксирном судне — «шлепали колесами», за нами тащился длиннющий плот, распластавшийся посредине Двины. Две ветви буксирного троса, в одном месте прикрепленные к судну, то провисая в воду, то натягиваясь, уходили к бортам плота. Плыли вниз, вероятно, чуть побыстрее течения, и плот послушно следовал за нами. Капитан, как я понял, постояв рядом с ним, больше всего заботился о том, чтобы дальний конец плота не выходил за пределы судовой хода, то есть из глубокой части реки. Если голова плота на изгибе реки повернула, скажем, вправо, то хвост его смещается влево и может сесть на мель. Этого-то капитан и не допускал, избегая делать крутые повороты.

— Когда это было — с лосем? — спросил я Акси́нью Климентьевну.

— Сей год. Шли с плотом где-то пониже Верхней Тоймы, около речки. Лось появился из леса. И с какой стати понесло его там, где Двина широка? — Она хлопнула руками по коленям. — Вытащили мы его. Стал он. Дрожат ноги. Трясется и шатается на бревнах. Боится с плота ийти, и нас боится. Что, думает, за такие за нехристи его окружили? А сам страшнее страшного. Голова — чудище рогатое. Губа отвисла, нос горбатый. У него сверху губа козырьком нависает. Уши длинные, а хвост короткий. Что делать? Давай мы его подталкивать: бойся не бойся, а ийти надо с плота. Умирать никому неохота, он и пошел тихонько по бревнам — ноги высокие, копыта узкие, прямые, по-коровьи рассечены, и неловко ему шагать по бревнам. Срывается. Сочил в воду и поплыл потихоньку. На берегу постоял. А в кустах лег. Сил не хватило.

Мы с Акси́ньей Климентьевной познакомились в Котласе, а в Шипицыне вместе сели на этот пароходик, потянувший громадный плот.

Полжизни Котлас оставался в моей памяти мрачным городом без солнца. Случилось это потому, что лет тридцать пять тому назад в городишко я приехал ночью, и утро выдалось пасмурное, с низкими тучами. Таким и запомнился деревянный город. А нынче я прошел по асфальту, и город оказался светлым. Возле домов — палисадники. И на клумбах — цветы...

Акси́нья Климентьевна, возвращавшаяся от дочери с целлюлозного комбината, посоветовала мне вместе с ней отправиться в Шипицыно посмотреть новый поселок речников, судоремонтный завод и вместе же с ней на грузовом пароходе поплыть вниз по Двине.

— Сдумала с муженьком сбегать в Архангельск. Надоело дома на завалинке сидеть. А вам если с водниками поближе знакомиться, то на грузовой — самое подходящее. На пассажирском, да в первом классе — уши пылью у вас покроются. — И засмеялась, прищутив карие глазки.

На катерке мы пересекли Двину, слившуюся здесь с Вычегдой, и высадились в Шипицыне.

Теперь большие запаны расположены поближе к Архангельску — раскинулись на водных просторах гигантскими фабриками сплотки, а в тридцатые годы шипицынская запань считалась самой крупной по Двине и чуть не до заморозков на ней связывали бревна и плоты. В тридцатом году в конце октября мы в «Правде Севера» давали заголовок на всю страницу: «В Шипицыно разоблачать и беспощадно карать оппортунистов, нытников, спокойно ожидающих заморозки миллиона бревен». Перед ледоставом — миллион бревен на воде, а нынче в августе я не увидел бревен ни в шипицынском рукаве, ни на берегах.

Аксинья Климентьевна сказала мне:

— В эти года шибко-то не стали разбрасывать лес. Собирают и коротьё, и мелкотьё, и топляки, где можно, поднимают со дна.

Из Шипицына мы уходили с последним плотом. Тихая вода мягко блестела под припекающим августовским солнцем: налетал прохладный ветерок, и вода, покрываясь рябью, синела полосами. По берегам — голубые пески. Хотелось мне где-то близ Красноборска увидеть на высокой горе дом покойного художника-пейзажиста Борисова, но близ Красноборска наступил вечер без луны и берега потемнели.

Аксинья Климентьевна долго не выходила на палубу, и я от нечего делать заглянул к ней в каюту капитана. Она шила цветастый сарафан, держа иголку в своей крупной руке. В каюте — полочки с книгами, стопка газет, судовой журнал. Два чемодана. Тесновато. А я все-таки у самых дверей уселся на раскладной стульчик и спросил Аксинью Климентьевну, часто ли у нее бывали встречи с лосями на плотках.

— На плоту — первая, а на реке, поди, сто первая. Осенёсь переходил речку, пал на лед, подняться не мог. Лед ровнехонек — ноги скользят. Помогали тоже. По закону их нельзя трогать, да и народ не голодный. Не война.

— А еще какие звери встречались вам на Двине?

— Ой, да мало ли их: и зверей, и птиц, и рыб. — Она продолжала шить. — В июльскую теплую ночь расстели на палубе простынь — летучая мышь сядет. Белки — те переплывают реку табунами. Какой-то год их полно было — сотнями через реку. Ошалели — на пароход лезут, на мачту забираются. А скакать ей с мачты некуда, в лесу она — с дерева на дерево, а с мачты в воду бросайся...

— А плавают они?

— Ну. — Аксинья Климентьевна «ну» говорила вместо «да». — Они всякое дело в кою пору делают. По сорочьим и вороньим гнездам кто кочует? Белка. А больше по дуплам. И свистят и бормочут. Я их сызмала знаю. Белки из лесу пошли — к пожару! А плывет красиво шельма и скоро. Хвост кверху. Намочила хвост — прощайся с жизнью, пошла ко дну.

— Стало быть, давненько вы на пароходе?

— Ну. Третий десяток. В первый год войны приехал вербовщик из Котласа: «Девка, айда к водникам в матросы. Матросская жизнь легка — у грубы грейся. У грубы грейся, а деньги пойдут». Век не забуду этих слов. Труба-то была теплая, да греться некогда. Пароход сжирал в сутки по семьдесят кубометров дров, а я эти дрова с берега таскала. Жарко и без трубы. Колеса: хлоп, хлоп, хлоп... День и ночь. Выходных нет. Работа при любой погоде, в любой праздник. Близо никого не видишь, кроме своей команды.

Она посмотрела из каютки на берег и, сказав, что здесь русло для большого плота опасное, скинула с коленей сарафан и пошла на палубу. Я последовал за ней.

— У той вон косы в сорок третьем посадили бревна. Ох, капитан и погорячился. Пароходишко — с колесами по бокам, дрова сырые — нет силенки. А плот — будь здоров. Прислали вспомогательный — оттаскивать хвост плота. Вспомогательный нажал, плот изогнулся и больше еще вылез на мель. Что делать? Вспомогательный давай наш плот назад тащить, чтобы избавиться от изгиба. Я тогда сутки на вахте отстояла.

— Как бы вам сегодня не посадить, — озабоченно сказал я.

Аксинья Климентьевна, чуть улыбаясь, рукой махнула.

— Мой не посади. Ветерок вот мешает, будь он проклят.

Ветер гнал высокие волны, ветер бортовой, и залетали на плот пенистые гребешки; плот гнулся, поскрипывал, туго натягивая ветви буксирного троса, но покорно полз, пугая лишь ворон, садившихся на крайние бревна.

— Река — не море. — Рассуждая, Аксинья Климентьевна похаживала вместе со мной по палубе. — На море плоту горе, там он голосит и рвется, а на реке плот смеется. В сорок втором от комсомольской организации меня ставили на штурвал,

а в сорок третьем сдавала на второго помощника капитана. Ну, спрашивали: какова осадка плота, каков запас его по самому опасному перекату. И был вопрос, который сроду не забыть: расскажи-ко, Оксинья, про каспийскую сигару. Я глаза вытаращила. Что за така за каспийская сигара? А там особые узкие плоты длиной по шестьдесят пять и по восемьдесят восемь метров. Крепко вяжут их, потому что море-то, говорят, шибко волнистое. Это ни к чему совсем: речника морем экзаменовать... Вот и не посадил. — Оглянулась на косу. — Миновали.

— И были вы вторым помощником капитана?

— Ну. А как же? Первым ходила. — Она вглядывалась в пароход, ползущий навстречу нам. — Это кто бежит? — закричала мужу, стоявшему у штурвала. — Иван? Кто бежит?

— «Омск». На переформировочный рейд вызвали.

Переформировочные рейды — это, в сущности, запани, расположенные в удобных местах по Двине, промежуточные пункты на длинной сплавной дороге; чем ближе к Архангельску, к устью, тем река шире, глубже, и, стало быть, можно тянуть плоты более широкие, да и с большей осадкой. И вот где-то на переформировочном рейде комплектуется увеличенный плот, к нему и вызвали «Омск». С «Омска» помахали нашей команде кепками, беретами. Женщина в трубу закричала:

— Привет Оксинье Климентьевне! Далеко ли потащилась?

Аксинья Климентьевна мощно забасила:

— В Архангельско! Капитан захотел с женой прокатиться!

— А-а! Ясно-о... Свежей рыбки в дороге покушать. Каптерка отошала, что ли?

Матрос, на вахте стоявший, заголосил к нам:

— Эй, Генка, здорово!

Пароходы перекликнулись гудками; начали сливаться пенистые волны, оставшиеся от них. Генка, крепьш с загорелой шеей, спутанными волосами и золотым зубом, в трубку сложив ладони вокруг рта, закричал вместо Аксиньи Климентьевны:

— Каптерка жирная! А о рыбкине стосковались!

«Омск» ушел, и мы по-прежнему тихо следовали вниз. Аксинья Климентьевна и я — гости. То прогуливаемся на палубе, то в носу сидим на скамейке, то спускаемся в капитанскую каютку. Рассказчица неутомима, а я послушать любитель. «В мае при большой воде в каждый полой ташшит». — «Полой? Уже забыл, что такое полой». — «Больно скоро забывашь», — Аксинья Климентьевна засмеялась, показав крепкие белые зубы, особо яркие на смуглом лице, тронутом оспой. «Шипицынскую запань видел? Да вот она — в рукаве, в протоке, в полое. Полая вода весной заливаается куда... Тебе бы в июне приехать — ночи светлые, ветров мало. Берега душистые. Травы цветут. Как остановились, так скорее на берег. А осень-матушка не радует. С вечера лампы заправь, стекла вычисти. Вечером на тодке ездят к плоту — лампы зажигать по четырем углам да пятая в середине. Пять огоньков на плоту. Ночью гаснут при ветре. При ветре не один раз ночью зажигают...»

Она ушла к поварихе — картошку чистить. Она и вчера помогала поварихе. Блинами кормили команду. Блины тонкие, поджаристые, хрустящие на зубах. А потом, уже под звездами, стирала бельишко капитана, мурлыкая что-то себе под нос.

Маловато суденышко, и ароматные запахи с кухни весь его заполнили, терзают мой аппетит, разгулявшийся на речном просторе. Едва дотерпел до обеда. Уселись за стол. Сильные брови у капитана, такие на редкость сильные, как будто из металла вылиты. Тоже темноват лицом. Родился он где-то в Калининской области. Темноват обличьем и первый помощник, а все остальные — чудь белоглазая, светлые брови, еще светлее ресницы. Механик с помощником, два кочегара, штурвальные — молодежь зеленая. У кочегара фамилия Дежнев. Наконец-то я Дежнева встретил! Горбатый нос, толстые губы, руки большие — заметный детина.

Парень родился в деревне где-то между Великим Устюгом и Сольвычегодском, и почему бы не оказаться ему потомком Семена Дежнева?

— Слыхивал про своего земляка, — сказал он, чуть улыбаясь, — попалось в учебнике.

Повариха Валя подала нам миски с пол-литра нежидкого супа. Всем — одинаковые порции. И мясо Валя разделила на равные кусочки, сложенные на доске. Равные грудки каши по тарелкам, кубики масла. Полстакана компота. Добавочное можешь взять из каптерки либо за наличные, либо с последующим вычетом из зарплаты. Генка с золотым зубом сказал:

— Наелся — молчи, не наелся — молчи.

Мы съели еще по куску рыбного пирога, поблагодарив Аксинью Климентьевну за вкусный гостинец команде. Все время молчавший механик сказал: при первой же возможности наловит он рыбы.

— Давай, давай поскорее, — откликнулась живо Аксинья Климентьевна, — мы ее нажарим и нафаршируем. Одной Вале где же успеть на такую ораву, а вдвоем и котлет из рыбы наделаем, и леща запечем. В молодые годы я не знала, как леща запекать, а нынче научилась. Обваляй в муке либо в толченых сухарях и — на подмасленную сковороду. Это бы знатье мне да лет с двадцать тому назад!

— Я бы тебя с парохода не отпустил, — с улыбкой сказал капитан, — а если бы умела любую рыбу в сметане валять — держали бы в команде до шестидесяти.

— Эвон какой ты! А меня еще научили — котлеты и фрикадельки из фарша трески. А уж тресочки мы поели, но завсегда в целом виде...

Генка с золотым зубом, покачав головой, сказал поварихе:

— Валюша, учись на примере передовиков поварского искусства.

Вале под тридцать. Молодят ее веселые глаза и вздернутый нос, да и молодят тугие щеки с румянцем. Генка сказал мне о Вале: «Яблоня в цвету. Она неразведенная, он где-то плавает вторым помощником. А какой интерес ей дома пылиться? Дочку с мамой оставила. Он в каждом рейсе от Котласа до Архангельска влюбляется в разных краль, а когда наши пароходы встречаются — посылает Вале воздушные поцелуи. Тип».

Капитан, быстро поднявшись из-за стола, побежал к рулю, потому что до нас долетели гудки с чьего-то судна. Я тоже поспешил в носовую часть парохода: что же там? Что за гудки? Чьи они?

Пассажирский корабль, многоэтажный белый красавец, гудками просил нас чуть-чуть потесниться, дать ему путь, а мы тянули с лишним пятьдесят тысяч бревен и не могли потесниться.

— Уступить можно бы, — сказал Генка за моей спиной, — да неуступчив наш.

— И чем это кончится?

— А они уже остановились. Жмутся в сторону. Будут ждать терпеливо, пока мы протащим свой хвост. Что поделаешь — рабочая река! Господа плоты хозяйничают...

И в самом деле, пассажирский, похожий на гигантского лебедя, затих в стороне, а мы, неторопливо шлепая колесами, заняли чуть не всю реку своим плотом.

«Ракета» пролетела мимо нас, едва касаясь воды; пробежали катера. Медленно двигались мы, и я сказал об этом Генке, а он усмехнулся, сверкнув золотым зубом.

— Торопиться некуда. Скорость известная: весной по быстрой воде семь-восемь, а летом около шести километров. С таким подвеском, — он кивнул на плот, — дай бог не посадить на пески хвост, не рассыпаться.

— Так-то оно так, — сказал я, — но и триста годов тому назад у плотов была почти эта же скорость.

— Вполне понятно, — уверенно сказал Генка, приглаживая растрепанные волосы. — такую махину разве можно оторвать от скорости течения воды? Хочешь быстро — грузи на баржу. Мне главное — вахту отстоять. Самая легкая — с

шести до десяти вечера или утром с шести до десяти — хоть рано и неохота подниматься; а самая трудная — с двух ночи до шести. Клонит в сон! Так закрываются глаза — все на свете отдал бы за полчаса сна. Недаром в ночь не ставят несовершеннолетних из профтехшкол.

К нам подошла Аксинья Климентьевна и уселась на какие-то канаты, прикрытые чистым брезентом.

— Взял бы ты, Геннадий, да влюбился, — завела она вдруг разговор. — Гляди-кось, какой ладный из себя, а ни одну еще деваху не приголубил.

— А вам это кто доложил?

— Команда знает. Команда все знает.

— Платоническая любовь у меня, — сказал Генка, посмотрев на небо.

— Это что еще за такая за платоническая?

— Воздушная. Невесомая!

Заметив неудовольствие на лице Аксиньи Климентьевны, я сменил разговор, спросив, давно ли она рассталась с работой на судне.

— Отошло время — и рассталась. В войну женщина-матрос — это я понимаю, а в мирное время не пустила бы я женок в матросы. Не к работе рвутся, а к мужикам поближе. На берегу, что ли, мало дела?

Генка заспорил с Аксиньей Климентьевной: ведь она же была вторым помощником, считалась лучшим рулевым, получала премии за своевременную доставку больших плотов к месту назначения, а теперь говорит несурезицу.

— А что я сказала несурезное? Своими глазами насмотрелась и своими ушами наслушалась. Всяко бывало. Многое зависит от команды, от капитана, а все-таки лучше на суденышке без бабы.

— Ну, чудная же вы, честное слово! Вы поднялись до помощника капитана, а вам вдруг бы сказали: уходи, баба, с судна. Понравилось бы? А?

— А что ты меня сравниваешь? Я была строгая к себе. Таких мало земля родит.

Маленько посидели молча. Солнце уже заметно скатывалось к западу, оставляя на воде неяркий след. Голубели широкие полосы песков, да и голубели хвойные леса по невысоким берегам. Тихо, в общем-то лишь вода побулькивала у бортов да неумолчно работал глуховатый двигатель в триста лошадиных сил. Аксинья Климентьевна, облокотившись на острое колено и подперев кулаком щеку, посматривала на чаек, носившихся над рекой.

— Чем же вы дома занимаетесь? — спросил я.

— А особо ничем, особо ни к чему руки не тянутся. У меня и детки росли, а я плавала, пока мать жива была... Томимся без дела... Вон деньки стоят — только сено и убирать с поля, а много ли возни с сеном для одной коровы? С коровой не могу расстаться. Магазинное молоко не сравнишь со своим, да и навозишко для огорода требуется. Пусти бабу в рай, а она и корову за собой на веревке... Да еще чуть с луком не связалась. Соседки лук сдают и в город возят продавать. В прошлом году магазинам по пятьдесят копеек сдавали, а нынче — по тридцать пять. Если продать с трех соток лук, то у одного человека в доме получается средняя годовая зарплата рублей по сорок — сорок три в месяц. А ломки сколько с этим луком? Обрезывать перья — голова болит. Да сушить его. Чистить. Ладно хоть не поливают. Дождь польет. Я пустила в свой дом лук сушить — клопы уходят! Лук навалишь — клоп уйдет. Леший его знает, куда он денется... Не приведи, господи, бабой родиться — будь мужиком, плавала бы я капитаном.

На береговой горушке поселок — двухэтажные бревенчатые дома под тесом и железом, громадное здание клуба, общежития с лозунгами по стенам, а под горушкой на реке запань — бревенчатая корка, плотно покрывающая воду и сплоточные станки, лебедки; между опрокинутых лодок забыт мертвый трактор, обросший цветущим репейником. С горы к запани шли рабочие с баграми на плечах и бежали босые мальчишки с удочками и банками из-под консервов. Не сразу место узнаешь, потому что в дни моей молодости запани и поселка здесь не было, на горуш-

не стоял редкий бор с голубым песком. За бором в райцентре в тридцатом году печатали мы газетку «Лесная правда». Государственный план лесозаготовок по северному краю в двадцать девятом был около одиннадцати миллионов кубометров, а в тридцатом сразу поднялся до двадцати миллионов кубометров. Рабочих не хватало. Мотор только-только входил в лес. По сельсоветам объявлялись грудные повинности. Мы в газетке давали заголовки: «Все — в лес!», «Взять большевистский разгон!», «Позор предателям пятилетки!», «Придадим врага рукой революционной законности!», «Никакого уклонения от грудной повинности!»... Многого вспомнилось, и мы с Аксиной Климентьевной, как старые знакомые, заговорили об этом берегу — ведь я в тридцатом расстался с ним, а она — в сорок первом встретила.

— И я захватила тут сосны и березы — в войну дрова грузили. Сызмалетства на мужской работе.

Аксинья Климентьевна стала к рулю рядом с капитаном — давать, по-видимому, советы, потому что против западни мы тащили громадный плот по узкому месту; затем были встречи с баржами, затем река сузилась, стесненная высокими берегами...



ИЗУБЛИЩИСТИКА

Проф. А. МАНФРЕД

★

ГОЛОС ЖОРЕСА

Из первого августа 1914 года, на пороге мировой войны, в часы всеобщей растерянности и смятения, Жак Тибо, любимый герой Роже Мартен дю Гара, говорил: «Существовать, думать, верить — все это ничто! Все это ничто, если нельзя претворить свою жизнь, свою мысль, свои убеждения в действие!» Французский писатель был верен исторической правде, наделяя молодого социалиста Тибо, ученика Жореса, потрясенного убийством своего учителя, такой волей к действию.

Действенность — не в этом ли ключ к пониманию необычной жизненной и смертной судьбы Жана Жореса, первой жертвы первой мировой войны? До сих пор эта яркая жизнь, и в особенности вторая судьба Жореса, сохранившегося лишь в книгах и мраморе памятников, представляются почти необъяснимыми.

Поколению второй половины XX века — века коммунизма, атомной энергии и завоевания космоса — первое десятилетие нашего века кажется давней-предавней эпохой. И не только потому, что величайшее имя столетия — имя Ленина — тогда знали еще немногие, что капитализм был еще единственной господствующей в мире силой, что в большинстве европейских столиц восседали на тронах монархи, что техника тех лет была несопоставимой с нынешней. Отделенное грандиозными социальными взрывами и потрясениями — Октябрьской революцией, изменившей судьбы всего человечества; двумя опустошительными мировыми войнами; социальными и национально-освободительными движениями, всколыхнувшими все континенты; не преодоленной еще угрозой глобальной термоядерной войны — это сравнительно недалекое по календарю начало столетия представляется ныне совсем иной, не похожей на наше время исторической эпохой. Конечно, мы знаем, что и в ту пору развития империализма шел подспудный, лишь изредка прорывавшийся наружу процесс накопления противоречий огромной взрывной силы. Но издали, с полувековой дистанции, эти годы могут казаться порою предгрозового затишья с иным, замедленным, счетом времени, с иными, блеклыми, красками и приглушенными звуками, — они могут казаться эпохой, когда больше слушают, чем говорят и больше говорят, чем действуют.

Голоса того кажущегося нам далеким времени редко доносятся до наших дней. И среди этих немногих дошедших до нас голосов громче многих других звучит голос Жана Жореса.

Почему? Потому ли, что в памяти поколений навсегда врезались жаркие дни июля — начала августа 1914 года, ставшие рубежом, разделившим эпохи? Потому ли, что воспоминания с войны 1914 года начинаются с мертвенного запрокинутого лица Жореса, сраженного выстрелом наемного убийцы?

Вряд ли. Гибель Жореса возвещала наступление сурового времени тяжелых потерь. Его имя было лишь одним из многих в длинных траурных списках убитых, казненных, павших мученической смертью.

Прошло полвека со дня гибели знаменитого трибуна, а имя его не только уважительно произносят бойцы могучего всемирного движения в защиту мира — оно звучит в политических выступлениях и спорах, оно само вызывает споры.

Так в чем же сила посмертного голоса Жореса?

* * *

Всю жизнь Жорес сражался против могущественных сил империализма, плутократии, реакции, милитаризма. Его борьба была конкретна и действенна: он осуждал не зло вообще, не идею зла, не собирательное понятие, не принцип, — с этим мирятся и это прощают. Удары Жореса были точно рассчитаны и тщательно выверены — он поражал зло в его живом олицетворении, называя его по именам: премьер-министра Шарля Дюпюи, президента республики Казимира Перье, ренегата-министра Аристиды Бриана, главы правительства Клемансо, премьера и президента Раймонда Пуанкаре. Число его врагов из правительственного партера, да и из числа закулисных воротил, им задетых, разоблаченных, осмеянных, непрерывно возрастало.

Но в то же время наряду с этой «непрерывной битвой», как он сам говорил, с главными врагами Жорес — тратя порою не меньше душевных сил — вел бесконечные споры в стане своих друзей со своими товарищами по международному социалистическому движению.

Карикатуристы сточили свои перья, изображая все новые и новые варианты ставшей традиционной темы — словесный поединок коренастого, широкоплечего Жореса и длинного, худого Жюля Гада. С 1893 года и до своей гибели Жорес не переставал спорить с основателем первой французской марксистской партии. В этих спорах истина, или, скажем точнее, чистота марксистской теории, была по большей части на стороне Гада.

Но Гед был вовсе не единственным оппонентом Жореса во французском социалистическом движении, ни тем более во II Интернационале. Ленин подвергал не раз жестокой критике взгляды Жореса. Роза Люксембург посвятила целую книгу систематической критике его воззрений и тактики. Август Бебель, Поль Дафарг, Эдуард Вайян, Франц Меринг, Даниэль де Леси — почти все представители левого крыла Интернационала скрещивали с ним свои шпаги. Его считали вождем правого крыла международного социалистического движения, и для этих утверждений были основания.

И все-таки нельзя считать случайностью, что, когда наступил решающий час, когда война — так давно назревавшая и в которую все же не верили — наконец разразилась, первый выстрел империалистической реакции был направлен в Жореса. Может быть, это была ошибка? Просчет? Может быть, Рауль Виллен, убийца Жореса, чью руку незримо направляли темные силы, промахнулся, убил не того, кто опаснее? Нет, в таких вешах классовый враг не ошибается. Пистолет Виллена был точно нацелен. Империалистическая реакция хорошо знала, кого ей нужно убрать.

Как же это совместить? Как объяснить столь очевидное противоречие?

Но вопрос еще запутаннее. Нельзя забывать, что и после смерти Жореса споры вокруг его имени не прекратились.

Что завещал Жорес? Что главное в его идейно-политическом наследии? Кому оно принадлежит? И кто истинный наследник и продолжатель дела, которому он служил, которому отдал жизнь?

В потоке книг, статей, воспоминаний о Жоресе все противоречиво; почти каждый автор хотел его причислить на свой манер или установить с ним идейное родство.

Со времени Турского конгресса 1920 года, положившего начало Коммунистической партии Франции, французские коммунисты объявили себя наследниками и продолжателями дела Жореса. Они не закрывали глаза на то, что было его слабостью или ошибками, но высоко ценили и ценят главное в его наследии и с законной гордостью на страницах центрального органа партии «Юманите» напоминают: «Основатель Жан Жорес». Но и правосоциалистические лидеры Леон Блюм, Леон Жуо и другие со времени того же Турского конгресса, осуществляя политику раскола, пытались прикрыть свои шаткие позиции авторитетом этого выдающегося деятеля французского социалистического движения.

Споры велись и в исторической литературе. Тогда как одни справедливо видели в Жоресе великого сына французского народа, борца против войны, другие, ослепленные сектантским догматизмом, сочиняли и публиковали острокритические трактаты, третируя Жореса как вполне банального оппортуниста. Впрочем, было и хуже. Жореса, которого в свое время одни историки считали первой жертвой фашизма, в тридцатых

годах другие, следуя терминологии Сталина, объявляли — и это звучит сегодня кощунственно — представителем социал-фашизма.

Жизнь, время отмени все ложные и лживые утверждения, ошибочные оценки, страстно-односторонние суждения. В свете большого опыта, накопленного мировым революционным и демократическим движением в минувшие бурные десятилетия, стало явственней то основное, что определяет место Жореса в освободительной борьбе передовых общественных сил.

Большой человек и выдающийся политический деятель Жан Жорес не стал с годами менее сложен, менее противоречив. Но стало яснее, чем он нам близок и дорог, чем помогает он в великой справедливой борьбе наших дней.

* * *

При всем многообразии частных случаев, все же можно установить два преобладающих в условиях буржуазно-парламентского режима типа политической карьеры. Одни политики — таких было меньше — пробивали «путь наверх», провозглашая себя консерваторами с молодых ногтей, сторонниками закона и порядка. Люди этой категории — Пуанкаре, Дешанель, Аното, Делькассе и другие, — так сказать, рождались министрами. Едва лишь перешагнув порог высшей школы, они требовали для себя «всё и сразу» — чинов, власти, денег. И по большей части они «всё и сразу» же получали.

Но более распространенным в Третьей республике был иной путь политической карьеры — путь слева направо. Таков был путь Жоржа Клемансо, вступившего на политическое поприще в качестве левого республиканца, друга Бланки, и закончившего его как «тигр» французского империализма; ровесника Жореса — Александра Мильерана, завоевавшего известность как социалист, а затем все время поворачивавшего вправо и вынужденного в 1924 году досрочно покинуть Елисейский дворец, так как большинство палаты не желало больше терпеть столь реакционного президента республики. Можно вспомнить и об артистическом таланте Аристиде Бриана, позволявшем ему в начале темпераментно играть роль ультралевого синдикалиста, «ниспровергателя всех основ», а затем мягко, плавно, без нажима передвигаться вправо до тех пор, пока ему не была доверена роль министра — мастера компромисса; он так сжился с этим амплуа и обнаружил при этом такую виртуозность, что за недолгий сравнительно срок успел двадцать пять раз побывать министром и одиннадцать раз премьер-министром. Можно напомнить и о Рене Вивиани, о Лагарделле, Марселе Деа, Марке, Фроссаре и многих иных ренегатах. «Слева — направо» в Третьей республике стало своего рода классическим вариантом политической карьеры.

Жорес шел прямо противоположным путем. Его политическая эволюция была резко очерчена: справа — налево.

По своему рождению и воспитанию Жорес принадлежал к буржуазии. Профессор философии, он начал свою политическую деятельность в рядах буржуазных республиканцев. Он был убежденным республиканцем, он рос в уверенности, что та республика, которая после стольких битв наконец восторжествовала на его родине, и является продолжательницей Великой французской революции — героического времени, внушавшего ему благоговение. Но, вступив в 1885 году в Бурбонский дворец — став впервые депутатом палаты, — Жорес вскоре убедился, что эта республика, казавшаяся издали столь прекрасной, на деле оказывается совсем иной. Он увидел вокруг себя циничных дельцов, озабоченных личным преуспеянием и обогащением, коррупцию, стяжательство, соперничество мелких самолюбий, полное равнодушие к нуждам народа, прикрываемое банальными фразами о верности «великим республиканским идеалам».

Все увиденное им не поколебало, однако, его республиканских чувств и убеждений. Плоха не республика — плохи люди, которые ее осквернили, предали и продали.

Жорес не только порвал с буржуазными республиканцами, он порвал и с классом, к которому принадлежал, — с буржуазией, и вступил с ним в борьбу.

Логическим последствием этого разрыва был переход на позиции пролетариата и присоединение к социализму. В 1893 году Жорес был избран депутатом палаты от рабочих Кармо. Для Жореса избирательные бюллетени рабочих не были трамплином

для прыжка к власти, как для Бриана. Напротив, для него это означало, что он открыто объявляет войну буржуазным властям.

Жорес в эти годы увлеченно изучал сочинения Маркса. В ходе избирательной кампании он публично заявлял, что принял программу Рабочей партии и, став депутатом, присоединился к социалистической фракции палаты депутатов. Главное, что толкало Жореса влево и привело к социализму,— это убежденность, что только рабочий класс способен возродить и обновить республику.

* * *

Жорес сразу же занял положение лидера французского, а затем и международного социалистического движения. Этой ролью, как будто не подготовленной его предшествующей биографией, Жорес был обязан главным образом своей огромной одаренности и блистательному ораторскому таланту.

Со времени великой революции XVIII века Франция была страной классического красноречия. На протяжении XIX столетия стиль ораторского искусства менялся; в Третьей республике ораторское мастерство было уже не похоже на то, что некогда вдохновляло членов Конвента. Но и во времена Жореса французский парламент блистал первоклассными ораторами. Альбер дю Мен, Клемансо, Бриан, Вивьени, Гед — все это были выдающиеся мастера красноречия. Среди них были и превосходные полемисты. Клемансо говорил: «Если бы я украл химеры с Собора парижской богоматери, я поручил бы свою защиту только Бриану». Бриан в самом деле был виртуозным спорщиком, мастером импровизации. Впрочем, и другие ораторы мало в чем уступали ему. Но над всем этим созвездием златоустов возвышался поразительный ораторский дар Жореса. Он был поистине великим трибуном. Люсьен Ле Фойе, коллега Жореса по парламенту, писал: «Могущество его слова было необыкновенным».

Существуют ораторы, сила которых преимущественно в мощи их голоса и экспрессии, в пылкости темперамента, захватывающего своим жаром и аудиторию. Таким был, по-видимому, Леон Гамбетта, о котором большинство его современников восхищенно рассказывало как о замечательном ораторе. Но вот голос смолк, внутренний огонь, согревавший речь, погас, и остывшие слова, осевшие блеклым тиснением на пожелтевшей бумаге, уже никого не волнуют; читатель пожимает плечами и бросает книгу на полстранице скучающий и равнодушный... Поколение XX века уже не может понять, чем волновал, чем покорял своих слушателей Гамбетта.

Сила ораторского таланта Жореса была в ином. Когда он поднимался на трибуну, он казался восхищенно наблюдавшему его Андрею Белому огромным — гиппопотамом или слоню. Его голос вырастал «до мощи огромного грома». И Белый добавлял: «Практически мог бы изваять эту голову: в ней — что-то Зевсово». Замечательная мощь и глубина мысли, согретая искренней взволнованностью чувств, находили самую точную впечатляющую форму. Жорес в совершенстве владел этим почти колдовским искусством сочетания слов. Это был талант. Его неистовый, кипучий темперамент усиливал воздействие на аудиторию. Другой писатель, Морис Баррес, следивший за его выступлениями, записал в своем дневнике: «Когда это чудовище Жорес возвращается на свое место, он еще дымится».

Но как подлинный трибун Жорес не был оратором только для данной аудитории. Он знал цену большинству палаты — этих прожженных дельцов, превративших политику в ремесло. Через их головы он обращался к народу, к стране. Он отстаивал идеи, в спасительную силу которых свято верил; он старался раздвинуть горизонты; он звал массы вперед. Его голос отливался в металл, был рассчитан на долгие годы. Поэтому и полвека спустя, читая речи Жореса, вы сразу же испытываете магию его красноречия. Оно сразу же вовлекает в высокий и героический мир борьбы; вы слышите вокруг кипение страстей и звон мечей ожесточенной битвы.

Уже с первых выступлений в палате в качестве оратора социалистической партии Жорес оказался в центре внимания — парламента, страны, Европы. Его влияние становилось огромным. Его речь против правительства Шарля Дюлоу в значительной мере

способствовала падению кабинета. Его выступления против Казимира Перье также в какой-то мере ускорили вынужденную отставку этого «президента реакции».

Именно «могущество слова» и сделало Жореса сразу же после его присоединения к социализму одним из крупнейших вождей социалистического движения.

Но, примкнув по велению сердца и разума с чистыми и высокими помыслами к социализму, Жорес не стал, однако, ни подлинным пролетарским революционером, ни подлинным марксистом, материалистом-диалектиком. Политическая линия Жореса во многих острых вопросах тактики французского и международного социалистического движения была ошибочной и подвергалась справедливой критике левого крыла. Так было во время нашумевшего «казуса Мильерана», в спорах Французской социалистической партии (возглавляемой Жоресом) с Социалистической партией Франции (руководимой Гедом), в дискуссии о тактике на Амстердамском конгрессе II Интернационала и дискуссиях на Штутгартском и Копенгагенском конгрессах и т. д. В главных идейных сражениях внутри международного рабочего движения Жан Жорес по большей части оказывался на его празом крыле. А как философ Жорес всегда оставался эклектиком, и не только ни в какой мере не скрывал этого, но даже бравировал, гордился этим. Его знаменитая формула: «Материалистическое понимание истории не является препятствием к ее идеалистическому толкованию», его нашумевшее декларативное «Введение к «Истории Великой французской революции», объявлявшее вдохновителями исследования Маркса, Мишле и Плутарха, его собственно философские работы — все это с несомненностью подтверждало, что он был, так сказать, эклектиком по убеждению. Его конструктивные предложения нередко были откровенно реформистского характера. Один из последних больших его трудов — «Новая армия», — очень сильный в своих обличениях, в глубокой критике империализма, в то же время в позитивной части строился на наивно утопических иллюзиях.

В эпоху вызревания величайшей социалистической революции пролетариата, разразившейся всего через три года после его гибели, Жорес все еще продолжал искать мирные формы борьбы, продолжал взывать к чувствам господствующих классов, надеялся доводами разума переубедить правительства.

Жорес был реформистом. Вряд ли кто сможет это оспаривать. Но спор возникает — и продолжается и поныне — с теми, кто вслед за Вандервельде, Леоном Блюмом и другими правыми социалистами возносит Жореса прежде всего за его реформизм. Марксистско-ленинская мысль и уже полувековой исторический опыт показали и доказали, что Жорес вошел в историю социализма не благодаря своим реформистским ошибкам, а несмотря на эти ошибки, вопреки им. Спор возникает и продолжается и поныне с теми авторами узкодогматического мышления, которые видят в Жоресе только реформиста и, не замечая главного, радуются своему обличительному «откровению», повторяют в сотый раз «реформист» и ставят на том точку.

Жорес — реформист. Но ведь реформистами (на каком-то этапе своей биографии) были и Мильеран, и Шейдеман, и Макдональд. Поставьте их рядом с Жоресом — и каждый сразу почувствует кощунственность такого сопоставления. Господа реформисты завершали свою карьеру в президентских и министерских креслах, на самой вершине империалистического мира, а Жорес лежал под камнем в земле, убитый наемником этого империалистического мира.

* * *

«Кто хочет с диалектически-материалистической точки зрения оценить жоресизм, тот должен строго отделить субъективные мотивы и объективные исторические условия»¹, — писал В. И. Ленин. Для Ленина, не раз выступавшего с критикой Жореса, было вместе с тем несомненно благородство его помыслов, чистота и искренность его чувств, его мужество как борца против могущественных сил реакции.

Реформистские ошибки Жореса были следствием его иллюзий. Этот человек, прошедший через долгий, отрезвляющий опыт парламентской борьбы, освобождаясь от

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 8, стр. 268.

многих пережитков своего буржуазного прошлого, сохранял наивные иллюзии. Он смотрел на жизнь так, словно видел все в первый раз. Этот дальнорский, прощательный боец был странно доверчив. Он видел мир лучшим, чем он был в действительности. Солдат армии пролетариата, как он сам о себе говорил, он часто верил в мудрость или добрую волю человека вообще там, где требовалось классовое расчленение и резкое классовое размежевание и противопоставление.

Эти увлечения общечеловеческим началом, эти встречающиеся порой у Жореса тенденции растворить пролетариат в человечестве или объединить классовые задачи пролетариата с абстрактно гуманистическими были для Жореса не случайны.

«Humanité» — «человечество» — назвал Жорес основанную им в апреле 1904 года газету, призванную стать боевым органом рабочего класса, — разве это не знаменательно?!

Жорес был одним из последних представителей давней, восходящей еще к просветительству XVIII века и Великой французской революции традиции французского гуманизма. Этот гуманизм, который при своем зарождении мог быть, в сущности, лишь буржуазным, с самого начала имел несколько отвлеченный, абстрактный характер. На протяжении полутора веков, в меняющихся исторических условиях, естественно, менялся и французский гуманизм. Но Жорес обнаруживал почти атавистическую верность этим гуманистическим концепциям прошлого. От французского просветительства XVIII века, от якобинцев, от социальных мечтателей Великой французской революции, от утопического социализма он унаследовал веру в силу разума, оптимистическую уверенность в будущее, как бы его ни называть — «золотым веком» или социалистическим строем, и, главное, склонность к гуманизму отвлеченного и общего характера.

Понятно, что школа классового боя, живое общение с пролетариатом, у которого он хотел учиться и многому научился, существенно переделали, перевоспитали Жореса. Его сознательное и убежденное движение влево продолжалось непрерывно; особенно заметный идейный сдвиг влево как раз обозначился в последние годы его жизни. И все-таки при всем том Жорес так и не смог до конца преодолеть этих собственных его философско-политическому мышлению черт абстрактного гуманизма. Именно это прежде всего роднило его с направлением передовой идейной и художественной мысли во Франции, ярче всего представленной в XX веке Анатолем Франсом и Роменом Ролланом¹.

Идейная близость Жореса с этими великими писателями Франции несомненна. Конечно, различия между ними были очень значительны: и между Франсом и Ролланом, и между обоими художниками и политическим деятелем Жоресом. Иначе и быть не могло. В литературном наследии этих трех больших людей можно найти и критические суждения друг о друге. Но важнее установить иное — их идейную, этическую и интеллектуальную близость.

Речь идет не только об искренних чувствах дружбы и глубокого уважения, имеющих прежде всего идейную основу. Ромен Роллан, зрелый, умудренный опытом раздумий и разочарований, сохранял к Жоресу почти ту же юношескую восхищенность, которую некогда испытывал к Льву Толстому. Правда, его отношение к Жоресу не было простым: ему случалось говорить и о противоречивости своих чувств к нему. И все-таки он не уставал восхищаться Жоресом. «Гениальный и добрый» — так назвал он одну из своих статей о Жоресе, и эти идущие от сердца слова были в полном ладу с тем чувством любви и, может быть, даже преклонения, которым была овеяна эта его статья, как, впрочем, и другие, посвященные величайшему оратору Франции.

Насмешливый, ироничный, склонный к злословию Анатолю Франсу, казалось, становился иным, находил другие слова, другие мысли и чувства, когда речь заходила о Жане Жоресе. Трудно назвать, кроме Ленина, еще кого-либо из его современников, которого он так же высоко ценил. Не только свидетельства его собеседников — Сегюра, Марсея Ле Гоффа и других, — но прежде всего его собственные прямые суждения го-

¹ Называя эти два имени, я отнюдь не ограничиваю ими передовое идейное направление во Франции начала нынешнего столетия. Оно знало и другие. Но рассмотрение этого вопроса увело бы нас в сторону.

ворят о любви, о нежности к Жоресу, о том, как он гордился дружбой с этим человеком.

Но важнее личных чувств было во многом их объяснявшее идейное родство. У Франса оно нередко перерастало в непосредственное политическое сотрудничество с Жоресом. Важнейшее философско-политическое сочинение Франса «На белом камне» начало печататься в «Юманите» 18 апреля 1904 года, то есть с первого номера газеты. В сущности, у колыбели знаменитого социалистического органа стоит не только Жорес, но и Франс. Анатолий Франс свойственным ему оружием сражался с теми же противниками, что и Жорес, — с реакцией, колонизаторами, колониализмом. Известно, что в дни первой русской революции Франс и Жорес плечом к плечу выступали в ее защиту в «Обществе друзей русского народа», в кампании против займа царизму.

Ромен Роллан не был связан с Жоресом общностью политической борьбы: в ту пору своей жизни он вообще еще сторонился активных политических действий. Но и он, как и Франс, был близок к Жоресу. При всем их индивидуальном своеобразии, они все трое стояли на левом крыле французской общественной мысли — последние трубадуры и защитники давних традиций французского гуманизма.

Политические статьи и речи Жана Жореса, «На белом камне», «Современная история» и публицистика Анатоля Франса, «Жан-Кристоф», статьи военных лет, «Предтечи» Романа Роллана — это все вещи, конечно, очень разные. Но вместе с тем нетрудно заметить, что их роднит идейная близость, что они воодушевлены, проникнуты общим духом высокого гуманизма.

Главное, что отличало Жана Жореса от его идейных друзей — это действенность. Непримируемый к несправедливости, к насилию, ко всем чудовищным порокам и преступлениям империализма, он был внутренне не способен ограничиться платоническим осуждением зла. Он был человеком действия, и его сердце бойца влекло его без раздумий в самую жаркую сечу. Он был оптимистом. Это не был тот «оптимизм пессимизма», о котором писал некогда Жан-Ришар Блок. Это был оптимизм убеждения. Клемансо в свое время справедливо заметил, что произведения Жореса всегда можно отличить от всех других: «У него все глаголы в будущем времени». Это было остроумное наблюдение. Жорес верил в будущее. Он верил в силу рабочего класса, в неиссякаемую творческую энергию народа, в их способность изменить мир. Когда в 1905 году разразилась русская народная революция, он ее восторженно приветствовал и был полон надежд, что она победит и двинет вперед борьбу пролетариата в Западной Европе. В дни героического декабрьского вооруженного восстания в Москве, смывшего иных из «правоверных марксистов», Жорес восторженно писал: «Это — горячее дуновение свободы и справедливости, которое отныне идет в Европу из обледенелой страчи».

Эта непоколебимая вера в силу рабочего класса, народа, эта уверенность в победе дела, которому он служил, этот несокрушимый социальный оптимизм, подогреваемый темпераментом бойца, умножал силы Жореса, умножал его действенность.

К этому надо добавить, что Жорес обладал поразительной храбростью. Ему была присуща не только личная храбрость, побудившая его дважды драться — по политическим мотивам на дуэли (которые он, как социалист, осуждал и не признавал) — в 1894 году с Луи Барту и через десять лет с Деруледом. Веление долга служить народу, убежденность в правоте заставляли его вступать в борьбу с самыми могущественными противниками. Его пытались подкупить, обольстить, застрашать; продажные газеты обливали его помоями, наемные перья строчили о нем каждый день самую низкую ложь и клевету: его объявляли антипатриотом, изменником, агентом Вильгельма II, предателем родины; ему предрекали виселицу и угрожали ударом кинжала или выстрелом из-за угла... Ничто его не могло остановить — он сражался, он наступал.

Жюль Гед, Эдуард Вайян в довоенные годы произносили марксистски превосходно аргументированные речи против капитализма вообще и против французского в частности. Но их критика оставалась нередко абстрактной, обезличенной и платонической; она не сопровождалась критикой действием.

И хотя Жорес так и не освободился до конца от концепций абстрактного гума-

низма, что было основным источником его ошибок в социалистическом движении, однако он никогда не грешил абстрактностью в политической борьбе: перед ним всегда стояла конкретная цель — он бил по конкретной мишени, по конкретным врагам. Ему было чуждо и смешно оторванное от жизни мудрствование, резонерство, догматизм. Он учился сам постоянно у жизни, у рабочего класса, он шел вперед, и он смеялся над теми теоретиками, которые педантично каталогизируют цитаты и пытаются противопоставить узко понятую букву марксизма требованиям живой жизни.

Ромен Роллан как-то сказал о Жоресе словами точными, как математическая формула: «Жорес представляет собою почти единственный в новой истории пример крупного политического оратора, являющегося вместе с тем и крупным мыслителем, в котором обширные знания сочетаются с глубокой наблюдательностью и моральная высота — с энергией действия».

«Энергия действия» — это была великая сила Жореса. Ее было недостаточно, чтобы превратить последнего наследника традиций буржуазного гуманизма в пролетарского революционера, в марксиста-ленинца. Но ее хватило на то, чтобы преодолеть ограниченность абстрактного гуманизма и создать из Жореса замечательного революционного демократа эпохи империализма.

* * *

Мадлен Реберну, серьезная исследовательница наследия Жореса, недавно опубликовала пропущенное во всех изданиях сочинений Жореса его выступление в палате депутатов 24 мая 1889 года. Эта небольшая речь, произнесенная семьдесят пять лет назад, привлекает внимание прежде всего потому, что она звучит сегодня очень современно. Жорес выступает против политики интеллектуального, политического и социального порабощения народа. Жорес тогда еще не был социалистом, но, как республиканец и демократ, он восставал всем своим существом против диктаторских поползновений честолюбивого генерала Буланже, стремившегося захватить власть.

Речь эта находится в прямой связи с другими выступлениями Жореса против буланжистской опасности. Сосредоточение власти в руках одного человека (в разное время это по-разному называли — то политикой бонапартизма, то единоличной властью) создавало прямую угрозу республике, республиканским свободам, самим их основам.

Жорес уже тогда, в восьмидесятых годах, понимал это яснее и глубже, чем его тогдашние товарищи из буржуазных партий по антибуланжистскому лагерю. Кстати сказать, это нелишне напомнить и в наши дни. И ныне в Пятой республике можно найти политических деятелей, пытающихся уверить, будто режим личной власти «гармонически» сочетается с республиканской демократией и что вмешательство народа в политическую борьбу совершенно излишне. И тогда, в восьмидесятых годах, буржуазные умеренные республиканцы и радикалы хотели ограничить содержание борьбы с буланжизмом личным дискредитированием генерала, не раскрывая ее социального смысла и стремясь не допустить участия в борьбе масс.

Когда депутат Шарль Флоке в ответ на бонапартистскую речь Буланже в палате бросил ему свою на шумевшую фразу: «Генерал, в вашем возрасте Наполеон был уже в могиле», то она свидетельствовала не только об остроумии одного из вождей радикалов. Это была та же политика ограничения борьбы психологическими средствами, не выходящими за рамки легально-парламентских форм, предотвращения вмешательства в политический конфликт народа.

Жорес, в отличие от буржуазных республиканцев, видел существо конфликта прежде всего в угрозе республике и ее основам, угрозе демократии и самому народу. В соответствии с этим в своих выступлениях той поры и в речи 24 мая 1889 года он подчеркивал, что самой надежной защитой демократии является народ. Он шел дальше и доказывал, что преградить путь к власти одному человеку, который обратит в рабство весь народ, можно, лишь последовательно и настойчиво расширяя все демократические права, ведя упорную борьбу за светскость против клерикализма, за просвещение — против невежества, за демократические свободы, за укрепление и развертывание всех свобод.

С восьмидесятых годов, когда он не был еще ни социалистом, ни антимилитаристом, Жорес уже стал непримиримым борцом против всех попыток подчинить, ограничить, унижить демократию, в какой бы форме они ни проводились. Именно эта позиция последовательного демократизма и побуждала его ввязываться в бой и идти в первых рядах во всех острых схватках сил демократии и реакции, которыми изобилует история Франции восьмидесятых, девяностых и девятисотых годов.

Жоресу принадлежала главенствующая роль в растянувшейся на целое десятилетие борьбе демократии против реакции, начавшейся с отпора так называемым «злодейским законам», и кампании против Казимира Перье, и завершившейся ожесточенной борьбой двух лагерей в связи с делом Дрейфуса. Он вел эту борьбу с поднятым забралом, с открытой грудью, нанося удары самым сильным врагам, возбуждая их ярость и ненависть.

О Жоресе нередко говорили, что он добрый. Так могли говорить лишь его друзья, рабочие, которые его искренне любили. Но он никогда не был добр к врагам рабочего класса, к врагам демократии. С ними он вел войну насмерть.

Когда Жеро-Ришара, опубликовавшего статью против президента республики Казимира Перье, предал суду, Жорес добровольно вызвался быть его адвокатом. Защитительную речь он превратил в обвинительный акт против этого богача и реакционера, сумевшего стать президентом лишь благодаря своему имени, олицетворявшему со времени Июльской монархии золотой мешок и борьбу против народа. Жорес напоминал о грязном ростовщичестве, составившем основу богатства династии банкиров Перье. Он говорил, что когда хотели создать республику банковских воротил и крупных ростовщиков, то Казимир Перье поистине стал ее символом и олицетворением: «Признаюсь, я предпочел бы для нашей страны дома распутства, в которых агонизировала монархия старого режима, подозрительному дому банкиров и ростовщиков, в котором агонизирует честь буржуазной республики». И когда председатель прервал его, заявив, что он не допустит, чтобы дом президента республики сравнивали с публичным домом, Жорес парировал с ходу: «Я его не сравниваю, я его ставлю ниже».

Речь Жореса разошлась в десятках тысяч экземпляров по всей стране. Народ в нем увидел самого смелого противника реакции. Его имя стало самым ненавистным для крупной буржуазии и верхов Третьей республики. Но вскоре же «президент реакции» Казимир Перье, не выдержав, ушел с поля боя — подал в отставку, покинул Елисейский дворец.

Жорес был главным политическим бойцом и в напряженной схватке реакции и демократии в связи с делом Дрейфуса и процессом Золя.

Известно, что в ходе этой борьбы Жорес допускал ошибки, ошибки немалые: в пылу увлечения сражением он стал стирать различия между рабочим классом и либеральной буржуазией, он перестал в должной мере заботиться о самостоятельных интересах рабочего класса. Ему случалось совершать ошибки и позже, и некоторые из них, например, «в казусе Мильерана», были еще грубее. Правильное понимание этих ошибок стало условием дальнейшего развития французского рабочего движения.

Но когда теперь, шесть-семь десятилетий спустя, сопоставляешь мужественную, действенную борьбу Жореса против реакционных сил, покушавшихся на завоевания демократии, — с сектантской позицией «чистых рук», «невмешательства», «неучастия», которую нередко занимали Гед и его друзья, то разве не становится очевидной историческая правота Жореса? И разве он не был прав, утверждая в споре с Гедом: «Когда поставлена на карту республиканская свобода, когда угрозе подвергается свобода духа, свобода совести... тогда долг социалистического пролетариата стать впереди тех буржуазных фракций, которые не хотят пойти назад, во тьму прошлого».

Это было сказано в 1900 году, но разве эти идеи не сохраняют своей жизненной силы, не остаются верными и сегодня, через шестьдесят четыре года после того, как они были произнесены?

Борьба за республиканскую свободу, за подлинную демократию остается и ныне на родине Жореса важнейшей задачей народа.

Шесть лет режима личной власти с неопровержимостью доказали, что за выдвинутой на авансцену фигурой первого лица государства скрывается незримая власть

могущественных монополий. Никогда еще ранее, ни в Третьей, ни в Четвертой республиках, финансовая олигархия не приобретала такого прямого влияния на правительственную политику, как в Пятой республике.

Это стало возможным (помимо иных причин) в значительной мере потому, что важнейшие институты буржуазной демократии во Франции, завоеванные долголетней самоотверженной борьбой народа, подверглись беспрецедентному в условиях республиканского строя ограничению. На родине Великой французской революции, создавшей в образе незабываемого якобинского Конвента первое, самое близкое народу политическое представительство, ныне, без малого двести лет спустя, всеобщее избирательное право и парламент низведены до уровня почти бутафорских атрибутов власти. В стране, помнящей давние и нередко яркие страницы богатой парламентской истории, национальное собрание, призванное, по идее, отражать мнение и волю народа, превращено в свою противоположность; страна не может себя узнать в этом кривом зеркале, в котором все истинные пропорции смещены и искажены до неузнаваемости.

Это извращение всех традиционных институтов демократии зашло столь далеко, что даже вторая палата — сенат, — являвшаяся всегда предметом самой беспощадной критики всех прогрессивных сил, ныне в Пятой республике стала последним оплотом демократического представительства, выражая мнение избирателей вернее, чем Национальное собрание, и подвергаясь именно за это преследованиям со стороны властей.

Но авторитарному режиму, присвоившему суверенные права народа, мало превращения избирательного права и парламента в карикатуру, он покушается и на иные республиканско-демократические институты, завоеванные народом: свободу стачек, свободу муниципальных выборов и т. д.

Французская поговорка гласит: «Можно разбить термометр, но нельзя изменить температуру». Правители Пятой республики лишили народ законного представительства и законной возможности выражать свое мнение в Национальном собрании; они хотят фальсифицировать волю и мнение народа в муниципальных органах. Но они не в силах изменить политическую температуру страны, они не могут лишить народ воли к восстановлению своего суверенитета.

Повелительные требования жизненной необходимости заставляют ныне французский народ вновь подниматься на борьбу в защиту своих прав, в защиту свободы и демократии.

Французская коммунистическая партия — первая партия французского народа — в решениях своего XVI съезда записала: «Политика социального прогресса в условиях свободы и мира требует ликвидации личной власти и установления подлинной демократии».

В этих простых словах выражены главные задачи сегодняшнего дня для Франции.

Около восьмидесяти лет назад, в 1887 году, когда над Францией нависла угроза установления диктатуры генерала Буланже, Жан Жорес писал: «Если бы над нами довлела единоличная власть с ее тайными интересами, то представители страны были бы охвачены беспокойством, подозрительностью и недоверием... Свобода объединяет всех сынов Франции, побуждая их принимать мудрые решения, именно она составляет нашу гордость внутри страны и нашу силу за ее пределами».

Эта концепция французского величия, опирающегося прежде всего на свободу и исключаяющая возможность режима единоличной власти, сформулированная много лет назад замечательным французским демократом, перекликается с политическими требованиями передовых общественных сил Франции наших дней.

* * *

Русская народная революция 1905—1907 годов оказала огромное влияние на Жореса. Он приветствовал русскую революцию с такой искренностью и горячностью, которых не встретишь, пожалуй, ни у кого из французских социалистов. Она его как бы возродила и обновила, вдохнула в него новые силы для борьбы. С присущей ему чуткостью к настроениям народных масс, умению учиться у жизни Жорес сразу же понял

и оценил значение для французского и западноевропейского пролетариата тех новых методов борьбы, которые применяли русские рабочие в революции.

Жорес был одним из первых, а может быть, и единственным среди руководителей западного социалистического движения, кто осознал и высказал вслух непривычную тогда для западной социал-демократии мысль, что русская революция передала русскому пролетариату ведущую роль в мировом революционном движении. «Освобождение русского народа...— писал 4 мая 1905 года в «Юманите» Жорес,— безусловно, поставит русский пролетариат в авангарде европейского пролетариата».

1905 год многое изменил в политических взглядах Жореса, в его тактике, в практической повседневной борьбе, которую он с возрастающей настойчивостью вел до своего последнего часа. Он круто поворачивает влево. Он рвет со своими прежними политическими соратниками — Брианом, Вивиани, Жеро-Ришаром. Те поворачивают вправо, а он стремится еще теснее сблизиться с пролетариатом. Их дороги разошлись. Но это не дружеские расставания. Жорес не отделяет личных отношений от политики: враг рабочего класса — его враг.

Каждое покушение правительства на демократические права, отвоєванные народом, каждый шаг, противоречащий интересам французского народа — будь то во внутренней или во внешней политике, вызывают немедленное выступление Жореса. Он обрушивается на министров, на правительство грома своего гнева, он приковывает внимание страны к противонародным действиям властей, он поднимает ярость народа против недостойных правителей.

Жорес понимал: для того, чтобы противостоять могущественным силам империалистической реакции, необходимо объединение, сплочение всех противостоявших реакции сил. Он видел, как во Франции воздействие рабочего класса на общий ход политической борьбы ослаблено вследствие раздробленности рабочего движения, распыленного между множеством враждующих между собой рабочих партий и организаций. Он стал горячим поборником единства, сплочения рабочих и демократических сил в борьбе против реакции. Ему случалось в тактических вопросах, связанных с проблемой единства, допускать ошибки, но его искреннее и действенное стремление противопоставить империалистической реакции концентрированную мощь единого рабочего или демократического движения было, безусловно, прогрессивно и отвечало задачам антиимпериалистической борьбы длительного времени, вплоть до наших дней.

Задачи борьбы за демократию, за социальную демократию, освобожденную от монополий, от капиталистических трестов определяют и ныне будущность Франции. С существенными изменениями, обуславливаемыми национально-историческим своеобразием и конкретной обстановкой каждой страны, они стоят в порядке дня и для ряда других государств капиталистического мира.

Семнадцатый съезд Французской коммунистической партии, собравшийся в мае этого года в Париже, с большой силой убежденности подчеркнул, что решение этих задач возможно лишь при условии расширения движения масс и объединения всех демократических сил для достижения этой цели.

Нельзя отрицать, что существуют различия в мнениях, и по некоторым вопросам даже немалые, между коммунистами, социалистами, радикалами, между разными отрядами демократического движения. Но история Франции (как, впрочем, и некоторых других стран) знает, что в критические периоды веление времени требовало, чтобы разногласия были отброшены и общность интересов, общность задач брала бы верх над всем остальным.

Так было в 1935—1937 годах, когда могучее движение Народного фронта, созданного инициативой коммунистов, сумело преградить дорогу фашизму во Франции. Движение Народного фронта имело немало слабостей; оно было недостаточно цементировано единством снизу, и это-то позволило сравнительно легко взорвать его изнутри. Но при всем том за ним остались и крупные достижения, и непреходящая заслуга: в Европе, запуганной и подавленной разгулом фашистского террора, оно первым показало и доказало, что только объединение демократических сил во главе с пролетариатом может обуздать и отбросить фашистских насильников.

Так было в годы второй мировой войны, когда объединение национальных, патриотических сил в движении Сопротивления спасло честь Франции и приблизило час ее освобождения.

Ростки этого спасительного стремления к сплочению всех демократических сил пробивались и в первые годы после Освобождения, в период конституирования Четвертой республики; они-то и оказали благотворное влияние на ее основные законы. И именно тем, что эти ростки не получили тогда развития, что они были пресечены, что была дана возможность восторжествовать политике антикоммунизма, и объясняется в конечном счете и политический кризис 1958 года, и установление Пятой республики, и режим личной власти со всеми вытекающими отсюда следствиями.

Последний, 54-й съезд Французской социалистической партии и практика избирательных кампаний этого года показали, что, хоть далеко не в полной мере, в рядах социалистической партии растет сознание необходимости сближения ее позиций с позицией коммунистической партии. Общность безотлагательных задач борьбы за восстановление и развитие демократии оказывается сильнее разъединяющих партии вопросов. Сейчас еще трудно сказать, кто возьмет в ближайшее время верх — силы отталкивания или взаимного притяжения, но что тенденция к консолидации демократических сил крепнет — это несомненно.

Морис Торез, безвременно ушедший недавно от нас, председатель Французской коммунистической партии, в речи на XVII съезде так поставил вопрос: «Если понятно, что источник силы голлизма — это главным образом раскол рабочих и демократических рядов, то разве не является осуществление единства главной задачей, которой все должно быть подчинено? И не следует ли ставить выше всего единство рабочего класса, если верно, что единый рабочий класс может и должен стать полюсом притяжения для сплочения всех других слоев общества, стремящихся к прогрессу, демократии и миру?»

Разве можно оспорить неопровержимую логику такой постановки вопроса?!

От далеких мужественных выступлений Жореса в защиту демократии, от его действенного стремления сплотить разрозненные силы пролетариата и народа в армию, противостоящую силам реакции, тянутся нити к нынешнему широкому и могучему движению демократических сил.

Конечно, было бы неверным считать, что борьба за демократию, за сплочение всех передовых общественных сил во Франции совершается, так сказать, «по Жоресу». За прошедшие полвека международное рабочее движение, вдохновленное ленинскими идеями, обогатилось новым огромной ценности опытом. Он был критически осмыслен и обобщен коллективной мудростью мирового коммунистического движения, и творчески развитая на основе этого опыта передовая марксистско-ленинская теория направляет ныне борьбу авангарда рабочего класса.

Но нельзя забывать и о близких и дальних предшественниках, закладывавших традиции, выступавших застрельщиками этой благородной борьбы. Жан Жорес был тем французским социалистом, который глубоко понимал, что защита и расширение демократии невозможны без сплочения сил рабочего класса и его союзников. Он был горячим поборником рабочего единства, и его могучий призыв к объединению всех готовых бороться с реакцией сил звучит и в наше время.

* * *

Жорес стяжал себе славу неустрашимого противника империализма, врага войны и глашатая мира.

Морис Торез любил повторять жоресовскую формулу: «Капитализм несет в себе войну, как туча — грозу». Жорес ее впервые выдвинул в речи в палате депутатов 7 марта 1895 года. В позднейших выступлениях, особенно последних десяти лет его жизни, он развил и конкретизировал это положение.

Жюль Гед также утверждал, что война есть следствие капитализма. Отсюда он делал вывод: раз война — лишь производное от капитализма, то надо вести борьбу не против следствия, а против причины — против порождающего ее капиталистического

стройка. На практике это теоретически как **будто бы** правильное положение вело, однако, к безучастному, пассивному отношению к угрозе войны.

Позиция Жореса была сильнее, чем позиция Геда. Присущая ему действенность не мирилась с таким созерцательно-пассивным отношением к величайшему бедствию, грозящему всему человечеству. Конечно, против капитализма надо бороться. Но надо бороться и против всех конкретных его проявлений, надо вести борьбу не против капитализма «вообще», а против конкретного зла, против конкретной опасности. Если же не бороться против войны, то это значит способствовать «военному безумию», облегчать темным силам развязывание войны. «...Не пристало нам дремать на подушке теории, пассивно дожидаясь крушения капитализма, чтобы начать борьбу с войной»,— говорил Жорес. И без колебаний, без сомнений он вступает в смертельную битву со всеми силами, стремящимися ввергнуть мир в катастрофу войны.

В теоретических определениях характера империализма, в конкретных политических оценках Жорес нередко ошибался. Но в решении главных задач, стоявших перед пролетариатом и его демократическими союзниками,— в борьбе против политики милитаризма и угрозы империалистической войны, в противодействии колониальной политике и колониализму. Жорес был прав и своей собственной неустрашимой и неослабной борьбой против этих могущественных сил дал вдохновляющий пример пролетарским революционным бойцам и заслужил навеки их благодарность.

В важнейшем вопросе мирового революционного движения, сохраняющем и ныне первостепенное и даже еще большее, чем полвека назад, значение — в вопросе о войне, мире и революции,— Жорес отстаивал правильные, революционные взгляды. Замечательно, что, когда эти вопросы стали предметом обсуждения и острой идейной борьбы на Штутгартском конгрессе II Интернационала в 1907 году, Жорес сразу же нашел общий язык с Лениным и Розой Люксембург. Он не только полностью принял их знаменитую поправку к резолюции по военному вопросу, но и с присущей ему горячностью стал ее пропагандировать; человек действия, он сразу почувствовал огромную динамическую силу этих ленинских идей.

Выступая в зале Тиволи 24 августа 1907 года, Жорес говорил: «В случае, если агрессор, враг цивилизации, враг пролетариата... доведет человечество до кровавой бойни, Интернационал говорит, что долг пролетариев — не растрчивать свои силы на службе преступному правительству, а сберечь винтовку, которой авантюристические правительства вооружают народ, и пустить ее в ход не против рабочих, не против пролетариев по ту сторону границы, но для революционного низвержения преступного правительства».

Откуда эти смелые, полные революционной отваги идеи? Это нетрудно установить. Это идеи Ленина, главные положения поправки Ленина — Люксембург, принятой Штутгартским конгрессом. Жорес мог так непринужденно искренне, с таким воодушевлением передать их своими словами, в присущем ему стиле потому, что эти идеи отвечали и его строю мыслей, потому что он сердцем и разумом полностью их принял и разделял.

Эти идеи, воспринятые Жоресом, становятся органической частью его политического мышления. В «Новой армии», в ряде других своих выступлений предвоенных лет он неоднократно высказывает убеждение, что если война будет развязана, то она приведет к революции, обернется против тех, кто ее разжиг. Но он тут же со всей определенностью заявлял, что пролетариат не ищет пути к власти через бедствия войны. «Путь к свободе и справедливости... лежит не через мировую войну,— писал Жорес еще в 1905 году.— Мы, социалисты, не желаем играть в эту варварскую азартную игру, мы не делаем ставку на кровавую карту войны...»

Эти слова были произнесены шестьдесят лет назад, но голос Жореса доносится и до наших дней и вмешивается в политические споры современности.

И ныне находятся политические деятели, готовые делать ставку на «кровавую карту войны». Их не смущает, что за десятилетия, прошедшие со времени гневных предостережений Жореса, размер ставки чудовищно возрос — стал десятикратным, нет — стократным, а то и еще большим! Плата по-прежнему исчисляется человеческими жизнями, но времена «рыцарских войн» или даже первой мировой войны с ее заставшими на годы линиями окопов давно миновали. Теперь речь идет не о надгробии

одному лишь храброму Роланду и не о могиле неизвестного солдата. В век термоядерной войны под руинами, возникшими от разрушительной силы мегатонных бомб, были бы погребены три четверти человечества.

Приверженцев «кровавой карты войны» нельзя заподозрить в незнании или потере памяти. Они не могли забыть дымящегося пепелища Хиросимы; они знают и помнят, как действует смертоносный огонь атомной бомбы. Им ведомо, что ставка на карту войны не может быть ниже сотен миллионов человеческих жизней. Но в ослеплении своих чудовищных тесрий они готовы всем пренебречь, всем пожертвовать — пусть на развалинах современной цивилизации, на кладбище мира вырастают цветы социализма.

Коммунистические, рабочие партии, прогрессивное человечество в наши дни, разумеется, отвергают эту навязываемую им самоубийственную перспективу. И их поддерживает в этом споре Жорес. За полстолетия до того, как было сказано, что война «станет мостом, по которому человечество перейдет в новую историческую эпоху», Жорес безоговорочно отбрасывал этот авантюристический, гибельный вариант, противоречащий самой сути социализма. Имея в виду именно войны, Жорес писал в «Новой армии»: «Желание силою насадить свободу является весьма странным предприятием, чреватом роковыми последствиями». И далее, разбирая разные аспекты соотношения между войной и революцией и напоминая формулу Робеспьера: «Нельзя нести на острие штыка декларацию прав человека», он как бы предупреждал последующие поколения: «Все это столь знаменательно и поучительно, что, казалось, должно бы навсегда отнять у революционных народов желание воевать, даже в том случае, когда они рассчитывают, что победа поможет всеобщему распространению их идей».

Эти суждения были действительно весьма поучительны. Но они остались не услышанными нынешними сторонниками «подталкивания» революции с помощью войны, несмотря на то что «роковые последствия» этой авантюристской политики в шестидесятых годах XX века обрекают на гибель большую часть человечества.

Оборотная сторона этой политики ставки на «кровавую карту войны» — пессимистическое признание «неизбежности», «неотвратимости» войны. Решение вопроса о возникновении войны, по мнению сторонников этой концепции, находится в руках империалистов. Игнорируя огромные изменения в соотношении сил между миром социализма и миром капитализма, возросшую мощь мировой социалистической системы, могучее движение в защиту мира, приверженцы этой фаталистической теории утверждают, что ключ от будущих судеб человечества находится в монопольном владении империалистов: от них одним зависит — быть или не быть термоядерной войне на земле.

Эта пессимистическая точка зрения, обрекающая миллионы людей на пассивное ожидание катастрофического развития событий, противопоставлена выдвинутой с трибуны XX и XXII съездов КПСС великой идее, провозгласившей, что в новых исторических условиях фатальной неизбежности войны уже нет и что решение жизненной задачи сохранения мира на земле в значительной мере зависит от решимости и ответственности самих народов. Коллективный разум мирового коммунистического движения единодушно одобрил эту опирающуюся на новые явления в мировом развитии идею. Исторический опыт последнего десятилетия дал убедительные доказательства ее великой жизненной силы. Суэцкий конфликт 1956 года, и в особенности карибский кризис 1962 года, показали, что силы империалистической агрессии были готовы ввергнуть мир в гибельную катастрофу третьей — термоядерной на этот раз! — мировой войны. Но эти же события показали и доказали, что организованные силы мира, опирающиеся прежде всего на мощь Советского Союза, оказались достаточно могущественными, чтобы преградить дорогу войне.

Но, несмотря на эти предметные уроки истории, упрямые приверженцы догм продолжают оспаривать теоретические выводы, обобщающие важнейшие изменения, происшедшие в мировом развитии, в соотношении сил за последние десятилетия, и упорно настаивают на своей пессимистической концепции «неотвратимости войн».

Из далекого прошлого голос Жореса вмешивается и в этот спор.

Жорес отдавал себе отчет в том, что силы капитализма еще могущественны и что от них прежде всего зависит решение вопросов войны и мира. «В руках правительств весы, на которые брошены судьбы народов», — говорил он в 1912 году. Но, как непри-

миримый противник капитализма и войны, как человек действия, полный веры в силы народа, он не хотел и не мог мириться с позицией пассивной обреченности, чуждой по своему характеру социалистам, рабочему классу, народу.

«Пролетариат не настолько силен, чтобы существовала уверенность в мире, и не настолько слаб, чтобы существовала неизбежность войны», — писал он в «Юманите» еще в 1905 году. Эта великолепная формула, полная революционной энергии и социального оптимизма, мобилизовывала рабочий класс на действительное сопротивление угрозе войны.

Даже в ту пору, когда силы пролетариата были относительно слабы, Жорес звал рабочий класс на борьбу с войной, он внушал ему веру в свои силы и сам был исполнен веры, что организованная и сплоченная сила защитников мира может оказать противодействие силам войны.

Непреклонный противник войны, он остался таким же человеком действия и в последние дни, последние часы перед катастрофой — в июле 1914 года. Империалистическая буржуазия и захлестнутые мутной волной ее пропаганды люди ненавидели Жореса, преследовали, травлили. Даже Шарль Пегги, друг Ромена Роллана, повернувший затем вправо, в дни агадирского кризиса «с блеском ненависти в глазах» говорил: «Как только будет объявлена война, первое, что мы сделаем — расстреляем Жореса». Бульварная пресса давно призывала к его убийству из-за угла. «Тан» почти ежедневно печатала против него статьи. Ему протягивали то портфель министра, то грозили кинжалом. Но его нельзя было ни обольстить, ни запугать. Не оглядываясь по сторонам, он шел вперед, он поднимал народные массы на сопротивление надвигающейся войне, он сражался.

Жореса боялись. 31 июля 1914 года — в последний день мира — он был убит. А в «Юманите» того же числа в последней, написанной Жоресом статье, пережившей его на несколько часов, его голос еще призывал: «То, что сейчас нужнее всего, это — непрерывность действия...»

* * *

Прошло полвека с начала первой мировой войны и гибели Жореса. В сознании миллионов людей, хранящих память о жестоком потрясении, которому подвергся мир в 1914—1918 годах, гибель Жореса, павшего первой жертвой войны, от нее неотделима.

Ромен Роллан сравнивал гибель Жореса с проигранным великим сражением. Это сравнение можно понять. Убийство Жореса означало поражение сил мира. Они были побеждены более могущественными в то время силами войны.

Человечеству пришлось пройти через испытания двух губительных, опустошительных войн, развязанных силами империализма. Первая мировая война длилась 1564 дня и ночи, более четырех лет. Она убила десять миллионов человек и превратила в инвалидов еще двадцать миллионов.

Вторая мировая война продолжалась 2194 дня и ночи — шесть лет. Она скосила тридцать два миллиона человеческих жизней и тридцать пять миллионов человек искалечила.

Из пятидесяти лет первой половины нынешнего столетия десять лет люди занимались взаимным уничтожением. Это равносильно уничтожению населения целых континентов. Такого опустошения человечество не знало за всю свою историю.

И те же силы империализма, которые обрекли человечество на величайшие бедствия двух мировых войн, готовы свергнуть его в новую катастрофу, не сопоставимую по своим разрушительным действиям с двумя предыдущими. За первые пятнадцать лет после смертоносного применения атомного оружия в Хиросиме Соединенные Штаты Америки истратили на производство этого оружия колоссальную сумму — двадцать два миллиарда долларов. И это производство орудий смерти продолжается; оно доходно и приносит многомиллионные прибыли. Не удивительно, что в сравнительно недавно вышедшей в Нью-Йорке книге три американских социолога Р. Страус-Хюпе, У. Китнер и С. Посони похваляются, что скоро будет создано «оружие конца света» — атомные бомбы такой мощи, что одной будет достаточно, чтобы стереть с лица земли целый континент.

Но теперь не 1914 год. Теперь силы мира, опирающиеся на мощь государств социалистической системы, на широкое движение борцов против угрозы войны в капиталистических странах, на национально-освободительное движение поднявшихся против империализма народов,—противостоят темным силам войны.

Еще нельзя сказать, что устранена опасность третьей — гибельной по своим разрушительным последствиям — мировой термоядерной войны. Но мы утверждаем, что более нет фатальной неизбежности войны и что решение главного вопроса сегодняшнего и завтрашних дней — быть или не быть войне — находится в значительной мере в руках самих народов.

За пять минувших десятилетий мир изменился до неузнаваемости. Многие давно уже забыто, стерлось, вытравлено из памяти человечества. Многие имена, казавшиеся когда-то звездами первой величины, давно уже померкли и вычеркнуты из истории. Немногие сохранились. Среди этих немногих — имя Жореса.

Ныне всеми забытый Луи Жилле, которого знают сейчас лишь разве некоторые специалисты истории французской литературы как корреспондента Роллана, в августе 1914 года писал: «Бедняга Жорес! Я восхищаюсь добрыми малыми, как он, которые пытаются с помощью фраз усыпить, остановить ход судеб!»

Бедняга Жилле не мог постичь ход судеб. А Жорес их постигал. Поэтому-то он и остался в истории не заслуживавшим снисходительного сожаления «добрым малым», не побежденным Дон-Кихотом, а бесстрашным борцом против сил империализма и реакции, против войны, борцом за мир и счастье людей, за те их жизненные, коренные стремления, которые и определяют «ход судеб».

Жореса не надо приукрашивать, не надо преуменьшать ни его слабостей, ни его противоречий. Он остается таким, как был, — сыном своей эпохи, своей среды, своей страны. И он остается и полвека спустя тем же — замечательным трибуном и глашатаям мира.

Миллионы, десятки миллионов людей ведут ныне борьбу в защиту мира, против сил империализма и войны, преграждающих путь вперед человечеству. Борьба за мир в современных условиях тесно связана с борьбой за социализм. Великие идеи Ленина воодушевляют бойцов, идущих в первых рядах. Во всех пяти частях света идет упорная борьба с темными силами реакции и войны, и она еще не закончена; еще предстоят жестокие бои. В этом великом движении современности — движении человечества к миру, социализму — вместе с новыми, молодыми голосами звучит и голос Жана Жореса.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

А. ВОРОНСКИЙ

★

ИЗ КНИГИ «ГОГОЛЬ»

(К 80-летию со дня рождения критика)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга должна была прийти к читателю почти тридцать лет назад. Ее издали в серии «Жизнь замечательных людей»; на стершемся корешке виден номер выпуска: 17—18. Но автор книги — А. К. Воронский, видный советский критик, редактор журнала «Красная новь», — был незаконно репрессирован¹, и весь тираж пошел под нож. Сохранилось всего несколько экземпляров.

У книг своя судьба, говорит старая пословица. Судьба этой книги принадлежит к несчастливой. Книга вышла, но она не существовала. Ее не найти в каталогах и библиографических обзорах. Ее не знает не только широкий читатель, но и специалист по Гоголю. То, что уже было открыто исследователем, потом заново открывалось другими.

Таким образом, первое, что мы должны сделать, — это попытаться восстановить историко-литературное место книги, то есть представить себе, что она вышла вовремя.

Могут спросить: а нужно ли это делать? Ведь многое из того, что имел сказать исследователь, уже сказано за него другими... Но если мы щепетильно-внимательны к установлению приоритета изобретателя или новатора, то почему бы нам не проявлять этих же качеств и по отношению к труду критика, литературоведа? А кроме того, не все устарело в книге Воронского: многие ее страницы и сегодня представляют живой интерес для специалиста и для каждого, кому дорога русская классическая литература.

К тому времени, когда писалась книга Воронского, «гоголеведение» насчитывало уже сотни работ. Но, пожалуй, погоду в нем делали тогда две очень яркие и во многом противоположные книги: «Мастерство Гоголя» Андрея Белого и «Творчество Гоголя» В. Переверзева.

Первая книга была примечательна тончайшими наблюдениями над гоголевской поэтикой. Я напомню только один пример (он нам еще понадобится в разговоре о книге Воронского): исследователь установил, что в изображении Чичикова — да и вообще в структуре «Мертвых душ» — большую роль играет «фигура фикции»: «Не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок, нельзя сказать, чтоб стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод...» Получается «нечто», «до некоторой степени» господин «средней руки», то есть не традиционная характеристика, а ее отрицание, достигающее, однако, поразительной художественной силы. В книге А. Белого много таких открытий, но им не хватало прочной опоры на реальное, образное содержание гоголевского творчества. Беда не в том, что исследователь шел от формы (такой путь подтвержден давней традицией), а в том, что он часто не доходил до содержания. Книга походила на только что оставленный дсм, в котором интерьер, обстановка, вещи — все до мелочей необыкновенно остро напоминало о хозяине, но самого хозяина не было.

Нашупать живую душу гоголевского творчества — такую задачу ставил перед собою В. Переверзев, книга которого в 1928 году вышла четвертым изданием. Но эта «душа» толковалась исследователем на вульгарно-социологический лад. Гоголь объявлялся выразителем мироощущения и интересов среднеломестного дворянства. Все в гоголевской поэтике — от сюжета и композиции до пейзажа, способа обрисовки героев, деталей — призвано было нести на себе отблеск «мелкопоместной стихии». А там, где этот отблеск обнаружить не удавалось, исследователь произносил суровый приговор: «нехудожественно!», «невывразительно!» К примеру, он счел «посредственным» такое типично

¹ После XX съезда партии А. К. Воронский посмертно реабилитирован и восстановлен в партии.

гоголевское, пронизанное «разрывающей жалостью» произведение, как «Невский проспект» (дескать, «среднепоместный художник плохо приспособлен «рисовать психологию интеллигенции»), объявил «почти бессильной» фантастику Гоголя и т. д. Единство идейного и художественного анализа оборачивалось в работе Переверзева обеднением гоголевского творчества (хотя отдельные замечания исследователя были глубоки и справедливы).

Отсюда видно, какие трудные задачи вырисовывались перед марксистским литературоведением в подходе к Гоголю. Нужно было выделить общественную, политическую основу гоголевского творчества, но не впадая в грех вульгаризации. Нужно было раскрыть богатство гоголевской мысли, но в ее реальной одежде, в образном строе, в поэтике. Гоголь — «трудный орешек» для исследования, и от того, как решались эти задачи, во многом зависело общее состояние советского литературоведения, его научный престиж.

Интерес книги Воронского в том, что она представляла собою на этом пути один из первых серьезных опытов.

Раскроем книгу на разборе «Вия». «Вию» в классической литературе не повезло, говорит исследователь. Отмечают только, что в основу повести положены народные предания, что повесть не лишена черт современной Гоголю действительности и, кроме того, перекликается с романом Нарезного «Бурсак»... «Оставим все это в стороне и посмотримся в первую очередь к Хоме Бруту».

Это обыкновенный «существователь», чья фигура с нежинских времен маячила перед сатириком. Не склонен к устоявшимся и излишним размышлениям. Весел, прожорлив, «крепковыен», подчас не чист на руку. Но именно он становится добычей красавицы ведьмы и других странных, фантастических сил. Они заставляют бедного «философа» переживать томительные, болезненные наслаждения, а потом приводят его к гибели. Нет ли здесь какого-либо просчета, несоответствия? Нет, отвечает А. Воронский, никакого просчета в повести не допущено. В ней выражено гоголевское ощущение бытия. Два мира — мир действительности и мир ночных видений, нежити, — противоборствуя, все более сближаются друг с другом под пером Гоголя. В «Вие» заумь, мертвое, нежить победили явь. И так жадка нам непритязательная, но земная, «милая чувственность», гибнущая под ударами враждебных сил.

Разбор «Вия», естественно, не занимает основного места в книге, но в нем отчетливее всего выявились главные ее идеи, впрочем, разработанные не с одинаковой силой и убедительностью.

Первая мысль — о роли фантастики. Гоголевская фантастика, начиная с «Вечеров», не произвол, не игра формы, а способ постижения реальных противоречий жизни. Об этом уже писалось до Воронского (например, в интересной книге С. Шамбинаго «Трилогия романтизма»), но исследователь, так сказать, социально конкретизировал эту мысль. «Ревизор» — это «свислящий бич над крепостной Русью». С железной неотвратимостью прикован взор художника к болезненному, ненормальному, «ибо мир, родная земля переполнена несметной силой образин, и некуда скрыться от них поэту-философу». И далее: «После «Вия» фантастическое почти исчезает у Гоголя; но странное и чудное дело: действительность сама приобретает некую призрачность и порою выглядит фантастической. Эту фантастичность придают ей жуткие хари, свиные рыла, помесь нежити с человеком, мерзкие отребья».

Другая важнейшая мысль Воронского — о «милой чувственности» в творчестве Гоголя. В то время еще давало себя знать символистское толкование Гоголя как писателя, бегущего всего земного и материального, стремящегося к потустороннему. Воронский не замалчивает склонности Гоголя — особенно позднего Гоголя — к мистике и аскетизму, но он показывает и противоположную сторону этой глубокой, во многом загадочной души, — Гоголя, влюбленного во все земное, яркое, звучащее, исполненное бурных жизненных сил. Мы чувствуем такого Гоголя не только в опозтированных картинах украинского народного быта и героической старины, но и в собственно сатирических его образах. Эта верная мысль Воронского разбивает ходячие представления о Гоголе как о художнике, будто бы работающем лишь двумя красками — черной и розовой. Еще Валериян Майков писал, что гоголевские образы так мудро устроены, что в них сквозь верхнюю краску просвечивает «бездна других красок», сообщающих изображаемому лицу глубину и прозрачность. Так сквозь ограниченность и бездумность Хомы Брута просматривается его способность к высоким душевным движениям, а сквозь омертвелость и скованность Плюшкина — намек на те живые чувства, которые когда-то в молодости озаряли его жизнь.

Что же теснит и давит человека, вытравляет в нем чувства, превращает в «нежить», в «образины»? Гнет вещей, собственности. Однако эта, в общем, справедливая мысль разработана А. Воронским не без вульгарно-социологического упрощения. Например, он считает, что причиной ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем послужила вещь как товар, как меновая стоимость, пришедшая на смену вещи натуральной, феодальной. Иван Никифорович, дескать, потому отказался продать своему другу ружье и взять взамен свинью и мешок овса, что первое — куплено, а последнее — продукты «натуральной собственности».

Но экономические выкладки Воронского идут наперекор художественному строю повести Гоголя, ее гротескному звучанию. В мире, враждебном разуму и справедливости, где так странно, «непостижимо играет нами судьба» («Невский проспект»), возможно, чтобы пустяковый повод привел к ссоре, жестокой вражде, трагическим последствиям. Смысл «необыкновенно-странного происшествия», случившегося между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем, как раз в том, что, с точки зрения нормального, здорового человека, оно бессмысленно. Потом Достоевский хорошо назовет такие явления «судорогами».

Упрощенный социологизм проявился и в других главах книги — например, в замечании, что Хлестаков символизирует победу мануфактурного века над крепостным; или в упреке Гоголю, что его внимание «было сосредоточено на средствах потребления, а не на средствах производства, на мебели, на домашней утвари, на съестных припасах...». (Некоторые утверждения Воронского не точны, например, мысль об идущем от Гоголя страхе Блока перед пролетариатом.)

Другое дело, когда о критике капитализма говорится с пониманием языка искусства, на котором эта критика ведется. «Гениален этот замысел торговли несуществующим,— пишет Воронский, объясняя уже упоминавшуюся нами «фигуру фикции» в «Мертвых душах»,— внутренняя динамика капитализма ведет именно к таким фикциям... Откушник Муразов говорит Чичикову, что его назначение быть великим человеком. По-своему Павел Иванович уж велик и в настоящем: он предвосхитил странные и чудесные свойства копейки орудовать с помощью фикций, и в этом он куда выше окружающих его старозаветных, захолустных помещиков...»

Вообще надо сказать, что хотя вульгарный социологизм и повлиял на некоторые формулировки и выводы, фактура книги Воронского им не определяется. Скорее, это дань времени, чем глубокое убеждение исследователя. Гоголь для него — великий писатель, глубоко проникающий и в прошлое и в современное, и в язык феодализма, и в противоречия нового, «мануфактурного» века. Исследователь вовсе не склонен выводить все особенности гоголевской поэтики из мелко-, средне- или какой-либо другой поместной стихии. Хотя Воронский говорит о Гоголе как о «двуликом Янусе», главное внимание исследователя обращено к плодотворному, реалистическому зерну гоголевского творчества, определившему судьбы русской литературы. Художественный анализ Воронского в большинстве случаев непредвзят и тонок; свойственная критику эстетическая чуткость проявилась в нем с большой полнотой.

К сильным сторонам Воронского-исследователя принадлежит умение давать четкие, почти афористические характеристики, в которых передана, так сказать, квинтэссенция художественного образа, произведения или цикла произведений.

О поэтическом мире «Вечеров» говорится: «Мир Гоголя буйно живописен, молод. Все горит, блещет, сверкает, нежится, гнется под тяжестью плодов... Блещат лилейные плечи, пестрят яркие ленты, звенят монисты, зовут розовые губы, обольщают здоровые дивчины, смешат ловкие проделки парубков, все напоено молодым сладострастием, движется, несется в беспечном, удалом плясе, в песнях. Немного грубовато, олеографично, но ярко и сильно».

О Хлестакове: «Фигура Хлестакова воздушна; во всякий момент она готова расплыться туманным пятном. Он весь в неверном полете. Недаром появляется он внезапно и так же внезапно исчезает... Во всякий момент он готов облечься в чужую личину, перевоплотиться; он должен, он непременно всегда это будет делать, потому что у него нет ничего своего... Самое страшное, когда Хлестаков остается наедине с собой. Он всегда должен быть на людях».

О ревизских душах в поэме Гоголя: «Мертвые ревизские души вдруг оживают, обрастают плотью; от них пахнет подневольным потом, пред глазами воскрешается каторжная, пропащая действительность, окаянный, постылый труд на барские хайла. И не кажется ли уже читателю, что не об одних мертвых ревизских душах ведется хитроумная художественная речь, но и о живых... Очень двусмысленно название поэмы «Мертвые души!»

Не правда ли — все это звучит свежо и ярко, несмотря на то, что сходные суждения читатель встречал — и не мог не встретить — в позднейших работах о Гоголе?

Свежесть этих и многих других страниц книги в том, что о литературе исследователь думает и пишет как литератор. Иначе говоря, в его слове удержано то непосредственное, живое чувство, которое пробуждает в исследователе, как и в каждом читателе, встреча с художественным произведением. Без такого эстетического сопереживания любые истины, возвеаемые в критических и научных статьях, предстают рассудочными, «головоными».

Характерен и стиль лучших страниц книги Воронского, с его красочностью и, так сказать, насыщенностью, когда десятки подробностей из гоголевского текста — оборотов, словечек, художественных деталей — почти незаметно входят в речь критика. Часто еще считают, что критик пользуется таким приемом для оживления, придавая своим «правильным», но трудно усвояемым мыслям доступный и привлекательный вид. Такое мнение низводит критика до уровня плохого лектора, который приправляет газетные штампы народными пословицами и поговорками, наспех выписанными из книги «Муд-

рое слово». Однако образность литературной критики иная. Она рождается внутренним, неотступным стремлением критика — дать отчет о пережитом, прочувствованном, понятом в художественном произведении, об его смысле. Но этот смысл нельзя свести к одной-двум тощим истинам (иначе зачем было бы читать книги, достаточно узнать «главную идею?»), его надо развернуть, представить в максимальной целостности, полноте, яркости — словом, создать на языке критики некий «эквивалент» художественной вещи. Естественно, что в него как строительный материал входят краски и образы разбираемого произведения.

Отсюда и «жанр» заключающей книгу главы, которая (с сокращениями) печатается ниже. К ней очень подходит обозначение «философия творчества» писателя — жанр, который был в свое время популярен. Это, так сказать, «смысл», «итог» творчества Гоголя — но не только смысл и не только итог. Это попытка передать неповторимо гоголевское, индивидуальное в самом анализе. Критическая оценка сочетается в ней с живым читательским восприятием, историко-литературные обобщения — с характеристикой личности писателя. Эта глава, на наш взгляд, хорошо передает наиболее сильные стороны дарования Воронского-критика.

Ю. МАНН.

* * *

Николай Васильевич однажды обмолвился об «орлином соображении вещей». Он обладал гениальным даром такого соображения. Принято думать, что наши обычные восприятия — конкретны и индивидуальны. Это неверно: в повседневной нашей жизни у средних, «нормальных» людей преобладают скорее общие восприятия. Для того, чтобы выделить конкретное и индивидуальное, требуется особое напряжение, внимание и способность; нужно интимно вжиться в вещь, в человека, в событие или происшествие. Это дается не часто и далеко не всем. Художник от обыкновенного человека отличается именно этой способностью из общего выделять индивидуально-типическое. Гоголь обладал этим даром до ясновидения. С поразительной остротой он видел «вещественность» мира. Он понимал, чувствовал, любил ее. Среди русских писателей в этом он до сих пор не имеет себе равных. Даже Толстой уступает ему...

...Говоря о слиянии с героем, Гоголь признавался:

«Это полное воплощение в плоть, это полное округление характера совершалось у меня только тогда, когда я беру в уме своею весь этот прозаический существенный дразг жизни, когда, держа в голове все крупные черты характера, беру в то же время вокруг его все тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека...»

...И он действительно собирал мельчайшие подробности. Он также любил разные вещицы, накопал их, дарил, возился с ними, кроил жилеты, платья, рисовал узоры ковров, вышивок, сажал деревья, вникал в постройки: Костанжогло выдает мысли самого Гоголя, когда говорит, что его веселит сама работа, что деньги деньгами, но еще важнее сознавать себя творцом и магом, от которого сыплется изобилие. Гоголь очень ценил живопись, архитектуру, скульптуру, музыку. Он чувствовал связь вещи с целым, с космосом. Его любимыми произведениями были «Одиссея» и «Илиада», проникнутые могучей, первобытной материальностью мира. Созерцая вещь, Гоголь видел, если так позволено будет выразиться, «душу» ее в неискаженных и незагрязненных чертах. Не о художнике-живописце только, но и о себе самом написал он в «Невском проспекте»:

«Он никогда не глядит вам прямо в глаза: если же глядит, то как-то мутно, неопределенно... Это происходит оттого, что он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсового Геркулеса».

Гоголь обладал этим двойным зрением.

Из внешних чувств у Гоголя были лучше всего развиты зрение и обоняние. Глаз у него был цепкий до мелочей и в то же время проникающий в существо. Недаром Гоголь так часто изображал глаза «пронзительные», колдовские, берущие самую душу, глаза, от которых некуда скрыться. Иногда эта обостренность взгляда даже тяготила Гоголя.

«Орлиное соображение вещей» — это один природный дар Гоголя.

Но Гоголь обладал и другим не менее пленительным даром.

«Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них было желание быть лучшим». Действительно, у Гоголя всегда было сильно развито стремление избавиться от своих недостатков, но еще больше стремился он исправить общественную жизнь. Он много и упорно, он всю жизнь размышлял о человеческом величии и низости; неустанно занимали его духовный рост и духовное развитие человека-гражданина.

Он домогался того, чтобы люди в своей обычной жизни руководились товариществом, дружбой, взаимной любовью и уважением, отвагой, чувством достоинства, крупными и сильными страстями, чтобы характеры людские были цельными и девственными. С юных лет Гоголь возненавидел жизнь небокоптителей, хотел понять и осмыслить высокое значение человека. Как художник слова он полагал, что писатель никогда не должен ограничиваться наблюдением, но обязан «творить творение свое в поучение людей».

Из совмещения этих обеих природных способностей, которыми Гоголь одарен был до гениальности, должно было произрасти прекрасное, могучее искусство, гармонично воплощающее «вещественное» и «духовное». Мир должен был предстать пред читателем напоенный жизнью, «милой чувственностью», нашей чудесной землей и в то же время озаренный возвышенным духом...

...По своим природным дарованиям Гоголь должен был оставить произведения, в которых «вещественность» Гомера находила бы вполне органическое и цельное сочетание с высоким и суровым духом Данте. Он мог изобразить не уродов и страшилищ, а людей труда, крестьян, мастеровых, изобразить с любовью, со страстью. У него были необыкновенные данные для этого. Еще в юности, лицеистом, он усердно посещал окрестные деревни, имел там много знакомых, записывал разговоры. Народные песни он собирал почти до конца своей жизни. А разве плох образ Рудого Панько, чудесный образ, не оцененный нашей критикой? И разве не намечались во всех этих Левках и Ганнах образы большой художественной силы и убедительности? Гоголь любил зло посмеяться, но над трудящимися он зло не смеялся...

...Общезвестно, что ремесленники прекрасно удавались Гоголю. А сколько добродушного сочувствия в изображении веселого бедняка Пеппе и каким неподдельно горьким чувством проникнуты размышления над списками умерших крестьянских душ!

В Гоголе пропал гениальный народный художник, писатель «во вкусе черни». Произошло же это оттого, что он жил в мрачной, в отравленной общественной среде...

...Пора покончить с либеральной жвачкой, будто Гоголь «обличил» крепостной уклад. Крепостного уклада давным-давно нет, и обличать его, ссылаясь на Гоголя, демократично, но в то же время и лояльно по отношению к современному капиталистическому строю. Конечно, Гоголь обличил крепостное право, но, во-первых, он обличал это право, как крепостную собственность, а во-вторых, он обличал также и «мануфактурный век», и эти его обличения заслуживают самого пристального внимания...

...В «Вечерах на хуторе» еще много свежести и, выражаясь словами Пушкина, «веселости простодушной и вместе лукавой». Но уже и там в молодую и юную вещественность мира, в наивное людское общество врываются дьявольская красная свитка и свиное рыло. Показывается Басаврюк со своими червонцами, ведьма-утопленица, у которой сквозь

прозрачное тело что-то чернеет,— нежить путает деда, черт крадет месяц, ведьма Солоха путешествует на помеле. Появляется неведомо откуда страшный колдун в красном жупане, встают мертвецы. Мир отвратительных образин делается все более живым и подлинным, все сильнее сливается с жизнью, все плотнее заслоняет ее собою, чтобы самому стать действительностью. Гоголь ищет спасения от нежити в казацком прошлом, у старосветских помещиков, но «орлиное соображение вещей» невольно заставляет художника обращаться к настоящему. Омерзительные хари множатся, лезут, обступают. В «Вии» они овладевают бурсаком-философом. Теперь они слились с действительностью, воплотились. Гоголь делается вполне «реальным» писателем, но его реальные люди сами превращаются в нечто, пожалуй, хуже всякой нежити.

В этих харях читатель узнает страшное, мертвое лицо николаевской России. Воплощаются также червонцы Басаврюка и таинственные клады: они принимают вид ассигнаций, закладных, рыночных товаров, разваливающейся поместно-крепостной и новой, идущей ей на смену, капиталистической собственности.

В страхе и ужасе Гоголь спасается от мерзостных рыл и низкой вещественности за границу: может быть, оттуда, из-за прекрасного далека, родина предстанет другой, очистится от харь, от рухляди и грязи; может быть, Запад принесет облегчение. Но Запад наполнен шумом и дразгом вещественности девятнадцатого века. Как будто какой-то просвет мелькает в Риме, с его руинами, с картинами старинных мастеров, но писатель уже не в силах оторваться от России. А вдобавок его обуревают собственные пороки, хари и рыла, живущие внутри.

Еще раньше художник научился поступать, как в древнейшей древности поступали его предки, веровавшие в колдовство. То, что они ненавидели, они изображали. Они полагали, что таким путем приобретают власть над тем, кого изображают, берут часть жизни врага и освобождаются от его влияния. Гоголь рисовал, больше — он высекал ненавистные личины, присоединял к их порокам свои пороки и страсти, преследовал, смеялся, заклинал их. Искусство для Гоголя было в известной мере заклятием. Подобно Хоме Бруту, чертил он вокруг себя волшебный круг; читал святые слова, стараясь ничего не видеть, кроме священных букв. Все было напрасно.

«Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые позеленевшие глаза».

Труп была тогдашняя Россия, трупом казался Гоголю Запад, трупом мнился ему весь мир, все материальное. Художник стоял один, во тьме, когда «лежит неподвижная полночь», всеми оставленный. Вокруг билась в окна несметная сила чудовищ, нечто хаотическое, косное, космически-безжизненное, материально-мертвое, готовое поглотить, как ничтожную песчинку, человеческую личность со всеми помыслами, чувствами и мечтаниями. Одно время заклятия искусством как будто помогали, но прошло время — они перестали помогать...

...Гоголь был современником Бальзака и имел с ним большое сходство. Бальзак тоже был монархист, сторонник аристократии, смотрел в прошлое, а не в будущее, был религиозен и тоже вопреки этим своим взглядам изображал распад феодализма, появление и развитие новых, капиталистических имущественных отношений. Он не знал себе равных в изображении, когда дело касалось вексельного права, юридических подвохов и тонкостей, ростовщических вымогательств, плутовских финансовых сделок, обманов и грабежей на законных основаниях. Во всем этом Гоголь так же уступал Бальзаку, как крепостная, николаевская Россия уступала тогдашней буржуазной Франции. Более того, Гоголь сплошь и рядом обнаруживал простое незнание внешних сторон общественной

жизни. Арнольди верно указал, что Гоголь серьезно думал, будто еще существуют капитан-исправники, что без свидетельств можно заключать в гражданских палатах купчие крепости, что у проезжих не спрашивают подорожной, что в доме губернатора во время бала можно пьяному помещику хватать за ноги танцующих.

Но Гоголь перед Бальзаком имеет и преимущества: он показал, как частная собственность растлевает самую душу человека, как она угашает самые высокие ее свойства: товарищество, отвагу, дружбу, любовь, цельность и силу характера. Он изображал пагубное влияние собственности на общественного человека не с внешней, а с внутренней стороны. Каждая строка давалась Гоголю ценою величайших страданий, мучительнейших размышлений, надрывов, болезненных припадков, ценою глубочайших сомнений, отчаянья. Бальзак — мрачен. Гоголь — трагичен. Бальзак тяжело, астмически дышал. Гоголь задыхался. Бальзак вспоминал о религии. Гоголь из-за нее уморил себя голодом. При всей его склонности к вещественности в нем было что-то от неистового духа Аввакума, когда он, Гоголь, ополчался на приобретателей и стяжателей во имя человеческой души, ее лучших прав и запросов...

...У Гоголя все двойственное, доведенное до самых резких противоположностей и все же соединенное гениальным мастером.

Двойное бытие.

Двойная Русь: она до тоски убога, прозаична, неподвижна, темна, грязна — и она чудодейна, сказочна, она — в полете, несется неведомо куда, но в прекрасную даль.

Двойственны герои: они погрязли в пошлом существовании, в стяжательстве, но и в них брезжит нечто обнадеживающее, некий намек на духовное возрождение. Так по крайней мере выходит по намерениям автора.

Двойственен пейзаж, соединяя свет и тень, цвет и линию, покой и движение, низкое и высокое, тяжелое и легкое. Он двойственен не только в «Мертвых душах»; двойственно изображен Рим и его окрестности: грузное, древнее, осевшее, но с плывущими и улетающими контурами и линиями, с воздушностью. Таковы же и украинские степи, ночи, Днепр и т. д.

Двойственен сюжет: внешне статический, но внутренне динамический.

Двойственен язык. О языке Гоголя следует кое-что прибавить. Может быть, лучше всего сказать словами, которыми Гоголь закончил свою статью: «В чем же, наконец, существо русской поэзии?»

«Необыкновенный язык наш, — писал он, — есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков — от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны — выбирая на выбор меткие названия из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанию непонятливейшего человека».

Эта характеристика должна быть отнесена прежде всего к самому Гоголю. Своеобразие его языка заключается в соединении речи прозаической с речью лирической, твердой и мягкой, «высокой» и «низкой». Гоголь пользовался широко выражениями разговорно-обиходного порядка, любил слова «захолустные», областные, слова намеренно искаженные,

испорченные, употребляемые средней и мелкой руки помещиками, чиновниками, обывателями за едой, возлияниями, за картами и пересудами; но еще больше, пожалуй, он любил речения церковнославянские, древнерусские, песенные.

Как получилось такое соединение?

Флобер однажды заметил, что великие писатели не умеют литературно писать. Разве Бальзак, Гюго умели писать? Хорошо, вполне литературно обязаны писать только художники слова среднего таланта. Парадокс Флобера с большим правом, чем к Бальзаку и к Гюго, должен быть отнесен к Гоголю. Д. Н. Овсянко-Куликовский определил Гоголя как общерусского писателя на украинской основе; надо, однако, признать, что этот общерусский писатель не знал хорошо ни русской грамматики, ни русского синтаксиса. По нужде Гоголь и сам отмечал этот свой недостаток в переписке. «Я до сих пор,— писал он Плетневу в 1846 году,— как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой — первые необходимые орудия всякого писателя. Они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей» (т. III, стр. 275—276). Зная свои недостатки, Гоголь часто просил исправлять его произведения то Прокоповича, преподавателя русской словесности, то Шевырева, то Плетнева, то Погодина. Погрешности Гоголя против русского языка действительно чрезвычайно обильны.

Приходилось изобретать собственную грамматику и собственный синтаксис. Гоголь так и поступал. Он выдумывал обороты, соединения предложений, выражения. В известной мере он мог про себя сказать, что однажды сказал мне Маяковский: «Зачем я буду служить русскому языку; пускай он лучше служит мне».

Гоголя спасала гениальность, изобретательность, редкая память, упорство, эстетическое чутье, музыкальность. Из захолустных, разговорно-обиходных выражений, из слов церковнославянских, стариннопесенных, из оборотов, изобретенных самим Гоголем, получился язык крайне своеобразный, массивный и легкий, поражающий только Гоголю свойственными расстановками слов, связью, склонениями и спряжениями, семинарской витиеватостью и кудрявостью, длиннотами и повторами, высоким лиризмом и самой житейской прозой. Все это причудливое сочетание необыкновенной гибкости, звучности, стихийности и умысла придало языку Гоголя что-то шаманское и колдовское.

Язык Гоголя — язык заклятий. Может быть, никто из писателей не верил так в магическое, во всемогущее действие слова, как верил в него Гоголь. Он верил, что словами можно пронять и переродить любого человека; считал, что его слово облечено особой силой, данной ему свыше. В слове — спасение от пороков и грехов...

...Какое место занимает Гоголь в истории русской литературы? Н. Г. Чернышевский в своих «Очерках гоголевского периода» заявил: «Гоголю обязана наша литература... самостоятельностью... Он пробудил в нас сознание о нас самих».

Это несомненная правда.

...Гоголь недаром назвал себя писателем «во вкусе черни». Он ввел в литературу помещиков, чиновников, обывателей, ремесленников, селян, толпу, массу с ее бытом, скарбом, жаргоном, психологией. Но главное — Гоголь первый из русских писателей показал в гениальных созданиях, как крепостная и капиталистическая собственность уродует и калечит на русский манер людей, их души, как она ничего не оставляет в человеке, кроме «Бессердечного чистогана» (Маркс).

Сатире и смеху Гоголь тоже придал конкретный, общественный характер. Это отметил еще Белинский. До Гоголя сатира была безобидна, нападала на пороки вообще, никаких «конкретных носителей зла» она не

трогала. Гоголь вопреки своим желаниям и заявлениям связал порок с определенным общественным укладом, с определенными группами и слоями. От Гоголя ведет свою родословную так называемая натуральная школа со вскрытием социальных зол, неправд, с обличениями и осмеянием, школа, которую до революции называли отрицательным направлением в русской литературе: Некрасов, Салтыков-Щедрин, шестидесятники, Глеб Успенский, Достоевский — все они обязаны Гоголю.

От Гоголя — «орлиное соображение вещей» в русской литературе, преобладание материальности, плоти, красок, языческого преклонения пред жизнью, интимной связи с вещью, с природой, умение изобразить их полно и насыщено. Это «соображение» — в стихийности Толстого, в гимнах Достоевского, подлой, но могучей и неистребимой карамазовской силе жизни с ее клейкими весенними листочками, — в тяжелой купеческой «существенности» Островского, в жрущих и пьющих пошехонцах, ташкентцах, в помпадурах и помпадуршах Салтыкова-Щедрина, в чувственной восприимчивости природы у Тургенева, в его лишних людях, детях Тентетникова, Хлобуева, Манилова, в Обломове, Штольце—Костанжого Гончарова, в прекрасной, благородной, но тоже чувственной грусти Чехова, в его хмурых людях; она — в живописности и красочности Горького, у которого его босяки напоминают итальянских лацарони, Пеппе, — в «вещности» Владимира Маяковского, в хаосе и в жесте-судороге Андрея Белого, в биологизме и фламандских настроениях советских писателей, в тоске по утраченной юности и свежести Сергея Есенина.

Петербургские повести Гоголя наметили линию урбанизма и импрессионизма Достоевского, символистов и футуристов. И разве не от Гоголя колорит и словечки Лескова, Ремизова, наше областничество, которое, кстати сказать, лучше назвать пародией на Гоголя.

Стремление Гоголя стать лучше, его «душевное дело» тоже наложило на наше художественное слово глубокий отпечаток. «Переписка с друзьями», дуализм, проповедь нравственного самоусовершенствования во многом определили христианство Достоевского, проповедничество Толстого. В душевной болезни Глеба Ивановича Успенского, которому казалось, что Глеб в нем ангел, а Иванович — свинья, нетрудно увидеть отражение дуализма, погубившего и Гоголя. Мучения Гаршина, его болезнь тоже заставляют вспоминать Гоголя.

От Гоголя идет чувство неблагополучия, катастрофы, страх пред революционным пролетариатом у Розанова, Мережковского, Андрея Белого, Блока, Сологуба.

От Гоголя последних лет русский символизм с его попытками из грубых кусков жизни сотворить сладостную легенду, со взглядом на нашу жизнь как на знак «миров иных».

Гоголь — двуликий Янус русской литературы. Одно лицо у него вполне земное. Другое лицо — аскетическое, «не от мира сего». Одно лицо обращено к общественной жизни, к ее быту, к человеческим радостям и горю; другое лицо поднято к «небесному отцу». Начиная с Гоголя, русская литература тоже имела два русла. Одно русло вело к общественной борьбе, к изменению общественных форм бытия. Это была линия революции, сначала разночинно-крестьянской, потом пролетарской. Другое русло приводило к крайнему дуализму, к обособленной человеческой личности, к «непротивлению злу насилием». Это была линия реакции, застоя, китайщины, линия гибнущих классов: дворянства, мещанства, кулачества.

Чем может быть полезен Гоголь советской литературной современности?

У Гоголя надо учиться социальной насыщенности произведений, уменью брать жизнь во всю глубину и ширину, а не «вполохвата», не

с головокружительной высоты, не со стороны и сбоку, не в угоду редакциям и издательствам, как это часто, к сожалению, у нас еще бывает.

У Гоголя надо учиться конкретности, внимательному отношению к художественным подробностям, упорству, способности вынашивать произведение.

Наш смех, сатира, как и у Гоголя, должны разить не отвлеченные, а вполне осязательные пороки и недостатки, разоблачая реальных носителей зла, «не зирая на лица». Для гоголевского смеха еще хватит объектов. Такое разоблачение, понятно, должно соединяться с поучительными обобщениями, а не потешать только веселыми и занимательными повествованиями...

...Гоголевские герои олицетворяют всегда какую-нибудь страсть. В этом смысле они — схематичны и аллегоричны; но вместе с тем они поданы с мелкими и мельчайшими подробностями, необычайной вещественностью и физиологичностью. В силу этого они оживают на наших глазах, они вполне жизненные, а не восковые фигуры. В этом соединении схемы с вещественностью — тайна гоголевского мастерства. У его позднейших последователей эта удивительная манера сплошь и рядом снижается: снижена она Достоевским, еще более снижена Салтыковым-Щедриным; отдавая должное их гению в других областях, надо сказать, что им часто не хватает этого виртуозного, вполне органического соединения схемы с «орлиным соображением вещей». Словом, тут есть чему поучиться у Гоголя современной советской литературе...

...Еще в одном отношении чрезвычайно близок нам Гоголь. Нам враждебны его христианство, аскетизм, проповедь нравственного самоусовершенствования. Но Гоголь смотрел на свою работу художника как на служение обществу. Искусство для него не являлось ни забавой, ни отдыхом, ни самоуслаждением, а гражданской доблестью и подвигом. Гоголь был писатель-гражданин-подвижник. Все отдал он этому подвигу: здоровье, любовь, привязанность, склонности. Каждый образ он вынашивал в мучениях, в надеждах, что этот образ послужит во благо родине, человечеству. Многие ли из советских писателей являются подвижниками?..

...Много сравнений и сопоставлений невольно встает перед читателем, когда он склоняется над дивными страницами и думает об ужасной судьбе их творца. Но все эти и другие образы покрываются одним, самым страшным образом. Есть у Гоголя отрывок неоконченного романа о пленнике и пленнице, брошенных в подземелье. От запаха гнили там перехватывало дыханье. Исполинского роста жаба пучила свои страшные глаза. Лоскутья паутины висели толстыми клоками. Торчали человеческие кости. «Сова или летучая мышь была бы здесь красавицей». Когда стали пытать пленницу, послышался ужасный, черный голос: «Не говори, Ганулечка». Тогда выступил человек. «Это был человек... но без кожи. Кожа была с него содрана. Весь он был закипевшей кровью. Одни жилы синели и простирались по нем ветвями. Кровь капала с него. Бандура на кожаной ржавой перевязи висела на его плече. На кровавом лице страшно мелькали глаза...» Гоголь был этим кровавым бандуристом-поэтом, с очами, слишком много видевшими. Это он вопреки своей воле крикнул новой России черным голосом: «Не выдавай, Ганулечка!»

За это с него живьем содрали кожу.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ЛАЗАРЕВ

★

ВОЕННЫЕ РОМАНЫ К. СИМОНОВА

Каждая из книг, о которых пойдет здесь речь, заслуживает специального разбора. О них и писали так, анализируя по мере выхода в свет отдельно каждую вещь — ее идеи, характеры, поэтику. Теперь можно уже попытаться охватить взором все, пусть еще не до конца достроенное, здание, не осматривая столь подробно и придирчиво каждый этаж — это делалось неоднократно, — и попытаться составить общее представление о том, как оно строилось, как складывались его контуры, как изменялся первоначальный проект. Теперь можно уже оглядеть тот отрезок пути писателя, который заключен между романами «Товарищи по оружию» и «Солдатами не рождаются»: во-первых, за десять с лишком лет с выхода первого произведения пройдена немалая дорога, во-вторых, годы эти были исполнены больших перемен, коснувшихся всех сфер нашего бытия и в том числе, конечно, литературы.

На последней странице романа «Товарищи по оружию» было напечатано: «Конец первого тома». Автор в то время так определял общий замысел произведения, начатого этим романом: «...Показать нашу армию на протяжении всей Великой Отечественной войны. Закончить роман я хотел бы примерно в тех же местах, где я его начал». Это должна была быть одна книга, состоящая из нескольких томов.

Сейчас, когда мы о произведениях, начало которым положили «Товарищи по оружию», говорим: «цикл романов», мы пользуемся этим определением удобства ради, пренебрегая точностью. В «глав-

ную книгу» о войне, которую пишет Константин Симонов, входят не только связанные между собой романы «Товарищи по оружию», «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», но и «Записки Лопатина» — повести и рассказы «Пантелеев», «Левашов», «Жена приехала...», «Иноземцев и Рындин». Дело здесь не просто в том, что в «Записках Лопатина» мы сталкиваемся с персонажами, которые знакомы нам и по романам, и даже не в том, что эти повести и рассказы первоначально задумывались и, вероятно, писались как главы романа — что касается «Пантелеева» и «Левашова», на этот счет есть и авторское признание: «...Я отложил роман («Живые и мертвые». — Л. Л.) и на материале этих двенадцати хирургически удаленных листов написал две маленькие повести», — главное все же в том, что в «Записках Лопатина» схвачены такие черты действительности военных лет, которые в чем-то дополняют — как она ни обширна — картину, запечатленную в романах.

Я намеренно с этого начинаю разговор. Мы все еще очень часто рассматриваем книги изолированно, как в барокамере, начисто отсекая нити, которые связывают их с предшествующим творчеством писателя и с литературным процессом. И всегда это в той или иной степени помеха более глубокому постижению произведения. А для вещей, объединенных общим замыслом, как романы, повести и рассказы Симонова, такой метод и во все противопоказан: многого мы не заметим, не уловим движения и развития характеров, если выпустим из виду сложную художественную «систему» в целом,

место каждого произведения в общем замысле — пусть замыслен этот и претерпел весьма серьезные изменения.

Нет надобности говорить обо всем, что Симонов сделал до «Товарищей по оружию». Но одного обстоятельства нельзя не коснуться. Писательская судьба Симонова определилась в годы войны; в мирное время он, молодой поэт, пробывший свои силы и в драматургии, был известен преимущественно в литературных кругах. В войну, в течение нескольких месяцев, Симонов стал одним из популярнейших военных писателей. Почти не было фронта, где бы он не побывал в качестве военного корреспондента «Красной звезды». «От Черного до Баренцева моря» — под таким названием вышло четыре сборника его военных очерков и рассказов. От Черного до Баренцева моря — это были не только крайние точки растянувшегося на много сотен километров фронта, но и география его журналистских маршрутов.

Работал Симонов в те годы с поразительной неутомимостью. «Он может писать в походе, на машине, в блиндаже между двух боев, в ходе случайного ночлега, под обгорелым деревом, заноса в блокнот виденное», — свидетельствовал Николай Тихонов. Нельзя себе представить, что в ту тяжкую пору, когда каждый отдавал войне все, что мог, какие-то особенно значительные и яркие впечатления писатель старался сберечь для будущих книг. Конечно, это не так. И естественно предположить, что произведения Симонова военного времени должны были исчерпать наиболее глубокие и сильные впечатления автора. К тому же Симонов — художник, быстро откликающийся на запросы времени, а с окончанием войны пришли новые заботы и волнения, новые проблемы и задачи — что поделаешь, прошлое, как оно нам ни дорого, все-таки прошлое... И произведения, написанные Симоновым в первые послевоенные годы, как будто бы подтверждают это предположение.

И все-таки даже тогда не надо было быть пророком, чтобы понять, что Симонов должен непременно вернуться к увиденному и пережитому на войне, — не может не вернуться... Уже хотя бы потому, что интерес к людям армии был для него не только той естественной и обяза-

тельной данью, которую отдали войне все советские писатели, в том числе и те, кому армейская жизнь с ее жесткой дисциплиной и строгой субординацией была мало понятна. Симонов вырос в армейской среде, и то, что другого может оставить безучастным, его и занимает и волнует. Но мало этого. Появившиеся вскоре после победы фронтовые дневники Симонова за сорок первый год обнаруживали, что, как ни щедр был в войну писатель, исчерпать запас фронтовых впечатлений он не смог. Дневники были не столько комментарием к произведениям военных лет, сколько материалом для книг, еще не написанных. Об этом задумывался и автор. «...У меня, — писал Симонов, — когда я сам перебирал все эти рассказы, собранные вместе, осталось такое ощущение, как будто что-то не договорено до конца, ощущение, что я не все сказал о людях, которых я люблю и помню. Не возвращаясь к тому, что уже однажды написано, я просто захотел договорить об этих людях некоторые важные, как мне казалось, подробности». И то, что Симонов здесь «договаривает», так интересно, что каждая страничка этого своеобразного послесловия могла стать ядром нового эпизода или даже произведения, основной любопытного характера. Сейчас, когда перед нами романы «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются», «Записки Лопатина», — это очевидно.

Роман «Товарищи по оружию», опубликованный в конце 1952 года, был сдержанно встречен критикой и не вызвал у читателей особого энтузиазма: во всяком случае многие предыдущие вещи Симонова пользовались куда большим вниманием. Вряд ли сейчас есть смысл разбираться в том, насколько эта холодность была заслуженной: сегодня мы не только лучше видим изъяны романа — даже те, мимо которых проходила самая строгая критика, но и ясно понимаем их природу. Какие бы претензии мы ни предъявляли к обрисовке персонажей или сюжетной конструкции, главная беда была все-таки не в этом, а в неглубоком осмыслении сложных событий тех лет.

Вот как позднее, в романе «Солдатами не рождаются», вспоминает эти годы Серпилин: «У него сейчас было странное чувство, что тогда одновременно суще-

ствовало словно бы не одно, а два соседних и разных времени. Одно ясное и понятное, с полетами через ясное, с революционной помощью Испании, с ненавистью к фашизму, с пятилетками, с работой до седьмого пота, с радостной верой, что все выше и выше поднимаем страну, с любовью и дружбой, с нормальными людскими отношениями; и тут же рядом — только ступи шаг в сторону — другое время, страшное и с каждым днем все более необъяснимое...» В «Товарищах по оружию» время было дано лишь в одном измерении.

Конечно, это не было персональной слабостью Симонова — в рамках господствовавшей концепции он был и умен и проницателен, но, что поделаешь, сама концепция не отличалась глубиной и всесторонностью. И хотя всем было, скажем, ясно, что в подготовке к войне были допущены серьезные ошибки и просчеты, мало кто задумывался над тем, кто же несет ответственность за эти ошибки.

Однако поражения 1941—1942 годов стоили такой большой крови, таких жертв, что даже Сталин, считавший себя непогрешимым и приложивший немало усилий для того, чтобы так думали все, вынужден был признать: «У нашего правительства было не мало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941—1942 годах». Впрочем, эту фразу вспоминали редко.

На обсуждении романа «Товарищи по оружию» в Союзе писателей Симонов говорил: «...Я хочу показать положительные стороны нашей армии, положительные стороны военной профессии в первую очередь, отдавая этому девяносто девять процентов своего внимания. Так я поступал здесь и так буду поступать в дальнейшем. И жизнь дает для этого достаточно богатый материал. А кое-какие наблюдения отрицательного порядка, какие были у меня на Халхин-Голе и впоследствии, я не буду описывать, они мне не интересны и незачем их описывать: надо воспитывать людей на положительных примерах, а показывая отрицательные явления, надо их очень точно знать, знать как их показать и как их осудить...»

И в самом деле, по-видимому, когда создавался роман, автор не всегда точно

знал, где корень тех отрицательных явлений, которые он замечал. Роман «Товарищи по оружию» оставлял впечатление, что если не все ладилось, когда начались бои на Халхин-Голе, то главным образом потому, что армия была не обстрелянной, а к концу конфликта с японцами слабости были преодолены и войска наши уровнем военного мастерства мало чем отличались от дивизий 1945 года...

В одной из последних глав романа «Солдатами не рождаются» Иван Алексеевич, генерал генштаба, рассказывает Серпилину:

«— Дело глубже. Осенью сорокового, уже после финской, генерал-инспектор пехоты проводил проверку командиров полков, а я по долгу службы знакомился с анкетными данными. Было на сборе двести двадцать пять командиров стрелковых полков. Как думаешь, сколько из них в то время оказалось окончивших академию Фрунзе?

— Что ж гадать, — сказал Серпилин, — исходя из предыдущих событий, видимо, не так много.

— А если я тебе скажу: ни одного?

— Не может быть...

— Не верь, если тебе так легче. А сколько, думаешь, из двухсот двадцати пяти нормальные училища окончили? Двадцать пять! А двести — только курсы младших лейтенантов да полковые школы.

— Не могу поверить, — сказал Серпилин.

— Что ж, ты не барышня, уговаривать не буду. Сам глазам не верил. Допускал, что не по всем полкам такая статистика. Но все же двести двадцать пять полков — это семьдесят пять дивизий, пол-армии мирного времени — все равно картина страшная!

— Не могу поверить, все равно не могу поверить, что так армию выбили, — хриплым голосом повторил Серпилин.

Но ведь и намека на эту «страшную картину» нет в «Товарищах по оружию». А действие там происходит как раз в те годы, когда «выбили» кадры армии. Даже конфликт между Козыревым и Полюниным, который в свое время казался острым и значительным, в этом новом свете выглядит по-иному. Да, Козырев по служебной лестнице был вознесен не

по способностям, но у него был хотя бы драгоценный в то время боевой опыт — первоклассного летчика-истребителя. А головокружительную карьеру, как правило, делали люди, вообще не обладавшие никакими достоинствами, кроме безупречной анкеты. Из тех же, кто вместе с Козыревым и Полюниным дрался в Испании, слишком многим не пришлось потом воевать — они были подвергнуты репрессиям...

Я говорю это вовсе не для того, чтобы с высоты, на которую нас поставило последнее десятилетие, «разнести» книгу, написанную пятнадцать лет назад. Это задача явно неблагоприятная — теперь легко быть умным. Наиболее основательной и серьезной критике подверг книгу сам автор, написав «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются», — я не сомневаюсь, что рано или поздно Симонов вернется к той книге, в которой немало — это можно смело сказать и сегодня — сильно написанных страниц.

Нет, все это говорится с другой целью. Роман «Товарищи по оружию» от последних вещей Симонова отделяет такой исторический водораздел, как XX съезд партии. Развернувшаяся борьба с последствиями культа личности, за восстановление ленинских норм в партии и во всем нашем обществе заставила на многие события и процессы тридцатых и сороковых годов посмотреть более глубоко и основательно.

Задачи, которые должен был решать автор, по сравнению с «Товарищами по оружию» не просто усложнились, а коренным образом изменились. «Товарищи по оружию» возводились на «готовом» историческом фундаменте — автор должен был лишь к нему приравливать. После «Товарищей по оружию» Симонову пришлось по-новому взглянуть на недавнюю историю, пытаться самостоятельно осмыслить происходившее.

Не случайно многие персонажи первого романа в «Живых и мертвых» не появились, хотя по первоначальному замыслу должны были и дальше находиться в центре авторского внимания — это были фигуры, через которые сложную диалектику времени раскрыть было трудно или вовсе невозможно («...Я заранее, — говорил впоследствии Симонов, — связал пути своего нового романа со старыми ге-

роями, то есть совершил механическую расстановку сил, не ответив себе на очень важный вопрос: а может быть, тему 1941 года было бы лучше раскрыть через судьбы совсем других людей?»). Не случайно в повествование вошел такой персонаж, как Серпилин, — и хотя ему была отведена роль эпизодическая, он сразу же начал претендовать на центральное место.

«Живые и мертвые» давались Симонову трудно: писатель сам говорил о «целой цепи ошибок», сделанных им в первом варианте. И хотя относились они как будто бы к выбору героев, к композиции романа, к его сюжетным мотивировкам — дело было не просто в художественных просчетах: сами эти просчеты были следствием непреодоленной инерции того подхода к изображаемой действительности, который господствовал в «Товарищах по оружию».

Для того, чтобы лучше понять, какие новые задачи встали перед Симоновым, нелишне вспомнить о процессах, происходивших в эти годы в литературе, — я имею в виду литературу о Великой Отечественной войне. На два явления хотелось бы обратить здесь внимание.

Первое — начавшие выходить то в одном, то в другом издательстве воспоминания участников войны. В середине пятидесятых годов таких книг было еще очень немного — буквально по пальцам можно перечесть; через несколько лет это уже был мощный поток, не иссякающий по сю пору. О своей военной биографии рассказывали и прославленные полководцы, и люди, совершившие военный подвиг, и партизаны, и узники фашистских концлагерей, не прекратившие сопротивления и за колючей проволокой. Мемуары, ломая утвердившиеся каноны и схемы в освещении хода Великой Отечественной войны, сами одновременно служили одним из ценнейших источников для воссоздания подлинной ее истории. Они явились и важным стимулом для нового художественного осмысления событий военных лет.

И второе, на что следует указать, — появление группы молодых талантливых писателей, заявивших о себе книгами с войне: Ю. Бондарев и Г. Бакланов, В. Богомолов и В. Быков, К. Воробьев и А. Адамович... Они люди одного поколе-

ния — все они попали на фронт сразу же после школы, войну прошли солдатами или офицерами, как правило, даже не помышляя о том, что когда-нибудь им придется писать книги, материал которых составят их собственные фронтовые биографии. И что бы там ни говорили, есть разница между впечатлениями человека, непосредственно участвующего в событиях или наблюдающего с особой целью — потом описать...

Книги молодых писателей о войне в основе своей были очень близки к мемуарам. Характерно, что это по большей части лирические повести, где рассказчик и автор, в сущности, являются одним лицом. Это были правдивые рассказы о том, что чувствовал, думал и видел рядовой солдат или лейтенант, когда на него шли немецкие танки или сам он под минометным обстрелом поднимался в атаку, когда его прижимал к земле огонь вражеского пулемета или он забрасывал этот пулемет гранатами, когда вытаскивал с нейтральной полосы раненого друга или вступал в освобожденный от оккупантов город...

Острая дискуссия, возникшая вокруг этих книг в критике, была в основе своей — сейчас это лучше видно — спором о том, изображать ли войну такой, какой она была на самом деле, какой ее видели непосредственные участники, или она должна выглядеть такой, какой хотелось бы, чтобы она была. (Кстати сказать, характер этих дискуссий мало чем отличается от того, что происходило несколько раньше вокруг таких замечательных книг о войне, как, скажем, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, повести Эм. Казакевича, «За правое дело» В. Гроссмана, «Спутники» В. Пановой.)

Я вспоминаю об этом споре потому, что он имеет непосредственное отношение к тому, что пишет теперь Симонов о войне (можно напомнить, что его повести «Пантелеев» и «Левашов» были раскритикованы с той же позиции: «...так в жизни не бывает, потому что этого не должно быть»; подобного рода критические выступления были и в связи с «Живыми и мертвыми» — статьи К. Тонарева и В. Бушина). И еще потому, что, как ни странно, до сих пор приходится сталкиваться с тем, что полноту картины жизни и степень ее правдивости ставят в

прямую зависимость от должности героя и величины изображаемого автором участка фронта: если герой какой-то там сержант или лейтенант, а действие происходит в роте или батальоне — значит, здесь не обошлось без подозрительной «окопной правды». Чтобы не подумали, что я упрощаю или утрирую, приведу одно место из статьи А. Макарова «Сложная правда войны» («Литературная газета», 23 мая 1964 года), посвященной роману «Солдатами не рождаются»:

«Она (правда войны. — Л. Л.) не сводится к тому, что принято называть «окопной правдой», и еще менее исходит из того, кто «легким манием руки» движет полками, от которого, по его положению, зависит принятие окончательного решения. Без «окопной правды» нет правды войны. Но это еще не вся правда. Писатель, питающийся только личным опытом фронтовика, не учитывающий всех факторов, всегда рискует тем, что в его изображении наша великая освободительная война окажется похожей на любую войну, сводящуюся к уничтожению противниками друг друга, к обязательным ошибкам военачальников и беззаветным подвигам солдат.

Думается, в том, что война в романе Симонова — это именно наша война, немалую роль сыграло не просто патристическое чувство автора — в его отсутствии нельзя упрекнуть и тех, кто в нашей литературе выступает носителями «окопной правды», — а и способность постигать правду жизни в ее сцеплениях, в связях и отталкиваниях, в действиях бойцов и в борении умов и мнений тех, кто призван осуществлять руководство боевыми операциями».

Конечно же, Симонов здесь неправомерно противопоставлен писателям, книги которых, как считает А. Макаров, рисуют не «нашу», а «любую» войну — столь тяжкий приговор вынесен критиком на основании лишь того, что они построены на «личном опыте фронтовиков» и в них не показано «борение умов и мнений тех, кто призван осуществлять руководство боевыми операциями». Высоко оценивая роман «Солдатами не рождаются», А. Макаров не заметил, что невольно отнес в разряд сомнительных книг «Живые и мертвые»: ведь там нет «борения умов и мнений тех, кто призван осу-

ществлять руководство боевыми операциями».

Неверен уже исходный пункт рассуждений А. Макарова: он почему-то решил, что люди в одинаковой обстановке — в данном случае в окопах, под огнем — ведут себя одинаково вне зависимости от взглядов, убеждений, стремлений; нет, таким образом, существенной разницы между солдатами, защищавшими Сталинград и Верден... Не знаю, что могло натолкнуть критика на такую по меньшей мере странную мысль? Думаю, что дело здесь в полемическом запале, который сыграл с А. Макаровым злую шутку, — ведь нельзя же всерьез утверждать, что в нашем повседневном восприятии Великая Отечественная война была такой же, какой была бы любая другая война, что «личный опыт фронтовиков» не может свидетельствовать о том, что это была «именно наша война»? Вот как далеко подчас заводят литературные страсти и пристрастия...

За рубежом есть немало людей, которые никак не могут поверить, что простой, обыкновенный человек может пойти сражаться, рискуя жизнью, не только потому, что такова воля государства, которой он не может не подчиниться, но прежде всего потому, что такова и его собственная воля, что им движут любовь к родине и ненависть к фашизму. Нет ничего удивительного, когда американский литературовед Д. Браун пишет в книге «Советское отношение к американской литературе»: «Хотя советская критика никогда не признавала это открыто, она, однако, знает, что русский солдат был точно таким же аполитичным, как американский, если только не больше». Не берусь судить об американском, но характеристика русского солдата явно ошибочна — это подтверждает и жизнь и литература. Не сомневаюсь, что А. Макаров согласится здесь со мной...

Я заговорил о мемуарах участников войны и о книгах, написанных на основе личного фронтового опыта, потому, что, работая над «Живыми и мертвыми», Симонов в своих поисках обнаружил где-то на параллельном с ними пути. Не случайно, что одну из существенных слабостей первоначального варианта романа он видел в следующем: «Я проявил тут, уже на

предварительном этапе работы, известную самоуверенность, не проверив и не подкрепив свои разнообразие, но при этом порой все же беглые воспоминания военного журналиста воспоминаниями других, более непосредственных участников войны». И поняв это, Симонов «на протяжении нескольких месяцев день за днем встречался с участниками боев под Москвой, воевавшими тогда — в 1941 году — на самых разных должностях, в разных родах войск и на разных участках Западного фронта».

Однако было бы ошибкой думать, что суть дела исчерпывается новыми, максимально достоверными подробностями, точным воспроизведением психологии солдата переднего края. Речь идет не об особенностях Симонова, а об общей тенденции литературы, потому что этот интерес и художников, и читающей публики к непосредственному участнику событий, и прежде всего к рядовому их участнику, выражал то еще, быть может, не до конца осознанное стремление освободиться от известной концепции человека-«винтика», противоречившей важнейшим принципам социалистического гуманизма. Это определило в романе «Живые и мертвые» и выбор главного героя (из четырех персонажей «Товарищ по оружию» Синцов оказался наиболее подходящей фигурой именно потому, что ему единственному был уготован в сорок первом году путь рядового участника событий), и одну из центральных проблем книги — проблему доверия.

В своих последних вещах Симонов нередко обращается к событиям и людям, о которых уже писал в дни войны. В статье «Перед новой работой» («Вопросы литературы», № 5, 1961) он приводит несколько выписок из фронтовой корреспонденции, напечатанной в июле 1941 года, и из военного дневника. Речь в них идет о полковнике Кутепове. «И внешний и внутренний облик этого человека лег в первооснову образа Серпилина», — свидетельствует автор.

Вот что писал Симонов в первой своей фронтовой корреспонденции «Горячий день»:

«...Четырнадцатичасовой бой начал стихать. Но наши гаубицы еще били по лесу, где должны были проходить отступающие немецкие машины.

С наблюдательного пункта полка было хорошо видно все поле боя... Прямая рожь, группами лежали мертвые немецкие солдаты. Повсюду маячили остовы танков.

Красноармейцы принесли брошенные немцами во ржи железные кресты и медали. Разведчики подвозили к штабу захваченные мотоциклы и самокаты. Росла гряда трофеев.

Полковник Кутепов, батальонный комиссар Зобкин и начальник штаба капитан Плотников подводили итоги дня: 39 разбитых вражеских танков, до двух рот уничтоженной пехоты, два грузовика, штабная машина. День был горячий, но и результаты боя оказались отличными.

В этой корреспонденции нет и намека на то, что происходило вокруг полка Кутепова, не понятно даже, что поразило автора в этом человеке, почему он счел нужным упомянуть его фамилию? А вот тот же эпизод, описанный в дневнике, опубликованном в сорок пятом году:

«...Всех нас троих под конвоем доставили к штабу. Из окопа поднялся очень высокий человек и спросил, кто мы такие. Мы сказали, что мы корреспонденты. В абсолютной темноте разглядеть лица было невозможно.

— Какие корреспонденты, — закричал он, — какие корреспонденты могут быть в два часа ночи? Кто ездит ко мне в два часа ночи? Кто вас послал? Вот я сейчас положу вас на землю, и будете лежать до рассвета... Я не знаю вашей личности.

Мы объяснили, что нас послал комиссар дивизии.

— А вот я вас положу до рассвета, — упрямо сказал незнакомец, — и утром доложу комиссару, чтобы он по ночам не посылал незнакомых людей в расположение полка.

Тут оробевший было наш провожатый поддал голос:

— Товарищ полковник, это я, Миронов, из штаба дивизии. Вы же меня знаете.

— Да, я вас знаю, — сказал полковник, — знаю. Только поэтому я их и не положил до рассвета. Вы сами посудите, — обратился он к нам, видимо, смягчившись, — сами посудите, товарищи корреспонденты. Знаете, какое положение. Приходится строгим быть, мне уже на-

доело, что все кругом диверсанты и диверсанты. Я не желаю, чтобы у меня в расположении полка даже слух был о диверсантах. Не признаю я их. Если служба охранения несется исправно, никаких диверсантов не может быть. Вот пожалуйста в землянку, там ваши документы проверят, а потом мы поговорим...

— Вот, — говорил он, — танки, танки, а мы их бьем. Да. И бить будем. Вы утром посмотрите: у меня тут двадцать километров окопов и ходов сообщения нарыто. Если пехота закопалась и решила не уходить, то никакие танки ничего с нею не смогут сделать. Это точно, можете мне поверить. Вот завтра немцы, наверное, то же самое повторят... Смотрите... — И он показал на какое-то темное пятно невдалеке от командного пункта. — Вот там их танк стоит. Куда дошел, а все-таки ничего не вышло.

...При свете первых солнечных лучей мы наконец разглядели нашего ночного знакомца — полковника. Это был высокий и худой человек с очень некрасивым, милым, усталым лицом, с ласковыми, не то серыми, не то голубыми глазами и доброй детской улыбкой.

...Мы сказали полковнику, что проезжали через мост и на нем нет ни одного зенитного пулемета и его не охраняет ни одна зенитка. Полковник улыбнулся:

— Во-первых, если бы вы видели пулеметы и зенитки, проезжая через мост, то, значит, они были бы плохо поставлены. А во-вторых, — тон, которым было сказано это «во-вторых», я запомнил, должно быть, на всю жизнь, — во-вторых, — сказал он, — они действительно там не стоят. Зачем мне этот мост?

— Как зачем? Но если придется через него отступить?

— Не придется, — сказал Кутепов. — Нам не придется. Мы вот тут стоим около Могилева и будем стоять, пока живы. Вы сейчас походите, посмотрите, сколько накопано, какие окопы, блиндажи какие. Разве их можно оставить? Не для того роют солдаты укрепления, чтобы оставлять их. Истина это простая, старая, а вот иногда забывают ее у нас...»

Тому, кто вспомнит соответствующий эпизод из романа «Живые и мертвые», будет совершенно ясно, что взял у этого человека для образа Серпилина писатель — твердость, решительность, какую-

то деловую, простую, не декларативную веру в победу, убежденность, что она зависит от стойкости, от точного выполнения профессионального долга к а ж д ы м.

Но в образ Серпилина писатель внес и нечто принципиально новое по сравнению с прототипом. Об этом он сам пишет так: «...У меня в памяти осталось несколько встреч в разные годы войны с людьми, превосходно воевавшими и имевшими за спиной ту же самую нелегкую биографию, которой я впоследствии наделил своего героя».

Уже в романе «Живые и мертвые» и еще в большей степени в романе «Солдатами не рождаются» эти впечатления, которых автор прежде не мог касаться, дали не просто новую краску характеру героя — они позволили поставить ту проблему, которая связана с нарушениями социалистической законности. Не следует думать, что все эти наблюдения держались под спудом лишь потому, что касались «запретного». Понадобились годы, чтобы проникнуть в подлинный смысл подобных явлений, чтобы увидеть, какие противоречия времени стояли за ними. Когда былое осмыслено по-новому (а это не только личное завоевание художника, но и результат развития общественного сознания), тогда обнажаются вдруг такие пласты жизни, до которых прежде не удавалось добраться, тогда находится верное место для явлений, раньше казавшихся случайными.

Для того, чтобы понять, что отличает автора «Солдатами не рождаются» от автора повести «Дни и ночи», не обязательно сравнивать эти произведения — это потребовало бы много места. Проще это сделать, обратившись к образу военного корреспондента Лопатина. Мне уже приходилось писать о «Записках Лопатина» («Литературная газета», 28 апреля 1964 года), и здесь я хочу лишь снова указать на то особое место, которое занимает этот персонаж среди всех остальных героев Симонова. Военные биографии героя и автора совпадают. Военный корреспондент Лопатин ездит по тем же командировочным предписаниям и в те же места, где побывал корреспондент «Красной звезды» Симонов. Он получает те же редакционные задания и встречается с теми же людьми. Лопатин, в

сущности, лирический герой Симонова, и, между прочим, когда автор отдал себе в этом отчет, ему пришлось удалить этого героя из двух последних романов, «выделив» ему специальный цикл повестей и рассказов: Лопатин имел все основания претендовать на роль повествователя, нельзя же, чтобы их было в романе два. Но Лопатин замечает то, что далеко не всегда задерживало внимание военного корреспондента Симонова, он задумывается над такими вещами, которые Симонова по молодости лет и по недостатку опыта могли и не беспокоить. Лопатин видит то, что только теперь вспомнил Симонов. Он — сегодняшняя память фронтового корреспондента «Красной звезды».

Для того, чтобы написать сорок первый год так, как он написан в «Живых и мертвых», надо было изменить «угол зрения», заставить иначе работать свою память, которая часто у нас бывает «избирательной» — одно хранит охотно, другое старается поскорее позабыть, надо было резко свернуть с накатанной дороги — такие дороги вообще не самый лучший путь в искусстве, даже если когда-то ты сам прокладывал их по целине...

Мы много раз читали в книгах и видели на экране — и в произведениях Симонова тоже, — как наши танки крушат немецкую технику и обращают в паническое бегство автоматчиков — это правда, так было. Но те, кому пришлось воевать в сорок первом или на юге осенью сорок второго, никогда не забудут, как доставалось нам от вражеских танков; мы помним отчаянных смельчаков, бросавшихся с гранатой под танки, потому что граната была последней и другого выхода не было. В «Живых и мертвых» рассказывается об этом.

Мы много раз читали в книгах и видели на экране, как краснозвездные истребители обращают в бегство фашистские самолеты, как камнем падают сбитые «юнкеры» — так было на самом деле. Но мы помним и те дни, когда «мессера» безнаказанно хозяйничали в нашем небе, штурмуя прифронтовые дороги, когда, как спичечные коробки, пылали наши явно устаревшие самолеты. В романе Симонова рассказывается и об этом: «...Самолеты шли и шли, и все это были немецкие самолеты. «А где же наши?» —

горько спрашивал себя Синцов, так же, как это и вслух и молча спрашивали все люди вокруг него».

И многое другое воскрешено в романе «Живые и мертвые», о чем вспоминать больно и стыдно, а молчать было обидно и горько — и невообразимая неразбериха в штабах, не знающих, что делается вокруг них, лишенных связи со своими частями и вышестоящим начальством. И мобилизованные, спешившие добраться до указанных им призывных пунктов и попадавшие к немцам прежде, чем удавалось надеть форму и получить винтовку...

После выхода в свет «Живых и мертвых» еще раздавались в критике голоса, обвинявшие писателя в том, что он, рисуя трудности и беды первых военных лет, мало показал героизм народа. За этим стояло неумение или нежелание вникнуть в прочитанное. Показывая, как и какие испытания пришлось выдержать народу, чего стоит ему сорок первый год, Симонов стремится отыскать и стиную меру народного подвига, раскрыть те героические черты советского характера, которые именно тогда проявились так полно и чисто.

Эти черты не сконцентрированы в романе в каком-то одном образе. Перед нами проходит множество персонажей: о судьбе одних автор рассказывает подробно, с другими мы едва успеваем познакомиться, фамилии третьих нам не суждено узнать, — но мы видели то, что они совершили, и никогда уже их не забудем. Останутся в памяти летчики с ТБ-3, ночных тихоходных бомбардировщиков, совершавшие боевой вылет днем, без сопровождения истребителей, — они понимали, что спасти их может только чудо, и все-таки оставались верны своему долгу; майор Ищенко — командир одного из экипажей — докладывал по радио: «Задание выполнили. Возвращаемся. Четвертых сожгли, сейчас будет жечь меня. Гибнем за родину». Запомним и артиллеристов, которые из-под Бреста, где приняли на себя первый удар врага, на руках четырехста верст тянули последнюю уцелевшую пушку дивизиона: они пробирались на восток к своим и, где могли, давали бой фашистам. И никогда не унывающего фоторепортера Мишку Вайнштейна, который тоже был настоящим

солдатом: смертельно раненный, он, собрав последние силы, засвечивал снятые пленки и рвал переданные в Москву письма, чтобы все это не попало в руки врагу. И, конечно же, Серпилина, с его полной отдачей себя делу победы. Со всеми этими и многими другими настоящими людьми, которые создавали непреодолимое для фашистов поле духовного сопротивления, сталкивается на фронтовых дорогах армейский журнал-лист, а затем солдат ополчения Синцов. Он и сам под стать этим людям, он вместе с ними несет нечеловеческую тяжесть первых недель войны.

Однако, когда во второй половине романа личная судьба Синцова — как она ни драматична сама по себе — начинает занимать все больше и больше места, подчиняя себе повествование, драматическое напряжение падает, возникает ощущение затянутости, утраты масштаба, намеченного в первой половине произведения. Как только автор переводит внимание с того, что видит Синцов, с того, что он переживает вместе с другими, на него одного, — столь уверенно и сильно поставленная тема «живых и мертвых», тема народа на войне несколько ослабевает.

В «Товарищах по оружию» преобладал эпическо-летописный тон — «это произошло так». Вопросы, которые у нас возникали, касались главным образом судьбы героев: что будет с ними дальше? Начиная с «Живых и мертвых», иной тон, другие вопросы волнуют нас: как это произошло, почему это стало возможным? В «Живых и мертвых» возникают эти вопросы вовсе не тогда, когда у Синцова происходит прямой и горький разговор с инвалидом, в свое время исключенным из партии, и не тогда, когда Серпилин допытывается у Ивана Алексеевича, знали ли в главном штабе о том, что Гитлер готовит нападение на Советский Союз, — они неотступно стоят перед нами, начиная с первых же эпизодов романа, где все происходящее еще кажется героям чудовищным и непонятным недоразумением.

Конечно, роман — не военно-историческое исследование, и нельзя навязывать героям те вопросы, которые встали перед нами только нынче. Но и учитывая все это, нельзя не сказать о том, что в «Жи-

вых и мертвых», которые создавались в период столь сложного и грудного переосмотра прошлого и были переломным произведением, автор порой словно бы останавливается в нерешительности на полдороге или торопится, упуская то, что очень важно было бы узнать подробнее.

Вот одна из очень важных сцен романа: в окружении судьба сводит двух старых сослуживцев — комбрига Серпилина, предостерегавшего, что нельзя недооценивать силу врага, надо серьезно готовиться к надвигающейся войне, за что и пришлось ему отправиться, как говорили в былые времена, «в места не столь отдаленные», и полковника Баранова, докладывавшего лишь то, что определено могло понравиться начальству, и потому усердно рисовавшего образ картонного противника. Что же мы узнаем о прошлом Баранова? Он был «не лишенным способностей карьеристом, интересовавшимся не пользой армии, а лишь собственным продвижением по службе. Служа в академии, Баранов готов был сегодня поддерживать одну доктрину, а завтра другую, называть белое черным и черное белым. Ловко применяясь к тому, что, как ему казалось, могло понравиться «наверху», он не брезговал поддерживать даже прямые заблуждения, основанные на незнании фактов, которые сам он прекрасно знал. Его коньком были доклады и сообщения об армиях предполагаемых противников; выискивая действительные и мнимые слабости, он угодливо замалчивал все сильные и опасные стороны будущего врага».

Как обще и торопливо это написано, а ведь боязнь правды и самоуспоенность были не просто заблуждением, однажды распространившимся. Видимо, были общественные обстоятельства, которые толкали на этот путь — не только в академии и не только перед войной. И тревога, которой Иван Алексеевич после победы в Сталинграде делится с Серпилиным, не лишена оснований: «Разгром, конечно, для немцев небывалый, однако надо считаться с тем, что фронт они уплотняют, резервов еще не исчерпали и жесткую оборону рано или поздно займут. По собственному опыту достаточно хорошо это знаем. А в наших разведсводках уже заметна тенденция

это недоучитывать. Опасно! Не сказал бы, что разведчики сознательно извращают, но настроение сверху давит, и они не ищут горькой правды, а ее надо искать. Иначе можем зарваться и по морде получить». А до победы было еще так далеко...

Как важно вскрыть обстоятельства, благоприятствовавшие этой болезни, способствовавшие процветанию людей, не считающихся с истинной пользой дела. То, что Серпилин, которого Баранов или ему подобные обвиняли в пораженческих настроениях, воевал умело и мужественно, а Баранов, твердивший: «на чужой территории», «малой кровью», «ворошиловскими залпами», струсил, — это не придуманный автором ради назидания сюжетный ход. Такова внутренняя логика характеров и времени, но она требовала более глубокого исследования, мотивировать ее необходимо было обстоятельнее.

Или два других эпизодических персонажа: журналист Люсин, бросивший товарища в серьезной беде, чтобы не навлечь на себя даже небольших неприятностей, и допрашивавший Синцова молодой лейтенант, которому всюду мерещились шпионы и предатели. И тот и другой, конечно же, не просто нехорошие люди, — они несут на себе печать совершенно определенных обстоятельств и создают эти обстоятельства. И если бы автор уделил несколько больше внимания именно этой стороне дела, отчетливее бы выступили взаимосвязи между персонажами, никогда друг друга в глаза не видевшими: ведь это Баранов воспитывал таких, готовых на все, как журналист Люсин, а «дело» Серпилина вели такие, как лейтенант...

«Почему так случилось в сорок первом году?» — снова и снова возвращаются к этому вопросу герои романа «Солдатами не рождаются».

«А я никогда не перестану об этом думать, — помолчав, сказал Синцов. — И война кончится — не перестану, и десять лет после нее пройдет — не перестану, и двадцать пройдет — не перестану...» И хотя все это верно, мне все-таки кажется, что в романе «Солдатами не рождаются» об этом много говорят еще и потому, что кое-что было недоговорено не раскрыто в «Живых и мертвых».

Если бы Симонов писал «традиционный» роман или, воспользуемся его определением, роман «судьбы», вряд ли эти претензии были бы резонны. Но для романа «события», какими видит автор свои книги «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются», все это важно. «Естественно желание многих писателей вместо того, чтобы длинным лучом света проследить всю судьбу человека от рождения до смерти, бросить этот свет широкой полосой на главное событие в жизни своих героев, причем это главное событие чаще всего в то же время и важное событие в жизни страны», — так определяет Симонов разницу между романом «судьбы» и романом «события». Я бы сказал проще: все отчетливее и отчетливее, начиная уже с «Живых и мертвых», а особенно в «Солдатами не рождаются», повествование у Симонова приобретает черты исторической хроники, хотя все это было при нас, происходило с нами. С точки зрения романа «судьбы» многие эпизоды в романе «Солдатами не рождаются» необязательны, даже неуместны, — в таком романе, например, как бы ни была мотивирована встреча героя со Сталиным, она все равно казалась бы искусственной, подстроенной автором (так, кстати, было в романе П. Павленко «Счастье»). В романе «события», в романе, ставшем исторической хроникой, как «Солдатами не рождаются», эта встреча оправданна, более того, необходима — без нее оказались бы в тени какие-то важные стороны и внутренние пружины «события».

Начатая как роман о судьбах нескольких современников, «главная книга» Симонова о войне превратилась в роман об истории. Само собой разумеется, дело не в том, что автора «Товарищей по оружию» от изображаемых событий отделяло одиннадцать лет, а автора «Солдатами не рождаются» — двадцать. И сейчас выходят и еще будут выходить книги, авторы которых не ставят перед собой такой задачи — воссоздать исторический процесс, и это могут быть хорошие книги. Я говорю в данном случае не о достоинствах последних вещей Симонова, а об их своеобразии. Я хочу напомнить, что подобного рода эволюцию претерпел в свое время замысел «Хождения по мукам» — после «Сестер» главным предме-

том внимания автора стала история, ее закономерности, роман о судьбах двух сестер превратился в роман о судьбе России, охваченной революционным пожаром. У А. Толстого эта эволюция была вызвана крутым историческим переломом, осознание которого привело его к новой общественной позиции. И хотя здесь нет и не может быть прямой аналогии, у Симонова изменение его художественной задачи коренится, конечно же, в огромных переменах общественного сознания, происшедших после XX съезда КПСС.

Нет ничего удивительного в том, что Симонов — по самому складу своему художник чрезвычайно чуткий к запросам современности — так поглощен событиями, которые стали уже историей. Если «Товарищи по оружию», которые отделены от изображаемых событий вдвое меньшим сроком, чем роман «Солдатами не рождаются», в какой-то мере были отходом от современной проблематики, все последующие вещи в этом никак не упрекнешь. Историческая истина, исторические уроки стали жгучим и актуальнейшим вопросом современности — так бывает далеко не всегда, нашим дням это свойственно.

Вот почему так важна для Симонова проблема доверия. Какую опасность таит в себе нарушение этого важного принципа социалистического общезнания, какой разрушительной силой обладает демагогически трактованная бдительность, ставящая под подозрение всех и каждого, — об этом хотел сказать Симонов в «Живых и мертвых», рисуя мытарства Синцова; вышедшего из окружения без документов. Эта же тема возникает и в рассказе о судьбе Серпилина, не умевшего и не желавшего лукавить с правдой и оказавшегося за решеткой. И, может быть, сильнее всего страшная логика подозрительности, возведенной в систему, в принцип, показана в эпизоде разоружения окруженцев, с боями пробивавшихся к своим, в эпизоде, который заканчивается тем, что прорвавшиеся немецкие танки давят и расстреливают безоружных людей.

В романе «Солдатами не рождаются» Симонов продолжает эту большую тему, он стремится показать, что этот яд, проникая в различные сферы жизни, губит

одних и развращает других. Отчаянный лейтенант с пятью нашивками за ранения, с которым Синцов познакомился в офицерском резерве, оказывается, уже был полковником, когда на свою беду встретил на фронте трибунала, который его судил в тридцать седьмом году. «Я его летом при людях по морде хлестал, — рассказывает Синцову лейтенант, — а он себе пулю в лоб не подумался. С битой мордой и с орденом ходит и умереть не мечтает...» Вот и оказался полковник в штрафбате, лишившись своих четырех шпал: с людьми подобного рода лучше не связываться... А какой переполох возник, когда выяснилось, что разведчик Гофман, взявший семь «языков», трижды награжденный, — поволжский немец; командование армии занимается этим делом: что поделаешь, ярлык «потеря бдительности» заработать легко, жить с ним трудно. Или приемный сын Серпилина, не веривший, что отец «враг народа», но отказавшийся от него — страшно было попасть под этот не знающий снисхождения, не принимающий никаких здравых доводов каток, фальшиво именуемый «бдительностью».

За последние годы мы узнали очень многое из того, что прежде замалчивалось. Вероятно, немало еще будет рассказано. Но мы все явственнее ощущаем, что в литературе пафос, условно говоря, «информации» должен быть уже непременно дополнен пафосом осмысления. Споры нет, важно и сегодня напомнить о людях и делах, характеризующих отрицательные стороны того времени, но еще важнее вскрыть общественные причины, заставляющие людей поступать так или иначе. Нельзя сказать, что в «Солдатами не рождаются» Симонов не ставит перед собой эту задачу. Но далеко не всегда ему удается раскрыть суть явлений. Если в «Живых и мертвых», как я уже говорил, какие-то вещи были недосказаны, то в «Солдатами не рождаются» многое «недоисследовано».

Довольно много места в романе занимает, например, уже упоминавшаяся история сына Серпилина. Сын, отрекшийся от отца, которого, видимо, искренне любил и уважал и в честность которого веры не утратил, — какая трагическая ситуация, как много она может раскрыть во времени и в лю-

дях! Но, оказывается, сын Серпилина — просто робкий, слабый человек: ведь он и на фронт не больно уж торопился и ушел воевать только потому, что этого требовал отец, перед которым он чувствовал себя виноватым. Значит, все дело в слабодушии? И да и нет, потому что слабодушие слабодушию рознь. Отчего, скажем, люди, не боявшиеся смерти на фронте, иной раз на партийном собрании не решались выступить против того, что считали несправедливым? Так было, потому что для этого требовалось если не большее — какие здесь могут быть мерки, — то во всяком случае иного характера мужество. Необходимо отыскать корни именно такого слабодушия. А просто трусость ничего, в сущности, не объясняет.

Сталкиваясь с вопиющей несправедливостью, с попранием человечности, люди старались хоть как-то объяснить себе происходящее — вот и пошло: «Лес рубят — щепки летят», «Сталин не знает...» И даже Серпилин, видевший своими глазами этот срубленный «лес», все еще на что-то надеялся. Писал Сталину, что комкор Гринько осужден несправедливо, надо пересмотреть его дело. И, попав к Сталину на прием, думал: «...Вот сейчас возьму и скажу ему все, все, что в глубине души думаю о том времени! Скажу, что не просто я и не просто Гринько, а почти все, с кем встречался там, в лагерях, и военные и невоенные, почти все зря — ни за что, по клевете, по доносам, по каким-то черным, неизвестно откуда взявшимся спискам, и со всеми с ними, с кем еще и сейчас не поздно, надо что-то сделать — пересмотреть, спросить, узнать не по протоколам допросов, а как было на самом деле, послать комиссии и узнать наконец всю правду, кому и зачем все это понадобилось тогда сделать — не одному же Ежову, какая бы он ни был гадина!» И все-таки он надеялся. И только увидев эти «безжалостно-спокойные глаза», занятые «далекой и жестокой мыслью», вдруг «понял то, о чем до сих пор всегда боялся думать: жаловаться некому!».

Встреча Серпилина со Сталиным — одна из самых сильных глав последнего романа. Но эта очень трудная и уверенно написанная сцена, на мой взгляд, недостаточно подготовлена предыдущим пове-

ствованием. Я имею в виду не сюжетные мотивировки — здесь как раз все сделано и искусно и точно, — а нечто другое. Когда Симонов рассказывает о генерале Батюке, его, естественно, интересует, в силу каких обстоятельств этот человек был вознесен не по заслугам и не по способностям: «...Батюк все эти долгие, полные всяческих подозрений годы казался ему (Сталину. — Л. Л.) достаточно надежным исполнителем всего, что бы ни приказали. В нем было нечто до поры до времени возмещавшее в глазах Сталина недостаток способностей и знаний, и поэтому Батюк перед войной упорно двигался вверх, занимая одно за другим освобождавшиеся места. И если бы он, товарищ Сталин, не двигал и не расчищал Батюку дорогу, то, конечно, Батюк не встретил бы войну в должности командующего округом». Батюк — тот персонаж, который подготавливает появление Сталина в романе. Но эту функцию должны были бы взять на себя и некоторые другие герои. Здесь мы вынуждены вернуться несколько назад.

Вот еще один пример. В повести «Левашов» рядом с генералом Ефимовым и политруком Левашовым возникает фигура полкового комиссара Бастрякова, человека, которого они вынуждены терпеть, потому что у него «гладчайший послужной список и готовность в случае необходимости защищаться любыми средствами». Бастряков и трус и бюрократ, но трус и бюрократ он особой породы и формации: он паразитирует на тех извращениях, которые нес культ личности, его оружие — демагогия, донос и полное отсутствие убеждений и нравственных обязательств.

После первых недель отступления Бастряков уже не верил в нашу победу. И еще больше возненавидел тех, для кого слова «идея» и «идеал» не были, как для него, пустыми и громкими словами. «Фашисты почему сильно воюют? — говорил он в минуту пьяной откровенности. — Они не думают, они знают одно — бей и все! А у нас какое было воспитание? Это — можно! То — нельзя!» Ему кажется, что он разгадал «механику» времени: в обстановке культа личности худо человеку идейному, но неплохо «винтику». А тут война, отступление — нет, он не желает брать на себя никакой ответст-

венности, пусть с него спрашивают, как с «винтика». В конечном счете ему наплевать, какой будет общественная «машина» — «винтику» до этого дела нет...

Но вот в романе «Солдатами не рождаются» мы встречаем Бастрякова в Сталинграде — положение стабилизировалось, и он вновь принимается за старое: он до войны выжигал «крамолу», готовый сжечь со свету каждого, кто сказал бы, что нельзя недооценивать будущего противника, теперь он «ориентирует» редактора армейской газеты — чтобы поменьше о трудностях и побольше о подвигах... А когда Серпилин возмущается кузьма-крючновщиной, Бастряков дает ему понять, что он-то помнит о прошлом генерал-майора, который по пятьдесят восьмой статье сидел...

Так вот, Батюк, о котором шла речь выше, непосредственно, прямо зависит от Сталина — не только от созданной им системы выдвижения людей, но в не меньшей мере от его своеволия, капризности, злопамятности. Если бы определеннее и ощутимее стала бы в романе «связь» со Сталиным таких персонажей, как Бастряков, тогда бы отчетливее выступила бы первая и более существенная сторона дела. И тогда бы глава о Сталине была бы лучше подготовлена.

В критике уже много писали о достоинствах романа «Солдатами не рождаются»: совершенно справедливо говорилось о широте картины — военная Москва, эвакуированный в Ташкент ростовский завод, армия Донского фронта, принимающая участие в ликвидации окруженных в Сталинграде немецких войск. Мы имеем возможность следить за событиями, происходящими на фронте, все время меняя наблюдательный пункт — находясь попеременно то в батальоне, то в полку, то в дивизии, то в штабе армии. И то, что история выступает в романе без парадных фанфар, в своем будничном, а точнее говоря, рабочем обличье, только подчеркивает значительность происходящего.

Я хотел бы указать еще на одно достоинство последнего романа Симонова, о котором пока разговора не было. Это по-современному зрелая постановка проблем социалистического гуманизма и прежде всего проблемы ответственности. Лучшие герои Симонова не случайно так

мучительно раздумывают об этом: ответственность не существует для «винтика», становясь личностью, человек возлагает на себя нелегкую обязанность держать ответ перед своей совестью за все то, что происходило и происходит вокруг него. И за то, что было в сорок первом... Как неотступно мучит это Синцова, которому год этот так дорого стоил, что он мог бы лишь других требовать к ответу... И за то, что было в тридцать седьмом... Казалось бы, какой здесь Серпилин ответчик, сам должен счет предъявлять. А вот не дает ему покоя мысль, что он отвечает за тех, кто остался в лагере. Но было бы ошибкой сделать такой вывод: раз все сознают свою ответственность — значит, все виноваты, и тогда судить некого. Это не так, и Симонов судит беспощадно, судит тех, кто снимает с себя ответственность, чтобы развязать себе руки для черных дел. Вот почему он так подчеркивает в Сталине «нечеловеческое презрение к людям».

Отсюда вытекает один очень важный и проходящий через весь роман мотив — «надо беречь людей», — смысл которого не сводится к вопросам военно-профессиональным и не ограничен во времени войной. Роман начинается раздумьями Серпилина о мере необходимости, о мере власти, о мере ответственности. А завершают его размышления Ивана Алексеевича, которого в «Войне и мире» поразило одно место: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Иван Алексеевич подумал сначала о Сталине, а затем вообще о людях, облеченных властью: «А вот чтобы люди никому — как бы высоко ни стоял! — не страшлись давать советы, не имели нужды угадывать его мнение, чтобы эта нужда постепенно не сделалась потребностью, которая превращает даже самых хороших людей в дрянных, — вот это, как говорится, вопрос вопросов. Конечно, это зависит и от тех, кто дает советы, но гораздо больше — от того, кому дают. От него прежде всего зависит — боятся или не боятся давать ему советы». И о себе тоже Иван Алексеевич подумал с бесстрашной правдивостью: «...А не слишком ли ты много труда употребил в разное время своей жизни на то, чтобы понять и оправдать такие вещи, в которых величие и добро уж слишком далеки

друг от друга?» И именно здесь — один из самых суровых и необходимых нравственных уроков, который несет роман сегодняшнему читателю.

Сорок третий год, конечно, не сорок первый — самое страшное было уже позади, хотя до Берлина было еще два года кровавой войны. Стали настоящими солдатами те, кто не готовил себя в военные, а вот пришлось ими стать. Вчерашние учителя и бухгалтеры уже командовали батальонами и полками не хуже кадровых офицеров. Великая Отечественная война перевалила через свою кульминацию. И здесь я снова хочу вспомнить поговорку: «Победителей не судят». Да, это так, но если победители и впредь хотят быть непобежденными, хотят стать непобедимыми, они трезво и прямо глядят на себя сами — это высокое проявление общественной мудрости и духовной силы общества. И то, что мы принимаем ту горькую и жестокую правду, которую Симонов пишет не только о первых месяцах войны, но и об этом времени, когда ход войны переменился, — свидетельство духовного оздоровления, начало которому положил XX съезд партии.

Наше сегодняшнее миропонимание требует изображения жизни во всей ее сложности, со всеми противоречиями, требует не регистрации последствий, а вскрытия причин. Да, было всякое в те годы: железная стойкость и приспособленчество, нравственное величие и мелкое тщеславие, безграничная самоотверженность и наглое шкурничество, душевная щедрость и циничная жестокость. «Опыт войны, как и опыт всякого кризиса в истории, всякого великого бедствия и всякого перелома в жизни человека, — писал В. И. Ленин, — отупляет и надламывает одних, но зато просвещает и закаляет других, причем в общем и целом, в истории всего мира, число и сила этих последних окзывались, за исключением отдельных случаев упадка и гибели того или иного государства, больше, чем первых». Писатель нам показывает и тех и других, и мы видим, что закалившихся в суровых испытаниях было несравнимо больше, чем потерявших себя. Перед нами проходит целая галерея сильных и благородных людей, которые взяли на себя весь

груз исторических событий и с честью выдержали это испытание,— от генерал-лейтенанта Ивана Алексеевича до тех работниц литейного цеха, которые сутками не покидали завода. Но именно потому, что писатель не закрывает глаза на то, что война была великим бедствием, ему удалось показать подлинное величие народного подвига и раскрыть тот идейный и нравственный потенциал советского характера, перед которым оказались бессильны все трудности и внешнего и внутреннего порядка.

Роман «Солдатами не рождаются» — произведение сложной композиционной структуры. В отличие от «Живых и мертвых», где все происходящее дано как путь Синцова, в «Солдатами не рождаются» три центральных героя — Серпилин, Синцов, Таня. Мы получаем возможность увидеть войну глазами разных людей, что очень важно, ибо каждый из них вносит что-то свое, недоступное остальным. Но одновременно вести и переплетать три сюжетных линии — это не так просто: возникают «служебные» эпизоды, необходимые для движения сюжета и мало что дающие помимо этого, с одинаковой подробностью описываются самые разные события и люди, требующие различной степени детализации. Конечно, в известной мере делу помогает то, что сюжетная конструкция романа опирается на все предыдущее, но все-таки ощущение громоздкости и неэкономности остается.

С столь разветвленный сюжет, такое обилие персонажей ставит порой автора в трудное положение. Он должен заниматься и теми героями, характеры которых исчерпаны, а существуют эти персонажи в романе благодаря сюжетной инерции или в силу авторской симпатии к ним. Прежде всего это относится к Синцову, который как характер, требующий художественного исследования, на мой взгляд, исчерпал себя еще до окончания «Живых и мертвых». В «Солдатами не рождаются» он в лучшем случае может претендовать на эпизодическую роль. Здесь он становится похож то на Серпи-

лина, то на капитана Сабурова из повести «Дни и ночи». А к каким ухищрениям приходится прибегать автору, чтобы Таня, которая была в подполье с Машей Синцовой, встретила наконец с Синцовым! Если бы не было полной уверенности, что это дело рук автора, можно было бы сказать, как писали в старинных романах: «Их свела рука провидения, которая все может». Боюсь, как бы с Серпилиным в следующей книге, если он опять окажется в центре повествования, не произошла та же история, что с Синцовым, — мне кажется, что Серпилин как характер исчерпал себя в «Солдатами не рождаются», где он по праву занял центральное место. Можно назвать и несколько эпизодических фигур, которые, подобно Синцову, живут в последнем романе лишь силой сюжетной инерции. Это Малинин, который не слишком удался и в «Живых и мертвых», Левашов — в повести он богаче и интереснее, Артемьев и Надя. Конечно, нельзя предугадать, с какими еще трудностями и сложностями столкнется писатель, продолжая работу, на следующем ее этапе, но эта опасность очевидна — как только герои, которые самое главное о себе уже рассказали, начинают эксплуатировать авторскую привязанность, художественное исследование жизни подменяется беллетристическим описанием.

Романы «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются» очень популярны — Симонов вновь стал одним из самых читаемых писателей. Не обделен он и вниманием критики — законченный только в майской книге «Знамени», роман «Солдатами не рождаются» имеет уже весьма солидную библиографию.

Наши заметки, в сущности, посвящены лишь творческой истории произведения, которое создавалось на протяжении пятнадцати последних лет; эта творческая история поучительна — она не только отражает трудные поиски Константина Симонова, но помогает лучше понять тот путь, которым, подчиняясь велению времени, шла наша литература в последние годы.



ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Каменский. Революция и искусство.— **Е. Дорош.** Проза художника.—
Э. Кузьмина. Соблазны решенного.— **Л. Левицкий.** Судьба. не ремесло...

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Бирман. Ленинская вера в народ.— **Ю. Шаратов.** Плод кропотливого
труда.— **Полина Виноградская.** Заново рассказанная жизнь.— **М. Юрьев.**
Революционное наследие Сунь Ят-сена.

Литература и искусство

РЕВОЛЮЦИЯ И ИСКУССТВО

Из истории строительства советской культуры. 1917—1918. Документы и воспоминания. «Искусство». М. 1964. 383 стр.

Документы и воспоминания, собранные в этой книге, рассказывают о художественной жизни Москвы на протяжении одного года: с конца 1917-го по конец 1918-го. Срок краткий, но ведь какие были времена! Один из авторов, включенных в издание мемуаров с полным основанием говорит, что он будет повествовать о «днях, трудных и длинных, как месяцы, о месяцах, огромных, как годы...»

Читая сборник, быстро убеждаешься, что сразу же после победы Октябрьской революции вопросы искусства оказались в числе самых неотложных, первостепенных, государственно важных. Среди первых ведомств советской власти был специальный Народный комиссариат художественно-исторических имуществ Республики (впоследствии слившийся с Наркомпросом) В Москве уже в конце октября 1917 года создается Комиссия по охране памятников искусства и старины как один из «правомочных и полномочных органов» Московского Совета.

Ленинская воля, инициатива, энергия были движущей силой и в этой области рево-

люционного творчества. В сборник включено более двадцати ленинских документов (часть из них не перепечатывалась с 1918 года) с датами от 19 декабря 1917 года до 19 декабря 1918 года. Они посвящены задачам охраны культурных богатств страны, новым принципам организации работы художественных учреждений, мероприятиям, связанным с «монументальной пропагандой», и т. д. Сопоставляя эти документы с другими вошедшими в книгу материалами (абсолютное большинство их публикуется впервые), видишь, как ленинские идеи, предложения, декреты оказывались исходным толчком деятельности в самых различных областях культурно-художественной жизни революционной эпохи.

Естественно, что для новой власти особо оперативными оказались вопросы учета, охраны памятников искусства, а также оценки их значения с точки зрения социалистической идеологии, интересов народа. Характерно в этом смысле, что в подписанном Лениным декрете о национализации художественных собраний А. И. Морозова, И. С. Остроухова и В. А. Морозова гово-

рится о необходимости «срочно выработать и провести в действие Положение об использовании коллекций в соответствии с современными потребностями и заданиями демократизации художественно-просветительных учреждений».

Как свидетельствуют документы, борьба за всемерное удовлетворение этих выдвинутых революцией «современных потребностей» была стержнем, сутью советской художественной жизни в первый год ее истории. Это относилось и к историко-культурному наследию.

Прежде всего, конечно, надо было это наследие сохранить, предотвратить все, что могло угрожать «утратой культурных сокровищ народа», как говорится в подписанном Лениным декрете СНК о запрещении вывоза за границу предметов искусства и старины; разъяснить народу значение и ценность этих сокровищ. В интереснейшем воззвании Народного комиссариата художественно-исторических имуществ (апрель 1918 года) с убедительной ясностью, простотой и какой-то захватывающей взволнованностью изложены принципы отношения революции к памятникам искусства и старины:

«Каждый памятник старины, каждое произведение искусства, коими тешились лишь цари и богачи, стали нашими; мы никому не отдадим их больше и сохраним их для себя и для потомства, для человечества, которое придет после нас и захочет узнать, как и чем люди жили до него... Нет нужды задаваться вопросом, в чьих руках находились раньше те или иные художественные или исторические сокровища: дворцы, особняки, храмы и т. п., в кои вложено столько труда и красоты, сотворенных народным творчеством. Важно знать, кто теперь — хозяин. А хозяин — вся Россия, трудовая Россия. Поэтому ненависть, которую питает народ к прежним хозяевам — царям и другим поработителям, он не распространяет на ни в чем не повинные вещи, с которыми огненные станут обращаться по-хозяйски, в целях доступного всем изучения и любования».

Сколько труда, заботы, энергии было отдано тому, чтобы сделать победивший народ полновластным хозяином художественных сокровищ страны, — об этом свидетельствуют опубликованные в книге материалы о деятельности московской Комиссии по охране памятников искусства и старины.

К слову сказать, участие в работе этой комиссии было практически первой формой сотрудничества художников с советской властью. Это участие, бесспорно, имело политически принципиальный характер. В одном из отчетов отдела пластических искусств комиссии прямо говорится, что в него входили лишь те художники, которые, «приняв платформу Советской власти, работали с первых дней Октябрьско-ноябрьской революции. Все художники, определенно ставшие на сторону бойкота Народной власти, не вошли и не могут в него войти». Кто же эти художники, которые с первых же дней революции «приняли платформу Советской власти»? Мы видим в приложенных списках имена А. Архипова, В. Бакшеева, А. и В. Васнецовых, В. Ватагина, С. Волнухина, А. Головина, А. Голубкиной, И. Грабаря, И. Ефимова, С. Жуковского, С. Коненкова, П. Кончаловского, К. Коровина, Н. Крымова, П. Кузнецова, Б. Королева, А. Лентулова, К. Малевича, С. Малютина, В. Мешкова, Ф. Малявина, Л. Пастернака, В. Поленова, В. Татлина, Е. Орловского, Н. Ульяновы, П. Уткина, Ф. Федоровского, С. Эрьзя, К. Юона и других.

Этот список может быть значительно пополнен фамилиями участников «монументальной пропаганды», отдельных мероприятий комиссии и т. д. Получающаяся совокупность имен мастеров русского искусства разных направлений весьма внушительна. И поневоле задумаешься: не требуют ли некоторых коррективов устоявшиеся в нашем искусствознании представления о позиции художников в период революции? Ведь принято считать, что в этот период большая (если не большая) их часть эмигрировала или встретила события с открытой враждебностью. Однако упомянутые документы эпохи убедительно доказывают, что на самом-то деле пропорции были совершенно другими.

В свете этих документов весьма зыбкой оказывается и еще одна легенда — о преобладании «левых» в художественной жизни революционных лет. В приведенном списке фигурируют мастера разных направлений, причём убежденных, последовательных сторонников реалистических традиций явно больше. Впрочем, на первых порах решающим фактором объединения мастеров искусства была не приверженность к тому или иному художественному направлению, а политическая позиция, отношение к револю-

ции. Очень красноречив в этом смысле протокол «Совещания по делам изобразительных искусств», созванного Моссоветом 11 апреля 1918 года. Собравшиеся в этот день художники Москвы и Петрограда (с самыми различными творческими убеждениями) выдвинули такую формулу: «Общая платформа наша — признание Советской власти; дальше идет борьба школ. Из этой борьбы должна выявиться настоящая воля творческих сил народа».

Эта борьба началась сравнительно скоро — при первых попытках осуществления ленинского плана «монументальной пропаганды», на выставках тех лет и т. д. Но для того, чтобы «настоящая воля творческих сил народа» дала себя знать в полной мере, необходимо было время. Поначалу художники разных направлений, положительно воспринявшие революцию, работали совместно. А уж тем более легко было достигнуть согласия в области охраны памятников искусства. Здесь острее борьбы полностью было направлено вовне — против саботажников и контрреволюционеров, анархистов и спекулянтов, против любых форм сознательного или стихийного разрушения культурных ценностей.

Особо ревностной, самоотверженной работой был окружен Кремль. Буквально наутро после того, как в Москве победила революция и смолкли выстрелы, только что созданная Комиссия по охране памятников обходила кремлевские стены, «встреченная скрытой враждой и пассивным сопротивлением представителей Синодальной власти», как говорится в отчете о работе комиссии. В этом же отчете содержатся знаменательные строки: комиссия «единогласно постановила, что все снаряды, попавшие в Кремль, меньше нанесли вреда художественно-историческим памятникам, чем невежественная малярная реставрация дивных фресок Успенского собора. Целыми днями Комиссия обходила все помещения Кремля, принимая спешные меры, таская своими руками тяжести, встречая прямое противодействие... Несмотря на крайне неблагоприятные условия, Кремль был спасен от грозившего ему расхищения».

В скором времени были устранены и те небольшие повреждения, которые получил Кремль в период октябрьских боев. 17 мая 1918 года (то есть через два с небольшим месяца после переезда Советского правительства в Москву) В. И. Ленин отдал рас-

поряжение о реставрации Никольской башни. Затем полностью были восстановлены Беклемишевская, Спасская башни, пущены в ход кремлевские куранты и т. д. Вообще Владимир Ильич в высшей степени заботливо относился к делу охраны художественных ценностей. Как вспоминает один из руководителей Комиссии по охране памятников искусства и старины Е. В. Орановский, с марта 1918 года работа этой комиссии «находилась под постоянным вниманием и заботой Ленина, его помощь мы чувствовали каждый день... По распоряжению Владимира Ильича с плана Кремля сняли кальку в двух экземплярах и на ней закрыли условной краской помещения Кремля, куда запретили допускать жильцов и других посетителей, как в помещения, приспособленные под художественные хранилища. Помню, Владимир Ильич, со своей обычной в этих случаях улыбкой, простой и ясной, говорил, что если даже он попросит стул, имеющий художественную ценность, — не давать».

К началу революционной эпохи в Кремле, кроме издавна принадлежавших ему художественных сокровищ, хранились коллекции Эрмитажа, собрания живописи, скульптуры, прикладных изделий, привезенных сюда из западных областей России, где шли военные действия. Такое неслыханное изобилие первоклассных художественных богатств, по стечению обстоятельств сосредоточенных в пределах крупнейшего историко-архитектурного ансамбля страны, породило у членов комиссии несколько романтическую, но, бесспорно, очень интересную и смелую идею: сделать Кремль «акрополем русского искусства». В тех же воспоминаниях Е. В. Орановский рассказывает: «Мы хотели перевезти в Кремль все, что великого создал и собрал народ русский за свою многострадальную жизнь. Создадим «Кремль — Акрополь искусств и старины», сделаем его пантеоном прошлого и будущего...»

В какой-то мере эта прекрасная мечта революционных лет осуществилась в недавние годы, когда ворота Кремля, ставшего подлинным пантеоном русского искусства древних эпох, широко открылись для миллионов посетителей.

Разумеется, деятельность революционных органов по охране памятников искусства не ограничивалась пределами Кремля. Декретом Совета Народных Комиссаров от 5 октября 1918 года было предписано «произ-

вести первую государственную регистрацию всех монументальных и вещевых памятников искусства и старины, как в виде целых собраний, так и отдельных предметов, в чем бы обладании они ни находились». Эта регистрация фактически началась гораздо раньше. Комиссия по охране памятников провела поистине фантастическую по своей трудоемкости работу, в итоге которой были осмотрены, учтены, оценены в смысле своей значительности и сохранности все музеи, дворцы, сколько-нибудь известные частные собрания, городские и подмосковные усадьбы, особняки, библиотеки и т. д. Специальная система охранных грамот позволила взять на учет и предохранить от расхищения и хаотической распродажи огромное число художественных ценностей, находившихся в частных руках.

Крупнейшие музеи и частные собрания были национализированы, причем в декретах, как правило, разъяснялось — почему они должны стать государственной собственностью. Так, в подписанном Лениным Постановлении СНК о национализации Третьяковской галереи от 3 июня 1918 года говорится: «Московская Городская Художественная галерея имени П. и С. М. Третьяковых является по своему культурному и художественному значению учреждением, выполняющим общегосударственные просветительные функции»; «интересы рабочего класса требуют, чтобы Третьяковская галерея вошла в сеть общегосударственных музеев».

Большой интерес представляет еще один, практически неизвестный нашей общественности ленинский документ — декрет Совета Народных Комиссаров о национализации Художественной галереи Щукина. В этом декрете, опубликованном за подписью Ленина 5 ноября 1918 года, говорится, что Художественная галерея Сергея Ивановича Щукина объявляется государственной собственностью, ибо она «представляет собою исключительное собрание великих европейских мастеров, по преимуществу французских, конца XIX и начала XX века и по своей высокой художественной ценности имеет общегосударственное значение в деле народного просвещения».

Имеется каталог щукинской коллекции (он приложен к книге П. Перцова «Щукинское собрание французской живописи», изданной в 1922 году). Какие мастера были в ней представлены? Классики импрессиониз-

ма — Дега, Моне, Писсарро, Ренуар, Сислеи, Сезанн, Ван-Гог, Дерен. Основную же часть собрания составляли полотна Гогена и ранние произведения Матисса и Пикассо.

Наряду с задачами охраны памятников искусства центральной проблемой художественной жизни Москвы в 1918 году был, бесспорно, выдвинутый Лениным план «монументальной пропаганды». Суть этого замечательного плана, обстоятельства и итоги первых попыток его воплощения широко известны. Но опубликованные в книге документы дополняют и обогащают наши представления о том, в какой обстановке проходила работа над памятниками «монументальной пропаганды», какие дискуссии ее сопровождали, какие новые формы отношения к труду художников она порождала.

В Записке отдела изобразительных искусств Наркомпроса, адресованной СНК (18 июля 1918 года), авторы размышляют о том, как организовать дело, чтобы осуществить «возможно наискорейшее и наилучшее выполнение идеи т. Ленина».

«Вся трудность осуществления этой идеи, — говорится в Записке, — заключается в том, чтобы скорость воплощения ее не могла пойти за счет художественной стороны, ибо государство, каковым оно сейчас является, не может и не должно являться инициатором дурного вкуса...

Раньше, при бюрократическом режиме, объявляли такие условия конкурса, что работали на конкурс или по поручению заведомые генерал-художники или те из художников, которые были обеспечены материально и могли, не считаясь с потерей времени, принимать участие в конкурсе.

Результаты таких конкурсов общеизвестны: сооружения их теперь убираются с площадей. Все же молодые художники ютились по чердакам и темным комнатам, загнанные и забытые, не имея никаких гражданских прав. В искусстве все новое, свежее гналось и преследовалось всевозможными путями...

Выход из этого один: привлечь молодые и свежие силы художников означенной профессии... Коллегия также считает необходимым при использовании данного конкурса уничтожить обычное жюри и остановиться на всенародном обозрении и суждении о проектах-эскизах уже на предназначенных местах».

В других документах встречается обсуждение вопроса о том, какой должна быть «форма жюри-плебисцита пролетарских

масс», «организация дискуссий пролетарскими организациями с участием художников», «организация дискуссий Художественно-просветительным отделом через профессиональные художественные организации с широким привлечением организованного пролетариата» и т. д. Смысл идеи таких всенародных обсуждений хорошо выразил С. Коненков на заседании отдела Пластических искусств 18 февраля 1918 года: «Народ создал так много прекрасного, а там, где он не понимает, доверяет нам, детям народа, художникам, и мы должны верить ему».

Точка зрения Коненкова (решительно поддержанная участниками заседания), в сущности, содержит целую программу демократической эстетики русского реализма, взятую революцией «на вооружение». Прекрасное, созданное народом, — почва настоящего искусства. Художники, «дети народа», должны прочно опираться на эту почву. Обоюдное доверие — основа взаимоотношений между ними и широким зрителем.

Именно такая система взглядов могла вызвать к жизни идею организации всенародных плебисцитов для выбора лучших проектов будущих памятников. Думается, что сейчас, когда во многих городах нашей страны сооружаются с расчетом на века монументы и мемориальные ансамбли, имело бы смысл возродить в той или иной форме практику широкого обсуждения представляемых на конкурсы проектов. Такая

практика, подсказанная опытом революционных лет, помогла бы избавиться от тех просчетов, которые бывают в решениях закрытых жюри.

В годы культа личности в печати почти не появлялись новые материалы, посвященные делам и дням Октября. Была сконструирована и закреплена версия событий, местами упрощенная, местами искаженная. Публикация подлинных фактов, даже мелких, могла бы поколебать доверие к установленной схеме. Поэтому во многих книгах и статьях — в том числе и об искусстве в первые годы советской власти — зачастую обходились серийными наборами общих фраз, которые лишь затуманивали подлинный облик великого времени.

Сборник «Из истории строительства советской культуры» — это как бы дневник документов, пополненный воспоминаниями. Здесь с отчетливой рельефностью, явственно, зримо встает перед глазами живая картина эпохи с ее чудесным сочетанием высокой романтики и яростной деловой энергии, с характернейшими и неповторимыми деталями обстановки, в которой жили и работали люди.

Потому-то эта книга может глубоко заинтересовать не только историка, но, в сущности, любого читателя, для которого творческий опыт далеких лет революции и дорог и поучителен.

А. КАМЕНСКИЙ.

★

ПРОЗА ХУДОЖНИКА

Николай Кузьмин. Круг царя Соломона. «Советский художник». М. 1964. 192 стр.

На желтоватой, как пергамент, обложке небольшого, почти квадратного томика помещен выполненный черным штрихом рисунок. Художник нарисовал глыбистую землю пустыни с торчащими из нее цветами, похожими на райские крины, с двумя фантастическими деревьями, напоминающими смоковницы древнерусских миниатюр. Между деревьями стоит голый старик в набедренной повязке, склонившийся под тяжестью утвержденного на его плечах большого круга. В центре круга нарисован солнечный лик с расходящимися во все стороны лучами, каждый из которых заполнен цифирью.

Этот рисунок, заставляющий вспомнить народную русскую графику, легкие и быст-

рые линии набросанных пером иллюстраций, помещенных в книге и представляющих собою собрание типов конца прошлого и начала нынешнего столетия, — все это позволяет узнать художника Николая Кузьмина. Однако на этот раз Кузьмин не только иллюстратор, но и автор книги.

В книге рассказывается о детстве и отрочестве художника, о людях, среди которых он жил. Но это не воспоминания, скорее — автобиографические рассказы. Каждый из них отлично написан, и расположены они с точным чувством композиции. Большие сюжетные рассказы, где людей соединяют события, в которых они участвуют, перемежаются рассказами небольшими, эскизными,

изображающими то черту характера, то бытовую подробность, жанровую сценку, пейзаж... Такое чередование усиливает естественность, достоверность, потому что и в жизни так оно все бывает переплетено.

Литературное мастерство Кузьмина высоко оценил К. И. Чуковский. «Поистине это кажется чудом! — пишет он в предположенной рассказам вступительной статье.— В советскую литературу на восьмом десятке своей жизни в роли юного автора, новичка-дебютанта входит престарелый художник, никогда ничего не писавший, и его первая книжка прельщает читателя с первых же строк зрелостью своей поэтической формы. Знатор языка, тонкий, изощренный стилист, мастер писательской техники — вот каким предстает перед нами этот «неопытный», «начинающий» автор».

Помнится, и я, когда впервые, еще в рукописи, прочитал эти рассказы, дивился тонкому слуху их автора, чувствующего звучание слова, ритмический строй фразы, восхищаясь точностью, с какой он изображает зримый мир — внешность людей, предметы, среди которых они живут, картины среднерусской природы. Кроме того, мне просто интересно было читать, как интересно и сейчас, когда книга уже вышла, перечитывать ее, хотя обитатели уездного городка, о которых рассказывает Кузьмин, принадлежат к тому отошедшему в прошлое миру, какой блестяще запечатлен старой русской литературой. Причина этого интереса не только в том, что здесь формировался характер замечательного советского художника, иллюстратора «Евгения Онегина» и «Графа Нулина», «Левши», «Записок сумасшедшего» и «Плодов раздумий» Козьмы Пруткова, что отсюда унес он первый и, быть может, самый дорогой запас жизненных впечатлений. Сколько ни писали о людях, подобных тем, среди которых начинал жить Кузьмин, он все же по-своему рассказал о всех этих мелких ремесленниках, остроловах и философах, об учителях реального училища, об уездных дворянах, в дома которых ему, сыну портного, можно было войти лишь в качестве репетитора не очень успевающих в науках дворянских недорослей.

Вот как рассказывает Кузьмин о своем знакомстве с уездным предводителем дворянства Ширинкиным, сына которого, Пьера, он должен был подготовить к экзамену на вольноопределяющегося. Сперва он сообща-

ет, что кабинет предводителя «был похож на моленную», потому что в углу здесь стояли в три ряда иконы в богатых ризах, перед которыми «горели цветные лампадки, хотя день был будний». Затем рисует самого хозяина, грузного мужчину лет пятидесяти пяти, с короткой шеей, бычьим взглядом из-под тяжелых век и квадратной бородой «железного цвета». После этого передает, как предводитель «принял» его руку в широкую ладонь, «поклонился чуть ли не в пояс», заботливо усадил, уселся напротив, осведомился о здоровье папаша и о том, много ли у того работы, расспросил о планах юноши, обеспокоившись, не помешают ли репетиторские занятия его успехам. Всем этим, признается рассказчик, Ширинкин вызвал у него восторженную мысль: «Какой добрый, какой любезный, какой отзывчивый слон, даже в это вникает! Вот какие бывают настоящие-то аристократы!» Однако предводитель, поговорив о вреде курения, сославшись со вздохом на волю всевышнего, когда речь зашла о малых знаниях его сына, осведомился наконец и о том, сколько желает получить за свои труды репетитор. Тот назвал сумму, назначенную директором реального училища, по чьей рекомендации он пришел. Предводитель поглядел ему ласково в глаза, потрепал по колену, выразил надежду, что они поладят, и... «предложил ровно половину».

Все это — на полтора страничках малого книжного формата. Здесь даны не только обстановка и характер, но и время. Предводитель дворянства, изображенный Кузьминым, — это ханжа и кулак, возросший в победоносцевскую пору, ничуть не похожий ни на вольтерьянцев, ни на крепостников тургеневских времен, весьма далекий и от обнищавших бунинских дворян.

Становится понятной одна из особенностей Кузьмина-иллюстратора — редкостное чувство времени во всех его подробностях, позволяющее художнику как бы жить в избранном им для иллюстрирования произведении. Вообще, думается мне, книга эта многое раскрывает в самой природе искусства, и не только искусства книжной графики. В рассказе «Судья и Венера» Кузьмин вспоминает, как в доме судьи, обладавшем целой полкой изданий по истории искусств, он предавался занятию, которого нет слаще — смотрел картинки. «Я ходил, одурманенный обилием впечатлений, — рассказывает он. — Вереницы образов пылали в

моем мозгу: богини и мадонны, рыцари и нимфы, пустынноики и гуляки, черти и ангелы, папы и кондотьеры, менялы и нищие...» В других рассказах говорится о книгах — произведениях поэтов, философов, романистов. И трудно как будто не согласиться с К. И. Чуковским, когда он утверждает, что мешанская тряси́на, среди которой появился на свет будущий художник, «легко засосала бы его всего с головой, если бы он с детства не приобщился к искусству — к литературе и живописи». Все дело лишь в том, кажется мне, что искусство, поэзия были не в одном только доме судьи, не только на полках уездных книголюбков.

Рядом с мешанской трясиной, даже среди этой трясины существовало еще и то, что я назвал бы поэзией народного бытия. Я имею в виду выработанные народом нравственные установления и поэтические обычаи, чувство природы, знание трав и цветов, сказки, песни, могучую стихию языка и то так называемое народное искусство, которое в виде ли лубочной картинки, расписной деревянной чашки, глиняной свистульки или

полотенца с кружевом, сплетенным бабушкой, с детских лет окружало Кузьмина.

Я не случайно так подробно описал рисунок на обложке книги, напоминающий лубочную картинку, в которой удивительным образом соединились пережитки некоей древней лженауки, вроде астрологии, с чем-то по-ярмарочному грубым и броским. Должен заметить, что автор с одинаковой естественностью обращается к античной мифологии и к тому, что можно бы назвать фольклором уездной мастеровщины. Столь же мастерскую смесь представляет собою и язык рассказов, в котором мешанский и крестьянский говор свободно соединяется с языком книжным, причем последний в свою очередь состоит из языка письмовников, церковных книг и языка собственно литературного. Мне кажется, что все это говорит не только о стиле писателя Кузьмина, но и о самой сути всего его художественного творчества. Слияние культуры книжной с культурой народной составляет идущую еще от Пушкина традицию русского искусства.

Е. ДОРОШ.

★

СОБЛАЗНЫ РЕШЕННОГО

Ю. Томина. Шел по городу волшебник. Повесть, в которой случаются чудеса... Детгиз. Л. 1963. 222 стр.

У «взрослой» литературы хватает своих забот, и большая критика нечасто замечает детские книги. Они существуют где-то отдельно — детская литература, детские проблемы, детская тематика... Но нет, нельзя в литературе выгородить «детский сад». Потому что именно большая жизнь формирует душевный мир ребят, ее они видят вокруг, над ней задумываются. Когда детская книга ограничивает себя замкнутым кругом одних и тех же азбучных истин для «младшего, среднего и старшего возраста», она превращается в задачник, где все решения приложены готовыми. Маленькие проблемки плохи не просто тем, что они маленькие. Они — решенные, и тут уж никакие усилия не спасут от надуманности, от схематичности. К сожалению, именно в детской литературе всего сильнее соблазн банальности, проповеди давно известного.

Первые книги молодого ленинградского писателя Юрия Томина, появившиеся не-

сколько лет назад («Повесть об Атлантиде», «Алмазные тропы», «Борька, я и невидимка»), активно противостояли подобной литературе. Этим они и привлекли читателей самых разных возрастов. И вот новая книжка Ю. Томина — «Шел по городу волшебник».

Юрий Тomin отлично знает мальчишек.

Какой мальчишка не мечтал о чуде? Сбываются все его желания, так и сыплются на него сотни порций мороженого, хоккейные клюшки, мячи, «пятерки»... Такое счастье выпало герою книжки, Толику Рыжкову. Стоит ему сломать волшебную спичку — и он уже играет в хоккей лучше всех в мире, в шахматы — тоже. И может войти в клетку льва и укротить его одним взглядом... Чудеса нарастают безудержно, как во сне.

Но порой все же екает сердце, тоже как во сне: сейчас везенье кончится, и расплаты не миновать. И вот мелькают предвестники развязки. С чудесами, оказывается, тоже

много хлопот. Толик-то может творить чудеса, да ребята вокруг в чудеса не верят. Но ведь обидно — самому сильному человеку на свете не верят! А без волшебной спички он сам уже и шагу ступить не может.

Вот тут бы автору с помощью реальных вещей победить волшебную силу спичек — победить наивную мечту получить все, не ударив палец о палец. Но автор не захотел довести бой до конца на сцене реальной жизни со своими союзниками — обыкновенными людьми. И в подмогу себе он выстроил искусственную площадку — город мальчика с голубыми глазами, этакое абсолютное царство зла. Называется оно — «вчерашний день». Вероятно, автор думал, что детям «так интереснее»? Но занимательность даже внешне получилась весьма скудная. Выпирает заданность, «воспитательная» нагрузка. «Я жадина. Ты жадина. Я думаю, что ты попал во вчерашний день потому, что ты жадина», — на все лады повторяет злой волшебник. А вот как разговаривает с ним Толик:

«— Я не совершил никакого геройского поступка. Мне все равно нельзя носить звездочку.

— А лучше всех играть в шахматы тебе можно? И разве ты заслужил звание лучшего игрока в хоккей?»

Полно, неужели это разговаривают два мальчика, даже если один из них злой и волшебный? Скорее, это разыгрывается, как по нотам, беседа педантичного педагога с кающимся воспитуемым, признающим свои ошибки.

Основной принцип в царстве вчерашнего дня — пресловутое «экономично», золото здесь служит воплощением счастья, а самое магическое и прекрасное для злого мальчика слово — «миллион». Но «вчерашний день» как средоточие всех пороков, вынырнувших из бог весть какого «проклятого прошлого», — это нечто до того умозрительное, абстрактное, схематичное, что сказка начисто разрушается. «Пережитки капитализма» в сознании ребенка, ставшие основой для детской сказки, — это такое же вымученное сочетание, как у старого ребусника в «Золотом теленке» шарада на тему «Индустриализация».

А кто же такой сам Толик, за что облюбовал его в друзья злой мальчик с голубыми глазами? Ведь в царстве волшебника

Толик ведет себя вполне по-человечески. Он скорее умрет, чем бросит друга Мишку. А до начала чудес все его грехи — не там перешел улицу да, чтоб отвязаться от миллионера, присочинил малость. Обычно в сказках волшебные силы по заслугам наказывают плохого человека. Толика же по сути дела не за что наказывать. Его сбили с толку сами волшебные спички. Автор обидел чудесное, обидел любимое детское чудо — сказку. Он нарушил важный закон сказки: чудесное открывается тому, кто ждет его, умеет его увидеть. И мы внутренне противимся, когда чудесное оказывается источником зла.

И вот что удивительно: никогда прежде выдумщики, фантазеры не были для Ю. Томина потерянными людьми! Он очень хорошо знал это в мальчишках: для них возможное и невозможное — рядом. Вот Костя Шмель (герой книги «Борька, я и невидимка») вызван к завучу — как он тоскует о чуде: бывают же Хоттабычи и волшебные лампы! Так и Толику неохота идти в школу — и воображение заработало: а что, если бы... машина врезалась в трамвай... А трамвай сошел с рельс... А движение по всей улице остановилось... я не пошел бы в школу... Нет, прежде Ю. Тomin не был таким педантом, чтобы карать мальчишек за столь ничтожные прегрешения.

Наоборот, его любимыми героями всегда были отчаянные, так называемые трудные ребята. Вы только послушайте Костю Шмеля! «Мне просто интересно, что я могу разозлить кого хочешь... Это очень просто... Например, тебе говорят... «Куда идешь?» А ты: «Ага, у кита хвост большой». До чего вредный мальчишка! Хоть кого доведет. Но ведь некоторых и стоит! Вот впопыхах залетает к ребятам вожатый Владик: «Вы не ведете никакой работы и мне из-за вас влетело... Нужно чего-нибудь придумать... Давайте думать быстрее». Ну как такого не позлить? Не превращай живое дело в шумиху для отчета. И Ю. Тomin не читал своему Косте нотаций вместе с теми педагогами, которые вечно выгоняли его за дверь.

Зато умел писатель предостеречь ребят от каких-то черт, которые не поминаются в хрестоматийных нравоучениях и тем не менее недостойны человека. Аккуратная девочка Соня доносит учителю обо всем, что делается в классе. Да это куда опаснее, чем все шалости Кости Шмеля!

Понятия добра и зла в книгах Ю. Томина были не игрушечными, специально детскими. Мы понимали: писатель не хочет, чтобы подростки входили в жизнь наивными, безоружными. Не боялся писатель в книге для детей дать и портрет настоящего серьезного врага—рассудительного гражданина, проповедующего такие истины: «Правду не любят все. Но одни умеют это скрывать, а другие не умеют». «Каждый лезет вверх, хочет быть не тем, что он есть».

Томин не прятался в своих книгах от сложных конфликтов, с которыми сталкивает ребят жизнь. Вот классная руководительница Кости Шмеля дирижирует выборами звеньевых. Вожатая Лина выступает против нее: «Пусть ребята сами... Мне кажется, им даже думать лень. Они привыкли, что им подсказывают». И когда класс отказался выбрать звеньевым Вовку Дутова, Елизавета Максимовна сразу возводит это до крамольного потрясения основ: «Это интересно... Ну, а если, например, вам не понравится вожатый? Вы тоже будете против?.. Ну, а если вам не понравится старший вожатый?» Костя даже не может еще постичь этот чудовищный ход мыслей, когда иметь свое мнение, рассуждать считается преступлением. Но мы понимаем, что борьба с казенщиной, с педагогикой муштры—это естественное преломление в рамках школы важнейших событий нашей общественной жизни.

И когда после серьезных, принципиальных книг Юрий Томин начинает доказывать азбучные истины вроде «врать нехорошо»—это воспринимаешь с огорчением и тревогой. Никогда прежде Ю. Томин не занимался такими прямолинейными, лобовыми поучения-

ми. Он рисовал трудный случай, самобытный характер и давал читателю простор что-то додумать самому. Отсюда—мягкость, поэтичность его интонации. Вспомним рассказ «Алмазные тропы». Десять полезных дел решили школьники выполнить за каникулы. И стал Венька почтарем. Но он очень мало успевает: два письма приходится развезить целый день—по заливу, на остров. Как это считать: полдела или четверть? Не прямым ответом, лишь приглушенным намеком звучит концовка рассказа—это Венька в такт ударам весел считает, сколько гребков до берега: две тысячи двести пять... две тысячи двести шесть...

Конечно, в новой книге Ю. Томина есть и удачи, находки. Какие-то мотивы, наблюдения органично вырастают из прежних книг. Вероятно, и слабости этой книги родились не вдруг. Быть может, нужно было раньше сказать автору, что занимательность он превращает иногда в красоту, чисто внешнюю «интересность». Ведь и в книге «Борька, я и невидимка» сам невидимка по сути дела вовсе ни к чему, разве что для завлекательности названия. Да и в «Повести об Атлантиде» легенда с ее мраморным и золотым великолепием выглядит бледной литературщиной на фоне живой, разноголосой ребячьей вольницы. Но тогда не это было главным. Прежние книги Томина доказывали делом, что, только выходя из заколдованного круга избитых школьных прописей, обращаясь к жизни во всем ее богатстве и сложности, детская литература становится настоящей литературой. Этой мерой мерить и новую книгу писателя.

Э. КУЗЬМИНА.

★

СУДЬБА, НЕ РЕМЕСЛО...

Варла м Шала м о в. Шелест листьев. Стихи. «Советский писатель». М. 1964. 126 стр.

Первая книга Варлама Шаламова—«Огниво»—вышла в 1961 году. Ее автору было тогда за пятьдесят. Первый его стихотворный сборник вышел так поздно не потому, что он—поэт позднего развития, а по обстоятельствам, от его воли не зависящим. Арестованный по клеветническому доносу в 1937 году, он провел долгое время в лагере и ссылке.

В одном из своих стихотворений, которое носит откровенно программный характер, Шаламов пишет:

Поэзия—дело седых,
Не мальчиков, а мужчин,
Израненных, немолодых,
Покрытых рубцами морщин.

Сто жизней проживших сполна
Не мальчиков, а мужчин,

Поднявшихся с самого дна
К заоблачной дали вершин...

Поначалу кажется, что это утверждение противоречит нашему опыту. Разве лучшие стихи часго не были написаны людьми, только вступающими в жизнь, людьми, в которых кипел избыток сил и желаний? Разве в нашем сознании поэзия и молодость — не синонимы?

Но нелепо было бы, конечно, усматривать в стихотворении Шаламова упрек молодым или противопоставление их старшим. Поэзия — такое же дело молодых, как и седых и израненных. Убедительность стихотворения Шаламова — в его личной выстраданности. В том, что за ним стоит личность его автора, его характер, биография, судьба. «Стихи — это судьба, не ремесло», — говорит поэт. Не мальчиков и мужчин, не отцов и детей сопоставляет автор. Это размышление о себе. Каким он был когда-то, в годы юности. И каким он стал сейчас. Он и мальчиком, наверно, писал стихи. И получались они у него, наверно, не хуже, чем у других мальчиков. И рифмы были, и ритм, и размер, и техника не хромала. Но по-настоящему к поэзии он приобщился позже. Когда он «сто жизней прожил сполна». Когда он поднялся «с самого дна к заоблачной дали вершин». Не думайте, что это — звонкая фраза или выпренная метафора. За ней — реальный жизненный путь. Это суровый север, лагерь, куда он был брошен молодым человеком, где сохранить себя, свою веру в человеческое достоинство, в победу добра порой было ничуть не легче, чем подняться к «заоблачной дали вершин».

О самой тяжелой поре своей жизни Шаламов говорит мало и скупо. Отчасти это объясняется его тяготением к лаконичной форме письма и сдержанному выражению своих мыслей и чувств, в еще большей мере — характером лирического героя, человека немногословного, избегающего пространных разглагольствований и душевных излияний, стремящегося не столько к обнажению своих переживаний, сколько к объективному изображению окружающего его мира. Больше всего занимают его природа, работа, искусство.

Природа в стихах Шаламова не покладиста. Она чревата трудностями и опасностями, которые порой могут стоить человеку жизни. Но в ней царит разумная

необходимость. Человек не противопоставлен природе. Он — часть ее. Он лучше, что она создала.

Не потому цари природы,
Что, подчиняясь ей всегда.
Мы можем сесть в бюро погоды
И предсказать ее на годы
По слову ветра или льда.

А потому, что в нас чудесно
Повторены ее черты.—
Земны, подводны, поднебесны,
Мы ей до мелочи известны
И с ней навеки сведены.

Природа для Шаламова — великая искусница, неистощимая и неутомимая в творчестве все новых и новых, неожиданных и бесконечно разнообразных красок, звуков, запахов. Лирический герой книги сознает свою ответственность перед ней: «Неточность изложения, пробелы мастерства осудят и растения, и камни, и трава...»

Душе поэта мила первозданная природа, к которой еще не успела прикоснуться рука человека. Но он восхищен теми, кто любит и умеет помериться силами с природой, подчинить ее законы нуждам человека. Он любит подъемный краном, который, как «самоходка, на гусеничном ходу, по окнам бьет прямой наводкой и тихо кружится на льду». Его радует закладка города и первые приметы человеческого жилья: «Уже пробиты магистрали, уже пробился в потолок еще застенчивый вначале печурки тоненький дымок».

На своем веку автору этой книги пришлось переменить немало занятий. За что бы он ни брался, что бы ни делал, он вспоминает сегодня работу с чувством удовлетворения и даже благодарности. Она помогла в трудные минуты, она приносила ощущение своей силы. Те навыки, которые человек приобретает в работе, навсегда остаются с ним и в нем — и это не оупляющий автоматизм, а добрые навыки, в которых спаяны мозг и руки. Этому посвящено стихотворение «Память» — на мой взгляд, одно из самых убедительных в сборнике:

Если ты владел умело
Топором или пилой,
Остается в мышцах тела
Память радости былой.

...Сколько в жизни нашей смыто
Мощною рекой времен

Разноцветных пятен быта,
Добрых дел и злых имен.

Мозг не помнит, мозг не может
Не старается сберечь
То, что знают мышцы, кожа,
Память пальцев, память плеч.

Эти точные движения,
Позабитые давно,—
Как поток стихотворенья,
Что на память прочтено.

Сравнение поэзии с природой, с разнообразными формами человеческого труда то и дело возникает в книге Шаламова. Не всегда они, эти сравнения, внутренне обязательны. Метафора в искусстве — не внешнее украшение, а художественно воплощенная мысль. Когда же поэт, скажем, сравнивает свою работу с плавкой руды и отливкой стали, то это — не мысль, а имитация мысли. Подобные сравнения стали общим местом, и оттого, что изображение расцветивается точными и достоверными подробностями «металлургического процесса», оно не становится фактом поэзии.

То же самое относится и к другому стихотворению («Да, рукопись моя невелика»), в котором рукопись поэта сравнивается не с ручьем, не с рекой, а с родником, и в котором говорится, что «подземный ключ не сдвинет валунов, не потрясет береговых оснований», но «любой любитель», «тайный рудовед по этой книжке мой отыщет след». Звучит это холодно, витиевато и не слишком точно. При всем желании трудно понять, что означает выражение «тайный рудовед». Самое же печальное заключается в том, что эти риторические штампы неизбежно размывают индивидуальное своеобразие авторского почерка.

Непреодоленные и переработанные книжные влияния дают себя знать и в некоторых других стихотворениях поэта — например, «Ленинград».

В стихах такого рода (их сравнительно не так уж много, но они встречаются в сборнике) В. Шаламов теряет то лучшее, что есть в его восприятии жизни и искус-

ства. А у него есть и свежесть, и новизна, и неожиданность, и точность.

Эти качества явственно ощутимы в стихотворении о Викторе Гюго — писателе, о котором больше ста лет не утихают споры. Это спор и о Викторе Гюго, и о праве на существование романтического искусства. Короткое стихотворение — не развернутая статья, и смешно было бы искать в нем обстоятельной логической аргументации. Но в двенадцати строках поэту удалось схватить самое существенное:

В нетопленном театре холодно,
А я, от счастья ошалев.
Смотрю «Эрнани» в снежной Вологде,
Учусь растить любовь и гнев.

Ты — мальчик на церковном клиросе,
Сказали про тебя шутя,
И не сумел ты, дескать, вырасти,
Состарившееся дитя.

Пусть так. В волнениях поколения
Ты — символ доброго всегда.
Твой крупный детский почерк гения
Мы разбираем без труда.

Как верно — точно, неожиданно и поэтично — это: «крупный детский почерк гения». Так не скажешь ни о Бальзаке, ни о Флобере, ни о другом каком-нибудь писателе-реалисте. Это относится именно к писателю романтического склада и именно и особенно к Виктору Гюго. Этот почерк принадлежит человеку естественному, здоровому, не охлажденному опытом, в книгах которого низкое злодейство и самоотверженное подвижничество, черное и белое выступают обнаженно, в чистом, без примесей, виде.

Если бы меня спросили, что же основное в книге Варлама Шаламова, что побуждает читать ее, возвращаться к ней и перечитывать запомнившиеся строки, я не обинуясь ответил бы — образ ее лирического героя. Этого героя отличает большая внутренняя убежденность. И оттого, что он убежден в слове, которое он произносит, он убеждает нас, читателей.

Л. ЛЕВИЦКИЙ.

Политика и наука

ЛЕНИНСКАЯ ВЕРА В НАРОД

В. И. Ленин о принципах социалистического хозяйствования.
«Экономика». М. 1964. 515 стр.

«Сейчас главное свое воздействие на международную революцию мы оказываем своей хозяйственной политикой. Все на Советскую Российскую республику смотрят, все трудящиеся во всех странах мира без всякого исключения и без всякого преувеличения. Это достигнуто. Замолчать, скрыть капиталисты ничего не могут, они больше всего лоят поэтому наши хозяйственные ошибки и нашу слабость. На это поприще борьба перенесена во всемирном масштабе. Решим мы эту задачу — и тогда мы выиграли в международном масштабе наверняка и окончательно. Поэтому вопросы хозяйственного строительства приобретают для нас значение совершенно исключительное».

Как злободневно звучат эти слова сегодня, а ведь они были произнесены Лениным сорок три года назад.

Очень важно было уметь убедить, уметь победить в гражданской войне. Но этого недостаточно. Надо еще уметь практически организовать, указывал Ленин, что значительно трудней, ибо надо по-новому организовать экономические основы жизни многих миллионов людей. То, о чем говорил Ленин на заре советской власти, входит в круг наших забот и сегодня.

Как хозяйствовать без помещиков и фабрикантов, без купцов и банкиров? Этот вопрос, вставший перед рабочими и крестьянами России 8 ноября 1917 года, вновь и вновь возникает — и будет возникать — перед трудящимися. С учетом своих условий на него ответили народы юго-восточной Европы и ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Если ко времени победы Октября общие проблемы перехода от капитализма к социализму были глубоко разработаны марксистской теорией, то о конкретных задачах организации хозяйства не было — и не могло быть — сказано почти ничего: для теоретического обобщения нужен был опыт практики. Ленин говорил в 1918 году, что не может припомнить ни одного выдающегося социалиста, который касался бы этих вопросов. А важность их исключительна! Достаточно напомнить слова Владимира

Ильича о том, что для построения социализма нам не хватает только одного: умения управлять. Перечисляя «две главные задачи, составляющие эпоху», Ленин на первое место ставит задачу «переделки нашего аппарата». Вот на какой уровень поднимал создатель нашего государства проблему организации управления!

Чего ждет читатель, взявший в руки сборник «В. И. Ленин о принципах социалистического хозяйствования»?

Вряд ли конкретных указаний на то, как построить работу такого-то предприятия или учреждения в 1964 году. Народ, строящий новую жизнь, не нуждается в рецептах, в детальных и потому неизбежно надуманных рекомендациях, которых было так много в сочинениях утопистов. Маркс, Энгельс, Ленин глубоко верили в творческие силы народов и потому, говоря о будущем, касались лишь самых кардинальных, решающих принципов; опираясь на эти основы, революционная практика находила и находит конкретные формы, более всего соответствующие особенностям каждого периода строительства коммунизма. Истекшее десятилетие дало этому множество примеров.

Составители и издательство поступили правильно, расположив труды Владимира Ильича в хронологическом порядке, а не разрывая их, скажем, по рубрикам: хозрасчет, планирование и т. д.

Читая, к примеру, статью о комитетах бедноты, мы заинтересуемся не тем, что сейчас делать с этими комитетами, их давно нет. Нас захватывает ленинский подход к проблеме, общие замечания, которые он высказывает. И тогда оказывается, что статья имеет прямейшее отношение и к созданию материально-технической базы коммунизма в СССР, и к строительству социализма на Кубе. Субботники были сорок пять лет назад, а «Великий почин», по поводу них написанный, вошел в учебники по философии и экономике и будет жить в веках.

Ориентироваться в сборнике во многом помогают обстоятельные, в меру подроб-

ные, примечания, довольно детальный предметный указатель и предисловие, написанное членом-корреспондентом Академии наук СССР А. И. Пашковым. Могут быть отдельные расхождения с автором предисловия, скажем, по определению принципов хозяйствования, но в целом надо отметить несомненные достоинства статьи: продуманный отбор основных черт, характерных для высказываний Ленина по экономическим проблемам; высокий уровень изложения и в то же время его доступность широкому кругу читателей. Экономно используя слова, автор предисловия сумел сказать о многом в сравнительно небольшой статье.

Было бы непросительным легкомыслием взять на себя смелость классифицировать идеи Ленина о социалистическом хозяйствовании, нумеровать их, устанавливать какую-то очередность в их значимости. Хочу назвать лишь те из них, которые более всего запечатлелись мне при чтении сборника. Другие читатели, возможно, в первую очередь назвали бы иное: творчество гения революции многогранно.

Социализм создается трудящимися, народом, руководимым коммунистической партией. Народ — творец истории, партия — передовая часть народа. Эти мысли проходят через всю книгу, составляют основу каждой речи, статьи, декрета. Практические меры по организации управления, увеличению производства, сохранению и правильному распределению продукции, укреплению трудовой дисциплины и тысячи других, впервые решаемых проблем строительства социализма нельзя придумать в кабинетах, сформулировать в тезисах, насадить сверху. Лишь миллионы трудящихся, поднятые и организованные большевиками, ежедневно работая, испытывая, ошибаясь и исправляя ошибки, могут — и будут — складывать по кирпичику здание коммунизма. Необходимо отбирать лучшее и распространять его, выяснять причины ошибок и по возможности избегать их.

В самые трудные, казалось, катастрофические для революции моменты Ленин видел выход лишь в одном — говорить народу правду. Не скрывать трудностей, а мобилизовать массы на их преодоление — вот ленинский стиль руководства.

Печально известный в период культа личности Сталина тезис о «винтиках» исходил из того, что коммунизм создается

не самим народом, а для народа кем-то, кому народ должен быть за это благодарен. Центр тяжести проблемы строительства социализма и коммунизма переносился из области производственных отношений в область производительных сил. Важно-де построить столько-то гидростанций и металлургических заводов, а как они строятся и кто их строит — не важно.

За последние десять лет коммунистическая партия восстановила ленинские нормы политической и экономической жизни в СССР. Но остатки догматических взглядов нет-нет, да и встретишь в экономических дискуссиях. Возражая против предложений о дальнейшем расширении прав директоров предприятий и о сокращении различных форм регламентации, некоторые экономисты утверждают, что нельзя «передоверять» хозяйственникам, что как ни поощрять их, а факты бесхозяйственности все равно останутся и т. д. Каждый, кто перечитает работы Ленина, согласится с тем, что Ленину бесконечно чуждо и враждебно было подобное представление о трудящихся, о народных массах. Как ни слабы были в то время ростки сознательной дисциплины, сколько ни было фактов «мешочничества», хищения — нигде ни слова нет у Ленина о том, что нельзя доверять трудящимся. Требуя беспощадной борьбы со спекулянтами, саботажниками, бракоделами, ворами и хулиганами, Ленин призывал именно народ вести эту борьбу. В постоянном, деловом привлечении каждого трудящегося к управлению страной Ленин видел единственное и решающее средство победы над Антантой, голодом, пережитками капитализма в сознании людей. Отсюда — ежедневные выступления на митингах, приемы ходоков, требования пропагандировать план ГОЭЛРО на каждой электростанции. Отсюда и поразительный оптимизм Владимира Ильича. Враг у самого сердца страны; нет хлеба, топлива, металла; нет опыта; огромная усталость от войны и разрухи... А вождь революционного пролетариата неколебимо уверен в победе. Мы сильны сознательностью масс, говорил он, мы выражаем их жизненные интересы. Они неистребимы, а поэтому революция непобедима. Все дело в том, чтобы правильно использовать исключительно благоприятные объективные исторические условия.

Считая трудящихся единственной силой, способной построить социализм, великий

революционный реалист Ленин несколько не идеализировал народ, не «выдумывал» его. «Старые социалисты-утописты воображали, что социализм можно построить с другими людьми, что они сначала воспитают хороших, чистеньких, прекрасно обученных людей и будут строить из них социализм. Мы всегда смеялись и говорили, что это кукольная игра, что это забава кисейных барышень от социализма, но не серьезная политика».

Обобщать опыт строительства нового, пропагандировать передовое — вот логический вывод, вытекающий из того, что социализм строится самим народом; вывод, о котором Ленин не устаёт говорить и писать. «...Пусть у нас будет распространенная в сотнях тысяч и миллионах экземпляров печать, знакомящая все население с образцовой постановкой дела в немногих опережающих других трудовых коммунах государства». «Мы должны тщательно изучать ростки нового, внимательнейшим образом относиться к ним, всячески помогать их росту и «ухаживать» за этими слабыми ростками, — писал Ленин в статье «Великий почин». — ...Если японский ученый, чтобы помочь людям победить сифилис, имел терпение испробовать 605 препаратов, пока он не выработал 606-ой, удовлетворяющий известным требованиям, препарат, то у тех, кто хочет решить задачу более трудную, победить капитализм, должно хватить настойчивости испробовать сотни и тысячи новых приемов, способов, средств борьбы для выработки наиболее пригодных из них». Об этом же идет речь в «Тезисах о производственной пропаганде», в статье «Об едином хозяйственном плане» и многих, многих других.

Не могу не остановиться на проекте наказа Совета труда и обороны местным советским учреждениям. Среди других дел Ленин особенно подчеркивает задачу «всероссийского осведомления и учета опыта» посредством издания на местах ежемесячных экономических журналов, из которых самые широкие слои трудящихся систематически узнавали бы, как развивается экономика, что можно позаимствовать хорошего. Надо ли доказывать, как важно было бы наладить выпуск таких журналов сегодня? У нас нет журнала, скажем, «Экономика промышленности» или «Экономия материалов», нет журналов по финансам промышленности и другим отраслям. Многие молодые экономисты иной раз годами ждут

возможности опубликовать статью или брошюру. Оказывается, могут быть убыточные шахты, но не должно быть ни одного убыточного научного сборника... Так издательства и финансовые органы понимают борьбу за рентабельность!

Рассматривая плановые и отчетные материалы, Ленин придавал особое значение их наглядности, доступности. «Одна из главных целей печатания отчетов это — сделать их доступными беспартийной массе и населению вообще». Изучать передовое и организовать соревнование за его повсеместное внедрение! — таков один из самых важных ленинских принципов социалистического хозяйствования.

С этих же позиций Ленин подходит к проблеме борьбы с бюрократизмом. «Борьба с бюрократизмом до конца, до полной победы над ним можно лишь тогда, когда все население будет участвовать в управлении». Так с самого начала вскрывается классовая сущность бюрократизма и потому невозможность его уничтожения, даже уменьшения, при капитализме.

Ленин показывает экономические корни бюрократизма: раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, отсутствие оборота между земледелием и промышленностью. Не та «Сухаревка» страшна, которая закрыта, а та, которая живет в душе и действительности каждого мелкого хозяина.

Только трудящийся народ, руководимый коммунистической партией, повседневно участвующий в руководстве государством, может уничтожить бюрократизм — таков один из выводов, напрашивающихся при чтении сборника.

Большое внимание уделено в работах Ленина организации планирования — этого принципиально нового (при капитализме невозможного), исключительно эффективного метода хозяйствования. Не буду цитировать широко известные высказывания о плане ГОЭЛРО, требования научной обоснованности и комплексности планов, сочетания в них реалистической трезвости с революционной решимостью. Подчеркну лишь принципиальное отношение Владимира Ильича к планированию. Он указывал, что нельзя работать без перспективного, реального плана. «Не бойтесь планов, рассчитанных на долгий ряд лет: без них хозяйственного возрождения не построишь, и давайте на местах налегать на их выполнение».

Ленин подробно разрабатывает и такие конкретные вопросы, как сочетание коллегияльности и единоначалия, демократизма и централизма, поощрения за успехи и наказания за халатность. О каждом из этих вопросов следовало бы написать особо и подробно.

И еще два соображения.

Нельзя не восторгаться блестящим применением материалистической диалектики в работах Ленина! Написавши это, я не сделал никакого открытия. Но я не мог без восхищения читать этот сборник и не могу не сказать об этом другим.

«Кооператив, как маленький островок в капиталистическом обществе, есть лавочка. Кооператив, если он охватывает все общество, в котором социализирована земля и национализированы фабрики и заводы, есть социализм» (стр. 59). «В 1789 году мелкие буржуа могли еще быть великими революционерами; в 1848 году они были смешны и жалки; в 1917—1921 годах они — отвратительные пособники реакции, прямые лакеи ее...» (стр. 359). «Оптовый купец, это как будто бы экономический тип, как небо

от земли далекий от коммунизма. Но это одно из таких именно противоречий, которое в живой жизни ведет от мелкого крестьянского хозяйства через государственный капитализм к социализму» (стр. 424). Можно цитировать без конца.

И второе — язык. Многие страницы просятся в хрестоматии для классного чтения. Пишущим на экономические темы и редакторам крайне полезно прочесть рецензируемую книгу и под этим углом зрения.

Мог ли этот сборник выйти в свет до 1953 года? Думаю, что нет. Многое в практике хозяйственного руководства противоречило тогда ленинским принципам и требованиям. Тем более закономерно опубликование избранных ленинских работ сегодня. Читатель и вольно и невольно сопоставляет мысли Ленина и практику коммунистического строительства в нашей стране и с огромным удовлетворением отмечает восстановление и творческое развитие, применительно к новым условиям, ленинских норм.

А. БИРМАН,

доктор экономических наук.

★

ПЛОД КРОПОТЛИВОГО ТРУДА

Большевистская периодическая печать (декабрь 1900 — октябрь 1917). Библиографический указатель. Политиздат, М. 1964. 256 стр.

Наше утро начинается с газеты. И подчас мы даже не замечаем, что рядом с названиями многих газет указано: основана в таком-то году. Все мы знаем: «Правда» основана В. И. Лениным в мае 1912 года. Недавно отметила свое шестидесятилетие «Циня» — орган ЦК компартии Латвии. Читинская газета «Забайкальский рабочий» появилась в бурные декабрьские дни 1905 года.

Большевистская печать имеет свою славную историю. В ее летописи немало выдающихся страниц. И самые волнующие из них связаны с именем Владимира Ильича Ленина. Вождь партии, глава государства, он, отвечая на вопрос о профессии, неизменно писал в анкетах: журналист, литератор...

У нас есть немало отдельных монографий, сборников, брошюр об истории советской журналистики. Но можно ли окинуть взором весь путь нашей печати до Октября? Над этим уже давно работали библиографы Института марксизма-ленинизма при ЦК

КПСС Л. И. Львова, Л. О. Ванханен, Е. М. Золотухина и Г. А. Николаева-Суровцева. И вот только что вышел в свет подготовленный ими библиографический указатель «Большевистская периодическая печать (декабрь 1900 — октябрь 1917)». Перед нами — труд, который перерос библиографические рамки, став подлинно научным исследованием.

На первый взгляд указатель выглядит скромно. Под каждым годом в единой порядковой нумерации перечислены все партийные периодические издания дооктябрьского периода — четыреста два названия. Но ведь за каждым номером, за каждым названием — уйма работы. Чтобы указать состав редколлегии, место издания, тираж, дать основные сведения о газете или журнале, надо было затратить много дней кропотливого труда.

Показателен объем сборника. По сравнению со справочником «Русская периодическая печать (1895 — октябрь 1917)», выпущенным Политиздатом в 1957 году, в ре-

цензурируемый указатель включено минимум на сто пятьдесят изданий больше. Уже одно это говорит о многом. Но широта охвата материала сочетается здесь с исчерпывающей полнотой и точностью сведений

За годы напряженной работы составители изучили огромное количество источников, относящихся к каждой газете в отдельности и к исторической эпохе в целом. Они располагали архивными данными, воспоминаниями, литературой. И разумеется, в первую очередь самими газетами и журналами — объектом исследования. Удалось разыскать многие редкие издания. Найдены и описаны, например, такие газеты, как «Ковровский рабочий», «Рабочий» (Новониколаевск). Получена фотокопия газеты «Буревестник», издававшейся батумской группой большевиков в 1917—1918 годах. Нашелся седьмой номер «Сибирского рабочего», тогда как раньше были известны только шесть номеров этой газеты.

В новый библиографический указатель включены совсем неизвестные ранее большевистские издания: «Подпольный голос», издававшийся в Родниках Костромской губернии, «Маньчжурский рабочий», «Рабочий листок Хамовнического подрайона».

Что же еще нового дали составители в своем труде помимо этого? Они установили, например, что «Искра» начала выходить в Лондоне не с апреля 1902 года, как считалось раньше, а с июля 1902 года, хотя редакция переехала туда еще в апреле. В той же аннотации отмечен такой малоизвестный факт: накануне II съезда РСДРП по предложению В. И. Ленина седьмым членом редакции «Искры» был привлечен П. А. Красиков. Это стало известно из его автобиографии, недавно полученной Центральным партийным архивом.

Кто издавал в Ростове-на-Дону в 1916 году газету «Пролетарское слово»? До последнего времени это было неясно. Благодаря стараниям составителей ныне известны имена активных сотрудников этой газеты, занимавшей твердую большевистскую позицию по вопросам войны, мира и революции.

Подобных новинок в указателе немало. Они свидетельствуют об упорном исследовательском поиске и высокой библиографической культуре составителей.

Почти в каждой аннотации — фамилии редакторов, активных корреспондентов. В указателе много имен. Мы знали и рань-

ше, что С. М. Киров, М. В. Фрунзе и Я. М. Свердлов были основателями газет на Кавказе, в Белоруссии и в Казани, что В. В. Воровский, М. С. Ольминский, А. В. Луначарский — выдающиеся большевистские публицисты. Но вот мы раскрываем новый указатель дореволюционной партийной периодики и видим там имена Л. Б. Красина и Б. М. Кнулянца, С. И. Гусева и М. М. Литвинова, В. П. Ногина и Е. М. Ярославского, М. Азизбекова и Н. Н. Нариманова и многих других. Список этот велик. Не было ни одного видного деятеля партии, ни одного руководителя местной партийной организации, которые бы не занимались вплотную делами газеты, не писали в нее, не работали с ее читателями и рабкорами. Ценить высокое, вдохновляющее слово большевистской правды, умело использовать его в агитации и пропаганде — это всегда было в лучших традициях КПСС. Этому учились и учатся наши партийные кадры у великого Ленина.

Материалы указателя восстанавливают подлинную картину участия профессиональных революционеров в партийной печати, искажавшуюся в период культа личности. Сколько было тогда написано о «Брэдзоле!» Сведения указателя ясны и исчерпывающи: «Организатор и редактор газеты — В. З. Кецховели». Отмечается участие в ней А. С. Енукидзе, А. Г. Цулукидзе и других.

Немало других полезных сведений содержит библиографический указатель. Из него, в частности, можно узнать, сколько номеров данного издания хранится в той или иной библиотеке.

Несколько слов в связи с этим о перепечатках газет. Известно, что текст газеты «Искра» (№ 1—52) был издан в 1925—1929 годах с предисловием П. Н. Лепешинского и вступительной статьей Н. К. Крупской. В 1933—1935 годах был издан текст «Правды». Эти издания стали библиографической редкостью, и пора подумать о переиздании их.

Библиографический указатель, как и всякий справочник, — чтение особого рода. И все-таки оно увлекает, ибо дает представление об истории предмета, его размахе. Путеводитель к дооктябрьским страницам летописи нашей партийной периодики — издание ценное и полезное.

Ю. ШАРАПОВ,

кандидат исторических наук.

ЗАНОВО РАССКАЗАННАЯ ЖИЗНЬ

В. М. Далин. Грахх Бабеф. Накануне и во время Великой французской революции (1785—1794). Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 616 стр.

Вот уже более полутора столетий личность и деятельность Грахха Бабефа привлекает к себе пристальное внимание историков. Литература о нем огромна. Исследователи французской революции и истории социализма не могли пройти мимо Бабефа. Одни писали о нем со злобой, другие преклонялись.

Большой интерес к Бабефу и бабувизму проявили и основатели научного коммунизма Маркс и Энгельс. В «Манифесте Коммунистической партии» они дали ему очень высокую оценку. О сочинениях Бабефа они отзываются как о «литературе, которая во всех великих революциях нового времени отражала требования пролетариата». Разумеется, Маркс и Энгельс подчеркивали при этом примитивный, уравнилельный характер бабувистского коммунизма.

Интерес к Бабефу среди французских историков и политических деятелей особенно усилился в годы подъема социалистического движения во Франции: Ж. Гед, В. Адвиеэль, А. Эспинас, Жан Жорес, Г. Девилль, А. Тома (а позднее М. Домманже, А. Матъез, Ж. Лефевр) уделили много места в своих работах Грахху Бабефу.

Вполне естественно то огромное внимание, которое проявляется к Бабефу и бабувизму в Советской стране. Достаточно указать на работы В. П. Волгина, П. П. Щеголева, А. Г. Пригожина, К. П. Добролюбовского и других.

Казалось бы, тема «Бабеф и бабувизм» уже была исследована до предела, освещена всесторонне, исчерпана. Но это не так. Работа профессора Далина проливает совершенно новый свет на многие стороны жизни и деятельности Бабефа.

Книга построена на личном рукописном архиве Бабефа. Этот поразительно интересный архив лишь один раз, восемьдесят лет назад, побывал в руках исследователя-дилетанта В. Адвиеэля. Тогда еще не было ни научной истории революции, ни настоящей истории социализма. Свою книгу Адвиеэль издал в 1884 году тиражом всего в триста экземпляров, а незадолго до этого архив Бабефа по частям продали с торгов.

Усилиями института Маркса—Энгельса этот архив был разыскан и приобретен около сорока лет назад. О необычайном богатстве коллекции говорит тот факт, что от-

дельные части исследования В. М. Далина, публиковавшиеся в наших журналах, немедленно были переведены на французский и немецкий языки и вызвали у читателей огромный интерес.

Архив дает возможность представить фигуру Бабефа во всей ее исторической величине еще до создания им «Заговора равных». Мы очень мало знали о Бабефе первых лет французской революции и только теперь, когда архив разработан историком-коммунистом, мы по-настоящему узнаем раннего Бабефа.

Можно смело утверждать, что примерно на три четверти материал книги не был известен даже специалистам-историкам. Так, глава о роли Бабефа как вожака аграрного движения—это почти совершенно новая страница. Ни Робеспьер, ни тем более Дантон не имели своей самостоятельной аграрной программы. Показательно, что Бабеф уже в первые годы революции выдвигает исключительно смелые предложения—полная ликвидация феодальных прав на землю без какого бы то ни было выкупа, не распродажа «бандам капиталистов» и спекулянтов конфискованных церковных имуществ, а раздача их в «долгосрочную аренду» прежде всего малоимущим крестьянам; раздел всех общинных земель, но не в собственность, а в пользование, конфискация не только церковной, но и всей крупной феодальной собственности.

На основе изучения архива исследователь показал Бабефа не только как идеолога, но и как практического руководителя аграрного движения. В. М. Далин отмечает поразительный интерес Бабефа к тем, кого он сам называет *les classes salariées*—к «классам, получающим заработную плату». Это, пожалуй, наиболее впечатляющие главы в исследовании.

В «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс с гениальной проницательностью определили место Бабефа и его произведений в ряду «пролетарской литературы». Теперь, на основании архива Бабефа—десятков впервые публикуемых его рукописей и писем, это положение Манифеста полностью подтверждено.

Исследователь детально показывает, как развивается и оформляется коммунистиче-

ское мировоззрение Бабефа-политика, начиная с предреволюционных лет. Впервые автор обнародовал очень обширное письмо Бабефа от июня 1786 года — проект «коллективных ферм», о котором раньше ничего не было известно. Оно говорит о том, что еще в предреволюционные годы Бабеф становится убежденным сторонником идеи общества «совершенного равенства».

В годы революции Бабеф обнаруживает качества политика-тактика; он остается убежденнейшим сторонником коммунизма, но ищет переходные пути, отстаивает частичные требования; сознательно, как показывает его письмо к Куле от 1791 года, выдвигает на первый план конкретные задачи на пути к своему идеалу — «заранее намеченной» цели, которые приобретают у него все более ясные очертания.

Интересен анализ отношения Бабефа к виднейшим деятелям революции — Робеспьеру, Дантону, Марату, характерны восторженные отзывы о Дантоне в 1790 году, когда он казался вождем народного движения парижских секций. Положителен отзыв Бабефа о Робеспьере еще за три года до революции. При всем огромном уважении Бабефа к Робеспьеру он позднее подчеркивал «сухую чопорность» Робеспьера в отношении «судьбы бедняка». И даже от «друга народа» Марата Бабеф требует большего внимания к центральной задаче революции, которой он считает обеспечение «благополучия неимущего класса». На протяжении всей книги автор прослеживает, как Бабеф отстаивал интересы «неимущего класса». Это понимание революции резко отличает его от всех корифеев французской революции.

В распоряжении исследователя была переписка Бабефа с семьей. Она раскрывает перед нами потрясающую нужду, с которой боролась все годы семья Бабефа, показывает его благородные человеческие качества. В этих письмах поражают стоицизм Бабефа, его революционная твердость и готовность идти на любые жертвы во имя своих непоколебимых убеждений. Эти письма, написанные в различные периоды — вскоре после взятия Бастилии и сейчас же после победы 31 мая, из Вандомской тюрьмы и тюрем Парижа. Арраса и других, письма, впервые ставшие известными теперь в этой пуб-

ликация, не могут не захватить читателя. Бабеф принадлежит к тому типу людей, которые наиболее страстно и беззаветно отстаивали коммунистический идеал и безгранично верили в возможность осуществления общества «совершенного равенства» (хотя понимали это утопически).

Автор довел свое интересное исследование лишь до 9-го термидора. Таким образом, последний, самый яркий период деятельности Бабефа остался за пределами книги. Может быть, это оправдано тем, что последний период нашел в исторической литературе наиболее полное отражение. Автор же видел свою главную задачу в том, чтобы на основе новых, до сих пор не опубликованных архивных материалов осветить те этапы жизни и политической деятельности Бабефа, которые были неизвестны и совершенно не исследованы. И, на мой взгляд, с этой задачей он справился блестяще. Перед читателем встает новый, возрожденный Бабеф.

Незадолго до своей казни Бабеф писал Лепелетье из башни Тампль в 1796 году: «Когда мое тело будет предано земле, от меня останется только множество планов, записей, набросков демократических и революционных произведений, посвященных одной и той же важной цели, человеколюбивой системе, за которую я умираю. Моя жена может собрать их и когда-нибудь, когда стихнут преследования, когда люди, возможно, вздохнут свободнее и смогут возложить цветы на наши могилы, когда снова задумаются над средствами обеспечения человечеству счастья, которое мы предлагали, ты разыщешь эти клочки бумаги и представишь всем последователям Равенства, всем нашим друзьям, хранящим в сердцах наши принципы... собрание различных фрагментов, содержащих то, что развращенные современники называют моими мечтами».

Пожеланию Бабефа суждено было осуществиться. Ныне в Стране Советов осуществляется «челолюбивая система», о которой мечтал в восемнадцатом веке этот замечательный революционер. И совершенно закономерно, что «множество планов и набросков» Бабефа хранится геперь в Москве рядом с рукописным наследием Маркса, Энгельса, Ленина.

Полина ВИНОГРАДСКАЯ.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ СУНЬ ЯТ-СЕНА

С. Л. Тихвинский. Сунь Ят-сен. Внешнеполитические воззрения и практика (Из истории национально-освободительной борьбы китайского народа 1885—1925 гг.). «Международные отношения». М. 1964. 355 стр.

Геркулесом Китая назвал Сунь Ят-сена А. М. Горький. Вся жизнь этого великого китайца была поистине геркулесовым подвигом, совершенным во имя свободы Китая и братства между народами. Сунь Ят-сен прожил меньше шестидесяти лет, из которых четыре десятилетия отдал политической деятельности, революционной борьбе за освобождение своего народа от чужеземных и внутренних угнетателей.

Имя Сунь Ят-сена широко известно в нашей стране. В. И. Ленин назвал его революционным демократом, полным благородства и героизма. Ленин отмечал в 1912 году общность интересов народов России и Китая в их совместной борьбе против империализма, за освобождение людей труда от всякого гнета — и национального и социального. Чувства братской солидарности русских большевиков к руководимым Сунь Ят-сеном китайским борцам нашли выражение в написанной Лениным резолюции Пражской конференции РСДРП, которая приветствовала «революционеров-республиканцев Китая» и свидетельствовала «о глубоком воодушевлении и полной симпатии, с которой пролетариат России следит за успехами революционного народа в Китае».

В двадцатых годах десятки и сотни тысяч советских людей были членами общества «Руки прочь от Китая», участвовали в сборе средств в помощь бастующим рабочим Шанхая и Гонконга.

«Мы не должны забывать, что свободная Россия выдвинула лозунг «Руки прочь от Китая!» — писал Сунь Ят-сен в октябре 1924 года в обращении «К населению Китая». — ...Для лозунгов, раздающихся из Москвы, расстояний не существует. Молниеносно они облетают всю землю и находят отклик в сердце каждого труженика...»

В нашей стране есть немалая литература о Сунь Ят-сене: книги, брошюры, воспоминания, диссертации и научные статьи. И вот перед нами новое монографическое исследование. С. Л. Тихвинский много лет изучал вопросы внешней политики Сунь Ят-сена, его роль в истории освободительной борьбы китайского народа, в развитии дружбы между народами России и Китая. Автор использовал многочисленные источ-

ники, к которым прежде всего относятся произведения самого Сунь Ят-сена — книги, статьи, воззвания, выступления, письма, составленные им документы, а также воспоминания его соратников, архивные данные, пресса.

Опираясь на то, что было сделано советскими китаеводами раньше, автор пошел дальше и создал первое всестороннее исследование внешнеполитических воззрений и внешней политики Сунь Ят-сена.

Революционная биография Сунь Ят-сена отчетливо делится на две части: рубежом для него, как и для многих других политических деятелей, стала пролетарская революция в России. Будучи буржуазным революционером, Сунь Ят-сен не сразу стал, говоря словами В. И. Ленина, достойным товарищем «великих проповедников и великих деятелей конца XVIII века во Франции». В начале своей политической деятельности Сунь Ят-сен наивно надеялся на поддержку крупнейшего сановника Ли Хун-чжана. Развернув героическую борьбу против маньчжурской династии Цин, он долгое время питал иллюзии в отношении позиции империалистических держав, рассчитывая на помощь то Англии, то Франции, то Японии.

С. Л. Тихвинский показывает внешнюю политику Сунь Ят-сена во всей ее противоречивости. Он отмечает, что, горячо сочувствуя национально-освободительной борьбе народов Востока, осуждая агрессию капиталистических держав, Сунь Ят-сен «не осознавал еще необходимости выдвижения лозунгов борьбы ни с колониальной системой империализма в целом, ни с империалистическими державами, стоявшими за спиной реакционного цинского правительства в Китае».

Тем ярче и рельефнее виден перелом в политической судьбе Сунь Ят-сена после победы социалистической революции в нашей стране. Нельзя, разумеется, представлять дело упрощенно: произошла Октябрьская революция, и Сунь Ят-сен сразу же отказался от своих иллюзий и преодолел все ошибки. Автор книги показывает, как шаг за шагом Сунь Ят-сен отбрасывал буржуазные предрассудки, преодолевал веру в «за-

падную демократию», убеждался в беспочвенности расчетов на поддержку одних китайских милитаристов в борьбе с другими. Потребовалось еще пройти немало испытаний, чтобы Сунь Ят-сен твердо уверовал в то, что он выразил в следующих знаменательных словах, каллиграфически, по китайскому обычаю, выписанных им в 1924 году: «Отныне в нашей революции нельзя добиться успеха, не учась у русских». Он был преисполнен огромного уважения к В. И. Ленину, которого называл политическим деятелем высшего типа, вождем-творцом.

Сунь Ят-сен был подготовлен к восприятию влияния Октября еще русской революцией 1905 года, положившей начало эпохе пробуждения Азии, в том числе и Китая.

Сунь Ят-сен неколебимо отстаивал необходимость революционного союза китайского и русского народов в борьбе против империализма. И в этом его величайшая заслуга. В главах книги С. Л. Тихвинского, посвященных послеоктябрьскому периоду деятельности Сунь Ят-сена, это показано чрезвычайно ярко.

«Многие из внешнеполитических заявлений и документов Сунь Ят-сена и сегодня не утратили своей актуальности и остроты,— с полным основанием утверждает автор.— К их числу относятся многочисленные выступления Сунь Ят-сена о советско-китайской дружбе, о сплочении всех угнетенных империализмом народов мира и их тесном сотрудничестве с Советским Союзом, с международным рабочим движением в совместной борьбе с империалистической системой колониального гнета и др.»

Монография С. Л. Тихвинского дает представление о том, как В. И. Ленин, советские коммунисты помогли Сунь Ят-сену превратиться в выдающегося революционера новой эпохи, эпохи мировой социалистической революции. Читатель знакомится с ролью в этом деле известных советских дипломатов, политических работников, деятелей Красной Армии — Г. В. Чичерина, Л. М. Карахана, А. А. Иоффе, В. К. Блюхера, М. М. Бородина, Г. Н. Войтинского, С. А. Далина и многих других. В книге говорится об одном из первых китайских марксистов и основателей КПК Ли Дачжао, о ближайшем соратнике Сунь Ят-сена Ляо Чжун-кае и о других китайских революционерах, помогавших становлению советско-китайской дружбы.

Выступая за союз с Советским Союзом,

Сунь Ят-сен решительно отбрасывал клевету империалистов о «руке Москвы», преодолевая антикоммунистические предрассудки многих старых гоминдановцев.

Различны конкретные особенности освободительной борьбы народов той или иной страны Азии и Африки. Но есть и общие закономерности национально-колониальных революций, к которым в первую очередь относится объективная необходимость их союза с социалистическими силами, прежде всего — с Советским Союзом, а также сплочение в единый фронт всех антиимпериалистических сил внутри данной страны. Именно такую политику отстаивал Сунь Ят-сен сорок лет назад.

Преодолевая буржуазно-националистические ошибки, он выступал против расистского, шовинистического толкования пан-азиатизма, боролся за антиимпериалистическое сплочение азиатских народов в союзе с СССР.

Колонизаторы ненавидели Сунь Ят-сена. Они откровенно радовались его смерти, а империалистическая историография всячески стремится извратить и перечеркнуть революционный смысл его жизни. С. Л. Тихвинский умело вскрывает ухищрения буржуазных историков. «В конце своего жизненного пути,— пишет он,— Сунь Ят-сен сумел преодолеть и отбросить в сторону ограниченные буржуазно-националистические концепции так называемой «расовой солидарности» стран Азии и во весь голос заявил о поддержке принципа неразрывной связи национально-освободительной борьбы народов, угнетаемых империализмом, с борьбой, которая велась Советским Союзом за претворение в жизнь ленинских предначертаний, с борьбой международного пролетариата за уничтожение всей системы империалистической эксплуатации. Неоднократно в своих последних выступлениях он подчеркивал огромное значение теснейшего союза Китая и всех угнетенных империализмом народов мира с первым в мире государством Советов. В этом — главный итог всей сорокалетней эволюции внешнеполитических воззрений и практики великого китайского революционера-демократа».

Последними документами Сунь Ят-сена были его Завещание партии гоминдан и Письмо Центральному Исполнительному Комитету СССР. Обращаясь к ЦИКу Советского Союза, Сунь Ят-сен писал: «Я

оставляю после себя партию, которая, как я всегда надеялся, будет связана с вами в исторической работе над окончательным освобождением Китая и других эксплуатируемых стран от этого империалистического строя».

Партия гоминьдан, которой Сунь Ят-сен поручил «быть в постоянном контакте» с Советским Союзом, изменила заветам своего вождя. Эта измена была закономерным результатом перехода Чан Кай-ши, Ван Цзин-вэя и других гоминьдановских лидеров на контрреволюционные позиции. Но трудящиеся массы Китая всегда видели в нашей стране друга и союзника в борьбе против империализма. В еще большей мере, чем при жизни Сунь Ят-сена, советский народ оказывал братскую помощь народу Китая в последующие периоды освободительной борьбы и после исторической победы народной революции в Китае. Как же выглядят те китайские деятели, которые в наши дни, называя себя марксистами-ленинцами, клеветают на советский народ, на нашу партию, все дальше отходят от принципов пролетарского интернационализма, отказываются от своих прошлых заявлений, от революционного наследия Сунь Ят-сена, завещавшего своему народу развивать союз и сплоченность с Советским Союзом! Попытки подорвать советско-

китайскую дружбу предпринимались и в прошлом, и каждый раз они кончались провалом, потому что коренные интересы обоих народов, интересы мирового освободительного движения требуют не разъединения, а объединения всех антиимпериалистических, антикапиталистических сил. Это понимал Сунь Ят-сен, в этом его историческая заслуга.

Выход в свет серьезного научного исследования С. Л. Тихвинского о Сунь Ят-сене, как и других хороших работ о Китае, изданных в последнее время (Л. П. Делюсина — «Борьба Коммунистической партии Китая за разрешение аграрного вопроса», Н. К. Чеканова — «Восстание няньцзуней в Китае», М. Е. Шнейдера — «Творческий путь Цюй Цю-бо» и других), — одно из свидетельств уважения нашего народа к революционной истории Китая, к выдающимся его сынам.

Когда эта рецензия была уже написана, в книжных магазинах появился однотомник избранных произведений Сунь Ят-сена. Это первое в нашей стране издание, в котором собраны основные труды и документы Сунь Ят-сена, и оно еще раз свидетельствует о глубоком интересе советских людей к истории революционной борьбы китайского народа.

М. ЮРЬЕВ.

Необходимая реплика

В большой статье «Живая жизнь и нормативность», опубликованной в седьмой книжке журнала «Москва», критик Г. Бровман вступил в спор с моими суждениями по поводу нормативной и аналитической критики.

«Было бы неверно думать,— предупредил он,— что отдельные ложные концепции современных критиков предстают перед нами в обнаженном виде. Иногда они скрыты за справедливой полемикой против мертвящих канонов вульгарного социологизма, иллюстративности...»

Г. Бровман дает нам понять, что если бы не его бдительность и умение «обнажать» то, что современные критики прячут «под видом», кто его знает, к чему бы все это повело... С таким начавшим уже переводить-

ся у нас сортом критики даже полемизировать как-то неловко.

Вряд ли стоило бы поэтому затевать спор со статьей Г. Бровмана, если бы он неожиданно не попытался представить своим единомышленником Н. А. Добролюбова. В своей статье («Новый мир», № 1, 1964) я не однажды вспоминал революционных демократов, говорил о «реальной критике» Добролюбова, и это побудило моего оппонента именно у него искать возможных аргументов против моей позиции.

«В. Лакшин ссылается на Добролюбова,— пишет Г. Бровман,— и даже на теорию отражения Ленина, свои же пассажи называет «замами материалистической эстетики». Но ничего общего сии «открытия» не имеют ни с марксистской эстетикой, ни с ленинской

теорией отражения, ни с Добролюбовым, который дал нам великолепные образцы активной, действенной, социальной, публицистической критики и никогда не разделял ее искусственно на нормативную и аналитическую.

«Критика должна служить приложением вечных законов искусства к частному произведению,— цитирует Г. Бровман Добролюбова,— должна, как в зеркале, представить достоинства и недостатки автора, указать ему верный путь, а читателям — места, которыми они должны или не должны восхищаться». Указать писателю путь, руководствуясь «вечными законами искусства», а не только «исходя из свидетельства художника», как утверждает В. Лакшин. Правда, и во времена Добролюбова находились люди, возражавшие против такого назначения критики. «Мы знаем,— писал Добролюбов,— что чистые эстетики сейчас же обвинят нас в стремлении навязывать автору свои мнения и предписывать задачи его таланту». Таких «обвинителей» Добролюбов называл «чувствительными барышнями...» («Москва», № 7, 1964, стр. 194).

Стоп! Тут что-то не то... Не похоже на Добролюбова, чтобы он признавался в стремлении «навязывать автору свои мнения и предписывать задачи его таланту». Помните, обычно он говорил прямо противоположное. Надо открыть статью «Когда же придет настоящий день?» и прочитать подряд несколько строк: «Мы знаем, что чистые эстетики сейчас же обвинят нас в стремлении навязывать автору свои мнения и предписывать задачи его таланту. Поэтому оговоримся, хоть это и скучно. Нет, мы ничего автору не навязываем, мы заранее говорим, что не знаем, с какой целью, вследствие каких предварительных соображений изобразил он историю, составляющую содержание повести «Накануне». Для нас не столько важно то, что хотел сказать автор, сколько то, что сказалось им, хотя бы и не намеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни».

Вот так так! Выходит, что к людям, которые, по словам Г. Бровмана, и во времена Добролюбова возражали «против такого назначения критики», надо отнести прежде всего самого Добролюбова... Это побуждает нас ближе присмотреться и к первой добролюбовской цитате, на которую опирается Г. Бровман. Терпеливо прочитаем ее второй раз: «Критика должна служить приложению

вечных законов искусства к частному произведению, должна, как в зеркале, представить достоинства и недостатки автора, указать ему верный путь, а читателям — места, которыми они должны или не должны восхищаться».

Неужели это Добролюбов? Неужели это он, неизменно смеявшийся над эстетической нормативностью и схоластическими предписаниями в искусстве, советует здесь критике указывать автору «верный путь, а читателям — места, которыми они должны или не должны восхищаться»? Неужели это им, Добролюбовым, выдвинуто требование к критике — «служить приложением вечных законов искусства к частному произведению»?

Трудно поверить в это. Ведь нам хорошо памяты другие слова Добролюбова: «Мы удивляемся, как почтенные люди решаются признавать за критику такую ничтожную, такую унижительную роль. Ведь ограничивая ее приложением «вечных и общих» законов искусства к частным и временным явлениям, через это самое осуждают искусство на неподвижность, а критике дают совершенно приказное и полицейское значение». Пусть самого Г. Бровмана не смущает такое понимание задач критики с точки зрения «вечных и общих» законов искусства, но как быть с приведенной им цитатой из Добролюбова? Неужели великий критик способен был защищать одновременно тезисы прямо противоположные?

Разыскиваем то место из статьи Добролюбова «Забитые люди», откуда почерпнул Г. Бровман свою цитату,— и вздыхаем облегченно. Нет, Добролюбов верен себе.

Он начинает с пародии на обычные возражения «эстетических критиков» («Критику предстоит художественный вопрос, существенно важный для истории нашей литературы,— а он собирается толковать о забитых людях — предмете даже вовсе не эстетическом») и, приведя их, замечает:

«Всякий раз, как я начинаю писать критическую статью, меня начинают осуждать требования и возгласы подобного рода. По мнению одного критика, мне от них нет другого спасения, как признаться откровенно, что решение вопросов подобной важности мне не под силу. Я бы, пожалуй, и готов признаться; но ведь это, во-первых, для самолюбия обидно, а, во-вторых — зачем же мне клепать на себя? Разумеется, критика должна служить приложением вечных зако-

нов искусства к частному произведению, должна, как в зеркале, представить достоинства и недостатки автора, указать ему верный путь, а читателям — места, которыми они должны или не должны восхищаться. Такова ведь должна быть настоящая критика? Да, но знаете ли, что чистая теория критики так же точно неприложима бывает, как теория о том, как сделаться богатым и счастливым или как приобрести любовь женщин».

Бедный Г. Бровман! Он всерьез принял ироническое изложение Добролюбовым «чистой теории критики» и поднял его на щит. Он слишком рано прервал свое чтение статьи «Забитые люди» и не успел узнать, что «вечными законами искусства» советовали критике руководиться «г. Анненков и все его последователи». Ряды этих последователей и пополнил собою внезапно Г. Бровман.

Мне было бы легко теперь поиронизировать над тем, как Г. Бровман невзначай оказался защитником теории «искусства для искусства» и тем подтвердил мою догадку, что не все наши критики знакомы с азами материалистической эстетики.

Но я оставлю иронию в стороне и скажу серьезно. Дело не в тайной приверженности Г. Бровмана к «эстетической критике», дело всего-навсего в его идейно-философской неразборчивости. Читаешь статью в журнале «Москва», и шум стоит в ушах от словесной трескотни: Добролюбов, «который дал нам великолепные образцы активной, действительной, социальной, публицистической критики...». И в то же время полная беззаботность относительно содержания идей, выхолащанность слов и понятий, позволяющая идеалистические концепции принимать за материалистические, эстетическую критику — за публицистическую, противников Добролюбова — за самого Добролюбова.

Не входя в психологические объяснения конфуза, приключившегося с Бровманом-полюемистом, я все же склонен считать тут основной причиной то, что критиком владело желание во что бы то ни стало «обнажить» чьи-то заблуждения и ошибки, а не желание выявить истину. Обнажилась же при этом полная неподготовленность критика к честному, обоснованному спору.

Читатель понимает, что раз уж Г. Бровман так свободно обращается с Добролюбо-

вым, смешно было бы мне претендовать на точное изложение и истолкование моей статьи. Но один пример, любопытный в методологическом отношении, я все-таки позволю себе привести.

Г. Бровман цитирует мою статью: «Коротко говоря, нормативный подход состоит в том, что у критика еще до знакомства с произведением, о котором он будет судить, готовы понятия обо всем, что касается этого произведения. Критик заранее знает, как должен выглядеть основной герой, чем должен завершаться конфликт, в каких пропорциях должны находиться светлые и темные краски, каков при этом должен быть «фон» и т. п.». Приведя эти строки, Г. Бровман начинает защищать «нормативного» критика, «обнажая» мою мысль таким образом: «Можно ли говорить о партийности критика, если он, по мнению В. Лакшина, не должен иметь никаких «готовых понятий» «до знакомства с произведением, о котором он будет судить».

Позвольте, позвольте... Только что была приведена моя цитата, из которой следовало, что негоже критику иметь готовые понятия о произведении, которого он не читал. Но вот та же фраза разрезана, вывернута наизнанку и при помощи безобидного словечка «никаких» ей придан вовсе не безобидный смысл: критик, не имеющий «никаких «готовых понятий», не имеет идеологии, мировоззрения. Вот куда клонит Г. Бровман, пытаясь поставить под сомнение партийность критика, с которым он полемизирует.

Я не стал бы утомлять читателя разбором всей этой словесной казуистики, если бы она сводилась к частной оплошности Г. Бровмана. К сожалению, это не так.

Мы приветствуем любой творческий спор, когда он ведется по существу, когда на аргументы отвечают аргументами и, по меньшей мере, добросовестно обращаются с цитатами. Критике — серьезной, партийной, аналитической — еще многое предстоит сделать в нашей литературе. И тем досаднее казус с Г. Бровманом, заставляющий сожалеть о том, как низок еще профессиональный уровень некоторых критиков, как слаба их истинная, а не словесно-бутафорская идейная вооруженность.

В. ЛАКШИН.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ДВА ПИСЬМА Н. П. ГОРБУНОВА

В. И. ЛЕНИНУ

Перед нами два письма, два интересных документа 1918 года, от которых веет молодостью Советской республики — ей недавно исполнился год. Молодо и дело (организация научно-технических исследований для нужд народного хозяйства), о котором пишет Н. П. Горбунов Председателю Совнаркома, молод и сам автор писем, обращающийся за советом и поддержкой к В. И. Ленину. «Мне очень нужна сейчас Ваша моральная поддержка...», «...мне очень нужно, для меня самого нужно, чтобы Вы совершенно откровенно, не думая о том, как это на мне отзовется, сказали бы — нужна ли работа, которую я делаю; правильно ли я трачу свою энергию». И Владимир Ильич немедленно откликается на эту просьбу, оказывает поддержку молодому работнику, ободряет его.

Кто же автор этих писем и почему он счел возможным обращаться со своими сомнениями и тревогами прямо к главе Советского правительства? Автор писем — двадцатилетний заведующий научно-техническим отделом Высшего Совета Народного Хозяйства (организованного по ленинскому декрету в августе 1918 года) Николай Петрович Горбунов, который позднее станет широко известным как управляющий делами Совнаркома (1921—1929), а затем академик, непререкаемый секретарь Академии наук СССР.

С первых дней организации Советского правительства Н. П. Горбунов сотрудничал с В. И. Лениным, работал секретарем Совета Народных Комиссаров. Молодой инженер Н. П. Горбунов близко видел, сколько сил затрачивал В. И. Ленин, чтобы заинтересовать старых специалистов перспективой подъема культуры в условиях диктатуры пролетариата, как Ленин был внимателен к запросам деятелей науки и техники, сколько заботы проявлял он о работе научных учреждений, об ученых и изобретателях.

В. И. Ленин угадал в Н. П. Горбунове организационный дар, заметил его умение работать с интеллигенцией, его понимание больших, общегосударственных задач. И когда летом 1918 года возникла идея организации научно-технического центра при Высшем Совете Народного Хозяйства, он

поручил своему молодому сотруднику подготовить соответствующий проект правительственного постановления, а затем предложил Н. П. Горбунова на пост руководителя НТО ВСНХ, пообещав ему всяческую поддержку. Член коллегии этого отдела Н. М. Федоровский, принимавший участие в подготовке проекта постановления Совнаркома, в воспоминаниях о В. И. Ленине отметил: «Самый проект организации (НТО ВСНХ.— И. С.), представленный Н. П. Горбуновым, переработан согласно непосредственным указаниям Владимира Ильича и затем принят в Совете Народных Комиссаров с целым рядом внесенных им тут же поправок. За работой научно-технического отдела Владимир Ильич внимательно следил и даже дал отделу право непосредственно входить в Совнарком со всеми вопросами научно-технического характера» (Н. Федоровский. Ленин и научные исследования СССР, «Хочу все знать», № 1, 1924, стр. 10).

С огромной энергией принялся Н. П. Горбунов выполнять ленинское задание. Первые успехи радовали и вселяли уверенность в работе. Но вот кто-то из товарищей, пользующихся уважением у Н. П. Горбунова, выражает сомнение в целесообразности затраты сил именно на этом участке государственной деятельности. И молодой работник весь настораживается. Дело не шуточное! Ведь страна объявлена военным лагерем. Каждый коммунист должен подумывать о наилучшем приложении своих сил. Сознание патриотического долга коммуниста и советского гражданина заставляют Н. П. Горбунова тревожить В. И. Ленина.

С гордостью сообщает молодой коммунист Владимиру Ильичу: «Старые профессора и ученые приходят к нам и загораются творческой энергией... Сдвинулась наука!»

Н. П. Горбунов пишет Ленину, что читал опубликованную в «Правде» его статью — «Ценные признания Питирима Сорокина» и полностью осознает значение и смысл ленинского призыва: уметь использовать поворот среди интеллигенции в нашу сторону. Он глубоко понял, что это «одна из важнейших задач теперешнего момента, задача всех советских деятелей, соприкаса-

ющихся с «интеллигенцией», задача всех агитаторов, пропагандистов и организаторов» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 28, стр. 172).

В. И. Ленин немедленно отозвался на просьбу Н. П. Горбунова, изложенную в его письме от 28 ноября (на письме имеется пометка: отвечено 29 ноября). К сожалению, это письмо В. И. Ленина еще не разыскано. Но по тому отклику, который оно вызвало у адресата, мы можем составить представление о его содержании.

Владимир Ильич, по-видимому, встал на сторону Н. П. Горбунова и подтвердил правильность его позиции: работа научно-технического отдела ВСНХ, конечно же, нужна республике.

«Письмо Ваше меня очень ободрило и зарядило новой энергией,— с нескрываемой радостью сообщает Н. П. Горбунов 7 декабря В. И. Ленину.— Спасибо! И тут же приносит извинение за задержку представляемого доклада о работе НТО, который, как можно понять, запрашивал Владимир Ильич.

Долгое время доклад этот был неизвестен. Теперь, когда он разыскан в архивных фондах Совнаркома, можно видеть, насколько плодотворна была идея создания общегосударственного научно-технического центра.

Документ, представленный В. И. Ленину, назывался «Кратким докладом». Но в нем была дана подробная справка (объемом в пятьдесят машинописных страниц) о структуре и деятельности отдела, упомянуты фамилии ученых и техников, привлеченных к работе в научных коллегиях и в советах экспертов, перечислены учреждения, которые входят в отдел, вновь созданы и организируются. «Аэродинамический институт — организован НТО в середине ноября 1918 г.» — читаем мы в докладе о всемирно известном теперь ЦАГИ. В докладе упоминаются руководитель института — Н. Е. Жуковский, заведующий авиационным отделом инженер-механик А. Н. Туполев. Намечены к организации институты химически чистых реактивов, керамической, прикладной химии, удобрений, текстильный, цементная и стекольно-фарфоровая испытательная станция.

В докладе был представлен обширный план издания научно-технических исследований, обзоров иностранной научно-технической литературы; популярных брошюр, а также сообщалось о создании центральной научно-технической библиотеки с библиографическим бюро.

Доклад, представленный Н. П. Горбуновым Председателю Совнаркома, убеждал в том, что «Союз науки и рабочих» приобретает реальные формы, начинает облекаться плотью (см. «Ленинский сборник» XXI, стр. 213).

Особый интерес представляют сведения об инициативе научно-технического отдела ВСНХ по организации первой советской экспедиции на Карабугаз, о которой писал Н. П. Горбунов В. И. Ленину 28 ноября 1918 года.

В октябре 1918 года работник Саратовского совнархоза Э. Змачинский обратился в научно-технический отдел ВСНХ с предложением снарядить научно-промышленную экспедицию для исследования Карабугаза и подготовки проекта промышленной переработки его богатств. К этому предложению отнеслись с большим вниманием.

Вскоре в газете «Известия» была опубликована заметка («Карабугазские соли»), в которой говорилось о богатствах Карабугаза и намерениях научно-технического отдела ВСНХ предпринять исследования и подготовку проектов химической переработки глауберовой соли. К первым начинаниям нового научно-технического центра приковывалось общественное внимание. Но заметка заканчивалась мыслью, которая вызвала категорическое возражение Н. П. Горбунова. «Интересно отметить,— говорилось в ней,— что раньше ученый мир России совершенно просмотрел это колоссальное богатство, и теперь задача научно-технического отдела восполнить этот важный пробел» («Известия», 31 октября 1918 года).

Упрек ученым был несправедлив. Н. П. Горбунову из литературы были известны результаты первых обследований Карабугаза еще в 1897 и 1909 годах. Как секретарь Совнаркома он знал, что в сметах Академии наук СССР на 1918 год предусматривалась сумма (верно, небольшая) на разработку проекта использования Карабугазского залива. Н. П. Горбунов намеревался привлечь (и вскоре привлек) к организации новой карабугазской экспедиции участника экспедиции 1909 года Н. И. Подкопаева.

Конечно, в научном обследовании Карабугаза были сделаны лишь первые шаги, но для критики ученых в том, что они «совершенно просмотрели колоссальное богатство» Карабугаза, не было никаких оснований. Ведь явно недостаточный размах в исследовании отложений глауберовой соли на побережье Каспия меньше всего зависел от работников науки. Учитывая все это, Н. П. Горбунов посчитал нужным обратиться в редакцию газеты «Известия» с письмом. Он писал:

«В заметке «Карабугазские соли» сказано, что «ученый мир России совершенно просмотрел это колоссальное богатство». Это неверно. Карабугазу были посвящены крупные и ценные научные исследования, и промышленное значение его залежей было учтено учеными. К сожалению, экспедиции (за исключением одной) производились лишь в летнее время, неблагоприятное для оценки технических возможностей эксплуатации солей, и НТО предполагает снарядить зимнюю экспедицию для постановки дела на широкую почву» (Центральный государственный архив народного хозяйства СССР, фонд 3429, опись 60, единица хранения 42, лист 36). Письмо это не было опубликовано.

С необычайной энергией и оперативностью взялся Н. П. Горбунов за организа-

цию экспедиции на Карабугаз. В течение двух недель он списался со специалистами Петрограда и Нижнего Новгорода, пригласил их на совещание в Москву. 27 ноября 1918 года это совещание состоялось. Академики Н. С. Курнаков, П. П. Лазарев, профессор Л. А. Чугаев, Я. В. Самойлов, член Президиума ВСНХ старый большевик Л. Я. Карпов — все высказались за срочную организацию экспедиции. Об этом совещании, вызвавшем подъем у его участ-

ников, и писал Н. П. Горбунов Владимиру Ильичу.

Из этих писем вырисовывается один из ярких эпизодов первых героических лет советского строя. Двадцатипятилетний коммунист сумел увлечь крупных деятелей науки ленинскими идеями использования естественных производительных сил страны в интересах социалистического строительства.

И. СМЕРНОВ.

Н. П. ГОРБУНОВ — В. И. ЛЕНИНУ

28 ноября 1918 г.

Дорогой товарищ Ленин!

Мне очень нужно было с Вами поговорить о моей работе, но я думаю, что у меня это плохо выйдет. Мне очень нужна сейчас Ваша моральная поддержка, и поэтому я решил написать это письмо.

Чтобы по-прежнему продолжать свою работу раскачивания русской науки и приспособление ее к нуждам Республики, чтобы по-прежнему целиком отдаваться этой работе, может быть и незаметной вначале, мне совершенно необходимо знать, считаете ли Вы мою работу важной и нужной. Это очень трудно сдвинуть наши ученые силы с мертвой, неподвижной точки, на которой они замерзли уже десятки лет. Очень трудно сломать стену, в которую замкнулась, спасаясь от жизни, наука. Приходится строить новые формы, ломать, снова строить. Сколько ошибок мы уже наделали!

Старые профессора и ученые приходят к нам и загораются творческой энергией. Старик профессор Егоров со слезами на глазах вдохновенно говорил, что он мечтал всегда о тех перспективах, которые открываются перед ним теперь, что он с радостью готов весь остаток лет, которые ему остались еще прожить, отдать целиком новой работе, новому строительству. «Вы не смотрите, что я стар — душа-то у меня молодая». Сдвинулась наука! Результаты не так сразу скажутся. Но видно уже, что зашевелились всюду.

После вчерашнего совещания о Карабугазе, о роли его, Баку и всего Каспийского района как мирового центра будущей химической промышленности, о тех химических работах, которые нужно ставить немедленно, чтобы найти, изыскать методы применения сульфата, который десятками миллионов пудов ежегодно отлагается по берегам Карабугаза, о технических процессах, которые нужно придумать, чтобы дешево превращать сульфат в соду и серную кислоту — основу всякой большой химической промышленности, — профессора, специально приехавшие из Питера на это заседание, еще долго оставались у меня и оживленно, восторженно говорили о новой работе, новых планах, — а после, увлекшись, пошли домой не по панели, а по середине улицы. Они сами начинают увлекаться, а воодушевившись, начинают зажигать своих скептиков-коллег. Я знаю наших ученых. Ничего подобного я никогда еще не видел.

Я хочу сказать, что не могу сейчас выложить перед вами результаты своей работы. Дело большого масштаба и размаха. Когда задвигаются все силы, тогда будут заметны результаты. Сейчас еще не видно.

Сейчас еще только в тех местах, где их мир — мир ученых, со всеми своими особенностями, — сталкивается с налаженными органами и элементами Советской власти, наполненными могучей энергией и волей к творчеству, только в этих местах атомы науки приходят в движение и закипают. Лучами это распространится и отзовется во всех научных центрах, лабораториях и прочих святилищах. Нас

очень мало. Мало кто из коммунистов работает в этом направлении. Очень трудно работать. Кажется все время, что ничего не выйдет. Но вдохновляемся этой работой...

Я все время чувствую Ваше внимание, Владимир Ильич, к этой работе. Я читал Ваше письмо об отречении Питирима Сорокина. Вы знаете, что моя работа — нужная работа! Но теперь мне очень нужно, для меня самого нужно, чтобы Вы совершенно откровенно, не думая о том, как это на мне отзовется, сказали бы — нужна ли работа, которую я делаю; правильно ли я трачу свою энергию. Один очень видный работник и товарищ, которого я очень люблю, уважаю и ценю, сказал, что работа моя — мертвое дело. Не мне он сказал, но я случайно это узнал. Я работе своей отдаю всего себя. Для другого, для личной жизни я не оставляю ничего. Мне страшно больно (не обидно!) слышать, что моя работа оценивается как мертвое дело. А я считал ее очень нужной! Если мертвое дело, зачем я себя трачу даром? Ведь я могу пойти на любую работу. Может быть, я неважный работник, но найдется работа, где энергия моя и горячая вера в общее дело принесут большую пользу, чем в «мертвом деле».

Я хочу знать, как Вы оцениваете работу, которую я делаю. Какой ее удельный вес по отношению к другим работам. Если и Вы так смотрите, как этот товарищ, я поверю. Но сейчас я не верю. Я думаю, что моя работа очень нужная, хотя в настоящее время, может быть, имеет только потенциальное значение. Моя работа — это основа будущего промышленного строительства, это база будущего, за что умирают товарищи наши. Это будущая пролетарская наука. Меня не смущает ни полемика, ни подтрунивание над моей работой. Меня смутили слова большого человека. Мне нужно, чтобы и Вы сказали.

Горячий товарищеский привет!

Простите за бестолковое письмо

Н. Горбунов.

(Центральный государственный архив народного хозяйства СССР, фонд 3429, опись 60, единица хранения 41, лл. 57—58 об.)

Н. П. ГОРБУНОВ — В. И. ЛЕНИНУ

Дорогой товарищ Владимир Ильич!

Этот доклад я должен был представить еще 3 декабря. Но меня слишком завалило работой. Приходится ведь работать совершенно одному. Члены моей коллегии так заняты своей основной работой,

проф. Эйхенвальд в Институте путей сообщения,

проф. Артемьев в Народном комиссариате по просвещению,

проф. Федоровский в горном отделе, —

что могут посвящать научно-техническому отделу полдня в неделю — на заседание коллегии, да и то не всегда.

Других же ответственных советских работников у меня нет. Приходится справляться одному, сидеть по ночам. Иначе не я буду вести дело, а дело поведет меня.

По этой причине мне пришлось отложить составление доклада до воскресенья.

Письмо Ваше меня очень ободрило и зарядило новой энергией. Спасибо!

С товарищеским приветом

Н. Горбунов.

7/XII 18 г.

(Т а м ж е, л. 56.)



КОРОТКО О КНИГАХ

★

МИКОЛА БАЖАН. Итальянские встречи. Стихи. Перевод с украинского. «Советский писатель». 1963. 44 стр. Цена 8 к.

Встречи с Италией были всегда плодотворны для наших поэтов. Напоминанием об этой живой традиции служит эпиграф из Блока, предпосланный М. Бажаном одному из своих стихотворений: «Флоренция, ты ирис нежный!» Внимательно вглядывается украинский поэт и в статуи Микеланджело, украшающие собор святого Петра, и в причудливые фигуры знаменитого фонтана Треви в Риме. Страна-музей раскрывает ему свои сокровища, и вблизи величайших исторических памятников стих М. Бажана достигает чеканной простоты:

Чуть стонет мрамор, тронутый ветрами.
Лист как резьба по мрамору прошел.
А на фронтоне факел, и орел,
И ликторские палки с топорами.

(«На Форуме Рима», перевод
А. Суркова.)

Впрочем, М. Бажан не слишком увлечен стариной; «Мне все здесь чуждо: купола громада, и эта пышность медная кругом...» — признается он в Ватиканском соборе. Поэт ищет созвучия своим стихам прежде всего в современности, ветер которой тревожит историю. Недаром на древних «цезарских камнях» чья-то рука начертала серп и молот. И даже бессмертная «Пьета» Микеланджело — скорбная Мария над телом Христа — видится М. Бажану простой итальянской матерью, принесшей «под сень святого мрака» своего первенца, убитого карабинерами. Сицилия, Сардиния, Флоренция рассказывают поэту, как живет, работает, баствует, веселится трудовой люд Италии. Здесь он, безусловно, чувствует себя своим: в дружеской беседе с «компаньо» — коммунистом, на руку которого, «откованную жизнью тяжело», он кладет свою руку, или в разговоре с активным членом общества «Италия — СССР», ослепшим под Сталинградом, но видящим все в новом свете «глазами сердца».

Над переводами стихов работали А. Сурков, П. Антокольский, М. Алигер, Евг. Долматовский, А. Заяц. Им читатель обязан тем, что стилистические издержки в сборнике минимальные. Лишь отдельные места вызывают несогласие (например, неуклюжее выражение «не позволять обидам рыться в ране» или утверждение слепого итальянца,

будто он видит «столетние липы Арбата», которых, как известно, на этой улице не было и нет). Художник В. Карабут сопроводил стихи изящными рисунками.

Н. Аладьин.

★

М. ТЕВЕЛЕВ. Скажи — от людей.. Закарпатское областное книжно-газетное издательство. Ужгород. 1963. 224 стр. Цена 50 к.

Эта книжка вышла после смерти автора. В нее вошло то, что друзья Матвея Тевелева нашли в его архиве. Вошли очерки, рассеянные по газетным полосам, рассказы, написанные «для себя», и повесть «Порт», оставшаяся на письменном столе писателя, оборванная на полуслове.

Можно, конечно, говорить об отсутствии цельности в композиции сборника, о неравноценности рассказов или очерков разных лет, можно поспорить — стоило ли печатать первый черновик повести «Порт». Но главное — не в этом.

Бережные руки составителей, редактора (Ф. Кривин), автора предисловия (Н. Козлов) сумели так представить книгу читателю, что М. Тевелев, казалось бы, хорошо уже известный по своим новеллам, роману «Свет ты наш, Верховина...» и ряду кино-сценариев, открылся сейчас с какой-то удивительно душевной стороны.

Книга включила в себя рассказы, условно говоря, и «ленинградские», «пограничные», чисто «закарпатские».

Естественно, что по своим сюжетам, времени и месту действия эти рассказы очень разные. Но в образах героев, при всей их непохожести друг на друга, есть общая, объединяющая их черта. Внешне скромные, даже застенчивые, они обладают большой внутренней силой, способной поднять их на подвиг. Таковы пять лесорубов («У нас в горах»), которые ради спасения умирающей девочки Анци в зимнюю непогоду открыли шлюзы и спустились на плоту с гор в долину; такова и семнадцатилетняя Аринка («Аринка»), на далеком полуостанке смело вступившая в неравный поединок с врагом; такова и пожилая женщина Анна Ганичева («Руки матери»), превозмогающая боль и страдание материнского сердца, чтобы отомстить фашистам за смерть детей.

Рассказы сборника (так же, как и статьи и очерки писателя, которыми завершается

книга) проникнуть уважением и любовью к людям, в них подчеркнута мысль о ценности человеческой жизни, идет ли речь о маленькой Анди, или о матери пятерых детей — Анне Ганичевой.

Новая книга позволяет еще ближе познакомиться с М. Тевелевым, еще больше полюбить писателя, обладавшего замечательным даром — помогать людям становиться лучше, красивее, душевно богаче.

Б. Яранцев.

★

БОРИС ПИЛЬНИК. Не ради холодной славы. Стихи. Волго-Вятское книжное издательство. Горький. 1964. 78 стр. Цена 13 к.

Рецензируемый сборник — пятый в жизни поэта — совпал с его шестидесятилетием и тридцатилетием литературной работы.

Биографию Бориса Пильника — человека и поэта очень миролюбивого, даже кроткого — пересекла не одна война. В конце двадцатых годов он воспевал романтику революции и гражданской войны, запомнившейся подростку (поэма «Песни о крови», а позднее — «Сказ об отчаянном парнишке из нашего полка»). Стихи Б. Пильника, посвященные Великой Отечественной войне, непосредственным участником которой он был, открывали нам то простую радость солдата, вышедшего живым из боя («Какое это счастье — опять проснуться в мире голубом»), то суровые военные пейзажи (подбитый вражеский танк, который не может сорваться с места, «но мнет, и срывает, и топчет в пыли цветную одежду весенней земли»), то главную для него тему фронтового товарищества (стихотворение «Дорогой товарищ умрал от раны»).

В стихах последних лет у Б. Пильника преобладают философические раздумья о жизни, например, «Притча о фараоне и зерне» или «— Я изобрел!..». Весьма характерно для Пильника стихотворение «Еще не шумен мир. Написанное как будто на «классическую» тему бессонницы, оно совсем не похоже на традиционные горькие раздумья поэта. Просто человек работал, писал, дождался утра и смотрит на него влюбленными глазами, и передает это чувство другим людям, как сменщик сменщику мог передать станок. Но только не станок передает он, а «диво дивное» — день жизни.

Через разные стихи Бориса Пильника проходит общее, объединяющее их чувство любви к людям, к жизни. Иногда оно выходит на поверхность сюжета, иной раз — в стихах на другую тему, часто даже сатирических, светится как бы изнутри. Поэзия Б. Пильника не декларирует это чувство, а выражает его всем своим поэтическим строем.

Ю. Волчек.

г. Горький.

★

А. ЛАВРЕЦКИЙ. Эстетические взгляды русских писателей. Сборник статей. Гослитиздат. М. 1963. 304 стр. Цена 84 к.

Как часто еще эстетические взгляды писателя предстают в той или другой литера-

туроведческой работе в виде застывшей, неподвижной схемы. От жизни и от художественной практики их отделяет непроницаемая стена. Собственно, это не взгляды, а сумма «пунктов», следующих друг за другом в традиционном, точно от рождения усвоенном художником порядке: идеяность, народность, реализм и т. д.

Но вот Щедрин, говоря об общении Тургенева с кругом «Современника», писал: «Там были озорники неприятные, но которые заставляли мыслить, негодовать, возвращаться и перерабатывать себя самого».

О том, как русские писатели под влиянием жизни и собственного художественного опыта «перерабатывали» самих себя, рассказывает книга А. Лаврецкого. Автор хорошо чувствует «драму идей» — в данном случае драму эстетических идей, стремится раскрыть ее с максимальной полнотой.

Все симпатии исследователя отданы представителям реалистической и, если говорить точнее, революционно-демократической эстетики, в которой он видит высшее достижение русской критической мысли. Это не мешает А. Лаврецкому воспроизводить сложность явлений. В истории русской литературы прошлого века бывали случаи, когда большие художники-реалисты расходились во взглядах с революционно-демократической критикой. Подробно анализируя эти факты (например, полемику вокруг «Отцов и детей» Тургенева), исследователь словно предостерегает от соблазна «отлучить» того или другого писателя от передовой эстетической мысли. «Подождите! — каждый раз как бы говорит А. Лаврецкий. — Вопрос сложнее, чем может показаться с первого взгляда». И он стремится проникнуть за отдельные формулировки и высказывания писателя, нащупать в его общем мироощущении «встречное» течение мысли, которое сближало художника-реалиста с демократической критикой.

С другой стороны, исследователь не замалчивает и некоторые исторически объяснимые ошибки революционно-демократической эстетики. Так, например, он говорит о несколько прямолинейном «просветительском» подходе к поэзии, который в шестидесятые годы прошлого века приводил к суровым нападкам на Пушкина.

Книга состоит из шести очерков, каждый из которых посвящен одному писателю: Тургеневу, Гончарову, Некрасову, Герцену, Чернышевскому, Горькому. К ним можно, пожалуй, прибавить еще одно имя — Белинского, хотя о нем нет отдельной работы. Творческое развитие большинства писателей, изучаемых Лаврецким, это напряженный внутренний диалог с великим критиком, история «притяжений» и «отталкиваний», и естественно, что тема Белинского составила фон книги. С этой, так сказать, объективной причиной совпала субъективная: А. Лаврецкий много лет изучал Белинского, написал о нем множество работ.

Есть некоторые тезисы в этой книге, с которыми хотелось бы поспорить, есть по-

ложения, которые хотелось бы увидеть более развитыми. Подчас, как мне кажется, автор книги недооценивает особенность своей темы: хотя это эстетические взгляды писателей, то есть то, что проявилось в логической, понятной форме, но это — взгляды художника. А. Лаврецкий прав в полемике с теми, кто отказывает писателям в способности к сознательной мысли. Но об эстетических взглядах писателя порой говорится так, как если бы он был теоретиком по преимуществу.

К великому сожалению, обращать эти пожелания и претензии уже не к кому — недавняя смерть оборвала деятельность одного из старейших и виднейших советских литературоведов. Последняя книга А. Лаврецкого останется свидетельством серьезности и цельности его взглядов на искусство, последовательности и аргументированности его мысли.

Ю. Манн.

★

А. ГЕССЕН. Во глубине сибирских руд... Декабристы на каторге и в ссылке. Детгиз. М. 1963. 336 стр. Цена 1 р. 7 к.

Эта книга несколько шире своего названия и подзаголовка. В ней говорится о декабристах не только «во глубине сибирских руд», но и на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, потом в заточении в тюремных казематах, а также о последних годах жизни уцелевших героев, после возвращения на родину. Читатель присутствует при допросах декабристов державным следователем Николаем I и при перевозе их на тройках в сибирские каторжные рудники, где они должны были работать. Автор рассказывает о широкой культурной деятельности декабристов в Сибири, которой они предвещали великое будущее, веря в то, что она «кроме золота и холодного металла и камня, кроме богатства вещественного, представит со временем драгоценнейшие сокровища для благоустроенной гражданственности». Говорится в книге и о развлечениях сосланных декабристов — игре в шахматы, катаниях с гор, которые, по воспоминаниям И. Д. Якушкина, «напоминали собой увеселения павших ангелов на берегу огненной реки, так великолепно изображенных Мильтоном».

Незабываемыми образами входят в книгу силуэты одиннадцати героических женщин — жен декабристов, самоотверженно разделивших с ними жизнь в краю изгнания и бесправия.

Громадное большинство декабристов прошло через десятилетия каторги и ссылки несломленными. Недаром писал Николай Бестужев из тюрьмы Петровского завода: «Положение нашего духа далеко от веселости; но не менее того справедливо, что и всякая печаль чужда нас. Мы думаем, что несчастье должно переносить с достоинством, что всякое выражение скорби — неприлично в нашем положении».

Вспоминая о своей жизни на каторге, декабристы писали, что в ней было много

поэзии — поэзии душевного величия, стойкости, благородства и верности в дружбе. «Это были люди все на подбор — как будто магнитом прелели по верхнему слою кучи сора с железными опилками, и магнит их вытянул», — сказал о декабристах Лев Толстой.

Книга А. Гессена насыщена богатым фактическим и психологическим материалом. Она написана общедоступно, ибо рассчитана на детей, но отнюдь не является заурядной компиляцией и вызывает уважение к труду автора, проявившего большую эрудицию и дар интересного и ясного изложения. Особо следует отметить превосходно подобранный М. Барановской иллюстративный материал.

Неточности в книге единичны. Отметим среди них, что шахматы перенесены в Европу отнюдь не из Китая (стр. 171). Даже и бурятские шахматы (речь идет о шахматных поединках декабристов с бурятами) имеют чрезвычайно мало общего с игрой, именуемой в литературе «китайскими шахматами».

Явное преувеличение и то, что Грибоедов «писал образ Чацкого» с И. Д. Якушкина (стр. 304). Это только одна из многих версий о прототипе Чацкого, в настоящее время мало кем разделяемая.

В целом же книга А. Гессена безусловно заслуживает высокой оценки.

А. Наркевич.

★

ГУСТАВ МОРЦИНЕК. Семь удивительных историй Иоахима Рыбки. Перевод с польского. «Прогресс». М. 1964. 243 стр. Цена 71 к.

Не только у людей бывают сложные, порою трагические биографии. Иногда на протяжении веков трагически складывается история целых стран и народов.

Так в течение двух столетий — от раздела к разделу — складывалась и история Польши.

Силезия — край мягких зеленых холмов и богатого черного угля — была одной из насильственно разобщенных польских земель, сохранявших живой национальный дух вопреки всем долголетним стараниям прусских и австро-венгерских германизаторов и царских русификаторов.

Эта земля рождала своих борцов и поэтов.

И одним из самых пылких трибунов шахтерской Силезии и ее лирическим певцом был недавно умерший польский писатель Густав Морцинек.

Как-то Морцинек сказал о себе: «Я вечный должник шахтеров. Ведь они позаботились обо мне, они послали меня в школу и наставляли меня, хоть по-своему и грубовато, но сердечно. Этот долг я обязан вернуть, как, впрочем, и всякий иной».

Он и возвращал этот долг — всем своим творчеством, десятками книг, от записанных им фольклорных «Силезских сказок» до популярной «Истории угля», включая сюда многочисленные повести, романы и рассказы. «Семь удивительных историй Иоахима

Рыбки», несомненно, одна из лучших книг Густава Морцинека. Герой ее — старый могильщик Рыбка, воплощение силезского народного характера.

Порою Иоахима Рыбку сравнивают с Иосифом Швейком. Лукавый юмор и неистребимое умение вывернуться из любого сложного положения в самом деле роднят их. Впрочем, недаром, наверное, силезская земля граничит с чешской.

Но напрашивается и другое сравнение. Ведь юмор Рыбки сочетается еще и с лиризмом. Можно ли представить Швейка слушающимся тем, как «в лунной серебристой тишине зашелкает соловей, зашумит липа, донесется далекий грохот скорого поезда»? Не вспомним ли мы тут бургундца Кола Брюньона с его умением понимать песни жаворонка и с тем мужеством, которое присуще его юмору, когда он вспоминает пережитую им чуму или кровопролитные войны?

Мне кажется, что и переводчица книги Ю. Мирская очень верно почувствовала этот «брюньоновский клоч». Она перевела Морцинека очень хорошо и познакомила нашего читателя с еще одним умным, веселым и отважным героем.

А. Марьямов.

★

Т. ВЕЧЕСЛОВА. Я — балерина. «Искусство». Л.—М. 1964. 272 стр. Цена 1 р. 4 к.

В балетном искусстве, как, возможно, ни в какой другой области театра, долговечны актерские традиции. Каждый танцовщик, вступающий в новую роль, слышал о том, как до него танцевали Чабукиани, Ермолаев, Сергеев. Если об этом шепчутся недоброжелатели и недруги молодого артиста, ему до слез обидно всюду наткнуться на непревзойденные прошлые образцы. Но воспоминания о шедеврах предшественников, рассказываемые любящими педагогами и товарищами, вдохновляют, помогают обрести себя, найти собственную дорогу. Такова книга Татьяны Михайловны Вечесловой. Ее искусство и само уже вошло в традицию советского балета, поэтому так волнует искренний рассказ об ее собственном опыте и страницы, посвященные товарищем по сцене Кировского театра. Она превыше всего ставит талант и труд. Мне, как танцовщику, особенно дорог дух высокого уважения к нашей профессии, который исходит от ее книги.

Т. Вечеслова не ставила перед собой цели создать трактат для профессионалов, но свои творческие принципы в главном она изложила. Мне они тоже близки. Автор балета — это не просто танцовщик, в совершенстве владеющий техникой, а артист, создающий неповторимый художественный образ. Особенно интересно приведенное в книге письмо дирижера Е. Мравинского, излагающего эту точку зрения: «Я — поборник Танца как такового. Под танцем же подразумеваю не только классику, которая тоже есть выразительный танец, а не «вир-

туозность» или голая техника, ибо для меня нет разделения: се — классика, а се — все прочее...»

Сама Т. Вечеслова была не просто замечательной танцовщицей, она была артисткой в истинном смысле этого слова, и поэтому так значительна ее роль в истории советского балета.

Из книги мы многое узнаем и о незаурядной личности автора, о широте ее интересов, об искренней творческой дружбе с многими прекрасными художниками.

В заметках Т. Вечесловой немало грустного и трогательного. Трогательен рассказ о прощальном спектакле. Грустно, что по существу так рано оканчивается сценический путь балетного артиста.

Не все находят силы достойно преодолеть «возрастной» рубеж и найти себя в дальнейшей жизни. Т. Вечеслова нашла себя. Ее книга свидетельствует о мужестве и достоинстве. Этому можно позавидовать и поучиться. Читая книгу, мы радуемся за артистку, радуемся за искусство, которому она учит достойно служить.

Махмуд Эсамбаев.

★

ЛЮДИ И ПОЛИТИКА. Ежегодник журнала «Мировая экономика и международные отношения» за 1963 год. Издательство «Правда». М. 1964. 335 стр. Цена 45 к.

«Люди и политика» — первый биографический ежегодник, подготовленный редакцией журнала «Мировая экономика и международные отношения». Это небольшой томик, скромно оформленный, удобного «карманного» формата. В нем собраны сведения о более чем восьмидесяти самых разных государственных и политических деятелях, влиятельных представителях деловых кругов, известных публицистах зарубежных стран.

В сборнике три раздела. Первый знакомит с руководителями ряда социалистических стран и видными деятелями рабочего и коммунистического движения. На трех-четырёх страницах даются основные биографические данные и важнейшие вехи политического пути Владислава Гомулки и Пальмиро Тольятти, Вальтера Ульбрихта и Гэса Холла, Макса Реймана и еще двадцати видных деятелей, принадлежащих к великой армии коммунистов. Во втором разделе собраны сведения о ряде политических и государственных деятелей стран Азии, Африки и Латинской Америки, борющихся за свою национальную независимость или уже строящих новую жизнь. Среди них — Ахмед Бен Белла, Чедди Джаган, Кваме Нкрума и другие. В третьем разделе содержатся сведения о ряде деятелей западноевропейских и североамериканских стран.

Сборник, как об этом предупреждает редакция, делался не из специально подготовленных материалов и, следовательно, не по специально продуманному плану, а из того, чем располагал журнал — то есть из того, что было в нем опубликовано в 1963

году, к кому привлекали внимание события минувшего года. Этим объясняется и отсутствие достаточно ясного принципа отбора (почему именно этот, а не другой деятель фигурирует в сборнике) и разностильность изложения — от попыток нарисовать политический портрет до простого перечня биографических сведений.

Но как бы там ни было, ежегодник найдет своего читателя.

Конечно, он не может заменить биографического справочника, который, как это ему положено, обладал бы энциклопедической широтой, компактностью и, главное, ориентировался бы не на события, обозначенные на оторванных листках календаря, а отвечал бы потребности сегодняшнего и завтрашнего дня. А до чего ж необходим такой справочник! Ведь люди, интересующиеся международными проблемами, особенно журналисты, научные работники, лекторы, пропагандисты, давно уже испытывают в нем острую потребность. Сведения о политических, общественных и других деятелях различных стран мира им приходится собирать по крупицам из самых различных источников.

На Западе такого рода справочники издаются давно; в большом ходу, например, ежегодные издания «Who is who» («Кто есть кто»). Правда, сведения, содержащиеся в подобных изданиях, довольно односторонни и не всегда существенны. Однако создание аналогичных изданий на соответствующей нашим принципам и нуждам основе — дело вполне возможное, хотя и не простое.

Но пока такого справочника нет не только в книжных магазинах, но и в планах издательств, читатель будет признателен редакции журнала «Мировая экономика и международные отношения» за издание биографического ежегодника. Хорошо, если бы, готовя следующий выпуск, редакция придала биографиям — а это можно сделать без особых затруднений — большую общность и конкретность. Больше фактов, больше лаконичных, чисто «человеческих» характеристик! Компактней и «справочней»!

Л. Лерер.

★

Я И ВРЕМЯ. Составитель И. Шатуновский. «Молодая гвардия». М. 1963. 350 стр. Цена 77 к.

Эта книга представляет собой плод размышлений, мечтаний, споров многих тысяч юношей и девушек, принявших участие в дискуссиях на страницах «Комсомольской правды».

Как известно, газета ведет широкое обсуждение проблем, интересующих молодежь. В результате родилась эта книга. В ней решаются такие, например, вопросы: «Как найти призвание в жизни?», «В чем счастье?» и другие.

Само появление собранных в книге человеческих документов стало возможным в духовной атмосфере последнего десятилетия. Ликвидация культа личности и его

последствий привела к тому, что люди стали больше думать, смелее обсуждать конкретные пути нашего движения вперед, сообща разбираться в сложных явлениях жизни. Перед нашей молодежью открыты широкие пути. Но какой из них выбрать, чтобы найти лучшее применение своим силам и способностям?

Ответ на этот вопрос дают активная деятельность, творческий труд, добрые отношения между людьми. Тем, кто душевно еще не окреп, кто подчас теряется в противоречиях или впадает в хандру, кто не знает, где и как приложить руки в своем городе или поселке, товарищи и подруги советуют: шире взгляните на мир; сколько заводов, фабрик, земель, лесов, рек и морей ждут трудолюбивых рук и горячих сердец! И всюду есть хорошие люди, готовые разделить с вами и радость и невзгоды, помочь найти себя.

Перед читателями книги «Я и время» за событиями, явлениями, думами встает облик наших молодых современников — строителей заводов, шахт, электростанций, покорителей земных и океанских просторов, ученых-новаторов, первооткрывателей космоса...

Помочь каждому юноше, каждой девушке найти достойное место в общей борьбе, поддержать передовых, ободрить колеблющихся, поправить ошибающихся — этому служит книга.

А. Павлов.

★

А. Я. ВЕДЕНИН. Годы и люди. Воспоминания. Политиздат. М. 1964. 207 стр. Цена 28 к.

Воспоминания коменданта Московского Кремля генерал-лейтенанта Андрея Яковлевича Веденина охватывают большой исторический период — от гражданской войны до наших дней. Автор не придерживается строгой хронологической канвы, а, как бы беседуя с читателем, спокойно и вдумчиво вспоминает о далеком и близком. Живо и без рисовки повествует он о своем участии в походе против белополяков и басмачей, о Великой Отечественной войне, о своей десятилетней деятельности на посту коменданта Кремля. Главное достоинство книги в том, что она заставляет размышлять над судьбами людей, над историей родины.

Интересен рассказ о достопримечательностях Кремля, о той огромной работе, которую пришлось проделать для восстановления исторических памятников и благоустройства его территории.

«При первом же знакомстве с Кремлем, — с горечью пишет А. Я. Веденин, — чувствовалось, что времена культа личности наложили свой отпечаток и на внешний облик Кремля. Отгороженный от народа, Московский Кремль выглядел мрачным... Видеть Кремль запущенным было очень обидно. Ведь даже в тяжелые годы гражданской войны и иностранной военной интервенции о Кремле, о его исторических памятниках заботился В. И. Ленин. И вдруг такое...»

Читатель узнает о малоизвестных фактах преступно пренебрежительного отношения к памяти В. И. Ленина в Кремле, допускавшихся в годы культа личности Сталина.

Отмечая несомненные достоинства книги, нельзя вместе с тем не пожалеть, что иллюстрирована она без сколько-нибудь продуманного плана: около двух десятков фотографий просто «скопом» вклеены между тридцать второй и тридцать третьей страницами. Думается также, что автору следовало бы придерживаться более строгого стиля изложения, не увлекаясь излишне беллетристикой. Но этот упрек, видимо, скорее может быть адресован Н. Д. Бочину, который произвел литературную запись.

М. Попов,
кандидат исторических наук.

★

Е. НЕМИРОВСКИЙ. Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров. «Книга». М. 1964. 404 стр. Цена 2 р. 40 к.

Историография русского первопечатания на протяжении столетий накопила богатейшие материалы и сотни исследований. И с первого взгляда может показаться удивительным, что до сравнительно недавнего времени оставался спорным вопрос об имени русского первопечатника и о дате, с которой печатная книга на Руси должна вести свое летосчисление.

«Апостол» Ивана Федорова, изданный в Москве 1 марта 1564 года,— первая печатная русская книга, о которой точно известно, кто, когда и где ее напечатал. Но известны также семь напечатанных в России книг, появившихся примерно за десять лет до первопечатного «Апостола». Однако до сих пор не были установлены точно ни место, ни даты их выпуска, ни имена печатников.

К 400-летию русского книгопечатания выпущены монументальные научные труды и популярные издания, освещающие историю книгопечатания в нашей стране, его современное состояние и перспективы развития. Наряду с двухтомником «400 лет русского книгопечатания» к наиболее фундаментальным исследованиям должна быть отнесена и монография Е. Л. Немировского.

В книге рассматривается вся совокупность вопросов, связанных с первопечатной книгой, ее содержание, язык, оформление, полиграфическая техника. Подробно анализированы семь первопечатных анонимных книг и две — подписанные Иваном Федоровым и Петром Мстилавцем. Подробно описаны все известные автору и сохранившиеся до наших дней экземпляры первопечатных книг, приведены вкладные и владельческие записи. Анализируя полиграфическую технику анонимных книг, автор убедительно доказывает их московское происхождение. Параллели в технике изданий Ивана Федорова и анонимных книг позволяют автору утверждать, что Иван Федоров был одним из типографов анонимных изданий. Книга подводит итоги многовековых поисков, изы-

сканий и исследований в области русского книгопечатания.

Нужная специалисту, живо и интересно написанная книга эта вместе с тем доступна и широкому кругу читателей. Нельзя сказать, что книга решает все поставленные проблемы. Но она, как правильно отмечает в предисловии член-корреспондент Академии наук СССР А. А. Сидоров, «будит мысли, заставляет работать дальше, не омертвляет, а оживляет творческий интерес к этой важной теме». С одним только категорически невозможно согласиться. Отступив от непосредственной темы своего исследования, Е. Л. Немировский решил высказать свое отношение к книговедению как науке. Трудно себе представить, что могло побудить молодого исследователя-книговеда заявить: «Мы твердо убеждены в том, что все попытки воскресить «историю книги» и «книговедение», которые делаются в последнее время, обречены на провал». Собственная книга Е. Л. Немировского достаточно красноречиво опрокидывает этот, мягко говоря, необдуманый тезис.

Е. Лихтенштейн.

★

СЛОВАРЬ НАЗВАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ (РСФСР). «Советская энциклопедия». М. 1964. 398 стр. Цена 47 к.

Как правильно назвать жителей города Гусь-Хрустальный? Гусевцы? Или гусевчане? А может быть, гусяки? А жителей Великого Устюга? Устюжане? Великоустюжане? Или великоустюгцы?

Даже когда город именуется одним словом, не всегда удается правильно назвать его жителей. Например, Смоленск. Казалось бы, чего проще сказать — смоленцы. Нет, оказывается, вернее — смоляне.

Можно привести еще много других примеров, когда мы неправильно называем жителей наших городов. И не только в разговорной речи, но и в газетах, журналах, в произведениях художественной литературы.

И вот наконец вышло пособие, которое должно внести ясность и точность в трудную область русского языка.

Нужда в таком пособии существует с давних времен. Еще Ломоносов говорил о необходимости лексикографического объединения «слов отечественных, родину значащих». Однако до сей поры толковые словари не включали подобных понятий.

На пути осуществления этой сложной задачи стояли немалые трудности. Материалы собирались из множества разбросанных источников. Не потому ли в составлении словаря приняла участие значительная группа ученых, учителей, любителей-краеведов, работавших под общим руководством Института языкознания Академии наук СССР.

Этот словарь имеет и учебно-познавательное значение. Обширные исторические, краеведческие, мемуарные, эпистолярные и художественные материалы, на основе которых он создан, а также цитаты, приведенные для иллюстрации, дают наглядное представление о процессе возникновения одних

названий и позднейшем вытеснении их другими, более отвечающими требованиям современной речи.

Вот характерный пример. Название жителей города Вятки и Вятского края испытало такую эволюцию: вятчанники, вятчанины, вятчанье, вятчане, вятчи. Не меньшие перемены пережило название жителей нашей столицы: москаль, московляне, москвитяне, московцы, москвичи.

Составители словаря, несомненно, сделали большое, полезное дело. Досадно только, что в ряде случаев они сами не имеют твердой позиции в определении названий; ведь ссылки на местные источники не всегда авторитетны. В этом можно убедиться на примере, с которого начата эта заметка. Гусевцы, гусевчане или гусяки? Как же правильно? На этот вопрос словарь ответа не дает. К сожалению, подобных случаев немало.

А. Таланов.

★

УШЕДШАЯ МОСКВА. Воспоминания современников о Москве второй половины XIX века. «Московский рабочий». 1964. 432 стр. Цена 82 к.

Город, в котором текстильные и механические фабрики теснят дворянские особняки и который сохраняет тем не менее вид большой деревни; город, в котором «ваньки» на «калибрах» и «гитарах» за пятиалтынный, не торопясь, везут седока из конца в конец — только в 1873 году на подмогу им появляется техническая новинка — двухэтажная конка, а до трамвая ждать еще почти тридцать лет. Город, где великие артисты играют в пьесах Грибоедова, Гоголя, Островского, но не менее часто выступают в драматургической продукции Дьяченко, Ипполита Манна, Виктора Крылова.

Самодуры купцы дрожат перед самодуром генерал-губернатором, а вовсе бесправные мастеровые ютятся в грязных каморках, развлекаются балаганами, каруселями, народными гуляньями, кулачными боями, но потом — ближе к концу века — в подпольных кружках читают революционные листовки и марксистскую литературу. «Старый крот» истории, по выражению К. Маркса, ведет свою малозаметную, но верную работу. Чуткому уху уже слышны подземные толчки, предвещающие революционную бурю. пере-

вернувшую сонную, медлительную, казавшуюся несокрушимо прочной жизнь старой России.

Город всевластия и бесправия, роскоши и нищеты, великих архитектурных памятников и грязных лачуг — такой была Москва второй половины XIX века, о которой говорится в сборнике, составленном Н. С. Ашукиным. Для нас — жителей Москвы 1964 года — в облике нашей столицы прошлого века много забытого и утраченного: и деталей, и целых сторон московской жизни. В рассказах мемуаристов читателю открывается пестрая, широкая и разнообразная бытовая панорама Москвы второй половины XIX века. (В 1962 году тем же издательством был издан сборник «Очерки московской жизни», составленный Б. Земленковым и посвященный Москве первой половины XIX века).

Книга содержит разнообразный материал по бытописи Москвы прошлого века, хотя и не дает всеобъемлющей картины московской жизни того времени. Ведь «ушедшая Москва» была не только городом купеческих плутней и кутежей, неправедных судей и полицейских, петушинных боев и торговых рядов. Она одновременно была городом великих культурных завоеваний, городом, где жили и писали А. Островский, Писемский, Лев Толстой, Чехов, где с университетских кафедр раздавалась речь Буслаева, С. Соловьева, Бредихина, Столетова, Ключевского, Тимирязева, Н. Е. Жуковского, Фортунатова, где создавалась бесценная сокровищница русского искусства — Третьяковская галерея, а Чайковский и Танеев творили бессмертную музыку. Из всего этого богатства только театральная старина в известной степени отражена в сборнике, хотя существуют многочисленные яркие мемуарные источники, освещающие культурное прошлое Москвы.

Но это не упрек, а напоминание. Не будем несправедливы к Н. С. Ашукину, составившему в высшей степени интересный сборник и снабдившему его ценными примечаниями. Тема его — бытовая московская старина. Но будем надеяться, что появятся и сборники, в которых будет достойным образом представлена культурная летопись нашей столицы — славное прошлое искусства, литературы и науки в Москве

А. Н.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. 10—15 февраля 1964 года. Стенографический отчет. 640 стр. Цена 1 р. 8 к.

Верный ленинец, беззаветный борец за мир и коммунизм. Сердечные поздравления и добрые пожелания в связи с 70-летием со дня рождения Н. С. Хрущева. 148 стр. Цена 16 к.

Асуан — символ советско-арабской дружбы. Пребывание Первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Председателя Совета Министров СССР товарища Н. С. Хрущева в Объединенной Арабской республике. 9—25 мая 1964 года (Сборник материалов). 239 стр. Цена 26 к.

Б. Борисов. Записки секретаря горкома. 304 стр. Цена 51 к.

Е. Варга. Очерки по проблемам политэкономии капитализма. 384 стр. Цена 1 р. 20 к.

М. Виленский. Ваш враг Теллер. 40 стр. Цена 5 к.

К.-Г. Еспер. Кто создал богов? Перевод с немецкого. 80 стр. Цена 10 к.

За сплоченность международного коммунистического движения. Документы и материалы. 272 стр. Цена 53 к.

А. Иойрыш. Твой труд и коммунизм. 96 стр. Цена 11 к.

А. Иткина. Революционер, трибун, дипломат. Очерк жизни Александры Михайловны Коллонтай. 128 стр. Цена 16 к.

Календарь атеиста. 296 стр. Цена 1 р. 13 к.

М. Мирский. Главный доктор республики (Н. А. Мирашко). 96 стр. Цена 11 к.

Нерушимая дружба и братство. Пребывание Президента Алжирской Народной Демократической Республики, Генерального секретаря партии Фронт национального освобождения Алжира Ахмеда Бен Беллы в СССР. 25 апреля — 7 мая 1964 года. 152 стр. Цена 16 к.

И. Петров. Стратегия и тактика партии большевиков в подготовке победы Октябрьской революции (Март — октябрь 1917 г.). 464 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Романов. Путешествие на остров Кипр. Записки журналиста. 68 стр. Цена 8 к.

«МЫСЛЬ»

Д. Бойко-Павлов, Е. Сидорчук. Так было на Дальнем Востоке. 326 стр. Цена 72 к.

Вопросы современной зарубежной литературы и эстетике. Сборник статей. 220 стр. Цена 80 к.

Из истории борьбы В. И. Ленина за укрепление партии. Сборник статей. 319 стр. Цена 1 р. 12 к.

А. Кауэлл. В сердце леса. Перевод с английского. 229 стр. Цена 68 к.

Национальное и интернациональное в литературе и искусстве. 262 стр. Цена 93 к.

Некоторые проблемы истории советского общества. 283 стр. Цена 1 р. 6 к.

Б. Плышевский. Национальный доход СССР за 20 лет. 191 стр. Цена 60 к.

Проблемы мышления в современной науке. 470 стр. Цена 1 р. 77 к.

Против фальсификации истории КПСС. Сборник статей. 240 стр. Цена 86 к.

Расширенное социалистическое производство и баланс народного хозяйства. 374 стр. Цена 1 р. 29 к.

В. Собанинских. Сопоставление экономических показателей развития сельского хозяйства СССР и США. 151 стр. Цена 47 к.

...сражались за Родину. Письма и документы героинь Великой Отечественной войны. 367 стр. Цена 50 к.

В. Фигнер. Запечатленный труд. Воспоминания. В 2-х томах. т. I. 439 стр. Цена 87 к., т. II. 318 стр. Цена 69 к.

Ю. Шалаев. Современное православие и наука. 87 стр. Цена 27 к.

М. Яковлев. Марксизм и современная буржуазная история философии. 350 стр. Цена 1 р. 26 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Адаров. Земля, поднятая к солнцу. Стихи. Перевод с алтайского. 100 стр. Цена 11 к.

Э. Аленик. Мы жили по соседству. Повести и рассказы. 204 стр. Цена 26 к.

Ю. Андреев. Республика Самбо. Повесть. 216 стр. Цена 31 к.

В. Баналдин. Быстрина. Стихи и поэма. 84 стр. Цена 17 к.

В. Белоцерковский. В почтовом вагоне. Повесть. 152 стр. Цена 21 к.

И. Варламова. Ищу тебя. Роман. 408 стр. Цена 76 к.

Е. Герасимов. Городок на Дреме. Повести. 184 стр. Цена 43 к.

В. Гордейчев. Своими словами. Стихи и поэма. 136 стр. Цена 20 к.

И. Гуро. Московские бульвары. Повести. 276 стр. Цена 38 к.

А. Дементьев. Солнце в доме. Стихи. 92 стр. Цена 10 к.

В. Дуванин. Радость, мастером ковანная. Очерки творчества В. В. Маяковского. 444 стр. Цена 1 р. 7 к.

В. Инбер. За много лет. Сборник. 496 стр. Цена 1 р. 6 к.

Б. Киселев. Рассказы о Куприне. 203 стр. Цена 30 к.

Д. Ковалев. Молчание гроз. Новые стихи. 120 стр. Цена 12 к.

Г. Краснов. Герой и народ. О романе Льва Толстого «Война и мир». 272 стр. Цена 67 к.

С. Крутилин. Липяги. Из записок сельского учителя. 276 стр. Цена 37 к.

А. Кулешов. Новая книга. Стихи. Перевод с белорусского. 148 стр. Цена 26 к.

К. Курбансахатов. Сорок монет. Повести и рассказы. Перевод с туркменского. 224 стр. Цена 49 к.

Т. Леонтьева. Рассказы о коммунистах. 264 стр. Цена 62 к.

Ю. Мартыч. Друзья всегда с тобой. Рассказы. Перевод с украинского. 456 стр. Цена 75 к.

С. Мауленов. Синие горы. Стихи. Перевод с казахского. 124 стр. Цена 11 к.

К. Мурзиди. Земля первой любви. Повесть. 272 стр. Цена 42 к.

Д. Стонов. В городе наших отцов. Повесть. 224 стр. Цена 36 к.

М. Танк. Мой хлеб насущный. Новые стихи. Перевод с белорусского. 192 стр. Цена 21 к.
Н. Тихонов. Двойная радуга. Рассказы-воспоминания. 684 стр. Цена 91 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Т. Гонзага. Лиры. Чилийские письма. Перевод с португальского. 176 стр. Цена 28 к.
С. Гусейн. Зимние ночи. Рассказы и повести. Перевод с азербайджанского. 311 стр. Цена 44 к.
Л. Квитко. Стихотворения. Перевод с еврейского. 264 стр. Цена 42 к.
Б. Кежун. Доброе солнце. Лирика и сатира. 244 стр. Цена 43 к.
Менандр. Комедии. **Герод.** Мимиамбы. Перевод с древнегреческого. 319 стр. Цена 54 к.
Ф. Меринг. Литературно-критические статьи. Перевод с немецкого. 536 стр. Цена 1 р. 47 к.
В. Озеров. Новое в жизни, новое в литературе. 279 стр. Цена 79 к.
Энрике Хиль Хильберт. Наш хлеб. Роман. Перевод с испанского. 336 стр. Цена 61 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Винников. Детство моряка. Повесть. 208 стр. Цена 39 к.
Герои гражданской войны. Сборник (Жизнь замечательных людей). 541 стр. Цена 99 к.
А. Ефремов, Е. Федоровский. Сто дорог, сто друзей. 192 стр. Цена 45 к.
Р. Казанова. Избранная лирика. 32 стр. Цена 4 к.
Каталог (1933—1963) (Жизнь замечательных людей. Серия биографий). 184 стр. Цена 60 к.
Когда спят тролли. Рассказ о Норвегии. 111 стр. Цена 32 к.
Н. Матвеева. Избранная лирика. 32 стр. Цена 4 к.
Д. Оськин. Вижу солнце! Документальная повесть. 160 стр. Цена 17 к.
Б. Поршнев. Мелье (Жизнь замечательных людей). 240 стр. Цена 53 к.
В. Прокофьев. Среди свидетелей прошлого. 224 стр. Цена 33 к.
Современная польская повесть. Перевод с польского. 512 стр. Цена 1 р. 29 к.
Г. Ходжер. Эморон-озеро. Повесть. Перевод с нанайского. 288 стр. Цена 59 к.
В. Шаховский. Избранная лирика. 32 стр. Цена 3 к.
Д. Щеглов. Рождение идола. Повесть. 160 стр. Цена 22 к.
Эхо каторги. Сборник. Перевод с греческого. 271 стр. Цена 44 к.

«НАУКА»

Б. Андреев. Иван Петрович Павлов и религия. 98 стр. Цена 15 к.
Белинский и современность. 356 стр. Цена 1 р. 13 к.

Г. Вагнер. Скульптура Владимир-Суздальской Руси. 188 стр. Цена 1 р. 80 к.
Л. Валев. Болгарский народ в борьбе против фашизма. 372 стр. Цена 1 р. 34 к.
Ю. Ганковский. Народы Пакистана (Основные этапы этнической истории). 280 стр. Цена 1 р. 40 к.
Жизнь, отданная борьбе. 676 стр. Цена 1 р. 10 к.
В. Злыднев. Русско-болгарские литературные связи XX века. 219 стр. Цена 57 к.
В. Иванова, Л. Гордиенко. Новые пути повышения прочности металлов. 118 стр. Цена 52 к.
Индия, Непал, Пакистан, Цейлон. Экономика, история. 159 стр. Цена 90 к.
К столетию героической борьбы «За нашу и вашу свободу». Сборник статей и материалов о восстании 1863 г. 448 стр. Цена 1 р. 95 к.
Г. Клишко. Аграрные проблемы независимой Бирмы. 232 стр. Цена 72 к.
Колониализм вчера и сегодня. Сборник статей. 316 стр. Цена 1 р. 30 к.
Краткий научно-атеистический словарь. 643 стр. Цена 1 р. 95 к.
Международные отношения. Политика. Дипломатия. XVI—XX века. Сборник статей к 80-летию акад. И. М. Майского. 560 стр. Цена 2 р. 42 к.
В. Печоркин. Мир — главное. Проблемы войны и мира в современную эпоху. 128 стр. Цена 20 к.
Политика США в странах Дальнего Востока (Япония, Южная Корея). 326 стр. Цена 1 р. 30 к.
С. Савов. Героико-революционная драма Болгарии. 94 стр. Цена 28 к.
А. Хейфец. Советская Россия и сопредельные страны Востока в годы гражданской войны (1918—1920). 472 стр. Цена 1 р. 55 к.

ЛАТГОСИЗДАТ (РИГА)

А. Саксе. Кузнец счастья. Сказки для юных. Перевод с латышского. 67 стр. Цена 32 к.
А. Чак. Лестницы. Стихи. Перевод с латышского. 175 стр. Цена 42 к.

ЛЕНИЗДАТ

В. Пикуль. На задворках великой империи. Роман. 413 стр. Цена 82 к.
Ю. Помозов. Ты по стране идешь... Повесть. 451 стр. Цена 61 к.

СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (СВЕРДЛОВСК)

С. Бетев. Эшелон идет в Россию. Роман. 379 стр. Цена 77 к.
О. Коряков. Закон тайги. Повесть и рассказы. 251 стр. Цена 40 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. К 5-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 23/VI 1964 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 18/VIII 1964 г.
 Формат бумаги 70×108¹/₂. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
 А 08414. Зак. 1390. Тираж 113.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636